ISSN 0130-6545

9.1993

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ЮЛИЯ ХАРТВИГ
Стихотворения в прозе и верлибры

АДАМ БОДОР
Музей природных редкостей, округ Синистра

Литературный гид
«Индия:
связь времен
и миров»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА ЛАКШИНА

И настанет день, приуготованный на пути твоем, и сказано будет по тебе последнее, прощальное слово при склоненных головах перед памятью твоей, и глянется образ твой из прожитой жизни твоей.

Скорбная необходимость в этом изречении, идущем от сердца, вызвана большой утратой для современной русской словесности и, безусловно, для всей литературной диаспоры бывшего советского общества — не стало среди нас Владимира Яковлевича Лакшина, крупнейшего критика, мыслителя, яркой, динамичной личности на поприще отечественной культуры.

В таких случаях приходит на память то, что особо значимо, чему ты сам свидетель.

На протяжении многих лет, с незабываемых «новомирских» времен Твардовского, будучи по штату заместителем редактора, а по сути профессиональным соратником и единомышленником Твардовского, Владимир Лакшин сделал многое в нарождении и развитии радикальной критической мысли того времени, в обозначении, пути, который явил новую ветвь мировой литературы второй половины XX века.

Это была литература раскрепощения от сталинской идеологии. Не забудем: еще до того, как Никита Хрущев и Александр Твардовский сумели узреть момент истины — необходимость публикации на страницах «Нового мира» повести неизвестного в ту пору автора — Солженицына под непривычным названием «Один день Ивана Денисовича», положившей начало новой эпохе в отечественной литературе, это произведение было убедительно истолковано, прокомментировано в редакции Владимиром Лакшиным.

Сейчас, когда мы вольно живем и дышим, и да будет позволено сказать в некрологе — «резвимся и безумствуем» в стихии само собой разумеющегося свободомыслия, этого не понять. Но тогда такое даже внутриредакционное мужество было равносильно художническому и гражданскому подвигу.

Вряд ли будет преувеличением, перефразируя гоголевскую «Шинель», сказать, что все мы вышли из «новомирского» «Ивана Денисовича». Причем это касается

всей «посткультовской» литературы, даже той, что противостоит сейчас демократической борьбе. А у истоков этого явления вместе с Твардовским стоял его сподвижник в литературном процессе Владимир Лакшин.

И вот нет его...

Горестно, безысходно сознавать, но, как сказано некогда, кто рождается, тот умирает... В этом аксиома примирения. Оглядываясь на прожитый путь Владимира Лакшина, веришь, что многое еще будет с благодарностью сказано и написано о нем. Если жизнеспособность наследия проверяется временем, то творчество Владимира Лакшина мне представляется ценным и в будущем прежде всего актуальностью исследований автора, умевшего находить синтез в горниле вчерашнего и сегодняшнего как матрицу вечного духа. Лакшинские книги «Толстой и Чехов», «Островский», «Вторая встреча», «Пять великих имен», «Биография книги», статьи и эссе о Пушкине, Блоке, Бунине, Булгакове, Твардовском, Маршаке, Берггольц наряду с целым рядом работ о зарубежных писателях свидетельствуют о масштабах и глубине лакшинского видения литературного мира. Уверен, еще многое было бы сказано им...

Да, уходит, убывает с краю мое поколение, прозываемое ныне «шестидесятниками», поколение, очнувшееся после «ослепленных революцией» солдат партии, приравнявших перья к штыкам, поколение, опаленное глубоким внутренним трагизмом, в биографии которого я вижу не только наскальные изображения эпохи «неолита», но и черты возвышенного величия, дух долголетнего противостояния мировому злу тоталитаризма на огромном пространстве Евразии.

Мы возросли на этих роковых кругах истории. Эта история ушла не сама по себе. Ее сдвигало в сознании людей поколение «шестидесятников», к которому принадлежал Владимир Лакшин. В том заключалась наша участь и предназначение, и в том отличает нас судьба от судьбы нынешних молодых, которым дана невиданная возможность свободы мысли, добытая и Лакшиным, возможность дерзать вне пределов каких бы то ни было идеологических постулатов, открывать новые берега в постижении человеческого духа. Хотя, если к слову сказать, не слишком ли увлечены подчас «счастливчики свободы» шумным восхождением на сооруженные самими же для тренажа заоблачные или, напротив, «подпольные» выси искусства. Но это в скобках.

Творческий, интеллектуальный диапазон Владимира Яковлевича Лакшина во многом способствовал выживанию возглавляемого им журнала «Иностранная литература». И это тоже его немалая заслуга. Хочется верить, что после Лакшина «Иностранная литература» не угаснет, выстоит, умножится в слове, в переводимых именах и языках.

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ,
председатель Международного совета журнала «Иностранная литература»

* * *

С уходом Владимира Лакшина для нас всех вдруг дальше и загадочней стала война «Нового мира» с еще стальной диктатурой. Дальше и непостижимей стал Михаил Булгаков с его карнавальным, печальным весельем. Дальше — Лев Толстой, Чехов, Островский, ибо смерть поражением одного большелобого человека с палочкой порвала звено, странно соединявшее шестидесятые годы нашего века с веком русской классики. Среди стольких потерь России за пяток фантастических лет потеря Лакшина мучительна и — незаслуженна.

Очень дорого дается нации воспитание и закалка человека такого масштаба. Поэтому они всегда наперечет. Культура и натуральность Малого театра, фундаментальность университетского знания, умение и смелость жить вне царства тупой пошлости, не признавая ни прочности, ни всевластия его, соединялись в Лакшине с солдатской сметкой, удалью и ловкостью в войне с цензурой, с аппаратом ЦК, с чиновно-жандармской арматурой Союза советских писателей. Каждый вышедший номер «Нового мира» убавлял — это потом стало очевидно — «империю зла». После Твардовского и на Старой площади, и в Китайском проезде, и на Лубянке Владимира Яковлевича считали врагом номер один, от которого можно было ожидать чего угодно, кроме одного: сдачи, капитуляции.

— Уже одним тем, что он жил, он не давал другим подличать,— сказал как-то Лакшин о Твардовском, дорогом для него бесконечно.

В совсем другое время, в иной России повторю ныне эти слова, прощаясь с Владимиром Лакшиным.

Только бы не забылось за элитарностью, ригоризмом, сознанием своей миссии на службе Времени, какой это был жизнелюбивый, азартный человек, воистину

Поклонник дружеской свободы,
Веселья, граций и ума!

Было одно весеннее полнолуние, были Патриаршие пруды, и у скамьи, где двум членам МАССОЛИТа явился Воланд, имел место рассказ Лакшина о новых воздействиях консультанта на уже брежневскую Москву. Владимир Яковлевич был в ударе, нас корчило от смеха. Склад с пересчитанными томами «Мастера и Маргариты» — строго по списку номенклатуры — вдруг при всех пломбах оказался пуст. Новый Босой кричал — «Охранить помещение!» Контейнеры с романом, транспортируемые из Волгограда в Москву, вдруг стали приходить пустыми. И т. д. и т. п. И тут предложение:

— А не посетить ли нам сейчас *нехорошую квартиру?*

Владимир Яковлевич возглавляет лунное шествие к шестиэтажному дому на Садовой, благо он совсем близко, крадучись входим в подъезд... Ну, так и есть: здесь Воланд!

На фанерке жэковских объявлений — крупно:

«Есть ли бог?» Красный уголок, начало в 19.00».

Лакшин хозяйски сворачивает документ присутствия и победно вручает мне. На разрушение всех сомнений.

Бог — есть. И иногда о России помнит.

ЮРИЙ ЧЕРНИЧЕНКО

* * *

Если одним словом определить то, что сделал он для русской культуры, для России, то для меня это слово — ПРОСВЕТИТЕЛЬ. Просветитель в первородном, в самом высоком, благородном смысле этого слова: добывать и нести свет. А еще, может быть главное, в «рабочем» его смысле — ежечасный, кропотливый, неустанный, невидимый труд. Не побоюсь сказать: он один из зачинателей нового русского просветительства, его настоящий классик.

Век мой, зверь мой,
Кто сумеет заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?

Семьдесят лет ломали позвоночник нашей культуры, ломали сладострастно, с хрустом. Но вот началось склеивание.

Не клянясь на каждом шагу в любви к Родине, никого не проклиная, Владимир Яковлевич Лакшин сделал для нашей культуры так много, что сам стал ее частью неотъемлемой.

Русский интеллигент, великолепный знаток русской литературы (и театра — не отсюда ли еще его неподражаемая артистичность?), не случайно он завершил свою жизнь главным редактором «Иностранной литературы». Вот уж в ком не было самоуничтожающей борьбы между Западом и Россией. Вот уж кто не разжигал этот самоубийственный пожар.

Без книг В. Лакшина об Островском, Чехове, Толстом, без его статей о Достоевском, Блоке, Булгакове, Солженицыне нельзя сегодня обойтись ни одному серьезному ученому, занимающемуся исследованием их творчества, да и обыкновенный читатель классики очень много потеряет без его книг и статей.

А кто еще совершил такое — подарил России и миру целый том (!) новых текстов Толстого? Чудесный результат многолетнего труда!

Есть Лакшин «письменный», но есть еще и Лакшин «устный». Это особая статья и, по-моему, небывалая. Это поистине новое слово. Я имею в виду его телевизионный «многотомник» («книг» двадцать) о русской культуре. (Этот «многотомник», конечно, необходимо как можно скорее издать в видеокассетах.)

Его диалог с Ю. А. Яковлевым о Чехове во время их путешествия от Сахалина до Таганрога и Ялты — беспримерен и останется живым на десятилетия, если не дольше. Вот оно, настоящее увековечение.

А глава о смерти Толстого? Она мне кажется особенно знаменательной. Уверен: тот, кто ее слышал, уже никогда ее не забудет, особенно две документальные сцены. Первая: бежит девчонка через дорогу, к дому, где умирает

Толстой. Ее впускают, она шмыгает туда (а только что было показано, как не впускают Софью Андреевну). Вторая: Лакшин беседует с этой самой девочкой — уже столетней! Тут и счастливый случай совпадения, тут и огромный его труд, но тут и ему самому редкая награда. Возникает физическое ощущение его духовного присутствия там и тогда. 80 лет назад. *Его — впустили. И нас* впустили вместе с ним, *благодаря* ему. Еще один позвонок — склеен.

Да, он вложил свой духовный капитал, дарованный ему от Бога, унаследованный от родителей, наработанный им самим, вложил его в самое, самое «выгодное предприятие» — вот в такое просветительство: кто знает, сколько юных душ, будущих русских деятелей, он разбудил, укрепил, направил. Он, как мало кто, избежал искуса вложить свой капитал в «злободневные», политико-идеологические спекуляции.

«Устный» Лакшин — это прежде всего чистый русский язык. Ведь и перебит-то был в первую очередь позвоночник нашего языка. Негромкая, ироничная лакшинская речь особенно завораживала на фоне нарастающего хамского, грязного, шумливого телевизионного гула последних лет — тоже своего рода школа, курсы, университет русского языка, но какой? Слушаешь Лакшина после этого гула — словно смываешь грязь. Слушаешь — словно пьешь выдержанное, благородное вино (впрочем, иногда и коньяк) вместо всей этой бормотухи.

В. Я. Лакшин, конечно, «шестидесятник». «Шестидесятников» нынче поносят все кому не лень, а уж больше всех — молодые. Это поношение стало как бы обязательным условием «показать себя», самоутвердиться. Что ж, тут есть своя нормальная ненормальность, своя закономерность, и смешно отвечать на нее обидой и озлоблением. И все-таки: зачем же снова ломать позвонки?

Ничто не предвещало его кончины. Все предвещало новый взлет. И вдруг — 26 июля...

И все же Владимиру Лакшину удалось то, что редко кому удается: «...жить значит сделать художественное произведение из самого себя» (Ф. Достоевский). И хочется пожелать молодым критикам «шестидесятников» создать новые художественные произведения из самих себя. Если сделают (конечно, сделают), то выявится другая — главная закономерность, выявится нормальность нормальная: истинно художественные произведения между собой не воюют. Кстати: во время похорон Владимира Яковлевича на Ново-Девичьем кладбище я видел одного из самых «злых» и талантливых молодых критиков. Мне кажется: тут один из знаков будущего примирения (но это уже после нашей смерти).

Я бы пожелал этим критикам — каждому — поработать на ниве русского просвещения столь же упорно и самоотверженно, как работал В. Лакшин, и наработать столько, сколько наработал он.

ЮРИЙ КАРЯКИН

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

9 сентябрь 1993

СОДЕРЖАНИЕ

АДАМ БОДОР — Музей природных редкостей, округ Синистра (*Рассказ. Перевод с венгерского и вступление В. Середы*) 7

ДЖОН ФАУЛЗ — Волхв (*Роман. Окончание. Перевод с английского Бориса Кузьминского. Послесловие автора*) 12

ЮЛИЯ ХАРТВИГ — Стихотворения в прозе и верлибры (*Перевод с польского Натальи Астафьевой. Вступление Владимира Британишского*) 174

ДЕБРА ИММЕРГУТ — Счастливый номер (*Рассказ. Перевод с английского Инны Стам*) 180

Литературный гид «Индия: связь времен и миров» 191

ИЗ КЛАССИЧЕСКОЙ ИНДИЙСКОЙ ЛИРИКИ (*Перевод с английского Г. Агафонова*) 192

Дж. КРИШНАМУРТИ: ОДИНОКИЙ СТРАННИК. М. САЛГАНИК — Кришнамурти — кто он? ОЛДОС ХАКСЛИ — О Кришнамурти (*Перевод с английского М. Салганик*). Дж. КРИШНАМУРТИ — Беседы разных лет (*Перевод с английского М. Салганик*) 194

РУТ ПРАВЕР ДЖАБВАЛА — Я — в Индии (*Эссе. Перевод с английского И. Тогоевой*). Курс английского (*Рассказ. Перевод с английского Инны Бернштейн*) 217

КАМАЛА ДАС — Стихи (*Перевод с английского А. Шараповой*) . . 237

ВИКРАМ СЕТ — Золотые ворота (*Роман в стихах. Фрагменты. Перевод с английского Г. Агафонова*) 240

М. САЛГАНИК — Относительность прошлого . 244

К нашим иллюстрациям

АННА ТКАЧЕВА — Энергетическая живопись тантризма . 248

Критика

Западная литература: взгляд изнутри

ЛЕВ НАВРОЗОВ — В поисках американского Андрея Битова . 251

Авторы этого номера . 255

© **«Иностранная литература», 1993**

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н. Н. СКУРСКАЯ — ответственный секретарь
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ — заместитель главного редактора
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заведующий отделом критики и публицистики

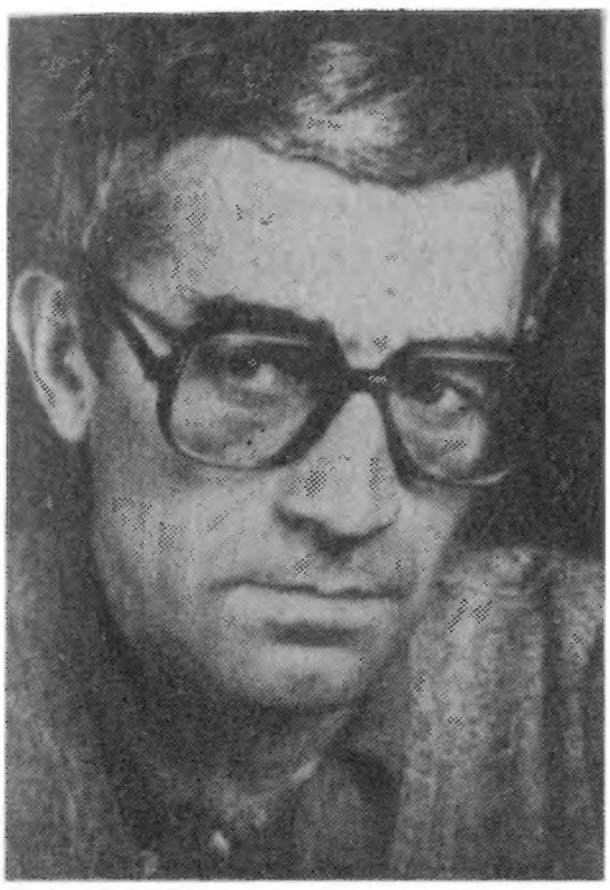
Л. А. ЖМЫРЕВ — коммерческий директор

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, М. Н. ВАКСМАХЕР, Е. Ю. ГЕНИЕВА,
В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ,
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. Э. ИВАНОВА,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ,
А. С. МУЛЯРЧИК, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. Л. САЛГАНИК, Е. М. СОЛОНОВИЧ,
Н. Л. ТРАУБЕРГ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)



АДАМ БОДОР

Музей природных редкостей, округ Синистра

РАССКАЗ

Перевод с венгерского В. СЕРЕДЫ

От переводчика

Публикуемая новелла Адама Бодора требует кратких предварительных пояснений.

В 1991 году на конкурсе рассказов, объявленном венгерским литературным журналом «Холми», из почти тысячи поступивших работ единодушным решением жюри именно это произведение было удостоено пальмы первенства. Вскоре выяснилось, что вполне завершенная художественно и композиционно новелла была лишь фрагментом новой книги Адама Бодора «Округ Синистра», составленной из пятнадцати подобных новелл и получившей подзаголовок «Главы одного романа». Книга, судя по отзывам критики, стала наиболее примечательным событием 1992 года в венгерской литературной жизни, при этом впервые за последние несколько лет в центре внимания оказалось произведение, так сказать, чистого вымысла, не основанное на конкретных фактах и документах недавнего прошлого, и все же вобравшее в себя — читатель, особенно читатель восточноевропейский, это сразу поймет — очень много из реального негативного опыта последних десятилетий. Не существующий на географических картах округ Синистра («недобрый», «зловещий», если идти от латыни) стал понятием почти нарицательным. Многие из писавших о книге Бодора сравнивали ее с антиутопией Дж. Оруэлла, другие усматривали в ней родство с художественным миром Г. Гарсиа Маркеса, возникали и ассоциации с Зоной из «Сталкера» А. Тарковского, поставленного по сценарию братьев Стругацких. Параллели, видимо, не случайные, хотя несомненно и то, что прозу Бодора питает не только искусство нашего века, но в огромной мере и личный жизненный опыт. Многое объясняет, в частности, то обстоятельство, что большую часть своей жизни Адам Бодор, венгерский прозаик, прожил в Румынии, на собственной шкуре испытав все «прелести» диктатуры, и только в 80-х годах переехал жить в несравненно более благополучный Будапешт. Однако в душе он остался писателем трансильванским, незримыми нитями связанным с малой родиной. «Героем подобных историй,— признался он в одном из своих интервью,— я никогда не был и даже не сталкивался с людьми, с которыми происходило бы нечто подобное. Но я знал родной край, своеобразнейший край в наименее известной, по-видимому, части Карпат. Он и продиктовал мне все эти истории».

Говорят, что когда больного во сне посещают женщины — значит, дело пошло на поправку. Но бывает и так, что явление женщины во всей ее первозданной красе не сулит ничего хорошего.

Габриель Дунка впервые увидел обнаженную женщину, когда ему было уже тридцать семь лет. Правда, Дунка был карликом. От строившейся в Вале-Синистре тюрьмы он держал путь домой, как вдруг на пустынном шоссе перед его красным фургоном возникла Эльвира Спиридон. С раннего утра в этот день зарядил дождь со снегом. Над ручьем в зарослях ельника и крушины стоял липкий туман, клочья которого, гонимые ветром, временами перелетали через шоссе. И вот сквозь туман сверкнуло внезапно глянцевое от дождя тело женщины. Она была абсолютно голая, только шею и плечи, будто старый, в прорехах, шарф, покрывали набухшие влагой волосы. Ноги и низ ее живота словно бы расцвели в весеннюю непогодь, облепленные хвоей и синими, белыми, желтыми лепестками.

С Эльвирой Спиридон, жившей на перевале Прислоп, Габриель Дунка был незнаком, хотя и видел частенько, как та спешила мимо его ограды на заготовительный пункт с заплечной корзиной, полной брусники или грибов. Но такое — что встретит ее однажды в чем мать родила, поджидающей на обочине не кого-нибудь, а его, Габриеля Дунку,— ему и во сне не могло присниться. Не сказать чтобы с радостью, но он все же взялся подвезти ее.

Посадил он ее не в кабину, рядом с собой, а в кузов, подальше от посторонних глаз, где на полу были свалены рейки, которыми он перекладывал стекла при транспортировке. Фургон этот был не его, Габриель Дунка только перевозил в нем стекла из мастерской, что была в Колонель-Драгомире, на стройку в Вале-Синистру — колесит по дорогам, имея особое разрешение тюремной администрации и командира горных стрелков. Хорош бы он был, если б кто из начальства или даже местных крестьян увидел, как в служебное время на казенной машине с желтыми номерными знаками он раскатывает с голыми молодками! Словом, Габриель Дунка предложил ей улечься в кузове на заваленный рейками пол и захлопнул за нею дверцу.

Ростом он оказался Эльвире по пояс. И теперь, ощутив смешанный с ароматом дождя странный запах ее пупка, испытывал легкое головокружение.

Доехав до дома — а жил он в сарае, служившем ему и кровом, и мастерской, в убогом и голом деревенском дворе,— Габриель Дунка развернул фургон и подогнал его впритык к двери, чтобы Эльвира могла войти к нему незамеченной. Ему было известно, что соседи из-за ручья наблюдали в бинокль за каждым его движением — уж очень притягивал их вид карлика.

Как нетрудно было понять, Эльвиру Спиридон привела к нему не прямая дорожка. В это утро с двумя компаньонами она пыталась бежать за границу, однако затея эта в первые же минуты кончилась для нее плачевно. Турок Мустафа Муккерман не взял ее в свой рефрижератор, в котором он доставлял из Бескидека на южную оконечность Балкан мороженую баранину, а иногда — словно бы между прочим — и готовых на все смельчаков, пряча их среди туш, висящих на железных крюках. Как выяснилось при посадке, турок давно уж зарекся перевозить представительниц слабого пола, потому как однажды какая-то перетрусившая бабенка загадила ему всю машину. Так что попутчики Эльвиры Спиридон отбыли, сама же она осталась одна на дороге, да к тому же раздетая донага.

В тот день еще на заре пошел дождь, и беглецы, понимая, что оказаться в черной заиндевелой утробе рефрижератора в мокрой одежде было бы равносильно смерти, загодя скинув с себя одежонку, сложили ее в приготовленный специально для этого пластиковый пакет, чтобы одеться уже по дороге, в машине. Эльвира Спиридон попыталась было поспорить с води-

телем, но безуспешно. И когда она спохватилась, то машина вместе с ее одеждой катила уже по шоссе. На юг, на Балканы, где круглые сутки маняще сияли огни свободы. Так оказалась она в чем мать родила на дороге, окутанная с головы до ног серой мглой густого тумана.

Эльвира Спиридон немного поплакала, но вскоре взяла себя в руки и, сорвав лист вечнозеленой душмянки, прилепила его в низ живота. Что-то подобное она видела, вероятно, на старых картинах. Впрочем, листик через какое-то время сорвало ветром и унесло.

До полудня она бродила по лесу среди елок, голых березок и кустов крушины, пока со стороны города не показался фургон лилипута-стекольщика с видным издали желтым казенным номером на переднем бампере. Ошибиться она не могла: кроме транспорта горных стрелков, о приближении которого можно было узнать по лающему звуку моторов, единственным средством передвижения во всем горном округе был лишь этот довольно цивильного вида красный грузовичок. Она заметила его еще на рассвете, когда он отправился в Вале-Синистру, и знала, что около полудня фургон поедет обратно.

Габриель Дунка, несмотря на свой необычный рост, состоял на государственной службе и имел свое ремесло, изготавливая для строившейся в Вале-Синистре тюрьмы матовые оконные стекла. Управившись с очередной партией — а за неделю выходило обычно на пять-шесть окон,— он самолично доставлял груз на место. Посредине сарая стоял большой ящик с песком, под слоем песка лежало стекло. И карлик, разувшись, обычно топтался в ящике, пока стекло под его подошвами не делалось совершенно матовым.

Куча песка была и около ящика. На нее он и уложил свою гостью.

— Вам придется чуть потерпеть,— тихим взволнованным голосом сказал Габриель Дунка,— я сейчас подберу вам какую-нибудь одежду.

Разодрав с одного края коричневый крафтовый мешок, валявшийся на земле, он развернул его и прикрыл им женщину. Из всех брешей и закоулков тела Эльвиры все еще вытекала, впитываясь в песок, дождевая влага.

— До чего же вы славный,— сказала Эльвира Спиридон.— Вот уж правда: друзья познаются в беде.

— За бедой,— кивнул карлик,— далеко ходить не приходится. Так что я попросил бы вас не особенно пока шевелиться. Меня-то в окно не видать, и если соседи заметят здесь какое-нибудь движение, то сразу сообразят, что я не один.

Набив железную печку опилками и еловыми шишками, Габриель Дунка развел огонь и немного спустя подбросил в пламя добротную бочарную клепку. Поблизости недавно был ликвидирован пункт заготовки ягод, и оставшиеся на его дворе старые полурассохшиеся бочки местное население растащило вмиг на дрова. Бочарная клепка, потрескивая, испускала голубовато-зеленые струйки дыма и ягодный аромат. Однако Эльвиру Спиридон, прикрытую рваным бумажным мешком, все еще бил озноб.

— Я уж давно бы высох,— заметил немного смущенно Габриель Дунка, решивший, кажется, пошутить.— Меня ведь меньше, а всякая малая вещь, как, скажем к примеру, карлик, высыхает быстрее большой.

— А я и не знала...— донеслось из-под крафтового мешка.— Но сказать, что вы карлик, это, пожалуй, слишком.

Габриель Дунка хранил все свои пожитки в видавшем виды стареньком фибровом чемодане, который, стоя между лежанкой и отсыревшей стеной сарая, служил ему ночным столиком. Открыв чемодан, он по локти запустил в него руки и принялся рыться в ворохе выцветшей залатанной одежонки, тронутой жучком и попахивавшей мышами. Выбрав несколько вещей, он разложил их рядом с собой на земле.

— Батарейки-то есть в приемнике? — поинтересовалась вдруг Эльвира Спиридон.— Может, объявят что...

— Батарейки-то есть. Только мне бы хотелось услышать, если кто-то приблизится к дому. Не исключено, что соседи все-таки заподозрили что-то неладное.

— Рядом с вами я ничего не боюсь. Случись что, уж вы непременно придумаете что-нибудь. Не обижайтесь, но вы настоящий мужчина.

— Спасибо. Ко мне, знаете, иногда заглядывает кто-нибудь из полковников: любопытствуют, как это у меня выходят такие матовые, будто пеплом присыпанные стекла.

— О!

— Не часто, конечно. Но если опять вдруг наведаются, вас не то что заметить — дыхания вашего не должны услыхать.

Габриель Дунка взял в охапку отобранную одежду, свалил ее перед Эльвирой Спиридон и, откинув драный бумажный мешок, принялся одевать свою гостью. Сперва он попробовал натянуть на нее свои короткие штанишки на помочах, которые, увы, налезли ей только на одну ногу, и то до колена.

— Так и знал, что будет мало́, но думал, надо все же попробовать, попытка не пытка... Простите, со мной что-то странное происходит. Наверное, потому, что я к вам прикоснулся. Какое чудесное ощущение, даже голова закружилась. Я, кажется, сейчас задохнусь.

Отпрянув от женщины, он подошел к ведру и, окуная в воду лицо, стал пить огромными глотками. Лицо он не вытер, и вода свободно стекала ему на грудь.

Эльвира Спиридон решила одеться сама: взяв две пары штанов, натянула на каждую ногу по брючине, связала за рукава две карликовые куртки и кое-как прикрыла ими себя.

А карлик тем временем гремел у печки посудой. Налив в кастрюльку воды, он дождался, пока она закипит, и бросил в нее горсть сухого брусничного листа. Когда чай настоялся, он разлил его в жестяные кружки и щедро плеснул в них жидкости из литровой бутылки. В бутыли был голубоватый денатурат. Наконец, одну из дымящихся кружек Габриель Дунка поставил в песок перед Эльвирой Спиридон.

— Ваше здоровье,— сказал он.— Добро пожаловать! Не иначе, как сам Господь пожелал, чтобы это случилось.

— Надеюсь, я вас не обременю.

— Если не будете привлекать внимание, то можете оставаться, пока вам не надоест. Или пока самому мне не придется отсюда съехать. Что вскоре может произойти.

— Было бы очень жаль.

— Тем не менее, может случиться, что однажды я отсюда переселюсь. Не на далекий юг, дорогая Эльвира, а в вале-синистрский музей, на постоянное, так сказать, жительство. Я недавно продал им себя, и теперь я их собственность, сам себе не хозяин. Они мой скелет купили для собрания природных редкостей — специально такие диковины собирают. И, что главное, платят вперед.

— О, я слышала, в окружном музее уйма всяческих любопытных вещей.

— Вот-вот. И я думаю, они свои денежки не упустят. Может статься, и ждать не будут, пока я обычным порядком сыграю в ящик. Возьмут да и явятся за мной как-нибудь... Ну, как чай?

— Собралась как раз похвалить.

— Давайте-ка лучше теперь помолчим. А то и у стекол бывают уши.

Стало смеркаться. Небольшие оконца сарая поголубели. Дождавшись, пока стемнеет настолько, чтобы видеть в стекле собственное отражение, Габриель Дунка запалил в печке прутик, зажег от него свечу и побрился. Растерев по влажным еще щекам полпригоршни сухого тимьяна, он надел пожелтевшую застиранную рубашку и старый, со школьных времен еще сохранившийся кителек, годами валявшийся смятым на дне чемодана. И вот пришел час, когда он мог снова его надеть.

— Я немного волнуюсь,— прошептал он.— Дело в том, что сегодня я в первый раз буду с женщиной. Глядите-ка, у меня даже волосы на голове дрожат.

— Нечего вам волноваться,— ответила Эльвира Спиридон,— не бог весть какое мудреное дело, слыхали небось, что да как.

— К стыду своему, я не очень-то в этом деле осведомлен. Хотя, говорят, что у карликов неплохая слава.

— Так чего же вы беспокоитесь? Подумайте лучше, в каком я-то аховом положении оказалась.

По телу Габриеля Дунки пробежала дрожь. Он нервно вздохнул. Волнующая белизна женской кожи, сверкавшей из-под бумаги, воздействовала на него совершенно иначе, нежели то видение, что явилось ему на шоссе. Та Эльвира была вся мокрая, с сизым трясущимся подбородком, белым бескровным носом и такими же, словно бы отмороженными, ушами.

— Не примите за неотесанность,— снова заговорил он тихим взволнованным голосом,— но я ненадолго оставлю вас. Успокоюсь, тогда и вернусь. Не знаю, что со мной делается, я должен уйти, я так странно себя ощущаю, так странно, что готов жизни себя решить.

— Да вы пройдитесь, господин Дунка. Придите в себя. А я, с вашего позволения, еще плесну себе в кружку, пока вас не будет. Глядишь, отогреюсь к вашему возвращению.

Единственная, она же главная, улица Колонель-Драгомира, что вилась в сторону перевала по дну долины, повторяя изгибы ручья, утопала во мраке. Люди в этих краях, встретившись в темноте, узнавали друг друга по запаху. Габриеля Дунку, шлепавшего по лужам, едва отражавшим какие-то дальние огоньки, можно было принять за собаку. Только грязь под его ногами чавкала по-иному.

Оставив деревню, он добрел до контрольного пункта Ноприц, через который можно было попасть в огороженный со всех сторон добринский заповедник. В лесном заповеднике содержали медведей. Дорогу туда перекрывал шлагбаум, возле которого торчала караульная будка.

К полковнику Жану Томойо-аге, обитавшему в караулке и который уж год в одиночестве несшему службу, Габриель Дунка наведывался и раньше. Всякий раз при его появлении полковник тотчас же расстилал на полу бело-зеленую клетчатую рубаху, доставал несколько деревянных фигур, разноцветные камешки, и они играли в шахматы.

Так случилось и на сей раз, с той лишь разницей, что карлик очень быстро устал от игры. Видя, что мысли его заняты чем-то другим, полковник Жан Томойо-ага то и дело великодушно предостерегал его от зевков. Тем не менее Габриель Дунка проигрывал в этот вечер одну партию за другой.

— Да что за беда с тобой приключилась? — не выдержал, наконец, полковник.— Может, и ты повстречался с тем рыбаком?

Дело в том, что в ту пору по лесам Добрина бродил один буковинец — рыжеволосый чудак, пытавшийся всем, кто ему попадался, всучить страхо-видную рыбину с усами и плоской как блин головой.

— Беда пострашнее,— проговорил Дунка.— У меня попросила убежища одна женщина. Эльвира Спиридон. Заберите ее от меня.

Обо всем этом мне поведал сам полковник Жан Томойо-ага. Он был последним, к кому я заехал, когда годы спустя, с греческим паспортом, на новеньком, цвета «синий металлик» «фиате-регата» объезжал деревни Синистры, разыскивая следы Эльвиры Спиридон. В свое время полковник подробно расспросил о случившемся Габриеля Дунку и с теми же подробностями рассказывал теперь мне о последних днях моей бывшей возлюбленной Эльвиры Спиридон. Той, которую я несколько лет напрасно прождал на далеких Балканах под слепящими лучами свободы.

Как бы я ни злился на карлика, мне все-таки захотелось его повидать: ведь когда-то он был моим близким знакомым. Однако полковник Жан Томойо-ага меня отговаривал: строительство вале-синистрской тюрьмы было уже закончено, и мастерской, где Габриель Дунка изготавливал матовые стекла, больше не существует. Но если уж мне непременно нужно о нем разузнать, то лучше всего, сказал он мне, доехать до Вале-Синистры и там поинтересоваться в музее природных редкостей.

ДЖОН ФАУЛЗ

Волхв

РОМАН

Перевод с английского БОРИСА КУЗЬМИНСКОГО

51

Понедельник я провел в учебных заботах; разгреб груду непроверенных тетрадей, которая все скатывалась и скатывалась на письменный стол с постоянством, живо напоминающим историю Сизифа; довел до ума — отвратительное, но весьма уместное выражение — семестровые контрольные; и тщетно пытался хоть на секунду забыть о Жюли.

Я сознавал, что спрашивать Димитриадиса, как звали довоенных преподавателей английского, бессмысленно. Если знает, то мне не скажет; а скорее всего, и вправду не знает. Казначей на сей раз ничем не смог мне помочь; старые ведомости унес ураган сорокового. Во вторник я обработал заведующего библиотекой. Недолго думая, тот снял с полки переплетенные в хронологическом порядке программки, издававшиеся к годовщинам основания школы. Роскошно оформленные, дабы поразить приехавших на праздник родителей, они завершались поименными списками воспитанников и «профессоров». За десять минут я выяснил имена шестерых учителей, служивших здесь с 1930 по 1939 год. Однако адреса их нигде не значились.

Неделя тащилась как черепаха. За обедом в урочную минуту в столовой появлялся сельский почтальон, передавал пачку писем дежурному, и мальчик нестерпимо медленно обходил столы. Для меня почты не было. Я уже не надеялся, что Кончис смилостивится; но молчанье Жюли трудно было чем-либо извинить.

Мои будни скрасило лишь крохотное открытие, совершенное по чистой случайности. Роясь в библиотечных стеллажах с английской литературой в поисках не читанного в классе текста для экзамена, я нашел томик Конрада. На форзаце надпись: «Д. П. Р. Невинсон». Один из довоенных учителей. Внизу пометка: «Бейлиол-колледж, 1930». Я принялся просматривать остальные книги. Невинсон оставил их тут порядочно; правда, иного адреса, кроме Бейлиола, я не обнаружил. На форзацах двух стихотворных сборников стояло имя другого довоенного учителя — У. Э. Хьюз, вовсе без адреса.

В пятницу я не стал дожидаться конца обеда и раздачи писем — попросил какого-то воспитанника принести мне адресованные, буде таковые окажутся, в комнату. Я больше не рассчитывал на весточку. Но через десять минут, когда я облачился в пижаму и залез было в постель, ко мне постучался мальчик. Два конверта. Первый — из Лондона, адрес напечатан на машинке; верно, каталог издательства, выпускающего учебные пособия. Но вот второй...

Греческая марка. Смазанный штемпель. Аккуратный наклонный почерк. По-английски.

Понедельник, Сифнос

Дорогой мой, милый Николас!

Ты, должно быть, страшно переживаешь из-за выходных, и надеюсь, тебе уже лучше. Морис передал мне твое письмо. Я так тебе

Окончание. Начало см. в № 7, 8.

сочувствую. Ко мне в свое время тоже липла любая зараза, какую мои балбески приносили в школу. Раньше не могла написать, мы были в море и только сегодня добрались до почтового ящика. Надо спешить — мне сейчас сказали, что пароход, который везет в Афины почту, уходит через полчаса. Строчу, сидя в портовом кафе.

Представь, Морис повел себя как ангел небесный, хоть и не стал речистее. Твердит, что должен дождаться твоего прихода в следующие выходные, если ты к тому времени выздоровеешь. (Уж выздоровей, пожалуйста! У нас и кроме Мориса найдется занятие.) Если честно, М. для виду слегка вредничает, потому что мы, безмозглые, не желаем участвовать в его новой затее, пока не выясним, чего он, собственно, хочет. Нам уже, по правде, надоело выпытывать — пустая трата времени, и потом, он положительно упивается своими загадочностью и скрытностью.

Кстати, совсем забыла: он все-таки проболтался, что собирается поведать тебе «последнюю главу» (его выражение) собственной биографии и еще — что теперь ты наконец готов ее выслушать... и при этом осклабился, точно произошло нечто, о чем мы с Джун не знаем. Жуткий человек, все бы ему розыгрыши устраивать. Но ты-то хоть понимаешь, что он имеет в виду?

Самое приятное я приберегла напоследок. Он поклялся, что больше не станет держать нас на сворке, как раньше, и предоставит в наше распоряжение свой деревенский дом, если мы захотим задержаться на острове... а вдруг ты меня разлюбишь, раз мы будем каждый день вместе? Это Джун встряла, ее завидки берут, что я тоже на солнце чуток подкоптилась.

Вот ты получишь письмо, и останется ждать всего два-три дня. Он может выкинуть заключительный финт «от Мориса», так ты, уж пожалуйста, подыграй ему и учти, что не знаешь ни про какую последнюю главу,— пусть помучит тебя напоследок, коль ему нравится. По-моему, он малость ревнует. Все повторяет, до чего *тебе* повезло, и не слушает, что я на это отвечаю. Но ты-то догадываешься что.

Николас.

Ночь, купанье. Миленький мой.

Пора заканчивать.

Люблю.

Твоя Жюли.

Я перечитал письмо, перечитал еще раз. Ну ясно, старый хрыч в своем репертуаре. Почерк мой она не знает, и состряпать письмецо было проще простого — да Димитриадис мог и образчиками его снабдить для пущей убедительности. Но чего он теперь-то тянет, зачем ставит нам палки в колеса? Непостижимо. Впрочем, последние три слова в письме Жюли, предчувствие жизни в деревне, с ней бок о бок... по сравнению с этим все остальное — мелочи. Я вновь воспрянул, ободрился; ведь она недалеко, ждет меня, жаждет...

В четыре меня разбудил звонок с тихого часа — дежурный, как всегда, шел по широкому каменному коридору жилого крыла и тряс колокольчик с неистовым злорадством. И как всегда, коллеги мои сердитым хором покрикивали на него из своих комнат. Приподнявшись на локте, я снова перечел письмо Жюли. Затем вспомнил о втором конверте, небрежно брошенном на письменный стол, встал; зевая, вскрыл конверт.

И достал оттуда листочек машинописного текста плюс еще конверт, «авиа», с обрезанным краем. Но все мое внимание привлекли две газетные вырезки, приколотые к листочку скрепкой. Их надо прочесть прежде всего.

Заголовок.

Заголовок.

Это уже было со мною, то же чувство, та же невозможность поверить

в очевидное, чувство близкого обморока и неземного покоя. Мы с приятелями пересекаем двор между Рэндолф- и Кэрфакс-колледжами, у подножья башни кто-то торгует «Ивнинг ньюс». Я останавливаюсь, и одна знакомая дурочка говорит: «Смотрите-ка, Николас делает вид, что умеет читать». Тогда я поднял от газеты лицо, на котором вмиг отпечатались авария близ Карачи и гибель родителей, и произнес: «Мама, папа». Будто впервые узнал, что жили на свете такие люди.

Верхняя вырезка — из лондонской газеты, из подвала колонки:

САМОУБИЙСТВО СТЮАРДЕССЫ

Стюардесса Алисон Келли, гражданка Австралии, 24 лет, была найдена вчера мертвой в своей постели в квартире дома по Рассел-сквер, которую снимала вместе с подругой. Труп обнаружила подруга, Энн Тейлор, также гражданка Австралии, вернувшись из Стратфорд-он-Эйвона, куда уезжала на выходные. Тело было срочно доставлено в Миддлсекскую больницу, врач которой и констатировал смерть. Мисс Тейлор ввели успокоительное. Дознание состоится на следующей неделе.

Нижняя вырезка:

ПОКОНЧИЛА С СОБОЙ ИЗ-ЗА НЕСЧАСТНОЙ ЛЮБВИ

Во вторник констебль Генри Дэвис сообщил помощнику холборнского коронера, что вечером в субботу 29 июня обнаружил некую молодую женщину, лежащую в постели и сжимающую в руке пустой пузырек из-под снотворного. Его вызвала соседка покойной, физиотерапевт Энн Тейлор, гражданка Австралии, нашедшая тело Алисон Келли, стюардессы, 24 лет, по возвращении из Стратфорд-он-Эйвона, куда мисс Тейлор ездила на выходные.

Официальный вердикт — самоубийство.

По словам мисс Тейлор, хотя ее подруга страдала приступами депрессии и жаловалась на плохой сон, не было оснований считать, что та собирается наложить на себя руки. В ответ на вопросы дознания мисс Тейлор заявила: «Моя подруга не так давно мучилась из-за несчастной любви, но мне казалось, что ей удалось побороть свое горе».

Доктор Беренс, врач покойной, сообщила коронеру, что мисс Келли убеждала ее в том, что причиной бессонницы является переутомление на службе. На вопрос коронера, часто ли она выписывает пациентам снотворное в подобных количествах, доктор Беренс ответила, что должна была считаться с тем, что покойная не всегда могла зайти в аптеку. У врача не было оснований предполагать возможность самоубийства.

Коронер отметил, что ни одно из двух найденных полицией писем не проливает свет на истинные мотивы этого печального поступка.

На листочке — письмо Энн Тейлор:

Дорогой Николас Эрфе!

Прилагаемые вырезки объяснят Вам, почему я решилась Вам написать. Мне тяжело сообщать Вам эту новость, Вы будете потрясены, но не знаю, можно ли иначе. Из Афин она вернулась совершенно подавленная, но не сказала ни слова, так что мне неизвестно, кто из вас кого бросил. Одно время она поговаривала о самоубийстве, но нам всегда казалось, что она шутит.

Этот конверт она оставила для Вас. Полиция его вскрыла. В нем не было никакой записки. Записку она оставила мне, но без всяких объяснений — просто извинилась.

Все мы буквально убиты. Это я не уследила. Только теперь, после ее ухода, понимаешь, что она была за человек. Неужели мог найтись мужчина, который не почувствовал ее настоящую душу и отказался жениться. Видимо, я ничего не смыслю в мужской психологии.

С глубоким прискорбием
Энн Тейлор.

P. S. Может, Вы захотите написать матери. Урну с прахом мы отошлем домой. Адрес такой: миссис Мэри Келли, д. 19, Ливерпуль авеню, Гоулберн, Новый Южный Уэльс.

Я взял в руки авиаконверт. На нем было выведено мое имя — почерком Алисон. Вытряс на стол содержимое. Пучок засохших, спутанных цветов: фиалки, гвоздики. Стебельки двух гвоздик туго переплелись.

Три недели прошло, как сорваны.

К собственному ужасу, я заплакал.

Но плакать пришлось недолго. Поди тут спрячься. Грянул звонок на урок, и вот уже в дверь стучится Димитриадис. Утерев слезу тыльной стороной руки, я открыл. Как был, в пижаме.

— Ой! Вы что тут?.. Опаздываем.

— Неважно себя чувствую.

— Да на вас лица нет, дружочек.— Напустил на себя озабоченность. Я отвернулся.

— Вы передайте первой группе, чтоб повторяла материал. И остальным то же самое.

— Но...

— Вы оставите меня в покое или нет?

— Как же я объясню-то?

— Как хотите.— Вытолкал его вон.

Едва шаги и голоса стихли — а значит, начались уроки,— я оделся и вышел из здания. Хотелось убежать подальше и от школы, и от деревни, и от Бурани — от всего на свете. Вдоль северного побережья я добрел до пустынного заливчика, сел там на валун, достал из кармана вырезки, перечитал. 29 июня. Итак, чуть не последнее, что она сделала в этой жизни,— отправила обратно мое нераспечатанное письмо. А может, и последнее. Я сперва обиделся на ее подружку; но затем припомнил плоское лицо Энн, поджатые губы, добрые глаза. Слог у нее чересчур выспренний, но нарочно добивать лежачего она не станет. Я таких знаю. И знаю скрытность Алисон: то она обернется железной женщиной, которой вроде бы все нипочем, то ломакой, какую ни за что не примешь всерьез. Перед смертью два этих облика сложились в один мрачный узор: она оказалась не из тех, кто угрожает самоубийством и глотает таблетки, зная, что через час кто-нибудь появится. Нет, она положила себе двое суток, чтоб умереть наверняка.

Я виноват не только в том, что бросил Алисон. С тайной непреложностью, что иногда связывает близких, я понял, что ее удавшаяся попытка — прямое следствие моего рассказа о собственной, неудавшейся; а рассказ я уснастил ехидными литотами, дабы приуменьшить провал. Но и на эту, последнюю, удочку она не попалась. *Ты знать не знаешь, что такое печаль.*

Ее истерика в пирейской гостинице; «предсмертная записка», сочиненная накануне моего отъезда,— как казалось тогда, чтоб насильно удержать меня в Лондоне. Вот она на Парнасе; вот — на Рассел-сквер; говорит, движется, живет. Черная туча окутала меня — виновность, сознание того, сколь безжалостно мое самолюбие. Горькая домодельная правда, какой она потчевала меня с первого дня знакомства... но все же любила, будто слепая, все же любила. Раз призналась: *Когда ты меня любишь* (не «занимаешься со мной любовью», а «любишь»!), *это все равно как бог отпускает мои грехи;* и я подумал: снова софистика, снова духовный шантаж — я-де ничто без тебя, ты за меня отвечаешь. Впрочем, и гибель ее — тоже в некотором роде шантаж; но тот, кого шантажируют, обычно верит, что чист, а моя совесть запятнана. Именно теперь, когда я так стремился к чистоте, меня будто швырнули в самую грязь; освобожденный от долгов, но повязанный собственными кредитами.

А Жюли — Жюли сделалась мне абсолютно необходима.

Не просто жениться, но *исповедаться* ей. Будь она сейчас рядом,

я выложил бы все — и начал жизнь сызнова. Мне безумно хотелось вручить ей свою судьбу, вымолить у нее прощение. Лишь ее прощение в силах меня обелить. Я устал, устал, устал от лжи; устал от вранья чужого, от вранья собственного; но куда больше устал врать сам себе, ежеминутно сверять свой путь с биением чресл; их благо всякий раз оборачивалось пагубой для души.

И цветы — как вытерпеть эти цветы?

Я впал в смертный грех Адама, в самую старую, в самую чудовищную форму мужского себялюбия: навязал настоящей Алисон роль той Алисон, какую счел для себя удобной. Не развенчивал даже. Расчеловечивал. Что она сказала про того погонщика? *Он заслуживал по меньшей мере двух пачек.*

А я — я заработал одну-единственную смерть.

В тот же вечер у себя в комнате я написал письма Энн Тейлор и матери Алисон. Энн я поблагодарил и под настроение взял на себя львиную долю вины за случившееся; матери же (Гоулберн, Новый Южный Уэльс — вот Алисон корчит мне рожи: Гол-ворон, первый слог — каков город нынче, второй и третий — кому достанется завтра), матери адресовал неловкие — я ведь не знал, что́ именно ей писала обо мне Алисон,— соболезнования.

Перед тем как лечь, я снял с полки «Английский Геликон»; отыскал стихотворение Марло.

Приди, любимая моя!
С тобой вкушу блаженство я.
Открыты нам полей простор,
Леса, долины, кручи гор.

Мы сядем у прибрежных скал,
Где птицы дивный мадригал
Слагают в честь уснувших вод
И где пастух стада пасет.

Приди! Я плащ украшу твой
Зеленой миртовой листвой,
Цветы вплету я в шелк волос
И ложе сделаю из роз...[1]

52

В среду утром пришла еще весточка с родины. На клапане конверта — маленький черный орел: банк Баркли.

Дорогой мистер Эрфе!

Благодарю, что Вы, по совету обеих мисс Холмс, обратились ко мне. С удовольствием прилагаю бланк, который Вам, надеюсь, нетрудно будет заполнить и отослать мне, а также проспектик, где подробно перечислены особые услуги, доступные нашим клиентам за рубежом.

Искренне Ваш
П. Дж. Фирн,
управляющий.

Дочитав до точки, я взглянул на мальчика, сидевшего за первой партой, и одарил его улыбочкой; непринужденная ухмылка горе-картежника.

Полчаса спустя я уже взбирался на центральный водораздел. Лес томился в безветрии, зной развоплотил горы до состояния дыма, контуры восточных островов — редкий оптический обман — парили и зыбились над водою, точно детские волчки. Из-за гребня холма показался южный берег, сердце екнуло. Яхта амнистией стояла на рейде. Я отошел в тень, откуда

[1] Начальные строфы стихотворения Кристофера Марло «Страстный пастух — своей возлюбленной» приведены в переводе И. Н. Жданова.

просматривалась вилла, и сидел там минут тридцать в каком-то трансе: внутри черный комок гибели Алисон, под ногами, в солнечных лучах — предчувствие Жюли; той Жюли, что обрела наконец свое истинное имя. За эти два дня я начал потихоньку смиряться с мыслью, что Алисон больше нет; вернее, вытеснять этот факт из сферы морального в сферу художественного — там с ним легче управиться.

С помощью такого вот безграмотного стяжения, такого вот маневра, подменяющего покаяние как таковое, то есть убежденность, что перенесенные злоключенья непременно осенят *нас самих* благодатью или, во всяком случае, возвысят душу скрытым самооправданием, то есть убежденностью, что злоключенья несут благодать *всему миру,* а значит, минувшее наше злоключение по законам некоего кособокого тождества приравнивается если не ко всеобщей благодати, то по крайней мере к ценному вкладу в опыт всего человечества, с помощью такого вот присущего двадцатому веку отказа от содержания ради формы, от смысла — ради видимости, от этики — ради эстетики, от aquae — ради undae, я и врачевал рану вины, нанесенную мне этой смертью; и наказывал сам себе: не говори о ней обитателям Бурани. Нет, от Жюли я ничего не стану скрывать, но расскажу обо всем в нужное время и в нужном месте, когда пойму, что обменный курс состраданья по отношению к моим жалостным откровенностям достиг в ее душе предельно высокой отметки.

Прежде чем встать, я вынул официальный ответ банка Баркли и, перечитав его, помимо воли преисполнился снисходительности к Кончису. Что ж, напоследок я не прочь повалять дурака — коли партнер подыграет.

Я приближался к вилле тем же нетвердым шагом, что в первый свой приход. Как тогда, незваный, робеющий; как тогда, миновал ворота и обомлел при виде молчаливого, таинственного, залитого солнцем дома, прошел вдоль колоннады и наткнулся на чайный столик с муслиновыми салфетками. Никого. Море, зной за арочными проемами, плитка на полу, тишина, ожидание.

И колебался я так же, как в первый раз, хоть и по иным причинам. Положил походную сумку на плетеный пуфик и вступил в концертную. От клавикордов поднялась человеческая фигура, будто давным-давно стерегшая миг моего появления. Молчанье.

— Вы что, ждали меня?

— Ждал.

— Несмотря на письмо?

Взглянул мне в лицо, затем на руку, где красовалась ссадина, полученная мною десять дней назад в стычке с «фашистами». Теперь она подсохла, но красные следы дезинфектанта, наложенного школьной медсестрой, еще не исчезли.

— Вы бы аккуратней. Здесь недолго схватить заражение крови.

Я кисло улыбнулся:

— Да уж и так вовсю берегся.

Не извиняется, ничего не объясняет; и отвечает как-то уклончиво. Яснее ясного: что б он там ни обещал девушкам, мне по-прежнему собирается пудрить мозги. За его плечом в окне мелькнула Мария с подносом. И еще одно я успел заметить: с витрины, где выставлены ископаемые непристойности, убрана старая фотография лже-Лилии. Опустив сумку на пол, я скрестил руки на груди и улыбнулся опять, не менее кисло.

— Я тут побеседовал с барбой Димитраки.

— Вот как?

— Оказывается, у меня больше товарищей по несчастью, чем я думал.

— По несчастью?

— А как еще назвать тех, кого подвергают мукам, не оставляя никакого выбора?

— Звучит как строгая дефиниция рода людского.

— Меня сильней заботит, как определить человека, который, по всей видимости, возомнил себя богом.

Тут он не сдержал улыбки, будто принял мою откровенную иронию за лесть. Обойдя клавикорды, приблизился.

— Давайте осмотрю вашу руку.— Я грубо сунул ее ему под нос. Костяшки пальцев здорово свезло, но они почти зажили. Он не спеша обследовал царапину, спросил, не было ли признаков сепсиса. Потом заглянул мне в глаза.

— Это вышло ненамеренно. Или вы и тут сомневаетесь?

— Я теперь стану сомневаться во всем, господин Кончис. Пока не узнаю правды.

— А если поймете, что лучше вам было ее не знать?

— Ничего, рискну.

Оценивающе посмотрел на меня, пожал плечами.

— Очень хорошо. Давайте пить чай.

Вывел меня под колоннаду. Не садясь, сурово указал на противоположный стул и принялся разливать чай. Я уселся. Он ткнул пальцем в еду.

— Угощайтесь.

Я взял сандвич, но, прежде чем откусить, поинтересовался:

— Разве девушкам не полагается узнать правду одновременно со мной?

— Они ее уже знают.— Он сел.

— Включая и то, что вы подделали мое письмо к Жюли?

— Это ее письма к вам подделаны.

Ага! «Письма». Что она мне писала, он смекнул, но сколько раз — не догадался.

— Простите,— сказал я, улыбнувшись.— Я уже обжигался на молоке.

Он потупился и, как мне почудилось, в некотором замешательстве, явно не подозревая, до какой степени Жюли была со мной откровенна, затеребил край скатерти. Угрюмо поднял глаза.

— Что вам во мне не по вкусу?

— Ваши адские замашки.

— Вас что, силком сюда волокут? И в первый раз против воли затащили?

— Не притворяйтесь наивным. Вы отлично понимаете, кем надо было быть, чтоб удержаться. Но несмотря на все это,— я помахал окорябанной рукой,— я вам даже признателен. Вот только первое действие домашнего спектакля — или эксперимента, называйте как хотите,— закончилось.— Я улыбнулся ему.— Ручные кролики просекли фишку.— Этого выражения он, похоже, не знал.— Да, фишку; рассекли ее надвое. Однако от новых фишек отпихиваются, пока не поймут, что там внутри.

И опять он заглянул мне в глаза. Я припомнил слова Джун: *Ему надо, чтоб не он нас, а мы его поставили в тупик*. Но ведь видно же, что наши вольности и секреты он согласен терпеть лишь до поры; вольер, сколь ни сложна его планировка, сооружается для того, чтобы ни одно движение подопытного не ускользнуло от наблюдателя.

Голос его отвердел:

— Барба Димитраки не рассказывал, что перед войной я держал здесь частный театрик?

— Рассказывал.

Откинулся на стуле.

— В военные годы у меня оказалось много времени для размышлений и не осталось друзей, чье присутствие отвлекает от дум. И передо мной забрезжил новый театральный жанр. Жанр, где упразднено привычное деленье на актеров и зрителей. Где привычное пространство — просцениум, сцена, зал — напрочь уничтожено. Где протяженность спектакля во времени и пространстве безгранична. И где действие, сюжет свободно текут от зачина к задуманному финалу. А между этими двумя точками участники творят ту пьесу, какая им по душе.— Кольнул меня магнетическим взглядом.— Вы скажете: к этому стремились и Арто, и Пиранделло, и Брехт — каждый своим путем. Да, но им не хватило ни денег, ни отваги — ни времени, конечно,— зайти столь далеко. Они так и не решились исключить из своего театра одну важную составляющую. Аудиторию.

Я улыбнулся с нескрываемой иронией. «Объяснение» вышло вразумительней предыдущих, но Кончису явно невдомек, что он сам не дает мне ни малейшей возможности принять на веру его россказни, ибо и новую версию выкладывает на прилавок с такой миной, будто убежден, что я клюну на любую приманку.

— Ясненько.

— Все мы здесь актеры, дружок. Каждый разыгрывает роль. Каждый подчас говорит неправду, а некоторые постоянно лгут.

— Только не я.

— Вам еще многому предстоит учиться. Между вашим самосознаньем и истинным «я» — такая же пропасть, как между египетской маской, которую надевал наш американский приятель, и его настоящим лицом.

— Мне он не приятель,— отрезал я.

— Вы не стали бы так говорить, посмотрев его в роли Отелло. Блестящий молодой актер.

— Еще бы. Так ведь он, по идее, немой?

— Изображает немого — и, повторяю, мастерски.

— Что ж вы такой талантище на второстепенную роль швыряете? — Он не отвел глаз; знакомый взгляд, угрюмо-насмешливый.— Пришлось, должно быть, наделать прорех в вашем текущем счете,— заметил я.

— Драма богатого человека в том, что его текущему счету существенные прорехи не угрожают. Как и прибавления. Но теперешнее действо, сознаюсь, замышлялось с невиданным размахом.— И помолчав: — По той причине, что до будущего лета я могу и не дотянуть.

— Сердце?

— Сердце.

Но выглядел он неуязвимо смуглым, ладным и сострадания уж точно не вызывал.

— «Замышлялось» — в прошедшем времени?

— Да, ибо вы оказались не способны верно провести свою роль.

Я ухмыльнулся; дикость какая-то.

— Может, все-таки стоило сперва объяснить мне, в чем она заключается?

— Подсказок было более чем достаточно.

— Слушайте, господин Кончис, Жюли передала мне, чему вы собираетесь посвятить остаток лета. И я сейчас тут не затем, чтоб скандалить. Так что бросайте-ка эти бредовые разговоры насчет того, что я вас подвел. Либо я и вправду подвел вас, но вы сами этого хотели, либо не подводил. Третьего не дано.

— А я по праву режиссера — да-да, режиссера — говорю вам, что роль вы провалили. Добавлю в качестве утешения: даже справься вы с ней, девушка, на которую вы засматривались, вам все равно не досталась бы. Финал спектакля сочиняется загодя, и этим летом он был именно таков.

— Я хотел бы услышать это из ее собственных уст.

— Да вы б сами знать ее больше не пожелали. Комедия окончена.

— Я как раз ждал финала, чтоб нанести актрисе частный визит.

— И она вам, похоже, пообещала.

— Причем ее обещанья безмерно убедительней ваших.

— Ее обещания — пустой звук. Тут все подделка. Она лицедействует, тешится вами. Как Оливия забавлялась любовью Мальволио.

— Скажите еще, что ее зовут не Жюли Холмс.

— Ее настоящее имя —Лилия.

Я как можно шире осклабился, но в его лице не дрогнул ни один мускул, и это поразило меня — в сотый раз, как в первый. Пришлось отвести глаза.

— Где они? Могу я с ними увидеться?

— Они в Афинах. Вы больше не увидитесь ни с Лилией, ни с Розой.

— С Розой! — повторил я с насмешливым недоверием, но он только кивнул.— Нестыковочка. Когда они родились, детей давно уж такими именами не называли.

— Вы больше с ними не увидитесь.

— А вот и увижусь. Во-первых, вам самому того хочется. Во-вторых, если и не хочется почему-либо, что б вы там ни наплели девушкам, дабы запихнуть их в Афины на все выходные, ничто не помешает нам с Жюли встретиться позже. И в-третьих, у вас нет никакого права совать нос в наши интимные отношения.

— Согласен. Да вот интимные-то они разве что с вашей колокольни.

Я ослабил натиск.

— Вообще такому гуманисту, как вы, не пристало дирижировать чужими душами.

— Это проще, чем вам кажется. Если следуешь партитуре.

— Но партитура-то развалилась. Повесть «Сердца трех». Вам это лучше меня известно.— И последний маневр: — Ведь девушкам вы столько правды рассказали, какой же смысл надеяться, что они не передадут мне все слово в слово? — Не ответил.— Господин Кончис, нас уламывать не надо,— как можно рассудительней продолжал я.— Вашему колдовству приятно покоряться. И мы до некоторой степени рады и впредь способствовать вашим забавам.

— Метатеатр не признает степеней.

— Ну тогда мы, люди заурядные, для него не годимся.

Кажется, сработало. Он уткнулся взглядом в стол, и я было решил, что одержал верх. Но вот он поднял глаза; нет, не одержал.

— Послушайтесь меня. Возвращайтесь в Англию, назад к той самой девушке. Женитесь, оборудуйте очаг и учитесь быть самим собой.— Я отвернулся. Крикнуть бы: Алисон умерла, и умерла как раз потому, что вы втравили меня в историю с Жюли. Хватит, хватит с меня неправды, хватит выморочных недомолвок... но в последний момент я прикусил язык. Эта искренность не нуждается в стариковых тестах, а скажи я — и от них не уйти.

— То есть учиться быть самим собой — это и значит жениться и завести очаг?

— Да, а что?

— Верный заработок и домик в зеленой зоне?

— Таков удел большинства.

— Лучше сдохнуть.

Разочарованный жест; я-де устал вникать в ваш характер и в ваши чаянья. Вдруг он поднялся.

— Увидимся за ужином.

— Я бы осмотрел яхту.

— Исключено.

— И поговорил с девушками.

— Сказано вам, они в Афинах.— И помолчав: — То, что я собираюсь рассказать вечером,— для мужских ушей. Женского там нет ни грана.

Последняя глава; я уже смекнул, каков будет ее сюжет.

— О том, что случилось во время войны?

— О том, что случилось во время войны.— Сухо откланялся.— До ужина.

Повернулся, зашагал в дом, а я остался сидеть. Ярость мою питало скорее нетерпение, нежели страх. Похоже, на каком-то этапе мы с Жюли сломали ему всю игру, догадались о чем-то, что он хранил в глубокой тайне,— и, верно, догадались быстрей, чем он рассчитывал, коли этого старца охватила столь ребяческая досада. Девушки, понятно, на яхте; я увижусь с ними не сегодня, так завтра. Я задумчиво пережевывал пирожное. В конце-то концов, навык земного притяжения, чувство целесообразности не покинули меня... разве стал бы он так основательно готовиться к летним шалостям, если б думал порушить их в самый ответственный момент? Нет, продолжение следует; карты недавно розданы, мы прошли первый круг блефа, и вот-вот начнется борьба всерьез, покер на интерес.

Две недели назад мы обедали с сестрами за этим же столом под колоннадой... вспомнив их близость, я огляделся — может, они и теперь

притаились в глубине сосен, а уверенья Кончиса в том, что искать их тут бесполезно, надо понимать наоборот: ищи, ищи? Я отнес сумку в свою комнату на втором этаже, заглянул под подушку, в шкаф: Жюли должна была оставить мне записку. Нет, ни клочка.

Я покинул дом. И затерялся в предвечерней жаре. Методично обошел места, где мы бывали вдвоем. Непрестанно оборачивался, прислушивался. Но вокруг царила тишина; никто и ничто не двигалось. Даже яхта не подавала признаков жизни, хотя ялик был спущен на воду и удерживал его у самого борта трап, а не канат. Казалось, в театре вправду ни души; старый хрен свое дело знал: как любому, кто бродит в безлюдных кулисах, мне стало тоскливо и жутковато.

Ужин был накрыт под колоннадой, а не наверху, как раньше. Стол с двумя приборами перенесли в ее западное крыло, откуда сквозь сосновые стволы просматривалась Муца. По центру фасада, у лестницы, стоял еще столик — с хересом, узо, водой и миской маслин. Дожидаясь старика, я уговорил пару бокалов. Сумерки сгущались. Ни ветерка; мыс обволокла бездыханность.

Прихлебывая спиртное, я думал о том, что с Кончисом надо бы обходиться повежливей. Весьма вероятно, чем больше я злюсь, тем сильней он злорадствует. Ладно уж, не стану настаивать на свидании с девушками; притворюсь, что принял его резоны.

Он бесшумно вышел из дома, и я приветливо улыбнулся.

— Плеснуть вам чего-нибудь?

— Капельку хереса. Спасибо.

Я налил полбокала и подал ему.

— Искренне сожалею, что мы нарушили ваши расчеты.

— Я рассчитываю только на волю случая.— Безмолвный тост.— А ее нарушить нельзя.

— Ведь рано или поздно мы все равно отошли бы от своих ролей.

Устремил взгляд к горизонту.

— В том-то и задача метатеатра: участники представления должны отойти от первоначальных ролей. Этап катастазиса.

— Боюсь, этого термина я никогда не слышал.

— В античной трагедии он предшествует финалу. Развязке.— И добавил: — Или, может статься, в комедии.

— Может статься?

— Коли мы поймем, как отойти от тех ролей, которые исполняем в обыденной жизни.

Я выдержал паузу и огорошил его следующим вопросом — в точности так поступал со мной он:

— А ваша ко мне неприязнь по роли задана или идет от души?

Невозмутимо:

— В отношениях между мужчинами приязнь значения не имеет.

Узо толкало меня под руку:

— И все-таки — вы ведь меня недолюбливаете?

Темнота зрачков.

— Ждете ответа? — Я кивнул.— Что ж: недолюбливаю. Но я вообще мало кого люблю. Особенно среди тех, кто принадлежит к вашему возрасту и полу. Любовь к ближнему — фантом, необходимый нам, пока мы включены в общество. А я давно уж от него избавился — во всяком случае, когда я приезжаю сюда, он мне не нужен. Вам нравится быть любимым. Мне же нравится просто быть. Может, когда-нибудь вы меня поймете. И посмеетесь. Не надо мной. Вместе со мной.

Я помолчал.

— Вы как фанатичный хирург. Вас куда больше интересует не пациент, а сам процесс операции.

— Не хотел бы я угодить под нож того хирурга, которого не интересует процесс.

— Так ваш... метатеатр на самом деле — анатомический?

За спиной его воздвиглась тень Марии, поставила супницу на серебряно-белый, залитый сиянием лампы стол.

— Как посмотреть. Я предпочитаю обозначать его словом «метафизический».— Мария известила нас, что пора садиться. Он небрежно кивнул ей — слышим, слышим,— но не двинулся с места.— Кроме прочего, метатеатр — попытка освободиться от таких вот абстрактных эпитетов.

— Скорее искусство, чем наука?

— Всякая уважающая себя наука — искусство. И всякое уважающее себя искусство — наука.

Сформулировав эту изящную, но плоскую апофегму, он отставил бокал и двинулся к столу. Я бросил ему в спину:

— Видно, вы именно меня держите за настоящего шизофреника.

Он сперва уселся как следует.

— Настоящие шизофреники не способны выбирать между здоровьем и болезнью.

Я стал напротив.

— Выходит, я шизофреник-симулянт?

На секунду он отмяк, точно я сморозил ребяческую глупость. Указал мне на стул.

— Теперь не имеет значения. Приступим.

Едва мы принялись за еду, гравий у домика Марии захрустел под чьими-то шагами. Идущих было двое или трое. Оторвавшись от супа с яйцом и лимоном, я вытянул шею, но стол нарочно поставили так, чтобы затруднить обзор.

— Сегодняшняя история потребует картинок,— сказал Кончис.

— А разве мне их уже не показали? Эффект был о-го-го.

— На сей раз картинки документальные.

И насупился: дескать, ешьте, ни слова больше. Кто-то вышел из его комнаты и прошел по террасе над нашими головами. Там скрипнуло, зазвякало. Я управился с супом и попытался улестить Кончиса, пока Мария не притащила второе.

— Жаль, вы ничего больше не расскажете о довоенных временах.

— Главное вы слышали.

— Если я правильно понял норвежский эпизод, вы разочаровались в науке. Но психиатрией-то все же занялись!

Передернул плечами.

— Постольку поскольку.

— Статьи ваши даже при первом знакомстве свидетельствуют о серьезных штудиях.

— Это не мои статьи. Их заголовки подделаны.

Я не сдержал улыбки. Безапелляционный тон подобных заявлений служил верным знаком: понимай все наоборот. Он, конечно, не ответил мне улыбкой, но явно решил напомнить, что далеко не всегда так прост.

— В моем тогдашнем рассказе, пожалуй, есть зерно истины. И в этом смысле вопрос ваш правомерен. Нечто похожее на историю, которую я сочинил, произошло со мной в действительности.— И, поколебавшись, продолжал: — Во мне всю жизнь боролись тайна и знание. Будучи врачом, я стремился к последнему, преклонялся перед ним. Будучи социалистом и рационалистом — то же самое. Но вскоре понял, что потуги подменить реальность научной доктриной, обозначить, классифицировать, вырезать из нее аппендикс существования,— то же, что попытки удалить из земной атмосферы воздух. Натуралисту удалось создать вакуум, однако лишь вокруг самого себя — и натуралист немедля погиб.

— А богатство вам и вправду досталось нежданно — как в эпизоде с де Дюканом?

— Нет.— И добавил: — Я родился в богатой семье. Причем не в Англии.

— А как же вся история эпохи первой мировой?

— Чистый вымысел.

Я сглотнул: он впервые с начала ужина отвел глаза.

— Но ведь где-то же вы родились!

— Понятие «отчизна» меня давным-давно не волнует.

— И в Англии, несомненно, жили.

Вскинул глаза — сторожкие, печальные; однако в глубине их теплилась насмешка.

— Не надоело вам баснями питаться? А то я еще пару придумаю.

— По крайней мере, вилла в Греции у вас имеется.

Дуновенье его взгляда потушило иронический огонек, скользнуло над моей головой, рассеялось в вечерней тьме.

— Я всю жизнь добивался собственного клочка земли. Как птица — гнездовой территории. Строго определенного участка, куда другим особям моего вида вход, как правило, заказан.

— Но постоянно вы тут не живете.

Помолчал, будто наше препирательство стало его утомлять.

— Повадки рода человеческого сложней, чем птичьи. И границы людских территорий почти не зависят от рукотворных преград.

Мария принесла блюдо с тушеной козлятиной, убрала суповые тарелки; беседа ненадолго прервалась. Но когда мы остались вдвоем, он вдруг подался ко мне. Ему надо было выговориться.

— Богатство — вещь чудовищная. Распоряжаться деньгами учишься около месяца. Но чтобы привыкнуть к мысли «Я богат», нужны годы и годы. И все эти годы я считался только с собой. Ни в чем себе не отказывал. Повидал свет. Вкладывал средства в театральные постановки, но куда больше тратил на фондовой бирже. Завел множество друзей; кое-кто из них теперь прославился. Но я так и не обрел настоящего счастья. Правда, взамен осознал то, что богачи осознают редко: количество счастья и горя закладывается в нас при рождении. Денежные превратности на него мало влияют.

— Когда вы устроили здесь театр?

— Знакомые приезжали ко мне погостить. И страшно скучали. Да и я с ними почти всегда скучал. Тот, с кем весело в Лондоне или в Париже, на эгейском острове подчас невыносим. И мы завели себе театрик, некие подмостки. Там, где сейчас Приап. Et voilà [1].

— И с учителями английского знались?

— До войны все происходило по-другому,— ответил он, кладя себе кусочек мяса.— Мы разыгрывали чужие пьесы. Иногда видоизменяли сюжет. Но сами сюжетов не выдумывали.

— Барба Димитраки рассказывал про пышный фейерверк. Он любовался им с моря.

Быстрый кивок:

— Значит, он случайно запомнил ту ночь, которая и мне весьма памятна.

— Только дату забыл.

— Тридцать восьмой.— Интригующая пауза.— Год основания моего театра. Я имею в виду постройку. В ее честь был дан салют.

Я хотел было напомнить, как он якобы сжег все романы из своей библиотеки, но тут Кончис помахал ножом.

— Довольно. Примемся за еду.

Пощипал чудесного козленка и поднялся со стула, хотя я еще сидел над полной тарелкой.

— Доедайте. Я скоро вернусь.

Скрылся в доме. Сразу же наверху зашептались по-гречески; притихли. Мария принесла сладкое, затем кофе; я закурил и стал ждать. Вопреки очевидности я надеялся на появление Жюли и Джун; мне снова так недоставало их тепла, здравого смысла, англий скости. В течение всего ужина, всей нашей беседы Кончис держался как-то пасмурно и отчужденно, точно вкладывая во фразу о конце комедии дополнительный смысл; маски попадали, но та, что мешала мне сильнее других, и не шелохнулась. Когда он

---

[1] Вот так-то (*франц.*).

признал, что недолюбливает меня, я поверил сразу. И отчего-то понял: он не станет силой препятствовать мне увидеться с девушками; однако и враль-то ведь он фантастический... во мне копошилось опасеньице, что он знал о нашей с Алисон встрече в Афинах, чудом вынюхал, дабы доказать им, что я тоже лгун, причем, в отличие от него, лгун бытовой.

Он вырос в распахнутых дверях концертной с тонкой картонной папкой в руке.

— Вот там будет удобнее.— Указал на столик у центральной арки, с которого Мария только что прибрала выпивку.— Вас не затруднит перенести туда стулья? И лампу.

Я оттащил стулья на нужное место. Но едва взялся за лампу, как из-за угла колоннады кто-то вышел. На долю секунды сердце мое замерло: ну наконец-то Жюли, это ее мы дожидались. Но то был негр, весь в черном. Он нес в руке продолговатую трубку; отошел слегка в глубь гравийной площадки и установил трубку на треножнике прямо напротив нас. Портативный экран, догадался я. Негр с сухим скрежетом развернул белый прямоугольник, подвесил, проверил, ровно ли. Наверху негромко сказали:

— Эндакси.— Порядок. Какой-то грек; голос незнакомый.

Негр молча, не глядя в нашу сторону, повернул обратно. Кончис прикрутил фитиль почти до отказа и усадил меня рядом с собой, лицом к экрану. Воцарилось молчание.

— То, что я собираюсь рассказать, возможно, объяснит вам, почему завтра вы должны будете покинуть этот дом навсегда. И на сей раз я ничего не стану придумывать.— Я не ответил, хотя он ненадолго прервался, словно рассчитывая на мои протесты.— Хотелось бы также, чтоб вы усвоили: эта история могла произойти лишь в том мире, где мужчина ставит себя выше женщины. В том мире, который американцы называют миром настоящих мужчин. В мире этом правят грубая сила, сумрачная гордыня, ложные приоритеты и пещерный идиотизм.— Вперился в экран.— Мужчинам нравится воевать потому, что это занятие придает им важности. Потому, что иначе женщины, как мужчинам кажется, вечно будут потешаться над ними. А во время войны женщина при желании может быть умалена до состояния объекта. В этом и заключается основная разница между полами. Мужчина воспринимает объект, женщина — взаимоотношения объектов. Нуждаются ли объекты друг в друге, любят ли, утоляют ли друг друга. Это добавочное измерение души, которого мужчины лишены, делает войну отвратительной и непостижимой в глазах истинных женщин. Хотите знать, что такое война? Война — это психоз, порожденный чьим-то неумением прозревать взаимоотношения вещей. Наши взаимоотношения с ближними своими. С экономикой, с историей. Но прежде всего — с ничто. Со смертью.

Умолк. Его маска приобрела небывало сосредоточенное, небывало замкнутое выражение. И тогда он произнес:

— Я начинаю.

Ελευθερια

53

— В сороковом, когда итальянцы оккупировали Грецию, я принял решение не покидать страну. Почему? — затрудняюсь объяснить. Возможно, из любопытства, может — из чувства вины, может — из безразличия. Тут, в глухом углу глухого острова, для этого особой отваги не требовалось. После шестого апреля сорок первого года итальянцев сменили немцы. К двадцать седьмому они обосновались в Афинах. В июне добрались до Крита, и на короткий период мы оказались в зоне военных действий. С утра до вечера в небе гудели грузовые самолеты, бухты заполонил германский десантный флот. Но вскоре на острове вновь воцарился мир. Фраксос не представлял стратегической ценности ни для стран Оси, ни для сил Сопротивления. Местный гарнизон был немногочислен. Сорок австрийцев — фашисты всегда размещали австрийцев и итальянцев в незначительных

регионах оккупированной территории — под командой лейтенанта, который получил ранение на французском фронте.

Еще во время боев на Крите меня выдворили из Бурани. Здесь был оборудован постоянный наблюдательный пункт — гарнизон, собственно, и занимался-то лишь его обслуживанием. К счастью, в деревне у меня имелся свой дом. Немцы вели себя вежливо. Перевезли ко мне всю обстановку виллы, а за Бурани даже положили небольшую арендную плату. Не успели они освоиться, как тогдашний проэдрос, деревенский староста, помер от закупорки сосудов. Через два дня меня вызвали к новоприбывшему коменданту острова. Его штаб разместился в хорошо знакомой вам школе, занятия там не возобновлялись с самого Рождества.

Я ожидал встретить этакого каптенармуса, который негаданно получил повышение. Но очутился перед миловидным молодым человеком лет двадцати семи — двадцати восьми; он обратился ко мне на безупречном французском и спросил, правда ли, что я тоже бегло владею этим языком. Он был весьма обходителен, говорил чуть ли не извиняющимся тоном, и мы прониклись друг к другу симпатией, насколько это возможно в подобных обстоятельствах. Вскоре он приступил к делу. Он хочет видеть меня новым деревенским старостой. Я сразу отказался; я не желал, чтоб война коснулась меня каким бы то ни было боком. Тут он послал за парочкой почтенных сельчан. По их прибытии оставил нас одних, и выяснилось, что это они предложили мою кандидатуру. Дело, понятно, было в том, что никто из них не стремился занять эту должность, с ее коллаборационистским душком, и я оказался идеальным bouc émissaire [1]. Они изложили все это с позиций высокой щепетильности и такта, но я был непреклонен. Тогда они отбросили лукавство — пообещали скрытно помогать мне... словом, в конце концов я сказал: ладно, согласен.

Эта внезапная и двусмысленная честь предполагала частые встречи с лейтенантом Клюбером. Как-то вечером, недель через пять или шесть после нашего знакомства, он попросил называть его просто Антоном, когда мы наедине. Отсюда вы можете заключить, что наедине мы оставались часто и что взаимная наша симпатия крепла. Найти общий язык помогла прежде всего музыка. У него был красивый тенор. Подобно многим одаренным дилетантам, он исполнял песни Шуберта и Вольфа лучше — более прочувствованно, что ли,— чем профессиональные певцы, за исключением самых выдающихся. По крайней мере, на мой вкус. Когда я впервые пригласил его в гости, он сразу углядел клавикорды. И я не без умысла сыграл ему Гольдберг-вариации. Коли требуется растрогать чувствительного германца, ничего слезоточивее не найти. Не подумайте, что Антон годился в противники. Нет — чуть не стыдился собственного мундира и не прочь был повосторгаться каким-нибудь антифашистом, буде таковой явится. Когда я в следующий раз зашел в школу, он упросил аккомпанировать ему на казенном фортепьяно, которое перетащил в свои апартаменты. И тут я, в свою очередь, растрогался. Не до слез, конечно. Но пел он великолепно. А я всегда питал слабость к Шуберту.

Меня не могло не занимать, отчего Антон с его знанием французского служит не на французской территории. Кажется, «некие соотечественники» заподозрили, что его пристрастие ко всему французскому недостаточно «патриотично». Без сомнения, в офицерской столовой он слишком часто поднимал голос в защиту галльской культуры. Потому его и сослали в эту дыру. Забыл сказать, что во время наступления сорокового года он был ранен в коленную чашечку, и хромота сделала его негодным для участия в боевых действиях. Он немец, а не австриец. Происходил из богатой семьи, перед войной год учился в Сорбонне. Облюбовал поприще архитектора. Но его обучение, увы, было прервано войной.

...Кончис остановился, прибавил света; вытащил из папки большой чертеж, развернул. Два-три эскиза — общий вид и проекции, сплошь стекло и отшлифованный бетон.

---

[1] Козлом отпущения (*франц.*).

— Он жестоко высмеивал планировку виллы. Обещал, что после войны вернется и выстроит мне новую. В лучших традициях «Баухауса».

...Все надписи выполнены по-французски; ни одного немецкого слова. Подпись: Anton Kluber, le sept juin, l'an 4 de la Grande Folie [1]. Кончис дал мне рассмотреть изображение и снова привернул фитиль.

— Целый год при немцах все было терпимо. Продуктов хватало в обрез, но Антон, как и его подчиненные, закрывал глаза на бесчисленные злоупотребления. Глупо представлять оккупацию как борьбу головорезов карателей с забитым населением. Большинство австрийских солдат были уже в летах, сами отцы семейств — легкая добыча для деревенской детворы. Раз, летом сорок второго года, на рассвете прилетел самолет союзников и торпедировал плавучий склад провианта, что направлялся на Крит и встал на якорь в старой гавани. Корабль затонул. Сотни упаковок с провизией всплыли и заплясали в волнах. К тому времени островитяне уже год не брали в рот ничего, кроме рыбы и клеклого хлеба. Невозможно было устоять при виде этих мяса, молока, риса и прочих деликатесов. На воду было спущено все, что могло плавать. Мне сообщили о случившемся, и я поспешил к гавани. На мысу стоял немецкий пулемет — он браво обстрелял самолет союзников; перед моими глазами замаячила жуткая картина искупительной бойни. Но на месте я увидел, что островитяне усердно расхватывают тюки в сотне ярдов от пулеметного гнезда. За ограду наблюдательного пункта высыпали караульные во главе с Антоном. Ни одна пуля не покинула ствола.

Чуть позже Антон вызвал меня к себе. Я, естественно, рассыпался в благодарностях. Он сказал, что собирается подать рапорт о решительных действиях сельчан, которые вовремя подгребли и вытащили из воды нескольких матросов. Теперь ему требуется малое число продуктовых упаковок, чтобы предъявить, когда у него спросят, уцелела ли провизия. Я должен обеспечить их сохранность. Остальное будет считаться «утонувшим и пришедшим в негодность». Остатки недоверия к Антону и его солдатам у жителей деревни улетучились.

Помню, как-то вечером, примерно через месяц, компания австрийцев, немного под мухой, завела в гавани песню. И вдруг островитяне тоже запели. В ответ. Сперва австрийцы, потом сельчане. Германцы и греки. Тирольский напев. Затем — каламатьяно. Слушать это было удивительно. В конце концов они поменялись песнями и слились в общем хоре.

Но тут наш местный золотой век пошел на убыль. Один из австрийцев, видимо, оказался стукачом. Через неделю после хорового пения к гарнизону Антона было прикомандировано немецкое подразделение — «для укрепления морального духа». Он прибежал ко мне, точно расстроенный ребенок, и пожаловался: «По их словам, я был на грани того, чтобы опозорить вермахт. Я должен поработать над своим поведением». Его солдатам запретили делиться продуктами с местными жителями, и теперь они гораздо реже появлялись в деревне. В ноябре, после вылазки Горгопотамоса, гайки закрутили еще туже. К счастью, благодаря мягкости прежнего режима сельчане доверяли мне более, чем я того заслуживал, и восприняли эти строгости, сверх всяких ожиданий, спокойно.

...Кончис умолк, потом дважды хлопнул в ладоши.

— Хочу показать вам Антона.

— По-моему, я его уже видел.

— Нет. Антон мертв. Вы видели актера, похожего на него. А вот — настоящий Антон. В годы войны у меня была ручная кинокамера и две катушки пленки. Я хранил их до сорок четвертого, пока не смог проявить. Качество оставляет желать лучшего.

Слабо застрекотал проектор. Сверху упал луч света, его сфокусировали, направили на экран. Кадр размытый, нечеткий.

Я увидел красивого молодого человека моего возраста. Тот, кого я встретил на прошлой неделе, имел с ним только одну схожую черту —

---

[1] Антон Клюбер, седьмое июня, 4-й год Великого безумия *(франц.)*.

густые темные брови. Передо мной, несомненно, был боевой офицер. Его нельзя было назвать добреньким; скорее он напоминал наших летчиков-ветеранов с их напускным безразличием. Он спускался по улочке вдоль высокой стены — возможно, мимо дома Гермеса Амбеласа. Улыбнулся. Смущенно похохатывая, изобразил трагического тенора; и тут кончился десятисекундный завод камеры. В следующем фрагменте молодой человек пил кофе, играя с кошкой, сидевшей на полу; покосился в объектив — грустный, смущенный взгляд, будто ему запретили улыбаться. Ролик был нерезкий, дерганый, любительский. Следующий кадр. Колонна солдат шагает вдоль гавани; снято явно сверху, из какого-нибудь чердачного окна.

— Антон — замыкающий.

Он слегка прихрамывал. Я понял, что на сей раз передо мной не подделка. За колонной виднелся просторный мол, где теперь располагались таможенка и будка спасателя. В фильме никаких построек на молу не было.

Луч погас.

— Все. Я снимал больше, но одна катушка засветилась. Спасти удалось только эти фрагменты.— Он помедлил.— За «укрепление морального духа» в нашем районе Греции отвечал полковник СС по фамилии Виммель. Дитрих Виммель. Ко времени, о котором я рассказываю, в стране активизировалось Сопротивление. Где условия позволяли. Конечно, партизанская война на островах не ладилась — разве что на таких больших, как Крит. Но и на севере, и по всему Пелопоннесу поднимали голову ЭЛАС и другие группировки. Им сбрасывали оружие. Специально обученных диверсантов. В конце сорок второго года Виммеля из Польши, где он действовал весьма удачно, перебросили в Нафплион. Он контролировал юго-запад Греции, а значит, и нас. Его стиль был прост. Имелся такой «прейскурант»: за каждого раненого немца казнили десятерых местных; за убитого — двадцатерых. Как вы понимаете, эта практика себя оправдывала.

Под началом у него была банда отборных тевтонских ублюдков, которые и допрашивали, и пытали, и расстреливали — все что требуется. Эмблемой их были die Raben, во́роны — этим именем их и называли.

Я познакомился с ним еще до того, как он принялся за свои гнусности. Как-то зимой мне передали, что некий важный чин утром неожиданно прибыл на остров в немецкой моторной лодке. Днем меня вызвал Антон. В комендатуре мне представили низенького, худого человека. Моего возраста, моей комплекции. Предельно аккуратный. Изысканно вежливый. Пожал мне руку стоя. Он говорил по-английски достаточно хорошо, чтобы понять, что мой английский гораздо лучше. И когда я признался, что с Англией меня связывают крепкие духовные узы, что там я приобрел немалую часть своих познаний, он сказал: «Величайшая драма нашего времени — та, что Англия и Германия стали врагами». Антон сообщил, что полковник уже наслышан о наших музыкальных вечерах и приглашает меня пообедать с ними, а затем поаккомпанировать — Антон исполнит несколько песен. Мне ничего не оставалось — à titre d'office [1],— как согласиться.

Полковник не пришелся мне по душе. Взгляд у него был как бритва. Неприятнее этого взгляда ни у кого не помню. Ни йоты сочувствия. Только оценка и расчет. Будь его глаза жестокими, порочными, садистскими — все легче. Но то были глаза автомата.

Ученого автомата. Полковник захватил с собой рейнвейна, и обед получился роскошный, такого я много месяцев не едал. Мы поболтали о войне — тоном, каким обсуждают погоду. Полковник сам заговорил о литературе. Он был, несомненно, весьма начитан. Хорошо знал Шекспира, отлично — Гёте и Шиллера. Провел даже ряд любопытных параллелей между английской и немецкой словесностью, не всегда в пользу последней. Я вдруг заметил, что пьет он меньше, чем мы. И что Антон распустил язык. По сути, мы с ним оба очутились под наблюдением. Я понял это в середине трапезы; и полковник понял, что я это понимаю.

---

[1] *Здесь:* должность обязывала (*франц.*).

Напряжение повисло между нами, старшими. Антон в счет не шел. Полковник мог лишь презирать мелкого греческого чиновника, и мне оказали немалую честь, что обращались со мной как с джентльменом, как с равным. Но я-то знал, что к чему.

После обеда мы исполнили несколько песен, и он рассыпался в комплиментах. Потом заявил, что собирается осмотреть наблюдательный пункт на той стороне острова, и пригласил меня сопровождать их — сооружение не имело большого тактического значения. Мы сели в его моторку, подплыли к берегу Муцы, поднялись к дому. Вокруг громоздилось множество военных аксессуаров — мотки проволоки, доты. Но я с радостью увидел, что вилла совсем не пострадала. Солдат построили, полковник, не отпуская меня ни на шаг, обратился к ним по-немецки с короткой речью. Меня он называл «этот господин» и нажимал на то, что мои владения должны остаться в целости и сохранности. Но мне запомнилось вот что. На обратном пути он остановился исправить какую-то погрешность в обмундировании часового у ворот. Указал Антону на непорядок со словами: «Schlamperei, Herr Leutnant. Sehen Sie?» Сейчас Schlamperei означает что-то вроде «разгильдяйства». Этой кличкой пруссаки дразнят баварцев. И австрийцев. Он явно напоминал Антону какой-то давний разговор. Но это помогло мне постичь его натуру.

Мы увидели его снова лишь через девять месяцев. Осенью сорок третьего года.

Заканчивался сентябрь. Ясным вечером ко мне влетел Антон. Я понял: произошло нечто ужасное. Он только что вернулся из Бурани. Утром четверо тамошних солдат — а всего их было двенадцать — улучили свободную минуту и отправились на Муцу купаться. Видно, они совсем потеряли бдительность, ибо — верх разгильдяйства! — полезли в воду все вместе. Один за другим вышли на берег, перекидывались мячиком, жарились на солнце. Вдруг из-за деревьев выступили трое незнакомцев. Один — с автоматом. Немцы были обречены. На вилле командир отделения услыхал выстрелы, радировал Антону и спустился на пляж. Он обнаружил там трех мертвецов; четвертый прожил еще немного и рассказал, что случилось. Партизаны исчезли, прихватив оружие. Антон немедля отправился на тот берег острова в моторке.

Бедный Антон! Он и стремился исполнить свой долг, и страшился мига, когда дурные вести дойдут до полковника Виммеля. Конечно, он понимал, что рапорт подать придется. Но прежде чем составить донесение, пришел посоветоваться. Еще утром он вычислил, что имеет дело с повстанцами, которые приплыли с материка ночью и вряд ли рискнут отправиться назад до наступления темноты. И он обогнул остров, методично исследуя каждую удобную для стоянки бухту. Лодка скоро обнаружилась; ее спрятали в прибрежном лесу прямо против Петрокарави. Выбора не было. Партизаны, несомненно, следили за его поисками. Для подобных случаев имелась четкая инструкция командования: отрезать пути к отступлению. Он сжег лодку. Ловушка захлопнулась.

Он ничего не утаил от меня; к тому моменту все мы успели узнать о «прейскуранте» Виммеля. От нас требовалось восемьдесят смертников. По мнению Антона, выход оставался единственный. Схватить партизан и дожидаться Виммеля, который прибудет, скорее всего, уже завтра. Этим мы, по крайней мере, докажем, что убийцы — не местные, что совершена сознательная провокация. Вне всяких сомнений, то были коммунисты из ЭЛАС: их тактика заключалась в подстрекательстве немцев к дальнейшим репрессиям; таким образом они крепили моральный дух своих соотечественников. Тем же приемом пользовались в восемнадцатом веке клефты, чтобы возбудить в мирных крестьянах ненависть к туркам.

В восемь вечера я созвал деревенских старейшин и обрисовал ситуацию. Сегодня шевелиться было уже поздно. Оставалось прочесать остров завтра — при поддержке солдат Антона. Страшная угроза покою — и жизни — сельчан, понятно, привела старейшин в неописуемую ярость. Они пообещали всю ночь сторожить причалы и резервуары с питьевой водой, а с первыми лучами солнца приступить к охоте на партизан.

Но в полночь меня разбудили топот и стук в ворота. Это снова был Антон. Слишком поздно, сказал он. Получен приказ. По своей инициативе ничего не предпринимать. Утром прибудут Виммель и «во́роны». Меня арестовать немедленно. К рассвету собрать всех деревенских мужчин от четырнадцати до семидесяти пяти. Чуть не плача, Антон мерил шагами спальню, а я сидел на кровати и выслушивал, как стыдно ему быть немцем, как стыдно жить на свете. Когда бы не надежда умилостивить полковника, он покончил бы с собой. Мы говорили долго. Он рассказал о Виммеле подробности, которые прежде скрывал. Остров был отре́зан от мира, и многое до моих ушей не доходило. Наконец признался: в этой войне лишь одно к лучшему. Она свела меня с вами. Мы пожали друг другу руки.

А потом я отправился с ним в школу, где провел ночь под стражей.

Когда наутро, в девять, меня привели в гавань, там уже собрались жители деревни — все мужчины и большинство женщин. Люди Антона блокировали выходы из по́рта. Само собой разумеется, партизан никто не видел. Среди сельчан царило уныние. Но поделать они ничего не могли.

В десять показался самолет с «во́ронами». Разница меж ними и австрийцами бросалась в глаза. Выучка строже, дисциплина крепче, проблесков человечности — не в пример меньше. И так молоды все. Это казалось самым страшным — юношеский фанатизм. Через десять минут аквапланприбыл. Помню тень его крыл на беленых домишках. Как черная коса. Рядом со мной молодой рыбак сорвал гибискус и приложил кроваво-красный цветок к сердцу. Все мы знали, что он имеет в виду.

Виммель ступил на берег. И сразу приказал согнать мужчин на мол; впервые островитяне почувствовали на своей шкуре пинки и удары завоевателей. Женщин оттеснили в прилегающие улицы и переулки. Потом Виммель с Антоном скрылись в таверне. Вскоре туда позвали и меня. Сельчане принялись креститься, а два карателя втолкнули меня внутрь. Виммель не поздоровался; он делал вид, что незнаком со мной. Даже по-английски отказался говорить. С ним приехал грек-переводчик, из коллаборационистов. Антон был вконец растерян. События оглушили его, он не знал, как поступить.

Виммель объявил свои условия. Мужчины — за исключением восьмидесяти заложников — прочесывают остров, ловят партизан и приводят к нему — вместе с похищенным оружием. Трое дерзких повстанцев должны быть доставлены живьем. Если мы управимся за сутки, заложников отправят в трудовой лагерь. Если нет — расстреляют.

Пусть даже мы разыщем партизан, ка́к мы возьмем их в плен, ведь они вооружены и готовы на все, спросил я. Он лишь взглянул на часы и сказал по-немецки: «Сейчас одиннадцать утра. Крайний срок — завтра в полдень».

На молу меня заставили повторить все это по-гречески. Толпа взорвалась протестами, упреками, требовала оружия. Наконец полковник пальнул из пистолета в воздух, крики утихли. Принесли поименный список мужского населения. Вызываемый делал шаг вперед, а Виммель лично определял, кто станет заложником. Я заметил, что он указывает на тех, кто поздоровее, от двадцати до сорока лет — на годных для лагеря. Но мне показалось: лучших он отсеивает на погибель. Отобрал семьдесят девять человек, потом ткнул пальцем в меня. Я стал восьмидесятым.

Мы, все восемьдесят, были под конвоем доставлены в школу; к нам применили усиленную охрану. Мы сгрудились в тесном классе, без элементарных удобств, без еды и питья — ведь сторожили нас «во́роны» — и, хуже того, без вестей с воли. Лишь много позже узнал я, что происходило в тот день на острове.

Оставшиеся на свободе бросились по домам, похватали все маломальски сподручное — багры, серпы, ножи — и собрались вновь, на холме за деревней. Старики, едва таскающие ноги, десяти- двенадцатилетние мальчишки. Некоторые женщины хотели присоединиться к облаве, но их отослали. Чтобы гарантировать возвращение мужчин.

Это жалкое воинство чисто по-гречески ударилось в дебаты. Утвердили один план действий, затем второй. Наконец кто-то завладел инициативой,

распределил исходные и районы поисков. Они выступили — сто двадцать человек. Никто не подозревал, что охота, еще не начавшись, обречена на неудачу. Но даже если партизаны и впрямь скрывались в лесу — сомневаюсь, что их удалось бы отыскать, а тем более схватить. Столько деревьев, распадков, скал.

Всю ночь они ждали в холмах, хрупкой цепью поперек острова, в надежде, что партизаны попытаются прорваться к деревне. А утром — искали, искали из последних сил. В десять собрались и стали замышлять отчаянное нападение на островной гарнизон. Но умные головы сообразили, что это приведет к трагедии пострашнее. Два месяца назад в одном манийском селе немцы истребили всех мужчин, женщин и детей за гораздо меньшую провинность.

В полдень, с распятьем и иконами, они спустились в деревню. Виммель ждал их. Парламентер, старый моряк, прибег к последнему средству: солгал, что они видели партизан в лодчонке, далеко от берега. Виммель усмехнулся, покачал головой и приказал схватить старика — восемьдесят первый заложник. Объяснялось это просто. Немцы к тому времени сами поймали партизан. В деревне. Но давайте посмотрим на Виммеля.

...Кончис снова хлопнул в ладоши.

— Вот он в Афинах. Группа подпольщиков сняла его скрытой камерой, так что лик его запечатлен надолго.

Экран опять засветился. Городская улица. На теневой стороне припарковался немецкий автомобиль, похожий на джип. Оттуда вылезли три офицера, вышли на прямое солнце, пересекая кадр по диагонали,— камера, очевидно, размещалась на первом этаже дома по соседству с тем, в который они направлялись. Объектив на миг заслонила голова прохожего. Впереди шел низенький, ладный. В нем чувствовалось твердое, непререкаемое главенство. Два его спутника держались в кильватере. Что-то — ставень или штора — затемнило обзор. Чернота. Потом возник диапозитив: мужчина в штатском.

— Довоенный снимок. Единственный, который удалось раздобыть.

Невыразительное лицо; губы поджаты. Не у одного Кончиса тяжелый, неподвижный взгляд, подумал я; бывает и похуже. Лицо на снимке чем-то напоминало «полковника», встреченного мной на водоразделе; но это были разные люди.

— А вот фрагменты кинохроники времен оккупации Польши.

Кадры менялись, Кончис комментировал: «Он за спиной генерала» или «Виммель крайний слева». Хотя видно было, что съемки документальные, меня охватило чувство, которое всегда возникает при демонстрации фашистских фильмов, чувство фальши, зияющей пропасти меж Европой, что рождает подобных чудовищ, и Англией, что не способна их породить. И я решил: Кончису надо заморочить меня, внушить, что я младенец, не запятнанный грязью истории. Но лицо его в отраженном свете экрана вроде бы свидетельствовало, что он глубже меня захвачен происходящим; что он дальше, чем я, отброшен на обочину эпохи.

— Партизаны поступили вот как. Убедились, что лодка сгорела дотла, и дунули прямиком в деревню. Подошли к околице, видимо, в тот самый момент, как Антон появился у меня. Мы не подозревали, что на отшибе у одного из них есть родня — семейство Цацосов. Две дочери, восемнадцати и двадцати лет, отец и сын. Но вышло так, что мужчины два дня тому отправились в Пирей с партией оливкового масла — у них был небольшой каик, а немцы не препятствовали мелкой коммерции. Девушки приходились одному из партизан двоюродными сестрами; а старшая, скорее всего, и зазнобой.

К дому они подошли никем не замеченные — в деревне еще не знали о побоище. Повстанцы, несомненно, рассчитывали воспользоваться каиком. Но тот был в море. Тут явилась рыдающая соседка и рассказала сестрам и об убийстве солдат, и обо всем, что я сообщил старейшинам. Партизаны уже были в надежном укрытии. Где именно они ночевали — неизвестно. Возможно, в пустом резервуаре. Наспех сколоченные патрули

обшарили все дома и виллы, жилые и нежилые, включая и дом Цацосов, и никого не обнаружили. Мы никогда не узнаем, были ли девушки попросту напуганы или проявили крайний патриотизм. Но кровных родственников в деревне у них не было, а отец и брат находились в безопасной отлучке.

Похоже, наутро партизаны собрались уносить ноги. Во всяком случае, девушки начали выпекать хлеб. Это заметила сообразительная соседка и вспомнила, что пару дней назад они уже пекарничали. Чтоб брату и отцу было чем перекусить в дороге. Соседка, видимо, не сразу догадалась, в чем дело. Но около пяти вечера заявилась в школу и рассказала все немцам. Среди заложников были трое ее родных.

Отряд «воронов» ворвался в дом. В этот момент там находился только один партизан — как раз двоюродный брат. Он спрятался в шкафу. Слышал, как девушек стали избивать, слышал их вопли. И не вытерпел: сунулся наружу с пистолетом, выстрелил, пока немцы не опомнились... слабый щелчок. Собачку заклинило.

Всех троих поволокли в школу на допрос. К девушкам применили пытку, и вскоре братец раскололся. Через два часа — уже сгустились сумерки — провел немцев вдоль берега к заколоченной вилле, постучал в окно и шепнул товарищам, что сестры раздобыли лодку. Стоило им появиться в воротах, их скрутили. Главаря ранило в руку, но больше никто не пострадал.

— Он был с Крита? — прервал я.

— Да. Похож на того, что вы видели. Пониже и пошире в плечах. Все это время мы, заложники, томились в классе. Окна смотрели в лес, и нельзя было видеть, кто входит и выходит из здания. Но около девяти вечера кто-то дважды жутко закричал от боли, а чуть позже раздался пронзительный вопль. По-гречески: «Элефтерия!»

Не думайте, мы не стали кричать в ответ. Нет, мы ощутили облегчение: партизаны пойманы. Вскоре послышались две автоматные очереди. А погодя распахнулась дверь класса. Вызвали меня и еще одного человека — местного мясника.

Нас повели вниз, через двор, к тому крылу, где теперь, по-моему, ваши учительские комнаты,— к западному. У входа стоял Виммель с одним из своих лейтенантов.

На ступенях крыльца за их спинами сидел, обхватив голову руками, грек-переводчик. Бледный как мел, ошеломленный. В двадцати ярдах, у стены, я увидел два женских трупа. Когда мы подходили, солдаты как раз переваливали их на носилки. Лейтенант вышел вперед и знаком приказал мяснику следовать за собой.

Виммель повернулся, вошел в здание. Его спина удалялась в глубь облицованного темным камнем коридора. Меня подтолкнули следом. У дальней двери он остановился, поджидая меня. Из проема лился свет. Я поравнялся с ним, и он поманил меня внутрь.

Только врач удержался бы от обморока. И лучше мне было упасть. Стены голые. В центре комнаты стол. К нему привязан юноша. Двоюродный брат. Из одежды — лишь окровавленная фуфайка, рот и глаза сильно обожжены. Но я видел только одно. На месте половых органов зияла темно-красная рана. Ему отрезали пенис и мошонку. Слесарными кусачками.

В дальнем углу лежал ничком еще один, тоже нагой. Я не разглядел, что сотворили с ним. Но он, несомненно, также был без сознания. Невозможно забыть то деловитое спокойствие, какое царило в комнате. Там было трое или четверо солдат — что солдат! профессиональных истязателей, конечно, патологических садистов. Один из них держал в руках длинный металлический прут; поверху тот искрился электричеством. Другие были в кожаных фартуках вроде кузнецких — чтобы не замарать форму. Разило испражнениями.

Был там и еще один, в углу, привязанный к стулу, с кляпом во рту. Гора мускулов. Рука в разрывах и кровоподтеках, но пыток к нему, похоже, применить не успели. Виммель начал с тех, кто хлипче.

В кино — у Росселини, например,— часто показывают, как должен вести себя в таких ситуациях положительный герой. Полагается бросить в лицо фашистским ублюдкам краткую, но уничтожающую инвективу. Воззвать к традициям, гуманности, заклеймить мерзавцев позором. Но признаюсь: если я что и чувствовал, так это панический, инстинктивный страх за собственную шкуру. Поймите, Николас, я решил — а Виммель в расчете на это и затягивал паузу,— что они вот-вот примутся за меня. Во имя чего — неизвестно. Ведь в мире больше не стало причин и следствий. Если люди способны так обращаться с людьми...

Я повернулся к Виммелю. Самое странное, что из присутствующих именно он более всего походил на человека. Физиономия усталая, злая. Чуть брезгливая. Вот, дескать, какую грязюку подчиненные развели.

«Им нравится этим заниматься. Мне — нет,— сказал он по-английски.— Я хочу, чтоб вы поговорили с этим убийцей прежде, чем они за него возьмутся».

«О чем?»

«Пусть выдаст имена товарищей. Имена помощников. Укрытия, оружейные склады. В этом случае, даю слово, он умрет достойно, как пристало солдату».

«А от тех вы ничего не добились?»

«Они выложили все, что знали. А он знает больше,— ответил Виммель.— Я давно хотел встретить такой экземпляр. Муки товарищей не развязали ему язык. И пытка вряд ли развяжет. Может, у вас получится? Скажите все как есть. Скажите правду. Нам, немцам, вы не сочувствуете. Вы человек образованный. Желаете пресечь эти... упражнения. Вы убеждены, что упорство бессмысленно. Он приперт к стене, вина с него снимается. Поняли? Идите-ка сюда».

Мы прошли в смежное помещение, тоже пустое. Туда сразу втолкнули раненого — не отвязывая от стула — и оставили посреди комнаты. Напротив поместили стул для меня. Полковник уселся поодаль, взмахом руки удалил пытчиков. И вот я заговорил.

В полном соответствии с указаниями полковника я стал уламывать этого человека рассказать обо всем, что ему известно. Вы, верно, думаете о судьбе соратников и сочувствующих, которых он должен был выдать, и считаете мой поступок низостью. Однако в тот вечер вселенная для меня ограничилась теми двумя комнатами. Только они были реальны. Внешнего мира не существовало. Я лишь страстно желал исполнить свой долг — положить конец жуткому унижению разума человеческого. И маниакальное упрямство критянина, казалось, вторит этому унижению, подыгрывает ему.

Я не коллаборационист, а врач, убеждал я, мой злейший враг — людское страдание. И если я уверен, что бог простит его, заговори он теперь, то вовсе не оттого, что хочу Греции зла... его товарищи вынесли достаточно. Есть предел, за которым мучения нестерпимы... и все такое. Мнится, я исчерпал все возможные доводы.

Но лицо его оставалось враждебно. Оно выражало лишь ненависть. Да слушал ли он, о чем я толкую? Загодя решил, что я предатель, что все мои резоны лживы.

Наконец я умолк и обернулся к полковнику. Мне не удалось скрыть, что я уже признал собственное поражение. Он, видно, подал караульным знак: один из них вошел, встал за спиной критянина и вытащил кляп. И тот сразу взревел, да так, что набрякли жилы на шее, взревел то самое слово, единственное: элефтерия. В его крике не было высокомерия. Лишь изуверская радость, как если б он плеснул на нас горящим бензином. Караульный грубо впихнул кляп обратно и закрепил.

Вожак, конечно, не вкладывал в это слово каких-то высоких идей и понятий. Просто использовал его как последнее оружие, какое у него оставалось.

«Тащите обратно и ожидайте указаний»,— произнес полковник. Раненого отволокли в ту кошмарную комнату. Полковник подошел к окну, отворил ставни во тьму, помедлил, обернулся ко мне: «Теперь вы понимаете, почему я вынужден прибегать к подобному языку».

«Ничего я больше не понимаю»,— сказал я. «Не мешало бы вам поприсутствовать при разговоре моих ребят с этим животным»,— заявил Виммель. «Не надо, прошу вас»,— сказал я. Он спросил, не думаю ли я, что такие сцены доставляют ему удовольствие. Я промолчал. Тогда он сказал: «Я бы с радостью просиживал штаны в штабе. Знай расписывайся да любуйся памятниками архитектуры. Вы мне не верите. Считаете меня садистом. Ничего похожего. Я — реалист».

Я не отвечал. Он воздвигся передо мной: «Вас поместят под стражу в отдельной комнате. Я прикажу дать вам еды и питья. Признаюсь как просвещенный человек просвещенному, я сожалею о том, что случилось днем, и о том, что происходит за стеной. Конечно, вы не разделите участь заложников».

Я поднял глаза — наверное, с тупой благодарностью.

«Будьте добры запомнить,— сказал он,— что, как честный офицер, я служу одной-единственной цели, великому историческому предназначению Германии — установить порядок в хаосе Европы. Вот когда это случится, можно будет и песни распевать».

Каким-то наитием я ощутил: он лжет. Величайшее заблуждение нашей эпохи — мысль, что фашизм пришел к власти, ибо создал порядок из хаоса. Верно как раз противоположное — ему повезло потому, что порядок он превратил в хаос. Попрал заповеди, отверг сверхличное... продолжите сами. Он провозгласил: дозволено истреблять малых сих, дозволено убивать, дозволено мучить, дозволено совокупляться и вступать в брак без любви. Поставил человечество перед самым опасным искушением. Правды не существует, все позволено!

Думаю, в отличие от большинства немцев, Виммель это знал, знал с самого начала. Кто он таков. Что творит. Знал, что лицемерит передо мной. Хотя лицо его было искренним. Прощально посмотрел мне в глаза и вышел; я услыхал, как он что-то говорит моему конвойному. Меня отвели в комнату наверху, дали еды и бутылку немецкого пива. Меня обуревали сложные чувства; но главным было: кажется, выкарабкался. Я снова увижу солнце. Буду дышать, пережевывать хлеб, прикоснусь к клавишам.

Настало утро. Мне принесли кофе, дали умыться. А в половине одиннадцатого вывели на улицу. Там уже ожидали остальные заложники. Их не кормили и не поили, поговорить с ними не позволили. Ни Виммеля, ни Антона не было видно.

Нас погнали в гавань. Там собралась вся деревня, четыреста—пятьсот человек, черная, серая, блекло-голубая толпа, согнанная на набережную усердными «воронами». Сельские попы, женщины, даже детишки. Завидя нас, они забурлили. Как бесформенная протоплазма. Силится — и не может разрушить перегородку.

Нам не давали остановиться. Помните, в гавани есть большой дом с крупным акротерием на аттике — тогда на первом его этаже помещалась таверна. На балконе второго стоял Виммель, за его спиной — Антон, по бокам — пулеметчики. Меня вывели из строя и оставили у стены под балконом, среди столиков и стульев. Заложников погнали дальше. Их колонна скрылась за поворотом.

Была жара. Чудесная, ясная погода. Сельчан оттеснили с набережной к террасе таверны, где стояла старинная пушка. Люди сгрудились вплотную. Загорелые, воздетые к небу лица, черные платки женщин треплет ветерок. Я не видел, что происходит на балконе, но полковник явно медлил, давил своим молчанием, своим присутствием. Постепенно они притихли: стена выжидающих лиц. В вышине носились ласточки. Словно дети, что играют в доме меж скованных безнадежностью взрослых. Странно: столько греков... и никто не проронит ни слова. Лишь мерные крики птиц.

Виммель заговорил. Коллаборационист начал переводить:

«Сейчас вы увидите, что бывает с теми... с теми, кто наносит ущерб Германии... и с теми, кто не мешает наносить ей ущерб... по утвержденному вчера вечером приговору верховного военного трибунала... трое были казнены... еще двое будут преданы казни сейчас...»

Коричневые руки взметнулись в четверном крестном движенье. Виммель помолчал. Для немца смерть — что для латинянина религиозный обряд: в порядке вещей.

«Вслед за тем... восемьдесят заложников... взятых согласно оккупационным законам... в качестве возмездия за жестокое убийство... четырех военнослужащих вермахта...— снова пауза,— также будут казнены».

Когда толмач перевел последнюю фразу, толпа разом выдохнула, словно каждого ударили в живот. Многие женщины, некоторые мужчины повалились на колени, заклиная стоящих на балконе. Род людской, что уповает на несуществующую милость Господа сил. Виммель, наверное, ушел вглубь, ибо мольба сменилась стенанием.

Меня оторвали от каменной кладки и повели вслед за заложниками. Солдаты — австрийцы — перекрывали каждый выход из гавани и осаживали сельчан. Меня поразило, что они способны помогать «воронам», подчиняться Виммелю, стоять с бесстрастными лицами и грубо отпихивать тех, к кому, я знал, еще вчера или позавчера не испытывали никакой враждебности.

Аллея изогнулась, уткнулась в площадку у деревенской школы. Это естественная сцена, чуть покатая к северу, с видом на море и полуостров за скатами крыш. Путь к вершине холма отрезает школьная ограда; справа и слева — высокие стены. Если помните, на западной стороне площадки есть дом с садом, где растет старая чинара. Ветви ее нависают над оградой. Эти-то ветви и приковали мое внимание. На них висели три трупа, в тени бледные, жуткие, будто гравюры Гойи. Нагое тело двоюродного брата с кошмарной его раной. И нагие тела сестер. С выпущенными кишками. Живот у каждой распорот от грудины до лобка, внутренности вывалились. Куклы без начинки, что покачиваются под полуденным ветром.

Дальше я увидел заложников: их зажали меж школьной оградой и изгородью из колючей проволоки. Задних осеняла тень стены, передних — прямое солнце. При моем появлении они принялись кричать. Неизбежные проклятья, неуверенные подначки — точно я, именно я ведал те заклинания, которые способны тронуть полковника. Он стоял посреди площадки вместе с Антоном и двумя десятками «воронов». С третьей, восточной, стороны дворик ограничивает длинная стена. Помните? С воротами. Железная решетка. Двое уцелевших партизан были прикручены к ее прутьям. Не веревкой — той же колючей проволокой.

Мне скомандовали остановиться меж немцами и заложниками, ярдах в двадцати от Виммеля. Антон и не взглянул в мою сторону, а Виммель — тот краем глаза посмотрел. Антон уставился в пространство, словно уговаривал себя, что все происходящее — мираж. И сам он — мираж. Полковник подозвал коллаборациониста. Верно, его интересовало, что же выкрикивают заложники. Задумался. Направился к ним. Те замерли. Они, конечно, не слышали, как он оглашал приговор. Что-то сказал. Им перевели. Что именно — я не разобрал, но сельчане заметно притихли. Значит — не смертный вердикт. Полковник приближался ко мне.

«Я предложил этим крестьянам следующее,— начал он. Я внимательно оглядел его. Ни нервозности, ни возбуждения; полный самоконтроль.— Я подарю им жизнь. Отправлю в трудовой лагерь. При одном условии. Что вы, как деревенский староста, у них на глазах приведете в исполнение приговор над теми двумя убийцами».

«Я не палач»,— ответил я.

Сельчане разразились неистовыми воплями.

Он взглянул на часы: «Тридцать секунд на размышление».

Конечно, размышлять в подобных обстоятельствах невозможно. Вся логика мгновенно улетучивается. Учтите это. В дальнейших своих действиях я не руководствовался рассудком. Я был за гранью рассудочного.

«У меня нет выбора»,— сказал я.

Он подошел к правофланговому первой шеренги. Снял с его плеча автомат, нарочитым движением проверил, заряжен ли он, вернулся, протя-

нул его мне — обеими руками. Как честно заработанный приз. Заложники загомонили, принялись креститься. Но быстро стихли. Полковник не сводил с меня глаз. Мне вдруг пришло в голову, что я могу выстрелить в него. Но в этом случае поголовное истребление островитян было бы неизбежно.

Я направился к решетке ворот. Понятно, чего ему надо. Эпизод будет освещен в газетах, контролируемых немецкой администрацией. О насилии над моей волей умолчат, выставят меня в качестве грека, который верно усвоил, что такое германский порядок. Урок другим старостам. Пример для всей замордованной Греции. Но эти восемьдесят — что ж, я обреку их на смерть?

До партизан оставалось футов пятнадцать. Слишком близко — я столько лет не практиковался в стрельбе. Почему-то я не смотрел на их лица, пока шел. Разглядывал высокую стену с покатым обвершьем, пару топорных декоративных урн на столбиках по краям ворот, торчащие из-за стены мутовки перечного дерева. Но настал миг взглянуть и на пленных. Младший не подавал признаков жизни. Голова его свесилась на грудь. Они сотворили какую-то мерзость — я не рассмотрел подробно — с его руками: все пальцы в крови. Но он был жив. Я слышал, как он стонет. Бормочет бессвязно. Полуобморок.

И второй. Рот порван или разбит. Губы размозжены, вздулись багровыми волдырями. Увидев, что я поднимаю автомат, он оскалился. Зубы, все до одного, вмяты внутрь. Отверстие рта напоминает гнойную вульву. Я не смог собраться с мыслями, сообразить, отчего это. И у него либо ломали фаланги пальцев, либо рвали ногти, вся поверхность тела усеяна ожогами. Но немцы допустили роковую ошибку. Забыли выдавить ему глаза.

Я навел дуло и, не целясь, спустил курок. Никакого эффекта. Просто щелчок. Я снова нажал. И снова — безобидный щелчок.

Я обернулся. Виммель и конвойные — футах в тридцати, наблюдают. Заложники не ко времени расшумелись. Им показалось, я раздумал стрелять. Я опять повернулся к воротам, попробовал еще раз. Ничего. Посмотрел на полковника, помахал автоматом: не хочет! Зной обессилил меня. Тошнота. Но забытье не приходит.

«В чем дело?» — спросил он.

«Автомат не стреляет».

«Это «шмайссер». Безотказная штука».

«Я три раза пытался».

«Не стреляет потому, что не заряжен. Доверять боевое оружие штатским строго воспрещается».

Я уставился на него, потом на автомат: силился понять. Заложники молчали.

«Как же я их убью?» — спросил я упавшим голосом.

Усмехнулся; губы тонкие, как острие сабли. И сказал: «Я жду».

Теперь я понял. Мне предлагалось забить их прикладом. Я понял многое. Истинную сущность Виммеля, его истинные цели. А потом пришло сознание того, что он безумен, а следовательно, не виноват, как невинны все безумцы, даже самые жестокие из них. Он был потаенным капризом природы, абсурдной крайностью, что обрела душу и плоть. Не потому ли в его облике было нечто неотразимое — черты темного божества? Его окутывали нечеловеческие токи. А в настоящей пагубе, в настоящем зверстве повинны были остальные немцы, вполне вменяемые лейтенанты, капралы, рядовые, что молча внимали нашему разговору.

Я пошел прямо на него. Охранники решили, что я собираюсь напасть, и вскинули оружие. Но он что-то сказал им, не двигаясь с места. Я остановился шагах в шести. Мы смотрели друг другу в глаза.

«Именем европейской культуры заклинаю вас прекратить это варварство».

«А я приказываю продолжать экзекуцию».

И, не отводя взгляда, добавил: «Если откажетесь выполнять, вас самого немедля казнят».

Я побрел по пыльной площади к воротам. Остановился перед приговоренными. Хотел было объяснить тому из них, в ком еще брезжил разум, что у меня нет выбора, что я вынужден совершить над ним нечто немыслимое. Но удачный миг был безвозвратно упущен. Может, из-за того, что вблизи я понял, что́ они сделали с его ртом. Не просто разбили сапогом или дубинкой, но — выжгли. Я вспомнил солдата с железным прутом, электрический огнь. Они проникли сквозь преграду зубов и вытравили язык, выжгли каленым металлом до самого корня. Слово, что он выкрикивал, должно быть, вывело-таки их из себя. За эти незабвенные мгновения, за пять самых быстрых в моей жизни секунд я разгадал этого повстанца. Понял его лучше, чем он сам себя понимал. И он помог мне в этом. Из последних сил повернул лицо навстречу и произнес слово, которое уже не мог произнести. Не речь — горловой клекот, пятисложный спазм. Но это было, вне всякого сомнения, то самое слово, его последнее слово. Оно пропитывало его взгляд, его существо, все существо без остатка. О чем твердил распятый Христос? Почему Ты меня оставил? А этот человек повторял нечто менее жалостное, а значит, и менее человеческое, но гораздо более значимое. Он обращался ко мне из пределов чуждого мира. В том, где находился я, жизнь не имела цены. Она ценилась слишком высоко и потому была бесценной. В том, где обитал он, лишь одна вещь обладала сопоставимой ценой. Элефтерия — свобода. Она была твердыней, сутью — выше рассудка, выше логики, выше культуры, выше истории. Она не являлась богом, ибо в земном знании бог не проявлен. Но бытие непознаваемого божества она подтверждала. Она дарила вам безусловное право на отреченье. На свободный выбор. Она — или то, что принимало ее обличье,— осеняла и бесноватого Виммеля, и ничтожных немецких и австрийских вояк. Ею обнимались все проявленья свободы — от самых худших до самых лучших. Свобода бежать с поля боя над Нёшапелью. Свобода бороться с первобытным богом Сейдварре. Свобода потрошить сельских дев и кастрировать мальчишек кусачками. Она отвергала нравственность, но рождена была скрытой сутью вещей; она все допускала, все дозволяла, кроме одного только — кроме каких бы то ни было запретов.

Видите, сколько слов мне потребовалось, дабы описать свои тогдашние чувства. А ведь я еще не сказал о том, до чего *греческими* представились мне его твердость, его неподатливость. Тогда я впервые осознал свое духовное родство с этой страной. Чтобы постичь все, что я постиг, понадобились считанные секунды, а может, и этого не понадобилось. Я понял: из всех, кто собрался на школьной площадке, мне единственному дано выбирать свободно; весть и щит этой свободы сильнее здравого смысла, инстинкта самосохранения, сильнее моей собственной смерти, сильнее гибели восьмидесяти заложников. С той поры эти восемьдесят снова и снова приходят в мои сны, обвиняя. Заметьте, я был убежден, что умру с ними вместе. И сейчас мне некуда скрыться от их мученических ликов, кроме как в тот краткий просверк запредельного знания. Но знание палит как зной. Рассудок твердит мне: ты совершил ошибку. Но все мое существо удостоверяет: ты был прав.

Я простоял там, наверное, секунд пятнадцать — точнее сказать не могу, время в подобных обстоятельствах ничего не значит,— затем отшвырнул автомат и шагнул вплотную к вожаку партизан. Ощутил взгляд полковника и выкрикнул и ему, и обреченному, близкому теперь собрату то единственное слово, которое только и мог произнести.

Краем глаза я увидел, как рванулся к Виммелю Антон. Слишком поздно. Полковник отдал приказ, рявкнули пулеметы; я зажмурился в тот самый миг, когда первые пули впились в мое тело.

54

После долгого молчания он наклонился и вывернул фитиль; посмотрел на меня. Будто бы что-то наконец сместилось в его душе, но лишь на мгновение — и взгляд снова застыл.

— Недостаток нашей новой драматургии в том, что, исполняя роль, вы не способны понять, чему следует верить, а чему нет. На всем

острове не найти никого, кто присутствовал бы тогда на школьной площадке. Однако верность других фрагментов моей истории вам подтвердит кто угодно.

Я вспомнил сцену на водоразделе; в сюжет, рассказанный Кончисом, она не вписывалась, но духу его соответствовала. Впрочем, я и не ставил под сомнение слова старика; ясно, что он поведал мне о действительных событиях, завершил свою вымышленную автобиографию правдивой главой.

— Ну а после расстрела?

— Израненный, я потерял сознание и долго провалялся в беспамятстве. Кажется, при моем падении заложники принялись кричать. Это-то меня, похоже, и спасло. Отвлекло внимание стрелявших. Видимо, им приказали развернуться и открыть огонь по заложникам. Как я узнал потом, через полчаса сельчан допустили на площадку оплакать своих мертвецов, и они наткнулись на меня, лежащего в луже крови у ног повстанцев. Меня подобрали экономка Сула — это потом Мария ее сменила — и Гермес. Когда меня поднимали, я чуть слышно застонал. Меня отнесли домой и спрятали в комнате Сулы. И Пэтэреску меня выходил.

— Пэтэреску?

— Пэтэреску.— Я напряг зрение, и нечто в его лице сказало мне: да, и эту вину он признает, и эту вину не считает виною; начни я копать, у него загодя приготовлены оправдания.

— А полковник?

— После войны его разыскивали, чтобы предать суду за бесчисленные зверства. Причем некоторые из них он совершил в той же манере. Мнимое послабление в последний момент... тут оно обернулось для заложников лишним страданьем. Комитет по розыску военных преступников расшибся в лепешку. Но Виммель и теперь в Южной Америке. А может, в Каире.

— Что стало с Антоном?

— Антон решил, что я убит. Слуги не посвятили в тайну никого, кроме Пэтэреску. Меня похоронили. Точнее, закопали в землю пустой гроб. Виммель отбыл с острова в тот же день, оставив Антона расхлебывать заваренную им кровавую кашу на руинах былого благожелательства островитян. Должно быть, весь вечер, а то и ночь Антон составлял подробнейший рапорт о случившемся. Сам отпечатал его на машинке — в семи экземплярах. В конце рапорта он отмечает этот факт. Полагаю, он сделал бы больше копий, если б каретка справилась. Ничего не утаил, никого не стал обелять, себя в первую очередь. Рапорт я вам сейчас покажу.

На гравийную площадку вышел негр, взялся складывать экран. Наверху копошились.

— А потом?

— Через два дня у стены школьной площадки, там, где земля еще не просохла от крови, обнаружили его труп. Он застрелился. То был, конечно, жест раскаянья, обращенный к сельчанам. Немцы дело замяли. В скором времени личный состав гарнизона был полностью заменен. Из рапорта ясно почему.

— Зачем ему понадобилось столько экземпляров?

— Один Антон наутро вручил Гермесу и наказал передать его моим заграничным друзьям, коли те будут наводить обо мне справки после войны. Другой — с теми же устными распоряжениями — достался деревенскому клирику. Третий Антон положил на письменный стол, отправляясь стреляться. Конверт не был запечатан — верно, для того, чтоб рапорт прочли и бывшие подчиненные, и высокое начальство. Три экземпляра канули бесследно. Может, он послал их в Германию, родственникам или друзьям. Военная цензура вряд ли их пропустила. Впрочем, к чему гадать. А последний экземпляр всплыл уже после войны. Его прислали в редакцию одной афинской газеты, присовокупив небольшую сумму денег. Будто милостыню. Штемпель венский. Очевидно, Антон отдал экземпляр кому-то из солдат.

— И напечатали?

— Да. Отрывки.
— Он похоронен на острове?
— На семейном кладбище, близ Лейпцига.
Ах да, сигареты.
— Что же, сельчане так и не узнали о том, какой выбор вы сделали?
— Рапорт был опубликован. Кто-то поверил тому, что там написано, кто-то — нет. Естественно, я позаботился, чтобы те, кто находился на иждивении расстрелянных, не умерли с голоду.
— А повстанцы — про них вы что-нибудь выяснили?
— Двоюродный брат и его товарищ — да, их имена известны. На деревенском кладбище им воздвигнут памятник. А вожак... я разузнал кое-что и о его судьбе. Перед войной он шесть лет провел в заключении. Сперва его посадили за убийство — просто crime passionnel [1]. А затем, и не раз — за дебоширство и кражи. На Крите поговаривали, что он замешан и в других убийствах, по меньшей мере в четырех, причем одно — с особой жестокостью. Когда в Грецию вторглись немцы, он находился в бегах. И вдруг прославился по всему Южному Пелопоннесу своей безрассудной отвагой. Видимо, он не входил в военизированные партизанские отряды, нет, знай шлялся туда-сюда, убивал и грабил. Не только немцев, но и братьев своих греков, в двух случаях это было установлено документально. Мы отыскали некоторых его соратников. Одни признались, что он внушал им страх, другие явно восторгались его храбростью, но не иными чертами характера. Мне удалось найти старого манийского крестьянина, который, бывало, предоставлял ему кров. Так вот, крестьянин сказал о нем: *Какургос, ма эллинас*. Мерзавец, зато грек. Отличная эпитафия.
Молчание повисло меж нами.
— Война, должно быть, надломила вашу жизненную философию. Философию улыбки.
— Наоборот. На опыте военных лет я окончательно уяснил себе значение чувства юмора. Это демонстрация свободы. Ибо свободен лишь тот, кто умеет улыбаться. И раз улыбка исчезает — в мироздании все предопределено. Финальная же насмешка бытия заключается в том, что, многажды ускользая, ты вдруг осознаешь, что ускользнул бесповоротно,— и, дабы не быть смешным, приносишь сам себя в жертву. Ты утратил существование, а значит, избавился от свободы. Вот к какому итогу приходит в конце концов подавляющее большинство наших с вами сородичей. И этот итог вечно будет ждать их впереди.— Взялся за папку.— Напоследок покажу вам рапорт Антона.
Тоненькая пачка сброшюрованных листков. Название: «Bericht über die von deutschen Besetzungstruppen unmenschliche Grausamkeiten...»
— К тексту приложен английский перевод.
Я заглянул туда и прочел:

Рапорт о бесчеловечной жестокости, совершенной немецкими оккупантами под командой полковника Дитриха Виммеля на острове Фраксос 30 сентября — 2 октября 1943 г.

Перевернул страницу.

Утром 29 сентября 1943 года четверо рядовых с наблюдательного пункта № 10, округ Арголида, размещенного на мысу под названием Бурани, южный берег острова Фраксос, сменившись с караула, попросили разрешения искупаться. В 12.45...

— Прочтите последний абзац,— посоветовал Кончис.

Клянусь Господом и всем святым, что события изложены мною точно и правдиво. Я наблюдал все это собственными глазами и ни разу не вмешался. За это выношу себе смертный приговор.

Я отложил рапорт.
— Образцовый немец.

---

[1] Преступление, совершенное в состоянии аффекта (*франц.*).

— Нет. Вы считаете, самоубийца может служить кому-то образцом? Не может. Отчаянье — недуг не менее пагубный, чем тот, каким был поражен Виммель.— Я вдруг припомнил Блейка; кажется, так: «Нам легче дитя в колыбели убить, чем несытую страсть успокоить». Этой цитатой я в свое время частенько дразнил себя и окружающих. Кончис продолжал: — Будьте последовательны, Николас. Либо вы присоединяетесь к вожаку, к убийце, который умел выговаривать только одно слово, но слово важнейшее, либо к Антону. Или вы оглядываетесь вокруг — и приходите в отчаяние. Или приходите в отчаяние — и оглядываетесь вокруг. В первом случае вы накладываете руки на собственное тело; во втором — на душу.

— Но ведь могу же я пожалеть его?

— Можете. Однако должны ли?

Для меня разговор о самоубийстве был разговором об Алисон; я понял, что давно уже сделал выбор. Я жалел ее и незнакомого немца, чье лицо смотрело на меня с любительского экранчика, жалел тоже. А может, и восхищался ими; белая зависть к опередившим тебя на дороге судьбы: они вкусили такого отчаяния, что оглядываться вокруг уже не потребовалось. Наложить руки на душу свою? Это мне суждено?

— Да,— сказал я.— Ведь он был так беспомощен.

— Значит, вы больны. Вы существуете за счет смерти. А не жизни.

— Это зависит от ракурса.

— Нет. От ваших убеждений. Ибо история, которую я рассказал, символизирует метанья Европы. Вот что такое Европа. Полковники Виммели. Безымянные мятежники. И Антоны, что разрываются меж теми и другими, а затем, все проиграв, кончают с собой. Будто дети.

— А если иначе я не могу?

Молча окинул меня взглядом. Я полной мерой ощутил его волю, его лютость, бессердечье, его досаду на то, что я так глуп, так нерешителен, так себялюбив. Его ненависть не ко мне лично — нет, ко всему, что, как он думал, во мне воплощено: вялость, вероломство, английскость. Он точно жаждал переделать весь мир; и не мог; и мучился собственным бессилием; и понимал, что ему не дано принять или отвергнуть вселенную; дано лишь принять или отвергнуть меня, ничтожный сколок вселенной.

Я не выдержал его взгляда.

— Итак, по-вашему, я — второй Антон. Это-то вы и хотели мне внушить?

— Вы — человек, который не сознает, что такое свобода. Хуже того: чем глубже вы ее осознаете, тем меньше ею обладаете.

Очередной парадокс, очередной орешек.

— Вы раскусили меня и поняли, что полагаться на меня не стоит?

— Что на вас не стоит тратить время.— Взял со стола папку.— По-моему, давно пора спать.

— Нельзя так с людьми обходиться,— сказал я сварливо.— Точно они — сельчане, которых приговорили к расстрелу затем лишь, чтоб вы основали на этом очередное учение о свободе воли.

Встав, он посмотрел на меня сверху вниз.

— Это те, кто понимает свободу так, как вы сейчас изложили, становятся палачами.

Я боролся с навязчивой мыслью об Алисон.

— Почему вы так уверены, что видите меня насквозь?

— На это я не претендую. Мой вывод исходит из той посылки, что сами вы себя насквозь никогда не увидите.

— Нет, ну скажите, вы честно считаете себя богом?

Самое жуткое, что он не ответил; посмотрел так, словно предоставлял мне самому решать — да или нет. Я аж фыркнул, давая понять, что я на сей счет думаю, и продолжал:

— И что мне теперь прикажете делать? Собирать манатки и отправляться в школу?

Неожиданно это его осадило. Он немного помедлил с ответом — красноречивое замешательство.

— Как хотите. На утро намечен небольшой обряд прощанья. Однако без него можно обойтись.

— Ага. Ладно. Такую возможность упускать жаль.

Он внимательно, с высоты своего роста, изучил мою отчаянную улыбку, сухо кивнул.

— Доброй вам ночи.— Я отвернулся; удаляющиеся шаги. Но у порога концертной он запнулся: — Повторяю. Никто не появится.

Я и на это ухом не повел, и Кончис скрылся в доме. Да, он говорит правду: никто не придет; и тем не менее на моих губах проступила улыбка, невидимая во мраке колоннады. Угроза моего немедленного ухода, конечно, напугала его, хоть виду он не подал; заставила изобрести очередную суетливую приманку, повод задержаться до утра. А утром меня ждет испытанье, неведомый ритуал, открывающий доступ к сердцу лабиринта... а уж моя уверенность, что девушки на яхте, только окрепла. Шеренга, так сказать, вскинула автоматы, но на сей раз приговор все-таки отменят, в последний миг отменят. Ведь чем упорней он станет теперь отлучать меня от Жюли, тем плотнее совпадет с Виммелем внутренне... а Кончис же далеко не Виммель; просто свойства его натуры таковы, что ее благосклонность отливается в форму жестокости.

Я выкурил сигарету, другую. Стояла страшная духота; спертая ночь глушила все звуки. Недозрелый месяц завис над планетой Земля, мертвый — над умирающей. Я встал из-за стола, неспешно пересек гравийную площадку, по пляжной тропке спустился к скамье.

Нет, не такого финала я ждал — каменный гость у дверей балагана. Но и Кончису невдомек, сколь важен для меня такой финал, именно такой. Он успокоился на том, что счел свою свободу свободой потакать личным прихотям, вспышкам мелочной гордыни. И противопоставил ей свободу, ответственную за каждое свое проявление; нечто куда более древнее, чем свобода экзистенциалистов,— нравственный императив, понятый скорее по-христиански, нежели с точки зрения политикана или народоправца. Я перебирал в уме события последних лет моей жизни с их борьбой за личную независимость — болезнью, поголовно сразившей всех моих сверстников, что сбросили с плеч уставный быт и компромиссы военной поры; с нашим бегством от обществ, от наций — бегством в самих себя. И я вдруг осознал, что дилемма Кончиса, выбор, вставший перед героем рассказанной им истории, мне не по зубам; что от этого выбора не убережешься, объявив себя жертвой эпохи, самим временем вылепленной на эгоистический лад,— точнее, осознал, что беречься от этого выбора я уже не вправе. Тавром на плечо, вурдалаком в загривок — старик вбуравил мне лишнюю заботу, тягостное знанье.

И опять Алисон, а не Жюли явилась мне в серых безмолвных прогалах ночи. Глядя в морскую даль, я давил в себе навык воспринимать ее как девушку, до сих пор живущую (пусть даже в одной лишь памяти людской), до сих пор мерцающую в «теперь», вдыхающую воздух «теперь», подвижную и деятельную,— и постигал уменье думать о ней как о пригоршне развеянного по ветру пепла; как о порванном звене, сломанной ветке эволюции, вечной лакуне бытия, о структуре, некогда сложной, но тающей, тающей, миновавшей бесследно,— лишь черточка копоти на чистом листке.

Как о душе, недостойной стенаний; само это слово старомодно и напыщенно, им пользовались Браун и Харвей [1]; но прав Джон Донн — ее небытие умаляет мое бытие [2], и никуда мне от этого не спрятаться. Всякая смерть — неизлечимая рана для жизненной полноты; всякая смерть — неутолимая боль, неизгладимый грех, неизбывная горечь; искрящийся локон на ладони скелета.

Я не молился за упокой, ибо молитвы тщетны; я не оплакивал — ни ее, ни себя,— ибо дважды оплакивают одно и то же лишь экстраверты; но, окутанный ночным безмолвием, неимоверно враждебным и человеку, и верности его, и любви, просто помнил о ней, помнил, помнил о ней.

---

[1] Джеймс Харвей (1714—1758) — религиозный эссеист, деятель методистского движения.

[2] Имеются в виду слова Джона Донна: «Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством».

55

Десять утра. Проспал! Я сорвался с постели, наспех побрился. Где-то внизу заколачивали гвозди, переговаривались два голоса — женский, похоже, Марии. Но когда я спустился под колоннаду, там было пусто. У стены стояли четыре деревянных контейнера. Три из них — плоские; для картин. Я сунулся обратно в концертную. Модильяни исчез; исчезли миниатюры Родена и Джакометти; а в двух других ящиках — полотна Боннара, висевшие на втором этаже, догадался я. При виде того как демонтируют «декорацию», мои ночные надежды быстро улетучились. Я с ужасом заподозрил, что вчера Кончис вовсе не шутил.

Мария принесла кофе. Я ткнул пальцем в контейнеры.

— В чем дело?

— Фигуме.— Уезжаем.

— О кирьос Конхис?

— Та элти.

Сейчас придет. Я отпустил ее с миром, выхлебал чашку кофе, потом другую. Чистый ветер, утро в духе Дюфи — сплошь трепет, мельканье, упругий колорит. Я подошел к краю площадки. А-а, яхта ожила, на палубе возятся какие-то люди, но женщин среди них, кажется, нет. Тут я обернулся к дому. Под колоннадой, будто выжидая, пока я вдоволь налюбуюсь, стоял Кончис.

Вырядился он абсолютно некстати, словно на карнавал. Ну точь-в-точь деляга с претензиями на духовность: черный кожаный кейс, синий летний костюм, бежевая рубашка, неброский галстук-бабочка в горошек. В Афинах этот наряд был бы уместен, а на Фраксосе — смешон... да и нужен-то — ведь плавание займет часов шесть, и переодеться он сто раз успеет — затем лишь, чтобы подчеркнуть, что сердцем он уже далеко отсюда. Встретил он меня неласково.

— Давно пора отправляться.— Взглянул на часы — не помню, чтоб он нацеплял их раньше.— Завтра в это же время мне надо быть в Париже.

Ветер зашелестел в лоснящихся, сочных, стеклянных пальцах пальм. Последний акт игрался в ускоренном темпе.

— Торопитесь опустить занавес?

— В настоящем спектакле занавеса не бывает. Как только его доиграют, он принимается играть сам себя.

Мы обменялись взглядами.

— А девушки?

— Возьму их с собой в Париж.— Сдержавшись, я скорчил ироническую гримасу.— Вы очень наивны,— сказал он.

— Почему это?

— Потому что думаете, что богатым надоедают куклы.

— Жюли и Джун не куклы.— Он хмуро улыбнулся, а я со злобой продолжал: — Больше вы меня не облапошите.

— По-вашему, ум и вкус, не говоря уж о красоте, не продаются? Глубоко ошибаетесь.

— Ну тогда наложницы не больно-то вам преданы.

Мои наскоки его только забавляли.

— Состаритесь — поймете, что плотская неверность ничего не решает. Я покупаю их внешность, их общество, их уменье вести беседу. А не их тела. В моем возрасте с этим проще.

— Вы что ж, хотите, чтоб я и вправду...

Оборвал меня:

— Я знаю, что у вас на уме. Что я запер их где-нибудь в каюте. Под замок посадил. Что ж, после всей ахинеи, какую мы тут вам нагородили, ничего удивительного.— Покачал головой.— В прошлые выходные мы с вами не виделись по очень простой причине. Лилии нужно было время, чтобы обдумать, предпочтет ли она стать женою нищего и, как я полагаю, бездарного учителишки — или останется там, где денег больше и жизнь веселей.

— Если она такая, как вы изображаете, чего ж ей зря колебаться?

Скрестил руки на груди.

— Да, она колебалась, коли это льстит вашему самолюбию. Но под конец у нее хватило ума понять: долгие, унылые, расчисленные годы — слишком дорогая плата за утоленье мимолетной телесной привязанности.

Я ненадолго умолк, отставил чашку.

— Лилия? А другую вы, кажется, Розой обозвали?

— Вчера вечером я все вам растолковал.

Поглядев на него, я вынул бумажник, отыскал там письмо из банка Баркли и сунул ему. Листочек он взял, но едва обратил на него внимание.

— Фальшивка. Вы уж простите.

Я выхватил у него письмо.

— Господин Кончис, мне надо увидеться с обеими девушками. Я ведь знаю, под каким предлогом вы их сюда заманили. Полиции будет чем поживиться.

— Да, только афинской полиции. Ибо девушки в Афинах. Приеду, расскажу им, в чем вы тут собрались меня обвинять,— смеху будет!

— Ни единому слову не верю. Они на яхте.

— Ну давайте поднимемся на борт, давайте. Раз вам так хочется. Ищите где пожелаете. Допрашивайте матросов. Перед отплытием мы высадим вас на берег.

Возможно, блефует, но мне вдруг показалось, что нет; да и под замок их сажать он сообразил бы не на яхте, а подальше от чужих глаз.

— Хорошо. Вы убедили меня, что не способны на такую глупость. Но дайте только до деревни добраться — я напишу в британское посольство и все им выложу.

— Не думаю, что они придут в восторг. Когда выяснят, что какой-то горе-влюбленный жаждет использовать их авторитет в своих целях.— И быстро, точно застеснявшись нелепости собственной угрозы, продолжил: — А теперь вот что. Два члена труппы хотят с вами попрощаться.— Отошел к углу колоннады:

— Катрин!

Повернулся ко мне:

— Мария, естественно, далеко не простая греческая крестьянка.

Но я не дал сбить себя с толку. И опять набросился на него:

— Кроме всего прочего, у Жюли... даже если вы сказали о ней правду... хватило бы смелости сообщить мне все это самой.

— Подобные сцены характерны для старой драматургии. Для новой — нет.

— К новой драматургии Жюли не имеет отношения.

— Может, как-нибудь потом вы с ней и повстречаетесь. Вот тогда и предавайтесь своим мазохистским утехам.

Нашу перебранку прервало появление Марии. Все та же морщинистая старушка; но одета в элегантный черный костюм с позолоченной гранатовой брошью на отвороте. Чулки, туфли с зачатками каблуков, немного пудры и румян, губная помада... ни дать ни взять зажиточная шестидесятилетняя хозяйка, каких часто видишь на центральных улицах Афин. Она остановилась передо мной, слабо улыбнулась: сюрприз, фокус с переодеванием. Кончис сухо посмотрел на меня.

— Это мадам Катрин Атанасулис, ее амплуа — роли крестьянок. Давняя моя помощница.

Он бережно поддержал ее за локоть, и она подошла ближе. Неловко развела руками, словно сожалея, что так нагло меня обманывала. Я посмотрел на нее — холодно, в упор: комплиментов ты не дождешься. Протянула руку. Я не шевельнулся. Помедлив, старательно присела.

— Les valises? — спросил Кончис.

— Tout est prêt.— Она не сводила с меня глаз.— Eh bien, monsieur. Adieu [1].

---

[1] Вещи уложили? — Все готово... Ну что ж, мсье. Прощайте (*франц.*).

Ретировалась столь же достойно, как появилась. Меня понемногу одолевало ошеломление, а от него и до отчаяния недалеко. Я знал: Кончис врет; но врал он до того вдохновенно, до того мастерски... не давая мне передохнуть, повернулся к гравийной площадке.

— Ладно. Вон идет Джо. Мы это называем дезинтоксикацией.

С пляжа по тропе поднимался негр в модном костюме кофейного цвета, в розовой рубашке, в галстуке, в темных очках. Завидев нас, помахал рукой и направился через площадку; Кончису улыбнулся широко, мне — уголком рта, как от сердца оторвал.

— Это Джо Гаррисон.

— Салютец.

Я не ответил. Он покосился на Кончиса, протянул мне руку.

— Извини, приятель. Шеф так распорядился.

Он не из Вест-Индии — из Америки. И эту руку я как бы не заметил.

— Старались вы вовсю.

— Ах, ну да, да — все мы, черномазые, только что с дерева слезли. Обзывайте нас евнухами, нам это божья роса.— Он говорил беззаботным тоном, будто не придавал нашей недавней стычке никакого значения.

— Я не хотел вас обидеть.

— Ладно, проехали.

Мы настороженно посмотрели друг на друга, и он обернулся к Кончису:

— Сейчас заберут вещи.

— Еще кое-что наверху есть,— сказал Кончис.

И мы с Джо остались вдвоем. По тропе поднялись матросы, четверо или пятеро, в синих фуфайках и белых шортах. Все они, кроме пятого, белобрысого, как скандинав или немец, были типичные греки. Девушки почти ничего мне не сообщали о составе команды — так, «греческие матросы». Я вновь ощутил укол ревности, а потом и неуверенности — похоже, меня и вправду отставляли в сторонку, сбрасывали как обузу... дуралей ты дуралей. Все они понимают, какой я дуралей. Я уставился на Джо, лениво подпиравшего колонну. Шанс невелик, но он как-никак последний.

— Где девушки?

Темные очки нехотя обратились на меня:

— В Афинах.— Но тут он воровато стрельнул глазами в сторону двери, за которой скрылся старик. И опять посмотрел на меня — с сочувственной ухмылочкой. Качнул головой: я тебя понимаю.

— Зачем?

Пожал плечами — так уж надо.

— Вы точно знаете? — спросил я.

— Как посмотреть,— чуть слышно шепнул он.

Поднявшись под колоннаду, матросы взялись за контейнеры. Вот из-за угла вывернул Гермес с чемоданами в руках, перешел площадку, исчез за обрывом. По пятам его следовала Мария во всей своей красе. Джо отделился от колонны, шагнул ко мне, протягивая американские сигареты. Поколебавшись, я взял одну, наклонился к нему прикурить. Он тихо пробормотал:

— Она просит у тебя прощения.— Я выждал, пока он оторвет глаза от огонька, и заглянул ему в лицо.— Никакой лажи. Она правду говорила. Усек? — Я смотрел на него в упор. Он снова покосился на дверь, точно боялся, что нас застукают за приватной беседой.— У тебя, чувак, паршивая пара против джокера и каре. Безнадега. Впитал?

И почему-то эти его слова, наперекор моей воле, убедили меня сильней, чем все стариковские разглагольствования. Я уж собрался ответить Джо какой-нибудь грубоватой мужской репликой, но, пока формулировал ее про себя, время было упущено. В дверях вырос Кончис с чемоданчиком в руке. Заговорил по-гречески с одним из матросов. Джо тронул меня за плечо, будто подтверждая нашу тайную солидарность, и подошел к Кончису, чтоб забрать у того чемодан. Проходя мимо меня, скривился:

— Слыхал про бремя белого человека? Белые навалят, а нам таскать.

Небрежно махнул на прощание и отправился вслед за Гермесом и Марией. Матросы уволокли ящики, и мы с Кончисом снова остались один на один. Он раскинул руки — без улыбки, чуть не брезгливо: настал момент истины.

— Вы не дали мне последнего слова,— сказал я.

— Мне нельзя глупить. В Греции богатство — стиль жизни.

— Как и садизм, впрочем.

Напоследок оглядел меня с головы до ног.

— Гермес вот-вот вернется, чтобы запереть дом.— Я промолчал.— Вы упустили свой шанс. Советую поразмыслить, что именно в вашем характере этому способствовало.

— Идите вы в задницу.

В ответ он не проронил ни звука, лишь посмотрел прямо в глаза, будто внушая, чтоб я извинился.

— Если я говорю «в задницу», я это и имею в виду,— сказал я.

Помолчав, он медленно покачал головой.

— Вы еще сами не знаете, что имеете в виду. И что имею в виду я, тоже не знаете.

Вовремя сообразив, что руку я ему жать не стану, направился прочь. Однако на лестнице остановился, оглянулся.

— Чуть не забыл. На ваш желудок мой садизм не посягает. Гермес выдаст вам обед в кулечке. Он уже приготовлен.

Достойный ответ пришел мне в голову, когда Кончис был уже на середине площадки. Тем не менее я заорал вдогонку:

— Сандвичи с синильной кислотой?!

Что об стенку горох. Вот сейчас догоню, схвачу за руку, никуда не пущу, никуда; нет, не выйдет. Прямо за Кончисом из-за обрыва возникла фигура Гермеса. У мостков затарахтел мотор ялика, готового к первой ходке. Те двое сошлись на краю, коротко переговорили, пожали друг другу руки, и погонщик устремился ко мне. Кончис скрылся из виду. Дойдя до лестницы, Гермес запнулся, выпучил на меня бельмастые глаза; помахал связкой ключей.

— Девушки... они на яхте? — спросил я по-гречески.

Он вывернул нижнюю губу: не знаю.

— Ты их видел сегодня?

Вздернул подбородок: нет.

Я гадливо повернулся кругом, вошел в дом, поднялся наверх. Гермес неотступно сопровождал меня и только у двери моей комнаты отцепился, принялся обходить второй этаж, закрывая все окна и ставни... впрочем, едва я оказался в своей спальне, мне стало не до него, ибо я, как выяснилось, удостоился прощального подарка. На подушке лежал конверт, набитый греческими банкнотами. Я их пересчитал: двадцать миллионов драхм. Даже если сделать скидку на нынешнюю гиперинфляцию, выйдет двести фунтов с приличным гаком — учителем я б и за четыре месяца столько не заработал. Вот зачем старик перед самым отбытием заскакивал наверх. Я попросту взбесился; этой подачкой он как бы подчеркивал, что купить можно все на свете, в том числе и меня; последняя капля униженья. Сумма, однако, порядочная. Добежать, что ли, до причала, швырнуть деньги ему в лицо? Время еще есть, шлюпку разгрузят и пригонят за оставшимся барахлом; да нет, никуда я не побегу. За стеной послышались шаги Гермеса, и я суетливо запихал купюры в походную сумку. Стоя на пороге, он следил, как я собираю свое нехитрое добро; и вниз меня отконвоировал, будто ему строго-настрого наказали не спускать с меня глаз.

Я в последний раз пересек концертную. Вбитый в стену гвоздь отмечал место, где еще недавно висел холст Модильяни. Пустынная колоннада, скрежет ключа в замочной скважине — Гермес запирает концертную изнутри. Снова приближается к берегу лодка, не поздно спуститься и... но хватит красивых жестов, лучше займусь чем-нибудь действенным. Можно уломать сержанта в деревенском участке, чтоб допустил меня на пост береговой охраны, к рации,— вдруг выгорит? Пускай он примет меня за идиота, мне

все равно. Я схватился за последнюю соломинку: видно, Кончис опять запудрил близняшкам мозги, чтоб под благовидным предлогом удалить их с острова. Небось наболтал про меня такие же мерзости, как и мне про них: я-де куплен с потрохами, а Жюли только голову морочил.... нет, увидеться с ними необходимо, хоть бы и для того, чтобы узнать, что на сей раз Кончис сказал о них правду. Пока они сами мне не подтвердят, я в эту его правду не поверю. Предо мною мелькали воспоминания о Жюли: ночное море, минуты предельной искренности; наша общая родина, Англия, годы детства и студенчества. Дабы сделаться игрушкой — даже игрушкой Кончиса,— надо выжечь из себя чувство юмора, здравый смысл, весь объем собственной души; лишь тогда посмеешь променять честь на роскошь, дух на плоть... но зачем, зачем? Здесь, в прогнившей, продажной Европе, я так и не уронил с ладони терпкий плод английского сарказма, но и с его помощью не постичь, отчего столь привлекательные девушки запросто обходятся без воздыхателей, отчего прячутся под паранджой, угождая Кончису; не постичь его корневой власти над Жюли, ауры его богатства, не постичь невольных оговорок, обличающих девушек в том, что здешняя пышность им куда больше по нутру, чем они хотели бы мне показать. Ну все, хватит.

Я услышал, как Гермес выбрался на боковую колоннаду через дверь с молотком в форме дельфина, которой тут почти не пользовались, захрустел ключом. Итак, решено: чем раньше я примусь за дело, тем лучше. Я развернулся, спрыгнул на гравий и зашагал к воротам. Гермес хрипло окликнул меня:

— Кирьос, еда!

Я отмахнулся, не сбавляя хода: еду засунь туда же, в задницу. У хижины томился на привязи основательно навьюченный ослик. Островитянин, словно поддавшись дебильной панике при мысли, что буква указаний Кончиса не будет соблюдена, рванул вдоль колоннады, через двор, к своему ослу. Я шел себе и шел, приметив краем глаза, что Гермес сдернул что-то с крючка, прибитого к кухонной притолоке. По гравию за моей спиной зашуршали торопливые шаги. Я обернулся, чтобы отослать его восвояси. И вдруг застыл, позабыв опустить руку.

Он протягивал мне плетеную корзинку. Знакомую корзинку — Жюли носила ее с собой весь тот воскресный день, когда мы были наедине. Я медленно поднял глаза на Гермеса. Тот еще подался ко мне: ну возьмите, умоляю, возьмите. И произнес по-гречески: для вас, для вас. Впервые с начала нашего знакомства губы его тронуло подобие улыбки.

Переборов себя, я отшвырнул походную сумку, взял из его рук корзину, открыл. Два яблока, два апельсина, два бережно перевязанных сверточка белой бумаги — и из этой снеди торчит бутылка шампанского с золотою фольгой на горлышке. Я сдвинул сандвичи в сторону, взглянул на этикетку: «Крюг». Повернулся к Гермесу, ошарашенный до потери пульса. Тот выговорил одно-единственное слово:

— Перимени.

Она ждет.

Кивком указал себе за спину, на скалы к востоку от частного пляжа. Я вперился туда, ища глазами женский силуэт. В утренней тиши стучал мотор невидимой лодки, что добралась до яхты и тронулась в обратный путь. Гермес ткнул пальцем в скалы и повторил то же самое слово.

Вы еще не знаете, что я имею в виду.

Из последних сил сдерживаясь, я чинно дошел до лесенки, ведущей через овраг; однако, едва нога коснулась верхней ступеньки, я наплевал на приличия, кубарем слетел вниз по склону, взвился на противоположный откос. Бронзовый Посейдон высился посреди залитого солнцем прогала, но вид у него был вовсе не царственный. На вытянутой длани болтался самодельный указатель, колеблемый ветерком, точно носовой платок, забытый на бельевой веревке. Наспех нарисованная рука указывала на поросшие лесом скалы. И я пошел, куда она манила, через кустарник, напролом.

56

И почти сразу же — сквозь штриховку сосновых стволов — увидел Жюли. Та стояла на гребне — сизые брюки, темно-синяя блузка, розовая панама,— стояла и смотрела на меня. Я помахал ей, она помахала в ответ, а потом, к моему изумлению, не бросилась навстречу, но повернулась и юркнула на дальнюю сторону круто нависавшего над морем утеса. Я был слишком обрадован и окрылен, чтобы раздумывать, что ей там понадобилось; верно, хочет подать на яхту условный сигнал: все в порядке. Я перешел на бег. С момента, когда я заметил ее, и двадцати пяти секунд не прошло, а я уже домчался до места, где она стояла... и затоптался там, недоверчиво озираясь. Склон уходил из-под ног ярдов на двадцать вниз, дальше начинался обрыв. Укрыться здесь было негде: россыпь булыжников и обломков, пара кустиков меньше фута ростом; и все-таки Жюли пропала бесследно. А ведь она так броско одета... выпустив из рук корзинку и походную сумку, я прошел по хребту утеса в том направлении, в котором исчезла Жюли... безуспешно. Ни зубцов, ни потайных расщелин. Я немного пополз по откосу на карачках; спуститься ниже удалось бы лишь опытному альпинисту, да и то с помощью страховки.

Это противоречило всем законам физики. Она растворилась в воздухе. Я взглянул, что творится на яхте. Шлюпку поднимают на борт, на палубу высыпало человек десять — матросы и пассажиры; стройный корпус уже пришел в движение, неспешно скользит в мою сторону, словно готовя заключительное мое публичное поруганье.

Вдруг сзади кто-то театрально откашлялся. Я крутанулся на месте — и замер от удивления. Посреди склона, ярдах в пятидесяти, из земли высовывались голова и плечи Жюли. Она упиралась локтями в откос, а позади нее зловещим, кощунственным нимбом чернел зазубренный круг. Но в лукавом лице ее ничего зловещего не чувствовалось.

— Ты что-то потерял? Давай вместе поищем.

— Господи Иисусе.

Я подобрался ближе, остановился футах в шести, глядя сверху вниз на ее улыбающуюся мордашку. Кожа ее заметно покоричневела — загаром Жюли сравнялась с сестрой. Круг за ее плечами оказался железной откидной крышкой наподобие тех, какими снабжены канализационные люки. Камни вокруг отверстия схвачены цементным раствором. Жюли находилась внутри железной трубы, вертикально уходящей в толщу утеса. От крышки тянулись вниз два стальных тросика — похоже, деталь какого-то запорного механизма. Прикусив губу, Жюли поманила меня согнутым пальцем.

— «Заходи-ка, муха, в гости»,— приглашает... [1]

Точнее не скажешь. На острове и вправду водился паучок, устраивавший по отмелям хитроумные туннельчики-ловушки; я не раз наблюдал, как ребятня старается выманить оттуда хозяина. Внезапно Жюли переменилась в лице:

— Уй, бедненький, что у тебя с рукой?

— Он разве не рассказал? — Участливо помотала головой.— Да ерунда. Все уже зажило.

— Жуткое зрелище.

Выбралась на поверхность. Мы секунду постояли лицом к лицу, затем она подалась ко мне, взяла мою оцарапанную руку в свои, осмотрела со всех сторон, настойчиво заглянула мне в глаза. Я улыбнулся:

— Это что... Ты еще не знаешь, какую свистопляску он мне тут со вчерашнего устроил.

— Я так и думала.— Вновь уставилась на мою руку.— Не болит, нет?

— Тут не в боли дело, а в хамстве.— Я кивнул на дыру.— Что это за чертовщина такая?

— Немцы выкопали. Во время войны.

— О господи. Как я не сообразил!

---

[1] Оборванная строка из стихотворения Мэри Хауитт (1799—1888) «Паучок и муха».

Наблюдательный пункт... Кончису оставалось лишь замаскировать вход и присыпать грунтом смотровые щели. Мы подошли к краю. В глубине трубы густела темнота. Я различил лесенку, увесистые грузила на концах тросиков, сумрачный клочок цементного пола на дне. Жюли нагнулась, хлопнула по крышке. Та мягко опустилась вровень с землей, на бугристое кольцо камней, пригнанных друг к другу плотно, будто кусочки змейки-головоломки. Со стороны ничего не заметно; разве что, ступив на люк, поразишься, в какой странный узор сами собой сложились здесь камешки, однако микроскопическую выпуклость крышки подошвой ни за что не ощутишь.

— Глазам своим не верю,— сказал я, глядя на Жюли.

— Неужто ты решил, что я...— Не договорила.

— Каких-то полчаса назад он сообщил, что ты его любовница. И что мы с тобой никогда больше не увидимся.

— Любовница?!

— Да, и Джун тоже.

Настал ее черед изумляться. С подозрением взглянула на меня, словно ожидая подвоха, протестующе фыркнула.

— И ты ему поверил?! — Наконец-то я расслышал в ее голосе знакомую дрожь.— Если поверил, я с тобой не вожусь.

Я не мешкая обнял ее, наши губы встретились. Поцелуй вышел кратким, но вполне убедительным. Она нежно отстранилась.

— За нами, кажется, следят.

Я покосился на яхту и отпустил талию Жюли, но руки ее удержал в своих.

— А Джун где?

— Угадай.

— У меня угадайка сломалась.

— Мне сейчас пришлось-таки промять ноги. Чудесная получилась прогулка.

— Ты из деревни пришла? Из Гермесова дома?

— Мы туда еще в четверг въехали. Совсем рядом с тобой. Я просто извелась вся.

— Так Морис...

— Сдал нам его до конца лета.— Рот до ушей.— Да. Да. Я тоже сперва подумала, не во сне ли я.

— Бог ты мой. А как же его новые опыты?

— Отложены. Раз вечером он вдруг ляпнул, что на них времени не хватит. Вроде бы эксперимент переносится на будущее лето, хотя...— Повела плечиком. Ради того, чтоб быть вдвоем, и потрудиться не грех. Я пристально взглянул на нее.

— Не передумала? Остаешься?

Стыдливо потупилась.

— А ты уверен, что в нормальной обстановке, без всей этой романтики, мы друг другу не разонравимся?

— Я на дурацкие вопросы не отвечаю.

С улыбкой подняла глаза.

— Видишь, уже разозлился.

Яхта загудела. Взявшись за руки, мы обернулись к ней. Теперь она стояла прямо напротив нас, ярдах в трехстах от берега. Жюли вскинула ладонь, помахала; слегка замявшись, я последовал ее примеру. Вон Кончис и Джо, между ними черная фигурка Марии. Они тоже нам замахали. Кончис что-то крикнул матросу на мостике. Там расцвел султанчик дыма, бабахнул выстрел, взмыл в небеса черный снарядик. Достиг высшей точки, лопнул. На лазурной тверди замерцала пригоршня ярчайших потрескивающих звезд; вторая, третья. Фейерверк в честь закрытия сезона. Долгий вопль сирены, трепет машущих рук. Жюли забросала стоящих на палубе воздушными поцелуями, я еще помахал. Стройный белоснежный корпус стал забирать мористее.

— Он правда сказал, что я его содержанка?

Я дословно воспроизвел утренние намеки Кончиса. Жюли глядела вслед яхте.

— Ну и наглец.

— Да я понял, что это туфта. Ты ж его знаешь, картежника: врет и не краснеет.

— Вот схлопочет по морде, небось покраснеет. Джун его в порошок сотрет, попадись он ей.— С улыбкой обернулась ко мне.— Слушай-ка...— Дернула меня за руку.— Я аппетит нагуляла.

— Покажи, где вы тут прятались.

— Ну, потом. Сперва давай перекусим.

Мы поднялись на гребень к корзинке и обосновались в тени сосны. Жюли развернула сандвичи, я откупорил шампанское; бутылка успела нагреться, и часть ее содержимого выплеснулась на землю. Впрочем, это не помешало нам выпить за здоровье друг друга. Поцеловавшись, мы набросились на еду. По просьбе Жюли я подробно описал вчерашние события, а затем и то, что им предшествовало,— ночную облаву, мое подложное письмо, где говорилось, что я болен...

— А мое письмо с Сифноса ты получил?

— Получил.

— Мы вообще-то подозревали, что твоя болезнь — очередной финт. Но Морис был так обходителен с нами. Это наш взбрык подействовал.

Я спросил, чем они занимались на Крите и близлежащих островах. Жюли поморщилась:

— Загорали и дохли от скуки.

— Никак не возьму в толк, зачем ему понадобилась эта отсрочка.

Жюли замялась.

— В прошлые выходные он попытался уговорить нас... ну, короче, чтобы Джун тебя у меня отбила. Кажется, ему до сих пор жаль этой своей придумки.

— Ты сюда посмотри.— Дотянувшись до походной сумки, я вынул оттуда конверт с деньгами; назвал ей сумму, признался, что не могу ее принять. Жюли заспорила с пол-оборота:

— Ну что ты ломаешься! Ты их честно заработал, а от него не убудет.— Улыбка.— Тебе ж надо как-то меня прокормить. Мой контракт разорван.

— Больше он вас деньгами не соблазнял?

— По правде — соблазнял. Либо ты и дом в деревне, либо полная выплата по контракту.

— А Джун что выигрывает?

Хмыкнула.

— Ей голоса не давали.

— Панама у тебя потрясающая.

Мягкая, девчачья, с узкими полями. Жюли стянула ее с макушки и повертела в руках — ну в точности угловатая девчонка, которой впервые в жизни отвесили комплимент. Я нагнулся к ней, поцеловал в щеку, обнял за плечи, привлек к себе. Яхта уже отошла на две или три мили; вот-вот пропадет за восточной оконечностью Фраксоса.

— Ну а коренной вопрос? Так и остался без ответа?

— Ой, ты не представляешь. Наутро мы чуть не на коленях перед ним ползали. Но это его второе условие. Или прежний бред продолжается, или мы никогда не узнаем, зачем он был ему нужен.

— Вот если б выяснить, что тут творилось прошлым летом. И позапрошлым.

— Они тебе не написали?

— Ни словечка.— И добавил: — Хочу повиниться перед тобой.— Тут я рассказал, как наводил о ней справки, и вытащил письмо из лондонского банка.

— Нехорошо это, вот что я тебе скажу, Николас. Ишь ты, не поверил! — Закусила губу.— Джун тоже нехорошо поступила, когда позвонила в Афины, в Британский Совет, чтоб узнать, тот ли ты, за кого себя выдаешь.— Я ухмыльнулся.— Десятку мне проспорила.

— Ты меня так дешево ценишь?
— Не тебя, а ее.
Я посмотрел на восток. Яхта скрылась из виду, пустынный простор обдавал своим тихим дыханьем кроны сосен над головой, завитки волос Жюли. Я сидел, прислонясь спиной к стволу, она притулилась сбоку. Плоть моя дрогнула блесткой недавнего фейерверка, вспенилась выпитым до капли шампанским. Я взял Жюли за подбородок, и мы слились в поцелуе; затем, не разнимая губ, легли рядом, вытянулись в ажурной тени ветвей. Я вожделел ее, но не столь жадно, как раньше,— впереди ведь целое лето. Пока мне довольно и ладони меж спиною и блузкой, довольно ее языка меж моими зубами. Она шевельнулась, легла сверху, вперекрест, уткнулась носом мне в щеку. Молчание.
— Скучала? — прошептал я.
— Много будешь знать, скоро состаришься.
— Вот так бы ночи напролет, всю жизнь, всю жизнь.
— Ночь напролет не выйдет. Ты костлявый.
— Не вяжись к словам.— Я обнял ее крепче.— Скажи: да. Сегодня ночью — да.
Потеребила мою рубашку.
— Хорошо с ней было в постели? С австралийской подружкой?
Я мигом заледенел, глаза мои налились небом, голубеющим в сосновой хвое, в горле зашевелилось признание... нет-нет, еще не пора.
— Про нее — в другой раз.
Ласково ущипнула меня.
— А я думала, ты уже все о ней рассказал.
— Почему ж спрашиваешь?
— Потому.
— Ну почему?
— У меня вряд ли выйдет так... ну ты понял.
Я изловчился, поцеловал ее макушку.
— Ты уже доказала, что гораздо ее талантливей.
Помолчала, точно я ее не убедил.
— Я еще ни разу ни с кем не спала по любви.
— Это не порок.
— Незнакомая территория.
— Будь как дома.
Опять помолчала.
— Почему у тебя нет брата. Он достался бы Джун.
— Она тоже не хочет уезжать?
— Немного побудет.— И шепнула: — Вот почему плохо быть двойняшками. Пристрастия совпадают.
— Не думал, что вам нравятся мужчины одного типа.
Чмокнула меня в шею.
— Нет, но этот вот тип нам обеим нравится.
— Она просто подначивает тебя.
— Ты, верно, жалеешь, что не пришлось разыгрывать «Сердца трех».
— Да уж, зубами скриплю от обиды.
Еще щипок, почувствительней.
— А если честно?
— Ты иногда ведешь себя как ребенок.
— Я и есть ребенок. Моя кукла, моя!
— Возьмешь сегодня куклу к себе в постель?
— Кровать односпальная.
— Значит, там не хватит места для ночной рубашки.
— Я тут научилась обходиться без нее.
— Не буди во мне зверя.
— Это во мне зверь просыпается. Когда лежу без ничего и представляю, что ты рядом.
— И что я делаю?
— Пакости всякие.

— Например?
— Я о них не словами думаю.
— Ну хоть грубый я или ласковый?
— Разный.
— Ни про одну пакость не расскажешь?
Помявшись, прошептала:
— Я убегаю, а ты меня ловишь.
— А потом что? — Молчание. Я провел ладонью по ее спине.— Кладу через колено и лупцую по попе?
— Начинаешь поглаживать, тихонечко так, тихонечко.
— Чтоб не напугать? Ты ведь ни с кем не спала по любви.
— Ага.
— Дай я тебя раздену.
— Сперва придется отнести меня в деревню на закорках.
— Сдюжу как-нибудь.
Оперлась на локоть, нагнулась, поцеловала меня, улыбнулась слегка.
— Ночью. Честное слово. Джун все для нас приготовит.
— Давай спустимся в ваше убежище.
— Там страшно внутри. Как в склепе.
— Мы скоренько.
Заглянула в глаза, точно ни с того ни с сего собралась меня отговаривать; затем улыбнулась, встала, протянула мне руку. Мы спустились по осыпи до середины склона. Жюли наклонилась, надавила на один из камешков; зазубренная крышка откинулась, приглашая нас в зияющий люк. Жюли повернулась к нему спиной, стала на колени, вытянула ногу вниз, нашаривая первую перекладину лестницы, и начала спуск. Вот ее запрокинутое лицо уже смотрит на меня с пятнадцатифутовой глубины.
— Осторожней. Там ступеньки сломаны.
Я полез к ней. В трубе было как-то тесно и неуютно. Однако внизу, напротив лесенки, обнаружилось квадратное подземельице, примерно пятнадцать футов на пятнадцать. Я еле различил двери, прорезанные в боковых стенах, а в обращенной к морю — задраенные апертуры щелей, пулеметных ли, смотровых. Стол, три деревянных стула, крохотный буфет. Воздух тяжелый, затхлый; должно быть, это запах самой тишины.
— У тебя спичек нет?
Жюли достала откуда-то походный фонарь; я зажег его фитилек. Левую стену украшала неумелая роспись — пивной погребок, шапки пены на глиняных кружках, грудастые подмигивающие девчата. Блеклые ошметки краски свидетельствовали, что первоначально фреска была цветной, но теперь на штукатурке уцелел лишь ее серый контур. Он казался древним, точно стенные росписи этрусков; след цивилизации, безвозвратно канувшей в небытие. На правой стене картинка была не такая бездарная: уходящая вдаль улица некоего австрийского города... вероятно, Вены. Похоже, правильно выстроить перспективу художнику помог Антон. Боковые двери формой напоминали те, что проделывают в корабельных переборках. На каждой по увесистому замку.
— Вот там была наша комната,— кивком указала Жюли.— А в другой спал Джо.
— То еще местечко. Ну и запах.
— Мы его прозвали Норой. Знаешь, как пахнет в лисьей норе?
— А почему двери заперты?
— Понятия не имею. Они никогда не запирались. Наверное, кто-нибудь на острове тоже знает про наблюдательный пункт.— Криво усмехнулась.— Ты ничего не потерял. Там просто одежда. Кровати. И росписи, такие же кошмарные.
Свет фонаря выхватил из мрака ее лицо.
— Ты храбрая девушка. Не боялась тут ночевать.
— Нас аж трясло. Столько квелых, несчастных мужиков. Сидели себе тут взаперти, света белого не видя.
Я тронул ее за руку.

— Ладно. Посмотрели — и будет.

— Фонарь потушишь?

Я привернул фитиль, и Жюли устремилась вверх по лесенке. Стройные, обтянутые синим икры, блистающий свет дня над головой. Я выждал у подножья лестницы, чтобы не ткнуться в ее каблук, и полез следом. Вскидывая глаза, я видел подошвы туфель Жюли.

Вдруг она закричала:

— Николас!

Кто-то — один или двое — выскочил из-за поднятой крышки и ухватил Жюли за запястья. Ее рывком вытянуло, выдернуло из трубы, как пробку, и отбросило прочь — она успела кое-как брыкнуть ногой, пытаясь зацепиться за тросики запорного механизма. Снова позвала меня, но ей зажали рот; шорох камешков сбоку от люка. Я молнией преодолел оставшиеся ступеньки. На долю секунды в отверстии мелькнуло чье-то лицо. Молодой блондин, стриженный ежиком,— матрос, которого я видел утром у виллы. Заметив, что от верха меня отделяют еще две перекладины, он поспешно захлопнул люк. Грузила рассерженно забарабанили по металлической обшивке на уровне моих щиколоток. Очутившись в кромешной тьме, я заорал:

— Бога ради! Эй! Минуточку!

Изо всех сил надавил плечом в крышку. Та едва-едва подалась, будто сверху на ней сидели или стояли. А со второго жима ее и вовсе заклинило. В трубе было слишком тесно, чтоб упереться половчее.

И все-таки я поднатужился в третий раз; потом замер, прислушался. Полная тишина. Я последний раз толкнулся в крышку, махнул рукой и слез обратно на дно. Чиркнул спичкой, вновь зажег походный фонарь. Подергал ручки тяжелых дверей. Те были неприступны. Я настежь распахнул дверцы буфета. Там имелось столько же посуды, сколько смысла в том, что произошло минуту назад: ноль. Злобно ворча, я вспомнил отплытие Кончиса. Этакий крестный из сказки: разудалое прощанье, салют, бутылка «Крюга». Дворцовые празднества завершились. Вот только свихнувшийся Просперо ни за какие коврижки не выпустит Миранду из лап.

Стоя у подножья лесенки, я кипел от ярости, тщась постигнуть заячьи петли безжалостного старца, расшифровать сочиненный им палимпсест. Пресловутый «театр без зрительного зала» — чушь, эта фраза ничего не объясняет. Без зрителей ни одному актеру (или актрисе) не обойтись. Возможно, в своих действиях он отчасти и руководствуется некой театральной концепцией, но, пользуясь его собственным выражением, «домашний спектакль — всего лишь метафора». Что ж получается? Речь идет о новой, непостижимой философии — о метафоризме? Похоже, он воображает себя профессором умозрительного *перено́сного* факультета, Эмпсоном [1] случайных сплетений. Наконец голова моя загудела от умственных потуг, а в итоге зона неопределенности только расширилась. Накрыла, кроме Кончиса, и Жюли, и Джун. Взять хотя бы дни, когда Жюли прикидывалась шизофреничкой. Прикидывалась? Да-да, все было рассчитано заранее, меня обрекли на вечную жажду, на вечную муку, меня дразнили, как боги дразнили Тантала. Но разве может девушка так живо играть любовь — а я точно въяве ощущал на себе ее поцелуи, вновь слышал ее неприкрыто страстный, настойчивый шепот,— ни капли не любя? Если она и вправду не страдает умственным расстройством, если не убеждена подсознательно, что вольна предать свои прежние обеты?

И человек, называющий себя врачом, смотрит на все это сквозь пальцы! Чудовищно.

После получаса безуспешных попыток крышка люка нехотя поддалась моему нажиму. Раз, два, три — я вновь на воле. Море и лес совершенно пустынны. Я взобрался на гребень, чтобы расширить обзор. Ясное дело, ни души. В алеппских соснах хозяйничал ветер, ровный, высокомерный,

[1] Скорее всего, имеется в виду Уильям Эмпсон — поэт, критик, автор редактировавшегося Ф. Р. Ливисом журнала «Скрутини» — органа «кембриджской школы» литературоведения, требовавшей от литературных произведений прежде всего внятности содержания.

неземной. Клок белой бумаги, обеденная обертка, лениво колыхался на смилаксовых колючках ярдах в пятидесяти от меня. Корзинка и сумка лежали там, где мы их оставили; розовая панама — там, куда ее положила Жюли.

Через две минуты я добрался до виллы. Тут с моего ухода ничего не изменилось; ставни все так же заперты. Я заспешил по колее к воротам. И здесь, как и в первый приход, в глаза мне бросилась подсказка-самоделка.

57

Точнее, две подсказки.

Они свисали с сосновой ветки неподалеку от ворот, на середине колеи, футах в шести над землей, покачивались на ветерке, беззлобные и праздные, вскользь тронутые солнцем. Кукла. И человеческий череп.

Череп — на черном шнурке, продетом в дырочку, бережно просверленную в затылочной кости, кукла — на белом. Петля охватывала ее шею. Повешена во всех смыслах слова. Дюймов восемнадцати ростом, грубо вырезанная из деревяшки и покрашенная черным, с впопыхах процарапанными ухмылкой и зенками. Единственное одеяние — привязанные к лодыжкам пучки белой шерсти. Кукла изображала Жюли и подразумевала, что Жюли — это зло, что под белой оболочкой безгрешности в ней таится чернота.

Перекрутив шнурок, я пустил череп вертеться в воздухе. В глазницах метались тени, челюсти мрачно скалились по сторонам.

Увы, бедный Йорик.

Выпотрошенные сестры?

Или Фрейзер, «Золотая ветвь»? Вспомнить бы, что там написано. О чучелах, которые вешали в запретных кущах.

Я осмотрелся. Откуда-то за мной наблюдают. Но вокруг — ни шевеленья. Сухостой на прямом солнце, кустарник в бездыханной тени. И вот снова жуть, жуть и тайна нахлынули на меня. Ветхий невод действительности, этот лес, этот свет. Безмерное пространство пролегло меж родиной и мною. Истинное расстояние по карте не измеришь.

Ты в лучах солнца, ты на древесной аллее. И куда ты ни глянешь — все проложено тьмой.

Тою, что пребывает безымянно.

Череп и его женушка подпрыгивали на ветряных перекатах. Блюдя их тайный союз, я поспешил прочь.

Догадки опутывали меня, будто лилипутские канаты — Гулливера. В сердце саднила единая боль, единая горечь — Жюли; и в сердце, и в мире. В школу я брел как пышущий местью воитель исландских саг, но при этом лелеял мизерную надежду, что Жюли уже там, ждет меня. Распахнул дверь настежь — настежь распахнул дверь своей пустой комнаты. Пойти, что ли, к Димитриадису, вытрясти из него всю правду, силком повести на очную ставку с естественником? Или лучше сразу отправиться в Афины? Я снял чемодан с верхней полки платяного шкафа, но вдруг передумал. Нельзя пренебрегать тем, что до конца семестра осталось целых две недели; две недели, на протяженье которых нас с Жюли можно еще вдоволь помучить. Или меня одного.

В конце концов я направил стопы в деревню, прямиком к дому у церкви. Ворота отворены; к крыльцу через лимонную и апельсинную гущу ведет булыжная дорожка. Дом небольшой, но довольно нарядный: портик с пилястрами; на окнах причудливые наличники. Тень дрожала на беленом фасаде, сообщая ему оттенок, каким было окрашено в зените вечернее небо, только пожиже. Не успел я добраться до конца сумрачного и прохладного коридора фруктовых деревьев, как из парадной двери появился Гермес. Взгляд его заметался по сторонам, словно ему не верилось, что я пришел один.

— Барышня тут? — спросил я по-гречески. Он воззрился на меня и обалдело развел руками. Я нетерпеливо продолжал: — А другая барышня, ее сестра?

Вскинул голову. Нет.

— Где же она?
— Села на яхту. После обеда.
— Откуда ты знаешь? Тебя тут не было.
— Жена сказала.
— Уплыла с господином Конхисом? В Афины?
— Нэ.— Да.

Завернув за восточный мыс, яхта вполне могла ненадолго пристать в гавани; Джун, похоже, удалось заманить на борт без лишнего шума, сообщив ей, что мы с Жюли уже там. А может, с ней обо всем договорились заранее. Я смерил взглядом Гермеса, отстранил его и вошел.

Просторная прихожая, нежаркая и пустая; на одной стене — великолепный турецкий ковер, на другой — облупившийся герб, каких множество на английских надгробьях. В приоткрытую дверь направо виднелись контейнеры с холстами из Бурани. На пороге топтался мальчуган — видимо, один из сыновей Гермеса. Погонщик что-то буркнул ему, и парень, важно поведя карими глазами, удалился.

— Чего вам надо? — сказал мне в спину Гермес.

— Где комнаты девушек?

Поколебавшись, ткнул пальцем наверх. Казалось, он совершенно раздавлен происходящим. Я взбежал по лестнице. От площадки второго этажа в оба крыла уходили одинаковые коридоры. Я обернулся к Гермесу, шедшему за мной по пятам. Тот вновь заколебался; вновь вытянул палец. Дверь справа. Я очутился в жилой комнате с типичной для Фраксоса меблировкой. На кровати покрывало с народным орнаментом, паркетный лакированный пол, комод, элегантное кассоне, акварельные наброски деревенских улиц. Старательно стилизованные картинки напоминали суховатые штудии в искусстве перспективы и, хоть и не были подписаны, скорее всего принадлежали кисти того же Антона. Ставня окна, выходящего на запад, на три четверти длины задвинута и закреплена шпингалетом. На длинном подоконнике стоял запотевший канати, кувшин из пористой глины, какие в Греции помещают на сквознячке, чтобы охладить воду и заодно освежить воздух в комнате. На крышке кассоне — букет жасмина и свинцовок в вазочке с молочно-бежевым узором. Милый, незатейливый, гостеприимный интерьер.

Я отодвинул ставню, чтобы усилить освещение. Гермес мялся в дверях, настороженно наблюдая за мной. Снова спросил, чего мне надо. Отметив, что поинтересоваться, где Жюли, он не решается, я пропустил вопрос мимо ушей. Мне даже хотелось, чтоб он применил ко мне силу, ибо телесное напряжение требовало какой-то разрядки. Он, однако, не двигался с места, и мне пришлось вымещать злобу на комоде. Там я не отыскал ничего, кроме одежды и — в глубине одного из ящиков — набора туалетных и косметических принадлежностей. Махнув на комод рукой, я огляделся. Дальний угол отгораживала занавеска на косой перекладине. Отдернув ее, я уткнулся в висящие рядком платья, юбки, летний плащ. Вот розовое платье, которое было на Жюли в тот воскресный день, когда я «узнал всю правду»; вернее, то, что принял тогда за правду. На полу за шеренгой обуви похилился у стенки чемодан. Я схватил его, шлепнул на кровать, для очистки совести проверил замки. Против ожидания, чемодан не был заперт.

Опять шмотки: пара шерстяных джемперов, теплая твидовая юбка,— летом в Греции все это ни к чему; две сумки на длинной ручке, местного производства, новехонькие, даже ценники не оторваны — словно куплены кому-то в подарок. На дне — несколько книг. Изданный до войны путеводитель по Греции, страницы переложены открытками с фото классических архитектурных сооружений и скульптур. На обороте пусто. Роман Грэма Грина. Американская книжонка о колдовстве; вместо закладки — конверт. Оттуда выпала карточка с типографским текстом. Приглашение на выпускной вечер, состоявшийся неделю назад в Лондоне, в той самой школе, где Жюли, по ее словам, работала. Письмо переслали в Бурани из Сёрн-Эббес, с ее дорсетского местожительства, почти месяц тому. И наконец, антология

«Палатин» [1]. Я раскрыл титульный лист. «Джулия Холмс, Джертон». На полях мелким почерком Жюли кое-где вписаны переводы стихов на английский.

— Что вы ищете? — выдавил из себя Гермес.

— Ничего,— пробормотал я. В душу закралось подозрение, что Кончис орудует людьми по принципу шпиона-резидента: подчиненным не полагается знать того, что не входит в их компетенцию... вот Гермес почти ничего и не знал; в лучшем случае его предупредили, что я могу заявиться с недовольным видом, а он должен меня задобрить. Оторвавшись от чемодана, я обернулся к погонщику.

— А комната другой барышни?

— Там пусто. Она все свои вещи забрала.

Я заставил его показать мне и комнату Джун. Она располагалась по соседству и обставлена была точно так же. Правда, тут вообще не осталось следов чьего бы то ни было пребывания. Даже корзина для бумаг под столом пуста. Я снова подступил к Гермесу.

— Почему она не взяла сестрины вещи?

Он растерянно пожал плечами.

— Хозяин говорил, ее сестра вернется. Вместе с вами.

Спустившись, я приказал Гермесу позвать жену. Та оказалась островитянкой лет пятидесяти с желтушной кожей, в непременной черной одежде, но вроде бы побойчее и поречистей мужа. Да, матросы принесли ящики, и хозяин заходил. Около двух. Барышню он забрал с собой. Она расстроилась? Наоборот. Хохотала. Такая пригожая барышня, добавила моя собеседница. А в прошлые годы она тут появлялась? Ни разу. Она иностранка, присовокупила жена Гермеса, точно я этого сам не знал. Сказала она, куда уезжает? В Афины. А вернуться не собиралась? Женщина развела руками: не знаю. Потом проговорила: исос. Наверное. Дальнейшие мои расспросы не дали вразумительных результатов. Бросалось в глаза, что ни Гермес, ни его супруга сами не желают меня ни о чем спрашивать, но я уже убедился, что в этой истории они исполняют роль пешек; даже понимай они, что тут к чему, мне ни за что не скажут.

Эйеле. Хохотала. Похоже, именно это греческое слово рассеяло мою решимость обратиться в полицию. Кончис мог увезти Джун обманом, но что-нибудь она бы да почуяла и хохотать не стала бы. Эта несообразность подтверждала худшие мои опасения. И потом — вещи Жюли, брошенные здесь на произвол судьбы; еще одна странность, но куда более утешительная. Всем их «приди ко мне — пошел прочь» еще не конец. Наверняка стоит выждать, перебороть уныние и досаду. Ждать.

В понедельник за обедом мне вручили письмо от миссис Холмс. На штемпеле значилось: «Сёрн-Эббес». Отправлено в прошлый вторник.

Дорогой мистер Эрфе!

Не извиняйтесь, никакого беспокойства. Я передала Ваше письмо мистеру Вэльями, директору начальной школы, он просто лапочка, пришел от Вашей идеи в восторг, французские и американские друзья по переписке уже навязли в зубах, правда же? Он Вам обязательно напишет.

Я страшно довольна, что Вы дружите с Жюли и Джун, хоть один англичанин на этом острове нашелся. Они говорят, у вас там чудесно. Напоминайте им, чтоб писали. Им на меня *абсолютно* наплевать.

С огромным уважением,
Констанция Холмс.

Вечером я заступил на дежурство, но, когда ребята улеглись, сбежал и отправился к дому Гермеса. Окна второго этажа не горели.

Настал вторник. Я места себе не находил, маялся, не знал, за что ухватиться. К вечеру прошелся от набережной до площадки, где совершился

---

[1] Антология греческой эпиграммы, по преданию, составленная Мелеагром.

расстрел. На школьной стене висела мемориальная доска. Ореховое дерево справа сохранилось, но решетчатые ворота заменили на деревянные. Рядом, у высокой стены, гоняли мяч мальчишки; я вспомнил комнату, вспомнил ту пыточную камеру, куда заглянул в воскресенье по дороге от Гермесова дома; школа была закрыта, но я обошел ее с тыла и посмотрел в окно. Теперь тут устроили кладовку, забили ее конторками, классными досками, сломанными партами и подобным хламом; и хлам вытравил всякую память о случившемся в этих стенах. А надо бы оставить все как было — кровь, электрический огнь, чудовищный стол посредине.

Работа в эти дни здорово мне обрыдла. Состоялись экзамены; рекламный проспект обещал, что «каждый ученик в отдельности сдает письменный экзамен по английскому языку и литературе англоязычному профессору». То есть мне предстояло проверить примерно двести сочинений. В некотором смысле это помогало. До остальных забот и треволнений руки не доходили.

Я ощутил в себе смутную, но значительную перемену. Понял, что никогда больше не поверю девушкам до конца — слишком уж туго завернут винт. Незадолго до того как ее «похитили», Жюли вновь намекнула, что я-де неравнодушен к Джун, и по прошествии времени это воспринималось как грубейшая ошибка с ее стороны. Я бы сразу это понял, не заморочь она мне голову. Они явно, как и прежде, действуют по указке Кончиса; а значит, им, скорее всего, известно, причем известно с самого начала, какова его истинная цель. С этим выводом не больно-то поспоришь, а вот и второй: Жюли и впрямь питает ко мне нежные чувства. Если учесть то и другое, поневоле смекнешь, что все это время она вела как бы двойную игру: дурачила меня, чтоб угодить старику, а старика — чтоб угодить мне. А отсюда в свою очередь следует, что она была уверена: я никогда не откажусь от нее окончательно и мукам нашим настанет-таки предел. Как жаль, что в удобный момент я не сказал ей о смерти Алисон, ведь если я хоть чем-то дорог Жюли, наши идиотские прятки сразу бы закончились. Но то, что я промолчал тогда, имеет и свои плюсы. Головоломки продолжаются — значит, про Алисон ей заведомо ничего не известно.

Среда выдалась не по-эгейски душной, солнце затянуло поволокой, точно перед Страшным судом. Вечером я всерьез взялся за проверку сочинений. Завтра был крайний срок их сдачи в канцелярию директора. Сильно парило, и около половины одиннадцатого послышались первые раскаты грома. Близился благодатный дождь. Часом позже, когда я на треть разгреб завалы изгаженной бумаги, в дверь постучали. Войдите, крикнул я. Верно, кто-нибудь из учителей, а может, выпускник шестого класса, желающий выклянчить у меня послабление.

Но это оказался барба Василий, привратник. В седых моржовых усах пряталась улыбка; и, едва он открыл рот, я вскочил из-за стола.

— Сигноми, кирье, ма мья деспинис...

58

— Простите, сударь, вас там барышня...

— Где?

От ткнул пальцем в направлении ворот. Я уже путался в рукавах плаща.

— Очень красивая барышня. Иностранка, ух...

Эти его слова я услышал, мчась по коридору. Оглянулся на его ухмыляющуюся физиономию, крикнул «То фос!» («Включите свет!»), скатился по лестнице, выбежал в сад, на дорожку, ведущую к воротам. Над окном проходной торчала лампочка без колпака; островок белого света во тьме. Я думал застать Жюли там, но не застал. С наступлением ночи ворота запирались — у каждого учителя имелся ключ от калитки. Порывшись в карманах, я вспомнил, что оставил свой в старой тужурке, которую надевал, идя на урок. Приник к прутьям решетки. На улице никого, на бурьянной пустоши, что начинается в пятидесяти ярдах от стены и тянется

до самого берега,— никого, на берегу тоже никого. Я негромко позвал ее по имени.

Но тень ее не мелькнула в ответ за школьной оградой. Я в гневе обернулся. Барба Василий, хромая, спешил ко мне от учительского корпуса.

— Где ж она?

Он лет пятьсот возился со щеколдой боковой калитки. Наконец мы вышли на улицу. Старик махнул рукой в сторону, противоположную деревне.

— Туда пошла?

— Вроде.

Я кожей ощутил очередной подвох. Улыбался дед как-то странно; предгрозовая ночь, безлюдная дорога... а впрочем, будь что будет, лишь бы что-нибудь.

— Барба, вы мне свой ключ не дадите?

Но он отдернул руку, отправился в сторожку разыскивать запасной. Нарочно тянет резину? В конце концов вынес мне ключ, и я нетерпеливо схватил его.

Заспешил по дороге параллельно морю. Восточный небосклон прореза-ла молния. Ярдов через семьдесят — восемьдесят стена поворачивала под прямым углом. Наверно, Жюли там, за ее выступом. Ни души. До конца проселка оставалось не более четверти мили; за школьной оградой он чуть забирал в глубь острова, утыкался в пересохший ручей. Через русло ручья был перекинут мостик, а ярдах в ста левее и выше по течению виднелась одна из бесчисленных местных часовен; от дороги туда вела тропа, обсажен-ная стройными кипарисами. Луна едва выглядывала из-за клубящейся в вышине тучи, тускло, как на картинах Палмера [1], освещая ландшафт. У моста я в нерешительности замедлил шаг: идти дальше или повернуть к деревне? Именно туда Жюли, скорее всего, и направилась. Но тут она окликнула меня.

Голос ее доносился из глубины кипарисовой аллеи. Я поспешил к часо-вне. На полпути слева кто-то зашевелился. Жюли стояла в десяти шагах от меня, меж двух неохватных стволов. Темное летнее полупальто, косынка, брюки, кофточка, в темноте угольно-черная; мерцающий овал лица. Уже открыв рот, я почуял в том, как она стояла, выжидательно засунув руки в карманы, нечто чуждое.

— Жюли?

— Это я. Джун. Слава богу, явились.

Я подошел ближе.

— Где Жюли?

Окинув меня долгим взглядом, театрально ссутулилась.

— А мне казалось, вы просекли.

— Что просек?

— Что происходит.— Вскинула глаза.— Между нею и Морисом.

Я не ответил, и она вновь опустила голову.

— За кого вы меня держите, черт побери? — Она промолчала.— Вся эта комедия с любовницей миллионера давным-давно накрылась, к вашему сведению.

Покачала головой.

— Я не то имела в виду. Просто она... его орудие. Эротика тут ни при чем.

Глядя на ее склоненное чело, я принял решение. Сейчас развернусь, отправлюсь обратно в школу, к себе в комнату, к письменному столу, к непроверенным сочинениям; фабула домашнего спектакля, как и положе-но, описала замкнутый круг. По сути, об этой девушке мне сегодня известно не больше, чем в тот вечер, когда я впервые увидел с террасы Бурани ее скользящую сквозь мрак нагую фигуру. И все же вернуться в школу я не в силах, как камень не в силах вернуться в бросившую его ладонь.

— Ну, допустим. А вы тогда что тут забыли?

---

[1] Сэмюэл Палмер — художник-пейзажист, ученик Уильяма Блейка, представитель анг-лийского романтизма.

— Я подумала — так нечестно.

— Что нечестно?

Взглянула на меня.

— Все было подстроено заранее. Что ее от вас умыкнут. Она знала, что так и случится.

— А этот ваш визит разве не подстроен?

Задумчиво уставилась во тьму над моим плечом.

— Неудивительно, что вы не верите.

— Вы так и не ответили, где Жюли.

— С Морисом. В Афинах.

— И вы из Афин приехали? — Кивнула.— Но пароход еще днем пришел.

— Я ждала в деревне, пока стемнеет.

Я впился в нее взглядом. И на лице, и во всей позе — наглое выражение оскорбленной невинности, безусловной правоты. Явно переигрывает.

— А у ворот меня почему не дождались?

— Психанула. Старика слишком долго не было.

Вспышка молнии. В лицо пахнуло близким дождем; с востока донесся тягучий, угрожающий рокот.

— Что здесь психовать?

— Я сбежала от них, Николас. Куда — они быстро сообразят.

— Почему ж не пошли в полицию? Или в посольство?

— Закон не преследует девушек за то, что те играют с мужчинами как кошка с мышкой. А эта девушка — моя сестра к тому же.— И добавила: — Дело не в том, что Морис вас обманывает. А в том, что вас обманывает Жюли.

В перерывах между ее фразами повисали многозначительные паузы, точно она всякий раз ждала, пока я усвою ее предыдущую мысль. Я не сводил с нее глаз. В ночной темноте иллюзия сходства сестер достигла невероятной силы.

— Я пришла, чтоб вас предостеречь,— сказала она.— Только ради этого.

— Предостеречь — и утешить?

Ответить на сей неприятный вопрос ей помешал чей-то приглушенный голос, донесшийся до нас с проселка. Мы выглянули из-за дерева. К мосту не спеша приближались три расплывчатые мужские фигуры, переговаривавшиеся по-гречески. Перед сном сельчане и преподаватели, бывало, любили прогуляться до конца дороги и обратно. Джун посмотрела на меня с деланным испугом. Но я и на это не клюнул.

— Вы прибыли с полуденным пароходом?

Она не дала поймать себя с поличным:

— Я посуху добиралась. Через Краниди.

Изредка этот маршрут избирали родители, страдающие морской болезнью,— в Афинах садишься на поезд, в Коринфе пересаживаешься, в Краниди ловишь такси, а на побережье нанимаешь лодочника, чтоб перевез тебя на Фраксос; поездка съедает целый день, и, не владея разговорным греческим, в путь лучше не пускаться.

— Почему так сложно?

— А у Мориса всюду шпионы. Тут, в деревне.

— Вот с этим я, пожалуй, спорить не стану.

Я снова выглянул из-за ствола. Троица невозмутимо миновала поворот к часовне и теперь удалялась; сероватая лента дороги, черный кустарник, темное море. Идущие, несомненно, были теми, кем и представлялись со стороны: случайными прохожими.

— Слушайте, мне все это надоело до чертиков,— сказал я.— Любая игра хороша до тех пор, пока не коснется нежных чувств.

— Да я, может, с вами согласна.

— Слыхали, слыхали. Извините, не впечатляет.

— Но ведь она вас вправду одурачила,— понизив голос, сказала Джун.

— Причем куда ловчее, чем это пытаетесь сделать вы. И всю эту проблематику мы с ней, кстати, уже обсудили. Лучше ответьте-ка, где она?

— В данный момент? Очевидно, в постели, со своим постоянным любовником.

У меня перехватило дух.

— С Морисом?

— Нет, с тем, кого вы называете Джо.

Я рассмеялся; это уж слишком.

— Ладно,— сказала она.— Не хотите верить, не надо.

— А вы придумайте что-нибудь поубедительней. А не то заскучаю и пойду домой.— Молчание.— Вот, оказывается, почему он так внимательно наблюдал, как мы с ней друг друга ласкаем.

— Если вы по-настоящему ласкаете женщину каждую ночь, вполне это зрелище стерпите. Тем более коли соперник ваш — дутый.

Она с поразительным упорством тщилась всучить кота в мешке клиенту, который уже имел случай его приобрести.

— Как вам самой не тошно. Прекратите.

Я повернулся и пошел прочь, но она схватила меня за руку.

— Ну, пожалуйста, Николас... кроме всего прочего, мне негде переночевать. В деревенском доме нельзя показываться.

— Обратитесь в гостиницу.

Никак не отреагировав на мою грубость, зашла с другого боку:

— Завтра они сюда непременно заявятся, и, когда меня припрут к стенке, неплохо б вам быть рядом. Авось выручите. Больше мне от вас ничего не надо. Честно.

В какой-то миг ее голос зазвучал искренне, а последнее слово она выговорила с улыбкой, в которой счастливо сочетались раскаянье и мольба о помощи. Я чуть-чуть смягчился.

— Зря вы рассказали мне сюжет «Сердец трех».

— А что, сюжет неправдоподобный?

— Неправда начинается, когда на сюжет книги натягивают действительные события. И вы это прекрасно знаете.

— Не пойму, чего такого необычного в том, что мы с вами повстречались...— Избегая смотреть на меня, замотала головой.

— Я должен переспать с вами. Так задумано?

— Да нет, но на случай, если вам доведется узнать о Жюли всю правду и...— Снова покачала головой.

— Зачем так долго тянуть?

— Затем, что... вижу, вы мне так и не поверили.

— Больно уж сладко вы поете.

Я уже не заботился о том, чтоб спрятать иронию. Вдруг она подняла на меня глаза, распахнутые словно у доверчивого дитяти.

— Принимаю ваш вызов; не будем тянуть. Может, хоть тогда вы перестанете сомневаться.

— Чем дольше я знаком с вами обеими, тем беззастенчивей вы врете.

— Вы и ей, и мне по сердцу пришлись — это, что ли, вранье? Или — что мне жаль вас? И себя жаль. Но это к слову.

Я глядел на нее, прикидывая, как расставить ловушку похитрее. Впрочем, яснее ясного, что я нынче не охотник, а дичь.

— Жюли рассказала, что я написал вашей маме?

— Да.

— Пару дней назад пришел ответ. Любопытно, что она скажет, когда я еще раз напишу ей и сообщу, чем занимаются ее дочурки, вместо того чтоб в кино сниматься.

— Ничего не скажет. Потому что ее в природе не существует.

— А, так у вас просто случайно обнаружился в Сёрн-Эббес знакомый, который шлет вам свои весточки и пересылает чужие?

— Я вообще не бывала в Дорсете. И фамилия моя настоящая не Холмс. И зовут меня не Джун, кстати.

— Конечно-конечно. Опять двадцать пять. Роза и Лилия?

— Не Роза, а Рози. Но в общем, да.

— Бред.

Оглядела меня, что-то быстро прикинула.

— Дословно не припомню, но мифическая мамочка написала вам примерно следующее: дорогой мистер Эрфе, я вручила ваше письмо мистеру Вэльями, директору начальной школы. Потом что-то вроде того, что переписываться с французскими и американскими школьниками детям навязло в зубах. А дочки ее совсем забыли. Так или нет?

Тут уже я осекся; почва под ногами мгновенно обернулась зыбучим песком.

— Извините,— сказала она,— но есть такая штука под названием «универсальный штемпель». Письмо сочинили здесь, наклеили английскую марку, и — р-раз...— Движение, каким экспедитор метит конверт.— Теперь поверили?

Охваченный паникой, я попытался заново осмыслить все со мной происшедшее: коли они вскрывали отправляемые письма...

— А письма, адресованные мне, вы тоже читали?

— Увы — читали.

— Значит, вам известно о...

— О чем?

— О моей австралийской подружке.

Передернула плечами: конечно, известно. Однако я каким-то наитием понял, что она ничего не знает. Попалась!

— Что ж, расскажите.

— О чем?

— О том, что с нею сталось.

— У вас был роман.

— А потом? — Снова повела плечами.— Вы ж просматривали всю мою почту. И не можете не знать.

— Знаем.

— И то знаете, что во время каникул мы все-таки встретились с ней в Афинах?

Она опешила, стараясь разобраться, когда я говорил правду, а когда лгал. Помедлила, ответила на мою улыбку, но не проронила ни слова. Письмо ее матери я бросил на письменный стол — Димитриадис или кто-то другой мог забраться в комнату и прочесть его. Но письмо Энн Тейлор вместе со всем его содержимым я надежно припрятал — запер в чемодане.

— Мы действительно все про вас знаем, Николас.

— Докажите. Встречались мы с ней в Афинах или нет?

— Вам отлично известно, что нет.

Я без промедления вкатил ей пощечину. Не в полную силу, дабы не вышло синяка, только поболело немножко, но она все равно закаменела.

— Зачем вы это сделали?

— Еще не так, т-твою, получите, если дальше будете вилять. Вы *всю* мою почту вскрываете?

Секунду подумала; затем, не отнимая руки от лица, созналась:

— Только те письма... в которых что-нибудь важное, по конверту судя.

— Халатность какая. Основательней надо работать.— Молчание.— Если б вы вскрывали всю почту, знали бы, что в Афинах я виделся с этой несчастной шалавой.

— Не пойму, что...

— Из-за вашей сестры я попросил ее отлипнуть от меня подобру-поздорову.— Джун слушала с нескрываемым испугом, ошеломленно, не в силах предугадать, куда все повернется.— Через пару недель она не только от меня отлипла, но и от всего на свете. Покончила с собой.— Я выдержал паузу.— Вот цена ваших забав и фейерверков.

Она так широко открыла глаза, что я возликовал: дошло наконец! Но тут Джун отвела взгляд.

— Морису такие розыгрыши лучше удаются.

Я схватил ее за плечи, встряхнул:

— Да не разыгрываю я вас, дегенератка вы этакая! Она покончила с собой.

Джун никак не желала мне верить — и все же поверила.

— Но... почему вы нам не сказали?

Я отпустил ее.

— Как-то жутко становилось...

— Да кто ж кончает с собой из-за...

— Видимо, некоторым дано относиться к жизни слишком серьезно, до того серьезно, что вам и не снилось.

Воцарилось молчание. Затем Джун простодушно-застенчиво поинтересовалась:

— Она вас... любила?

Я замялся.

— Я не хотел ей врать. Может, и зря не хотел. Если б вы тогда не уехали на выходные, написал бы все это в письме. А встретил ее и решил, что подло молчать, раз она...— Пожал плечами.

— Вы рассказали ей о Жюли?

В ее тоне слышалась неподдельная тревога.

— Не бойтесь. Она стала пеплом и унесла вашу тайну с собой.

— Я не то имела в виду.— Потупила чело.— Она что... сильно расстроилась?

— Но постаралась это скрыть. Если б я знал заранее... а ведь думал, что поступаю как честный человек. Освобождаю ее от прежних обязательств.

Помолчав еще, пробормотала:

— Если это правда, не понимаю, как вы... позволили нам продолжать в том же духе.

— Да я по уши втрескался в вашу сестру!

— Морис ведь вас предупреждал.

— Морис меня всю дорогу обманывал.

Вновь замолчала, что-то просчитывая в уме. Поведение ее изменилось; она больше не играла роль перебежчицы. Заглянула в глаза:

— Тут дело серьезное, Николас. Вы не солгали мне?

— Доказательства у меня в комнате. Желаете, чтоб я их предъявил?

— Если можно.

Теперь она говорила неуверенным, заискивающим тоном.

— Договорились. Выждите минуты две и подходите к воротам. Не подойдете — сами будете виноваты. Я-то вас всех в гробу видал.

Не дав ей ответить, я повернулся и зашагал восвояси, умышленно не оглядываясь, точно меня не трогало, идет ли она следом. Но когда я вставил ключ в скважину боковой калитки, сверкнула очередная молния — ослепительный ветвистый разряд почти над самой головой,— и я краем глаза заметил, что Джун медленно движется по дороге ярдах в ста позади.

За письмом Энн Тейлор и газетными вырезками я сбегал как раз за две минуты. Джун стояла на виду, напротив ворот, у дальней обочины. В освещенном прямоугольнике двери топтался барба Василий; я не обратил на него ни малейшего внимания. Она шагнула навстречу, и я молча сунул ей в руки конверт. Джун так разнервничалась, что, достав оттуда письмо, выронила его, и мне пришлось нагибаться. Повернув бумагу к свету, углубилась в чтение. Дойдя до конца записки Энн, быстро перечла ее; перевернула листок, пробежала глазами вырезки. Вдруг ресницы ее опустились, голова поникла — молится? Не спеша сложила листочки вместе, сунула в конверт, вернула мне. Голова все так же опущена.

— Мне очень жаль. Не могу подыскать слов.

— В кои-то веки!

— Об этом мы правда не знали.

— Зато теперь знаете.

— Надо было сказать.

— Чтоб услышать от Мориса новое резюме типа «Смерть, как и жизнь, не стоит принимать близко к сердцу»?

Встрепенулась как ужаленная.

— Ох, знай вы, что к чему... до чего ж все гнусно, Николас.

— Ох, знай я, что к чему!

Скорбно уставилась на меня; отвела глаза.

— У меня действительно нет слов. Для вас это, наверное, было...

— Не «было», а «есть».

— Да, могу себе...— И внезапно: — Простите меня, простите.

— Вам-то, в общем, не за что извиняться.

Покачала головой:

— В том и штука. Есть за что.

Но за что конкретно, объяснять не стала. Мы помолчали — два незнакомца на похоронах. Снова блеснула молния, и в момент удара Джун приняла решение. Слабо, сочувственно улыбнулась мне, тронула за рукав.

— Подождите минуточку.

Шмыгнула в калитку, приблизилась к барбе Василию, что тупо наблюдал за нами с порога сторожки.

— Барба Василий...— и затараторила по-гречески — куда свободнее, чем изъяснялся на этом языке я сам. Я расслышал только имя старика; Джун говорила понизив голос. Вот он согласно кивнул, вот еще и еще, выслушав некие указания. Джун вышла на дорогу и остановилась в пяти шагах от меня; маска чистосердечья.

— Пойдемте.

— Куда?

— В дом. Жюли там. Ждет.

— Какого ж дьявола...

— Теперь это неважно.— Метнула взгляд вверх, на сгущавшиеся тучи.— Партия закончена.

— Быстро же вы выучили греческий.

— Не слишком быстро. Я третий год сюда приезжаю.

Видя мою неуклюжую ярость, мирно улыбнулась; порывисто схватила за руки, притянула к себе.

— Забудьте все, что я наболтала. Меня зовут Джун Холмс. Ее — Жюли. И мамочка у нас с придурью, хоть и не в Сёрн-Эббес проживает.— Я все еще трепыхался.— Стиль-то ее,— сказала Джун.— Но письмо мы подделали.

— А Джо?

— Жюли к нему... неровно дышит.— В глазах ее проступила строгость.— Но не спит с ним, будьте покойны.— Теперь она из кожи лезла, не зная, как еще убедить меня и умилостивить. Молитвенно воздела руки.— Ну же, Николас. Прошу вас, отбросьте подозрения. Хоть ненадолго — пока не доберемся до дома. Всем святым клянусь, мы не знали, что ваша подружка умерла. Иначе сразу перестали бы вас мучить. Поверьте, это именно так.— В ней откуда-то взялись и сила воли, и красноречие; совсем другая девушка, совсем другой человек.— Едва вы увидите Жюли, вам станет ясно, что ревновать не к кому; а не станет — разрешаю утопить меня в ближайшем резервуаре.

Я не поддавался:

— Что вы сказали привратнику?

— У нас имеется чрезвычайный пароль: прекратить эксперимент.

— Эксперимент?

— Да.

— Старик на острове?

— В Бурани. Пароль ему передадут по радио.

Я увидел, как барба Василий запер калитку и отправился через сад к учительскому корпусу. Джун взглянула на него через плечо, потянула меня за руку.

— Пошли.

Ее ласковое упорство сломило мою нерешительность. Я покорно поплелся рядом; ладонь Джун наручником охватывала запястье.

— В чем суть эксперимента?

Сжала пальцы, но ответила не сразу:

— Морис лопнет от огорчения.

— Почему лопнет?

— Ну, ваша подружка сделала то, против чего он всю жизнь искал лекарство.

— Кто он такой?

Чуть помявшись, отважилась на откровенность:

— Почти тот, за кого себя выдавал на одном из этапов.— Ободряюще пожав мою кисть, отняла руку.— Отставной профессор психиатрии, живет во Франции. Еще пару лет назад был светилом сорбоннской медицины.— Посмотрела искоса.— Я не в Кембридже училась. Закончила психфак Лондонского университета. Потом поехала в Париж, в аспирантуру, Морис — мой научный руководитель. Джо из Америки, тоже его аспирант. С остальными вы скоро познакомитесь... Да, кстати, у вас, конечно, правда и ложь в голове перепутались, но уж будьте добры, не обижайтесь на Джо за его тогдашнее поведение. В жизни он парень душевный и добрый.— Я внимательно посмотрел на нее; Джун явно смутилась, развела руками: чего тут скрывать.— Его обаянию не одна Жюли подвержена.

— Кошмар какой-то.

— Не волнуйтесь. Сейчас поймете. Тут вот в чем дело. Жюли вам правду сказала, она здесь впервые. Точно-точно. Она была почти в том же положении, что и вы.

— Однако понимала, кто есть кто?

— Да, но... в лабиринте ей приходилось блуждать самостоятельно. Мы все через это прошли. Каждый в свой срок. Джо. Я. Остальные. Мы прочувствовали, что это такое. Неприкаянность. Отверженность. Исступление. Но мы знаем и то, что игра стоит свеч.

В вышине вовсю трепетали узкие крылья молний. На востоке — в десяти, в пятнадцати милях от нас — бледно высвечивались и меркли соседние острова. Воздух был напоен свежестью, пронизан заполошными сырыми порывами. Мы быстро шли по деревенским улицам. Где-то хлопнула ставня, но навстречу никто не попадался.

— Какие научные результаты вы собираетесь получить?

Она вдруг остановилась, взяла меня за плечо, повернула к себе.

— Начнем с того, Николас, что из всех наших испытуемых вы самый интересный. А во-вторых, ваши тайные соображения, ощущения, догадки... которыми вы даже с Жюли не делились... для нас представляют первостепенную важность. Мы заготовили сотни и сотни вопросов. И если все вам объяснить до того, как мы их зададим, чистота опыта будет нарушена. Пожалуйста, потерпите еще денек-другой.

Я не выдержал ее прямого взгляда.

— Терпенье мое на исходе.

— Я понимаю, вам кажется, что я прошу слишком многого. Но и наградят вас по-царски.

Я не стал соглашаться, но и спорить не стал. Мы пошли дальше. Похоже, она почувствовала во мне внутреннее сопротивление. И через несколько шагов расщедрилась на подачку:

— Так и быть, подскажу вам. Давняя область Морисовых исследований — патология маниакального синдрома.— Сунула руки в карманы.— Но внимание психиатров все чаще и чаще привлекает лицевая сторона монеты — почему нормальные нормальны, почему отличают галлюцинацию и игру воображения от реальности. И в этом ни за что не разберешься, если сообщишь нормальному кролику, а в данном случае — аж супернормальному, что все слышимое им во время опыта говорится для того лишь, чтоб его заморочить.— Я не ответил, и она продолжала: — Вы, верно, считаете, что мы вторгаемся в сферы, в которые врачебная этика вторгаться не позволяет. Что ж... мы отдаем себе в этом отчет. И оправдываем себя тем, что рано или поздно наблюдение за нормальными людьми, которые, как вы, попадают к нам в оборот, поможет исцелять людей тяжело больных. И вы даже не представляете, до чего поможет.

Я помедлил с ответом.

— И какую иллюзию вы собирались внушить мне сегодня?

— Что я единственная, на кого вы можете положиться.— И торопливо: — Это отчасти верно. Насчет единственной не знаю, а положиться можете.

— На это бы я не купился.

— А от вас и не требовалось.— Снова скользящая улыбка.— Вообразите шахматиста, который не стремится победить, а лишь наблюдает за реакцией партнера на очередной ход.

— Что за глупости насчет Лилии и Розы?

— Это не имена, а прозвища. В колоде таро есть карта под названием «волхв». Чародей, волшебник. Цветки лилии и розы — его постоянные атрибуты.

Мы миновали гостиницу и очутились на площадке с видом на новую гавань. Грозовые сполохи выхватывали из темноты наглухо задраенные фасады домов, в мертвенном свете казавшиеся картонными... и рассказ Джун похож был на вспышки молний: сцена то высвечивается до дна, то заволакивается мраком былых сомнений. Но буря приближалась, и сияние постепенно торжествовало над тьмой.

— Почему вы раньше Жюли сюда не брали?

— Ее личная жизнь оставляла... впрочем, она, наверное, рассказывала.

— Она-то в Кембридже училась?

— Да. Роман с Эндрю потерпел крах. Она никак не могла оправиться. И я подумала, что поездка сюда пойдет ей на пользу. А Мориса привлекали богатые возможности использования двойняшек. Это вторая причина.

— Мне так и полагалось в нее втюриться?

Замялась.

— На протяжении опыта никому, по существу, ничего не «полагается». Эмоции управляемы, но половое влечение к кому-то внушить человеку нельзя. Как нельзя и вытравить.— Уткнулась взглядом под ноги, в булыжную мостовую.— Влечение зарождается само по себе, Николас. Его не предусмотришь. Если хотите, белая мышь в чем-то равноправна с исследователем. От ее воли контур лабиринта зависит в не меньшей степени. Пусть ей самой это и невдомек, как вам было невдомек.— Помолчав, весело сообщила: — Открою еще секрет. Жюли не нравился наш воскресный план. С похищением. Честно говоря, мы вовсе не рассчитывали, что она его выполнит. Однако выполнила.

Я немедля припомнил, с каким жаром Жюли отказалась спускаться в то чертово подземное убежище, пока мы не перекусим, да и после еды кобенилась; а я почти насильно заставил ее спуститься.

— Если отвлечься от сценария — вы одобряете выбор сестры?

— Видели б вы предыдущего властелина ее девичьих грез.— И быстро добавила: — Нет, я пережала. Эндрю умный. Все понимает. Но он бисексуал, а все бисексуалы в любви испытывают непреодолимые трудности. Ей нужен человек, который бы...— Прикусила язычок.— Весь мой врачебный опыт подсказывает, что именно такого она в вашем лице и встретила.

Мы взбирались по бульварчику, ведущему к площадке, где расстреляли заложников.

— А россказни старика о прошлом — сплошной вымысел?

— Нет, сперва уж вы с нами поделитесь своими догадками и выводами.

— А сами-то вы знаете, как было взаправду?

Заколебалась.

— Мне кажется, в основном знаю. Знаю то, что Морис не счел нужным утаить.

Я указал на мемориальную доску, посвященную жертвам расстрела.

— А как насчет этой истории?

— Спросите у деревенских.

— Ясно, что он принимал участие в тогдашних событиях. Но вот какое участие?

Короткая пауза.

— У вас есть основания не верить его рассказу?

— Момент, когда на него снизошла абсолютная свобода, описан убедительно. Но не слишком ли дорого встало откровение: восемьдесят человеческих жизней? И потом, вы говорили, он чуть не сызмальства терпеть не мог самоубийц, а одно с другим как-то не вяжется.

— Так, может, он совершил роковую ошибку, понял все превратно?

Я растерялся.

— Меня эта мысль посещала.

— А ему-то вы говорили?

— Говорил, но вскользь как-то.

Улыбнулась.

— Скорей всего, ошиблись вы, а не он.— Не дала мне ответить.— Когда я находилась... в вашем нынешнем положении, он раз целого вечера не пожалел, чтоб убить во мне веру в мой здравый смысл, в мои научные возможности, причем обставил все так, что возразить было нечего... и я наконец сломалась, только твердила как заведенная: лжешь, лжешь, я не такая. А потом смотрю — он смеется. И говорит: ну вот и ладненько.

— Хорошо б он еще во время своих садистских выкрутасов такую сладострастную морду не корчил.

— Да что вы, как раз эта манера и вызывает у испытуемого наибольшее доверие. Как сказал бы Морис, эффект нерукотворности.— Посмотрела на меня без иронии.— Ведь и эволюцией, существованием, историей мы зовем умыслы природы, человеку враждебные и, вне всякого сомнения, садистские.

— Когда он рассказывал о метатеатре, мне приходило в голову нечто подобное.

— В его курсе лекций была одна особенно популярная — об искусстве как санкционированной галлюцинации.— Гримаска.— При подборе испытуемых каждый раз боишься нарваться на кого-нибудь, кто читал его статьи на эту тему. И французов с высшим гуманитарным образованием мы поэтому за километр обходим.

— Морис — француз?

— Грек. Но родился в Александрии. Воспитывался большей частью во Франции. Отец его был очень богат. Настоящий космополит. Если я правильно поняла. Кажется, Морис взбунтовался против судьбы, какую отец ему уготовил. И в Англию, по собственным словам, поехал, чтоб спрятаться от родителей. Они запрещали ему поступать на медицинский.

— Вижу, он для вас — недосягаемый идеал.

Не замедляя шага, кивнула и тихо проговорила:

— По-моему, он величайший в мире наставник. Да что там «по-моему». Так оно и есть.

— Прошлым летом вам удалось чего-нибудь добиться?

— О господи. Жуткий был тип. Пришлось другого подыскивать. Уже не в школе. В Афинах.

— А Леверье?

При воспоминании о нем Джун не сдержала теплой улыбки.

— Джон...— Тронула меня за руку.— Это долгая история. Давайте завтра. Теперь ваша очередь рассказывать. Как же все-таки... ну, это несчастье случилось?

И я рассказал об Алисон подробнее. Дескать, при встрече в Афинах я себя повел безукоризненно. Просто Алисон слишком стойко держалась, так что я и представить не мог, до какой степени она потрясена.

— А прежде она на самоубийство не покушалась?

— Ни единого раза. Наоборот, казалось, она-то, как никто, умеет мириться с неизбежным.

— А приступы депре...

— Никогда.

— Да, с женщинами такое случается. Без видимых причин. Ужаснее всего, что при этом они, как правило, не собираются умирать по-настоящему.

— Она, к сожалению, собиралась.

— Возможно. В таком случае весь процесс был загнан в подсознание. Хотя, в общем, симптомы-то не могли не проявиться... И уж определенно вам скажу: разрыв с любовником — причина недостаточная, тут еще что-то наложилось.

— Хотелось бы в это верить.

— Вы ей, по крайней мере, ни словечком не соврали.— Порывисто сжала мою ладонь.— А значит, ваша совесть чиста.

Мы наконец добрались до дома, и как раз вовремя: с неба брызнули первые капли, еще редкие, но крупные. По всему, главный свой удар буря нацелила именно на остров. Джун толкнула створку ворот и повела меня по садовой дорожке. Вынула ключ, отперла парадную дверь. В прихожей горел свет. Правда, нить лампочки то и дело тускнела, не в силах противостоять электрическим вихрям в вышине. Джун изогнулась, с какой-то робостью чмокнула меня в щеку.

— Подождите тут. Она, наверное, уснула. Я мигом.

Взбежала по лестнице, скрылась в боковом коридоре. Я расслышал стук, негромкий зов: «Жюли!» Звук открываемой и закрываемой двери. Тишина. Гром и молния за окном; в стекла ударил дождь, теперь уже проливной; по ногам потянуло холодом. Прошло две минуты. Незримая дверь наверху отворилась.

Жюли вышла на площадку первой — босая, в черном кимоно поверх белой ночной сорочки. Застыла у перил, горестно глядя на меня; сбежала по лестнице.

— Ах, Николас.

Упала мне на грудь. Мы даже не поцеловались. Джун улыбалась мне с верхней ступеньки. Жюли отстранилась на расстояние вытянутых рук, пытливо посмотрела в лицо.

— Как ты мог молчать?

— Сам не знаю.

Вновь приникла, словно утрата постигла не меня, а ее. Я потрепал ее по спине. Джун послала мне воздушный поцелуй — сестринское благословение — и удалилась.

— Джун все тебе рассказала?

— Да.

— Все-все?

— Все, я думаю, не успела.

Крепче прижалась ко мне.

— Какое счастье, что это позади.

— Проси прощения за воскресное,— шутливо сказал я, но вид у нее сделался и впрямь виноватый.

— До чего ж противно было,— протянула умоляюще.— Николас, я им едва не испортила все. Честное слово. Чуть не умерла, все думала: вот сейчас, сейчас...

— Что-то я не заметил, чтоб ты помирала.

— Держалась только тем, что терпеть совсем чуть-чуть оставалось.

— Оказывается, ты здесь в первый раз, как и я?

— И в последний. По новой я не снесу. Особенно теперь...— и опять глаза молят о снисхождении и сочувствии.— Джун такой туман вокруг тутошних дел развела. Должна ж я была поглядеть!

— Все хорошо, что хорошо кончается.

Снова прижалась ко мне.

— В главном я не врала.

— Смотря что считать главным.

Нашарила мою ладонь, слегка ущипнула: не шути так. Перешла на шепот:

— Не идти же тебе назад в школу по такой погоде.— И после паузы: — А мне одной страшно: гремит, сверкает.

— Откровенность за откровенность. Мне одному тоже страшно.

Тут мы умолкли, но разговор наш продолжался; затем Жюли взяла меня за руку и потянула наверх. Мы очутились у комнаты, где я устраивал

обыск три дня назад. У порога она замешкалась, стушевалась, смеясь над собственной нерешительностью, но и гордясь ею.

— Повтори, что я сказала в воскресенье.

— С тех пор, как с тобой познакомился, я и думать забыл, как было с другими.

Потупилась.

— Дальше чары бессильны.

— Я всегда знал, что мы с тобой не кто-нибудь, а Миранда и Фердинанд.

Ее губы тронула усмешка, точно эту параллель она совсем упустила из виду; окинула меня внимательным взглядом, как если бы собиралась ответить, но потом передумала. Отворила дверь; мы вошли. У кровати горит лампа, ставни закрыты. Постель не прибрана: верхняя простыня и покрывало с народным орнаментом откинуты прочь, подушка измята; на столике раскрыт стихотворный сборник с длинными, четкими лесенками строк; раковина морского ушка приспособлена под пепельницу. Мы немного растерялись — так часто бывает, когда настает давным-давно предвкушаемый тобою миг. Волосы Жюли рассыпались по плечам, белая сорочка доходила почти до щиколоток. Она озиралась вокруг так, словно видела знакомые вещи вчуже, моими глазами, словно боялась, что патриархальная простота обстановки оттолкнет меня; даже передернулась стыдливо. Я улыбнулся, но скованность овладела и мною: субстанция наших отношений переродилась, отторгла уловки, уклончивость, фальшь — все, что Жюли сейчас назвала чарами. Дико, но в какой-то миг я ощутил непостижимую тоску по утраченному раю обмана; мы вкусили от древа, мы отлучены.

Но благосклонная стихия спешила к нам на помощь. За окном сверкнула молния. Лампа мигнула, погасла. Кромешная тьма накрыла нас с головой. Сверху мгновенно ударил оглушительный громовый раскат. Отголоски еще не смолкли в холмах за деревней, а Жюли уже билась в моих объятиях, мы уже жадно пили поцелуи друг друга. Еще молния, еще удар, громче и ближе прежнего. Она вздрогнула, прильнула ко мне, как маленькая. Я поцеловал ее макушку, погладил по спине, шепнул:

— Давай я тебя раздену, уложу, укрою.

— Подержи меня немножко на коленках. А то мурашки по коже.

Потащила сквозь тьму к стулу у изголовья кровати. Я сел, она забралась мне на колени, и мы опять поцеловались. Жюли примостилась поудобней, нащупала мою левую ладонь и переплела пальцы с моими.

— Расскажи про свою подружку. Как все было взаправду.

Я повторил все, о чем только что поведал ее сестре.

— Я не собирался ехать к ней на свидание. Но Морис уж больно меня достал. Да и ты тоже. Я должен был хоть как-то развеяться.

— Ты говорил с ней обо мне?

— Сказал только, что на острове встретил другую.

— Расстроилась она?

— В том-то и загвоздка. Если б расстроилась. Если б хоть на миг ослабила контроль.

Ласковое пожатие.

— Ты не захотел ее, нет?

— Мне стало жаль ее. Но внешне она не слишком убивалась.

— Это не ответ.

Я усмехнулся во тьму: сострадание всегда не в ладах с женским любопытством.

— Проклинал себя, что теряю с ней время, пока ты далеко.

— Бедненькая. Представляю теперь, каково ей пришлось.

— Она не ты. Ей все было до фонаря. И в первую очередь все, что имело отношение к мужикам.

— Но ты-то ведь не был ей до фонаря. Раз она это сделала.

Я отмел это возражение:

— По-моему, я ей просто под руку подвернулся, Жюли. У нее все шло

наперекосяк, а я сыграл роль козла отпущения. Как говорится, последняя капля.

— Чем же вы в Афинах занимались?

— Город осматривали. Сходили в ресторан. Потолковали по душам. Наклюкались. Нет, правда, все было в рамках. Со стороны.

Нежно впилась ногтями в тыльную сторону моей ладони.

— Признайся, вы переспали.

— А если б и переспали, ты бы обиделась?

Я почувствовал, что она мотает головой.

— Нет. Я того и заслуживала. Я бы все поняла.— Поднесла мою руку к губам, поцеловала.— Скажи: да или нет?

— Почему это тебя так волнует?

— Потому что я тебя почти не знаю.

Я глубоко вздохнул:

— Может, и надо было переспать. Глядишь, в живых бы осталась.

Притихла, чмокнула меня в щеку.

— Просто хотела выяснить, с кем собираюсь провести ночь: с толстокожим носорогом или с падшим ангелом.

— Есть только один способ узнать это наверняка.

— Думаешь?

Опять мимолетный поцелуй; она осторожно высвободилась и скользнула куда-то вдоль края кровати. В комнате было слишком темно, чтоб различить, куда именно. Но вот в щелях ставен полыхнул небесный огонь. В его скоротечном сиянии я увидел, что Жюли у кассоне, стягивает сорочку через голову. Послышался шорох — она ощупью пробиралась назад; хряпанье грома, ее испуганный выдох. Я вытянул руку, перехватил ладонь Жюли и водворил, нагую, обратно на колени.

Изнанка губ под моими губами, рельеф тела под пальцами: грудь, утлый живот, шерстяной клинышек, бедра. Десять бы рук, а не две... покорись же, сдайся, раскройся передо мною. Вывернулась, привстала, перебросила ногу, сжала пятками мои икры и принялась расстегивать пуговицы рубашки. При свете сполоха я рассмотрел ее лицо — серьезное, сосредоточенное, как у ребенка, раздевающего куклу. Содрала рубашку вместе с курткой, кинула на пол. Обхватила меня за шею, сцепила ладони замком, как тогда, в ночной воде Муцы; чуть откинулась назад.

— В жизни ничего красивей тебя не видала.

— Ты ж меня и не видишь.

— Чувствую.

Нагнувшись, я поцеловал ее грудь, потом притянул к себе и снова отыскал губы. Духи ее обладали необычным ароматом, мускусным с примесью апельсинового,— так пахнет весенний первоцвет; запах оттенял и чувственность, и неискушенность Жюли, в нем смешивались жгучая плотская жажда и дрожь души, наугад постигающей, чего я жду от нее, и готовой отозваться точь-в-точь: трепетом, изнеможением, последним серьезом. Она с натугой, будто выбившись из сил, отвернула лицо. Отдышалась, шепнула:

— Давай откроем ставни. Люблю, как пахнет дождем.

Улизнула из-под рук к окну. Я второпях сбросил оставшуюся одежду и настиг Жюли у подоконника. Она уже поворачивалась, чтоб отправиться назад, но я развернул ее обратно, обнял со спины, и мы замерли, глядя на текучую пелену ливня, колеблющуюся в трех футах от наших лиц, дышащую прохладой и тьмою. Свет потух не только у нас, но и по всей деревне; видимо, на центральном щите перегорели пробки. Молния разодрала небосклон чуть не до гребня материковых гор и на секунду-другую озарила тесные домишки в чаще бухты, сутолоку стен и крыш, да и саму гладь Эгейского моря дьявольским, синюшным блистанием. Гром, однако, запоздал; эпицентр бури уже сместился к горизонту.

Жюли прислонилась ко мне спиной, подставив грудь прикосновениям ночи и моих благоговеющих рук. Ладонь моя чиркнула по ее животу, взъерошила волосы на лобке. Она прижалась ко мне щекою, согнула

правую ногу в колене и поставила на сиденье ближнего стула, чтоб не стеснять моих пальцев. Завладев левой, положила к себе на грудь — и застыла, отдаваясь сладкой щекотке. Будто не я, а заоконный дождь вошел к ней истинным суженым, полночь и дождь; а от меня зависела лишь мелкая подробность вроде той, что была подарена мне во время купанья. Брызги ливня, пляшущего на карнизе, покрыли изморосью мою руку и ее живот, но она их, казалось, не замечала.

— Выйти бы в сад,— прошептал я.

Безусловно соглашаясь, мазнула губами по моей коже, но сразу накрыла мои ладони своими, удерживая — не дай бог убегут. Вот что ей нравилось: медленный грех, неспешная нежность... утихающие молнии понемногу утрачивали четкость, мироздание клином сошлось на теле Жюли, на моем теле... спелый изгиб, жаркий, округлый; шелковистые, отрадой отороченные дольки; дозволенный, жалованный, нежнейший испод. Нечто подобное блазнилось мне поначалу, в дни Лилии Монтгомери: трепетное, расплывчатое созданье, обморочно упадающее в лапы собственного воспрянувшего естества; созданье к тому же неразвитое, при всем своем обаянии и безукоризненных манерах, хранящее отсвет первородного тлена, абрис девчушки, одаривающей сверстников своей игрушечной страстью.

Но уже через полминуты она отняла мои руки и отправила под арест — притиснула к животу.

— Что такое?

— Бессовестный.

— Я специально.

Повернулась ко мне, уткнулась лбом в мою грудь.

— Расскажи, что она делала, чтоб тебе стало хорошо.

Тем самым подтвердилась универсальная теорема Николаса Эрфе: степень плебейства женщины в постели прямо пропорциональна образованию. Однако теперешняя задачка сулила не только правила, но и упоительные исключения.

— Зачем тебе это знать?

— Хочу сделать тебе, как она.

Я крепче обнял ее.

— Мне нравится, что ты — это ты.

— Ух какой громадный,— пробормотала она.

Руки ее пробирались книзу. Я слегка отстранился, чтоб ей было удобнее. Она подчас вела себя как девственница, но девственница покладистая, готовая пуститься во все тяжкие. Снова шепот:

— У тебя эта штука с собой?

— В плаще.

— Надеть?

Пока я рылся в плаще, Жюли ждала у кровати. Стало немного светлей — должно быть, тучи поредели,— и я различал контур ее фигуры. Наконец отыскал презерватив, передал ей. Она усадила меня на постель, сама опустилась на пол — колени пришлись прямо на коврик местной выделки,— подвинулась ближе, несколькими взмахами пальцев управилась с процедурой, нагнулась, легонько провела по резине губами. Затем уселась на собственные пятки, прикрыв скрещенными предплечьями пах: недотрога. Я с трудом разглядел ее улыбку.

— Притвора. Хватит скромницу-то корчить.

— Меня пять лет мурыжили в монастырской спальне. Там кто угодно стал бы придурковат [1].

Ливень стихал, но дождевая свежесть — резервуарный дух мокрого камня — наполняла комнату до краев. Я представил себе, как она безвидно стекает по стенкам сотен колодцев; как в экстазе плещутся на дне рыбята.

— А как же бегство? Просто треп?

Улыбнулась шире, но не ответила. Я подал ей руку, и она поднялась с колен, склонилась надо мною; не противясь, легла сверху. Мертвая

---

[1] Эта и последующая реплики — аллюзия на роман маркиза де Сада «Жюстина».

тишина, внятный разговор наших тел. Она властно задвигалась вверх-вниз, дразня и теша быстрыми губами; потом умолкли и жесты, сейчас, сейчас ее плоть расплавится, смешается с моей; но нет, тело ее не течет, а схватывается комком, стекленеет в ожидании. Я пошевелился, и магия покоя оставила нас. Жюли перевалилась на спину, вытянулась на кусачем покрывале, положила голову на подушку. Я приподнялся и, стоя на четвереньках, покрыл ее поцелуями до самых лодыг, залюбовался ею с изножья. Она лежала, едва заметно изогнув талию, рука свободно отброшена, голова повернута вбок. Но чуть я простерся сверху — выпрямилась как струна. Секунда, другая — и я уже целиком внутри нее. По опыту я знал, что значит войти в женщину впервые, но сейчас опыт не помогал, ибо мы находились по ту сторону секса, далеко-далеко, в дерганом, чреватом пагубой былом, что гляделось в оправу грядущего; далеко, у самого престола обладанья. Я понял, что не одно лишь тело ее обрел. Я косо висел над ней, опираясь на вытянутые руки. Она смотрела вверх, в темноту.

— Обожаю тебя,— сказал я.

— Да, обожай.

— Всю жизнь?

— Всю жизнь.

Я качнулся раз, другой — но тут произошло нечто непостижимое. Внезапно зажглась лампа на ночном столике. Похоже, деревенскую электростанцию наладили. Я резко притормозил, и мы с напряженной растерянностью уставились друг на друга, точно столкнувшиеся нос к носу на улице; осознав комизм ситуации, обменялись улыбками. Я посмотрел вниз, вдоль ее тонкого в кости тела, туда, где мы сливались воедино, опять поднял глаза. На лице ее мелькнуло беспокойство стыдливости, но она поспешно смежила веки, повернулась в профиль. Делай что хочешь.

И я отпустил тормоза. Она завела руки на затылок — сама беззащитность, сверхнагота, воплощенная покорность; мышцы скованы безмятежной негой, лишь бедра ритмично движутся навстречу и вспять. Поскрипывает пружинная рама. Жюли казалась невероятно миниатюрной, хрупкой и тем самым располагала к грубости, какую я, по ее словам, проявил в часовне у Муцы. Сжала кулаки, будто ей стало по-настоящему больно. Я извергся — раньше времени, но сдержаться было немыслимо. По моим расчетам, угнаться за мной она не могла — и, однако, не успел я, уже обмякший, выйти наружу, как она взметнула руки, вцепилась мне в плечи, мелко и судорожно заерзала подо мной. А потом притянула к себе, впилась поцелуем в губы.

Мы полежали немного, не разнимая тел, в гулкой тиши спящего дома; затем разъединились, и я вытянулся рядом с ней. Она нашарила выключатель, и нас снова окутала темнота. Она перевернулась на живот, ко мне затылком. Я провел пальцами вдоль ее позвоночника, нежно похлопал по задику, накрыл его ладонью. К горлу моему, сминая естественную физическую истому, подступал пьянящий восторг. Я не ждал от Жюли подобного самозабвенья, подобных щедрот, неисчерпаемых, как неисчерпаемо тепло ее тела под моею рукой; не ждал такого пыла, такой готовности. Мог бы и догадаться, сказал я себе, ведь в Джун это сладострастие всегда чувствовалось, а значит, и тихоне сестричке, что лежит вплотную ко мне, оно должно быть присуще, только поглубже копни. И вот наши тела наконец обрели дар речи; и чем дальше, тем увлекательней потекут их собеседования... безмерно вдумчивей, протяженней, богаче. Яблочные холмы, растрепанный локон у самых губ. Далекий рокот изнемогающего грома. За окном прояснялось — это, верно, луна выглядывает в прорехи туч. Все непогоды позади, нас осеняет покой возвращенного рая.

Это случилось минут через пять. Мы лежали рядом, не переговариваясь, не нуждаясь в словах. Вдруг она отжалась от кровати, торопливо нагнулась надо мной, поцеловала. Прислонилась к спинке — склоненное лицо в лохматом ореоле свисающих волос, легкая улыбка, прямой взгляд.

— Николас, поклянись, что запомнишь этот урок навсегда.

— Какой урок? — осклабился я.

— Урок такой: главное — это «как», а не «зачем».

Я все еще ухмылялся.

— «Как» получилось восхитительно.

— Я очень старалась.

Сделала короткую паузу, точно ждала, чтоб я повторил ее заклинание слово в слово. Отпрянула, спрыгнула на пол, потянулась к кимоно. Мне бы сразу очухаться — до того решительно она ринулась одеваться, до того странно зазвучал ее голос, переменилось лицо: она говорила со мной не простодушно, как я сперва подумал, но попросту холодно. Я оперся на локоть.

— Ты куда собралась-то?

Медля с ответом, повернулась лицом ко мне; глядя прямо в глаза, стянула поясок халата. След улыбки, кажется, еще играл на ее губах.

— На суд.

— Куда-куда?

Все завертелось с неимоверной быстротой. До меня наконец дошла суть происшедшей с нею перемены, извращенной хрипотцы, какой надломился девичий тон. Но она уже шагнула к двери.

— Жюли!

С порога обернулась; выдержала небольшую паузу, чтоб усилить эффект заключительной реплики:

— Меня не Жюли зовут, Николас. И прости, что мы тебе сковородку не обеспечили.

Я так и взвился,— что еще за сковородка? — но едва открыл рот, как она распахнула дверь настежь и посторонилась. Из коридора хлынул яркий свет.

В комнату, топоча, ворвались какие-то люди.

59

Трое в темных брюках и черных водолазках. Они двигались так стремительно, что меня хватило лишь машинально прикрыть простыней чресла. Негритос Джо подскочил ко мне первым. И сразу, не давая крикнуть, скрутил. С налету зажал рот ладонью, налег всей массой, пытаясь перевернуть меня на живот. Один из вошедших щелкнул выключателем лампы. Его я тоже узнал: это лицо я видел на водоразделе, но владелец был тогда в немецкой военной форме и изображал Антона. Третья физиономия принадлежала белобрысому матросу, с которым я дважды столкнулся в Бурани в минувшее воскресенье. Трепыхаясь под тушей Джо, я искал глазами Жюли, все еще надеясь, что провалился в страшный сон, угодил в переплет бракованной книжки, романа Лоуренса, куда по ошибке вклеен кусок из Кафки. Но узрел я лишь ее мелькнувшую спину. Некто, стоящий за дверью, приобнял ее за плечи и потянул к себе, точно уцелевшую после авиакатастрофы.

Я сражался как лев, но они предусмотрительно прихватили веревки, загодя оснащенные морскими узлами. И тридцати секунд не прошло, как я был связан по рукам и ногам и уложен на кровать лицом вниз. Кажется, я без передыху осыпал их бранью; в голове у меня, во всяком случае, ничего, кроме ругательств, не осталось. Наконец в рот мне впихнули кляп. Кто-то накинул на меня простыню. Я с усилием повернул голову к двери.

На пороге выросла новая фигура — Кончис. Весь в черном, как и его сообщники. Сковородка, черти, ад. Он воздвигся надо мною, бесстрастно глядя на мое исступленное лицо. Я вложил в свой взор всю наличную ярость, что-то замычал: пусть слышит, как я его ненавижу. Предо мною встал наяву эпизод военной новеллы: дальняя комната, распростертый навзничь скопец. Я заплакал от унижения и бессильной злобы. Так вот что напомнил мне взгляд Жюли, брошенный через плечо напоследок. То был взгляд хирурга, успешно проведшего сложную операцию; теперь пора содрать резиновые перчатки, удостовериться, ровен ли шов. Суд, сковородка... не иначе они безумны, а она безумнее прочих — ущербней, безнравственней, выморочнее...

Лже-Антон подал Кончису открытый чемоданчик. Тот вынул оттуда шприц, проверил, нет ли в зелье пузырьков воздуха, приблизил иглу к моему лицу.

— Стращать вас, молодой человек, мы больше не станем. Но вам придется поспать. Чтоб зря не дергались. Не вздумайте сопротивляться.

Я ни с того ни с сего вспомнил о стопке непроверенных сочинений. Джо и матрос перевернули меня на спину и плотно притиснули левую руку к матрацу. Я попытался высвободиться, но вскоре затих. Мокрая ватка. Игла под кожей запястья. Я ощутил: морфий, если это морфий, потек по моим жилам. Иглу вытащили, снова протерли мокрым место укола. Кончис выпрямился, понаблюдал за моей реакцией, отвернулся, положил шприц обратно, в черный несессер.

Куда ж тебя угораздило попасть, спросил я себя. В край, где ни закон, ни совесть над людьми не властны.

Пронзенное сердце сатира.

Мирабель. Механическая наложница, мерзостный автомат, присвоивший душу живу и оттого мерзостный вдвойне.

Минуты через три в дверях появилась Джун. На меня и не взглянула. Цвет на ней был тот же, что на мужчинах: черные блузка и брюки, и я еле сдержал рычание, ведь в этой одежде она пришла за мной в школу, уже зная, что мне уготовано... ох, известие о гибели Алисон — и то ни на йоту их не вразумило! Джун пересекла комнату — волосы на затылке схвачены черной шифоновой лентой — и принялась укладывать в саквояж вещи, висевшие на вешалке в углу. Все понемногу поплыло у меня перед глазами. Люди, мебель, потолок куда-то стронулись; я падал в черное жерло надсады и бесчувствия, в бездонную молотилку недостижимой мести.

60

Прошло пять дней, но мне не дали ощутить их смены. Впервые очнувшись от забытья, я не сразу понял, как долго провалялся без сознания. В горле пересохло — должно быть, поэтому я и проснулся. Смутно припоминаю, как изумлен был, обнаружив, что пижама моя на мне, а спальня чужая; а затем сообразил: подо мною койка некоего судна, причем явно не каика. Я находился в носовой, скошенной по обводу корпуса, каюте яхты. Моргать, думать, выбираться из трясины сна было мучительно. Молодой белобрысый матрос, стриженный ежиком — он, очевидно, дожидался моего пробуждения,— подал воды. Жажда оказалась так сильна, что я не удержался и выпил, несмотря на то, что вода в стакане была подозрительно мутная. И — провал: дрема опять застлала мне глаза.

Через какое-то время тот же матрос силком отвел меня в носовой гальюн, поддерживая под мышки, как пьяного; я ненадолго пришел в себя, но, усевшись на стульчак, вновь закемарил. В сортире имелись иллюминаторы, правда, наглухо закрытые стальными заслонками. Я задал ему пару вопросов, но он не ответил; ну и черт с тобой, подумал я.

Эта церемония повторялась несколько раз — не помню, сколько,— но вот обстановка вокруг изменилась. Я лежал на обычной, сухопутной кровати. Ночь тянулась бесконечно. Если глаз моих и достигал свет, то электрический; размытые силуэты и голоса; и снова тьма.

Но однажды утром — мне почему-то показалось, что сейчас утро, хотя, судя по освещению, была глубокая ночь, а часы у меня на руке остановились — мореход-сиделка растолкал меня, усадил на постели, заставил одеться и раз двадцать или тридцать пройти из угла в угол комнаты. Дверь в это время сторожил какой-то тип, ранее мною не виденный.

Оказалось, одна из моих беспорядочных грез — вовсе не сон, а причудливая роспись на противоположной стене. Внушительная черная фигура, нечто вроде живого остова в полтора человеческих роста, концлагерное исчадье, покоилась на боку среди травы ли, языков ли пламени. Иссохшая рука указывала вниз, на висячее зеркальце; взгляни-де на свое отражение, меченное смертным клеймом. Черты черепа искажены леденящим, заразительным ужасом, так что хочется поскорей отвести глаза; но думы

о человеке, который выставил эту фреску на мое обозрение, отвести никак не удавалось. Краски еще не успели просохнуть.

В дверь постучали. Вошел некто третий. Он держал в руках поднос с кофейником. По комнате распространился чудесный аромат: запах настоящего кофе. Чуть ли не «Блю маунтин», не чета занудному пойлу, потребляемому греками под маркой «турецкого». И кроме кофе — булочки, масло, айвовое повидло, яичница с ветчиной. Меня оставили одного. Вопреки антуражу, завтрак удался на славу. Вкусовые ощущения обрушились на меня с наркотической, прустовской отчетливостью. Я вдруг понял, что умираю от голода, и подмел еду подчистую, выпил кофе до капли и не отказался бы повторить все сначала. Ба, да тут еще и пачка американских сигарет, и коробок спичек.

Понемногу я обрел способность соображать. Осмотрел одежду: пуловер из моего собственного гардероба, дешевые шерстяные рейтузы, которые я на́шивал в холода. Высокий сводчатый потолок, словно я заперт в резервуаре под чьим-то жилищем; стены сплошные, без пятен сырости, но с виду подвальные. Лампочка на шнуре. Чемоданчик в углу — мой чемоданчик. Рядом свисает с прибитого к стене крючка куртка.

Стол, за которым я ел, придвинут к свежевыложенной кирпичной перегородке с массивной деревянной дверью. Ни ручки, ни глазка, ни замочной скважины, ни даже петель не видно. Я нажал — нет, закрыта с той стороны на крюк или щеколду. В ближнем углу еще столик, трехногий — старомодный умывальник с помойным ведром. Я порылся в чемоданчике; чистая рубашка, смена белья, летние брюки. При взгляде на бритвенный прибор меня осенило, где искать хронометр: у себя на подбородке. Из зеркала уставилось лицо, поросшее щетиной, в лучшем случае двухдневной. Выражение на нем было незнакомое, выражение помятости и неуместной скуки. Я поднял глаза на аллегорическую Смерть. Смерть, камера смертников, последний завтрак приговоренного; для вящего позора оставалось только подвергнуться шутовской казни.

Все, что я думал и делал, окрашивала оскома неискупимой низости, запредельного предательства, совершенных Жюли; она предала не меня одного, но самую соль человечности. Жюли... или Лилия? Впрочем, какая разница. Теперь мне было удобнее называть ее Лилией — наверное, потому, что первая личина оказалась правдивее остальных; правдивее, ибо лживость ее никто и не собирался скрывать. Я попробовал догадаться, кто же она такая на самом деле — видимо, гениальная актриса, гениально неразборчивая в ангажементах. Поступать подобным образом способна только шлюха; две шлюхи, ведь, по всему судя, сестричка, Джун, Роза, терлась поблизости, чтоб в случае нужды подменить ее в последнем действии гнусного спектакля. Они небось локти кусали, что не удастся осквернить меня вторично.

Все, что они мне плели, было ложью; было западней. Письма, полученные мною, сфабрикованы — они бы не дали мне так легко напасть на свой истинный след. Запоздалая ненависть сорвала пелену с моих глаз: вся моя почта читалась ими насквозь. Теперь нетрудно сообразить, что мерзавцы проведали о смерти Алисон даже раньше меня. Советуя мне вернуться в Англию и жениться на ней, Кончис наверняка знал, что она мертва; Лилия наверняка знала, что она мертва. Вдруг в лицо мне дохнула дурнотная бездна, точно я свесился с края земли. Вырезки с заметками о двойняшках были подложные; а коли они умеют подделывать газетные вырезки... я сунулся в карман куртки, куда положил письмо Энн Тейлор сразу после того, как «Джун» прочла его у школьных ворот. Конверт на месте. Я вперился в письмо и в судебную хронику, силясь отыскать признаки фальсификации... но тщетно. Припомнил, что не стал брать с собой второй конверт, надписанный рукою Алисон и содержавший пучочек трогательных засохших цветов. Эти цветы они могли получить только от нее.

От самой Алисон.

Я не отрываясь смотрел на себя в зеркало. И, как за соломинку, хватался за память о ее искренности, ее верности... за чистую правду ее

конца. Если и она, и она... еле устоял на ногах. Неужто вся моя жизнь — плод злостного заговора? Я расталкивал прошлое грудью, я ловил Алисон, чтоб заново убедиться: она не лгала мне; ловил самую сущность Алисон, грудью расталкивая ее любови и нелюбови,— их-то как раз можно купить, было б желание. Под подошвами зинула хлябь безумья. А что, если моей судьбой вот уже битый год правит закон, полярно противоположный тому, который Кончис упорно приписывал — почему так упорно? не затем ли, чтоб в сотый раз меня провести? — судьбам мира в целом? Полярно противоположный закону случайности. Квартира на Рассел-сквер... стоп, я снял ее случайно, наткнувшись на объявление в «Нью стейтсмен». Вечеринка, знакомство с Алисон... но я ведь вполне мог отказаться от приглашения или не ждать, пока уродок распределят... а Маргарет, Энн Тейлор — они, выходит, тоже?.. Версия не выдержала собственного веса, зашаталась, рухнула.

Я смотрел на себя не отрываясь. Им не терпится свести меня с ума, точнее, вразумить — на свой оригинальный манер. Но я вцепился в действительность зубами, ногтями. Зубами, ногтями — в тайный дар Алисон, в прозрачный кристаллик нерушимой преданности, мерцавший внутри нее. Будто окошко в ночной глуши. Будто слезинка. Нерушимое отвращение к крайним изводам зла. И слезы в моих собственных глазах, мгновенно просохшие, послужили мне горьким залогом: ее нет, ее и вправду больше нет.

Я плакал не из одной лишь скорби — нет, еще от злобы на Кончиса и Лилию; от сознания, что, зная о ее смерти, они воспользовались этим новым вывихом, этой новой саднящей возможностью — нет, не возможностью: реальностью,— дабы взнуздать меня верней. Дабы подвергнуть мою душу бесчеловечной вивисекции в целях, что лежат за гранью здравого рассудка.

Они точно стремились покарать меня; и покарать еще раз; и еще раз покарать. Без всяких на то прав; без всякого повода.

Сев, я прижал ко лбу кулаки.

В ушах звучали назойливые отголоски их давних реплик, но теперь в каждой чудился второй, зловещий смысл; чудилось постоянство трагической иронии. Практически любая фраза Кончиса или Лилии была этой иронией пропитана; вплоть до последнего, нарочито многозначного разговора с «Джун».

Пропущенные выходные: мой визит был отменен явно для того, чтобы я успел получить «официальный ответ» из банка Баркли в приемлемые сроки; меня придержали затем лишь, чтобы ловчее столкнуть под откос.

Во мне теснились воспоминания о Лилии — о днях, когда Лилию звали Жюли; миги лобзаний, долгожданного телесного торжества... но и миги нежности, открытости, миги нечаянные — отрепетировать их нельзя, тут нужно так вжиться в роль, чтоб она перестала быть твоей ролью. Как-то мне уже приходило в голову, что перед выходом на сцену ее погружают в гипнотический транс,— может, и впрямь? Да нет, не сходится.

Я зажег вторую филипморрисину. Вернись-ка в сегодняшний день. Но в мозгу вхолостую прокручивались пережитая ярость, пережитый позор, не давали вернуться. Только одно, пожалуй, утешает. Ведь по идее мы с Лилией поделили позор пополам. Ох, и зачем я был с ней так мягок почти до конца? Это, кстати, позволило им надругаться надо мною с особой жестокостью: проявления благородства, и без того скудные, обернулись мне же во вред.

Послышались шаги, дверь открылась. Вошел стриженный ежиком матрос, за ним еще один, в непременных черных брюках, черной рубашке, черных кедах. Третьим появился Антон. В медицинском халате, застегнутом на спине. Из нагрудного кармана торчат колпачки ручек. Бодрический говорок, немецкий акцент: ни дать ни взять доктор на утреннем обходе. Он больше не прихрамывал.

— Как самочувствие?

Я оглядел его с головы до пят; спокойно, спокойно.

— Самочувствие отличное. Давно я так не веселился.

Он посмотрел на поднос.

— Хотите еще кофе?

Я кивнул. Он сделал знак второму тюремщику; тот забрал поднос и ретировался. За дверью просматривался длинный проход, а в конце его — лесенка, ведущая на поверхность. Что-то великоват этот резервуар для частного. Антон не отрывал от меня глаз. Я стойко молчал, и некоторое время мы сидели друг против друга в полной тишине.

— Я врач. Пришел вас осмотреть.— Заботливый взгляд.— У вас ведь... ничего не болит?

Я уперся в стену затылком; поглядел на него, не открывая рта.

Он погрозил пальцем:

— Будьте добры ответить.

— Я просто балдею, когда надо мной измываются. Балдею, когда девушка, которую я люблю, поганит все, что для меня свято. А уж когда ваш пакостный дедулька разродится очередной правди-ивой историей, я прям-таки прыгаю от радости.— И гаркнул: — Где я, черт вас дери, нахожусь?

Он, похоже, не особо-то прислушивался; его интересовали не слова, а физиологические реакции.

— Прекрасно,— размеренно выговорил он.— Судя по всему, вы проснулись.— Он сидел, положив ногу на ногу, и разглядывал меня чуть свысока, мастерски подражая врачу, ведущему прием пациентов.

— А куда подевалась эта проблядушка? — Он, кажется, не понял, о ком я.— Лилия. Жюли. Или как ее там.

Улыбнулся:

— Проблядушка — это падшая женщина?

Я зажмурился. У меня начинала болеть голова. Надо держать себя в руках. Тот, кто стоял на пороге, обернулся: по лестнице в конце прохода спускался второй охранник. Вошел в комнату, поставил поднос на стол. Антон налил кофе сначала мне, а потом и себе. Матрос передал мне чашку. Антон двумя глотками осушил свою.

— Друг мой, вы заблуждаетесь. Она девушка честная. Очень добрая. И очень смелая. Да-да,— заверил он, увидев мою ухмылочку.— Очень смелая.

— Имейте в виду, как только отсюда выберусь, я вам всем такой, мать вашу, праздник организую, что небо с овчин...

Он вскинул руку, успокаивая меня, снисходя к моей горячности:

— У вас мысли путаются. За эти дни мы ввели вам ударную дозу релаксантов.

Я осекся.

— Что значит «за эти дни»?

— Сегодня уже воскресенье.

Три дня псу под хвост; а как же сочинения, будь они неладны? Ребята, учителя... не вся же школа пляшет под Кончисову дудку. Голова моя пошла кругом. Но не от наркотиков — от чудовищного хамства; получается, им плевать и на законность, и на мою работу, и на таинство смерти — на все общепринятое, устоявшееся, авторитетное. Плевать на все, чем я дорожу; и на все, чем, как мне до сих пор казалось, дорожит сам Кончис.

Я в упор посмотрел на Антона.

— У вас, немцев, эти шалости в крови.

— Я швейцарец. Моя мать еврейка. Это так, к слову.

Густые, кустистые, угольно-черные брови, озорной огонек в глазах. Поболтав в чашке остатки кофе, я выплеснул их ему в лицо. По халату поползли бурые потеки. Он достал носовой платок, утерся, что-то сказал стоящему рядом тюремщику. Ни малейшей досады; пожал плечами, взглянул на часы.

— Сейчас десять тридцать... э-э... восемь. Суд назначен на сегодня, и вам надо быть в трезвом уме и твердой памяти. Это,— указал на свой заляпанный халат,— очень кстати. Я вижу, вы готовы к заседанию.

Поднялся.

— К какому заседанию?

— Мы с вами туда скоро отправимся. И вы вынесете нам приговор.

— Я — вам?!

— Да. Вы, наверно, думаете, что эта комната — тюремная камера. Ничего подобного. Эта комната... как по-английски называется кабинет судьи?

— Chambers.

— Вот-вот. Chambers. Так что хорошо б вам...— и показал жестом: — побриться.

— Бог ты мой.

— Народу будет порядочно.— Я не верил собственным ушам.— Это придаст вам солидности.— Направился к выходу.— Ну ладно. Адам,— кивком указал на белобрысого,— Адам,— ударение на втором слоге,— через двадцать минут вернется и приведет вас в надлежащий вид.

— В надлежащий вид?

— Не беспокойтесь. Чистая формальность. Это мы не ради вас делаем. Ради себя.

— Кто «мы»?

— Потерпите немного, и все узнаете.

Рано я выплеснул кофе ему в морду — вот теперь бы в самый раз.

С улыбкой поклонился, вышел из комнаты, охранники — за ним. Дверь захлопнулась, лязгнул засов. Скелет воззрился на меня со стены, будто повторяя по-своему, по-трупачьи: потерпи чуток и узнаешь. Все, все узнаешь.

61

Я подкрутил стрелки часов. Ровно через двадцать минут два моих тюремщика вернулись в камеру. В черном их лица казались преувеличенно зверскими, типично фашистскими; а приглядишься — физиономии как физиономии, не добрые и не злые. Блондинчик Адам подошел ко мне вплотную; в руке он нес какую-то нелепую конволютку.

— Пожалуйста... не надо мешать.

Поставив чемоданчик на стол, пошарил внутри; вынул две пары наручников. Я брезгливо вытянул руки назад, он защелкнул наручники на запястьях, пристегнув меня к обоим стражникам. Потом вынул из чемоданчика фигурный кляп из черной резины, вогнутый, с толстым загубником.

— Пожалуйста... я надену. Это не больно.

Мы застыли друг против друга в некотором замешательстве. Я заранее решил не сопротивляться — лучше прикинуться паинькой до тех пор, пока не представится случай врезать тому, кто этого в первую очередь заслуживает. Адам нерешительно поднес кляп к моему лицу. Передернувшись, я обхватил зубами черный резиновый валик; его недавно протерли чем-то дезинфицирующим. Адам ловко затянул ремешки у меня на затылке. Вернулся к столу, вытащил из кейса кусок широкого черного пластыря, тщательно прилепил кляп к лицу. Зря я не стал бриться.

Дальнейшие действия Адама повергли меня в изумление. Опустившись на колени, он задрал мне правую штанину до середины бедра, закрепил ее там эластичной подвязкой. Поднял меня на ноги. Сделав успокаивающий жест (не пугайтесь!), через голову стащил с меня пуловер, потянул вниз — и тот повис за спиной, маскируя наручники. Расстегнул на мне рубашку до пояса, оголил левое плечо. Достал из конволютки две белые ленты в дюйм шириной, к каждой пришита кроваво-красная розочка. Одну повязал вокруг моей правой икры, другую продел под мышку и затянул узел на голом плече. Следующий причиндал — черный кружок пластыря дюйма два в диаметре — прилепил над переносицей, как гигантскую мушку. И наконец с выражением неподдельного радушия надел мне на голову объемистый черный мешок. Меня так и подмывало вступить с ним в борьбу; но момент был упущен. Мы двинулись вперед. Стражники блокировали меня с обеих сторон.

В конце прохода остановились, и Адам сказал: «Осторожней, нам надо этажом выше». Интересно, подумал я, слово «этаж» означает, что мы в подвале какого-то дома и просто Адам не в ладах с английским?

Я нащупал ногой лестницу, и мы выбрались на прямое солнце. Его лучи я ощутил кожей — сквозь черную ткань свет почти не проникал. Мы прошагали ярдов двести-триста не сворачивая. По-моему, я различил запах моря, но поклясться в этом не могу. Вот сейчас тебя поставят к стенке, и солдаты вскинут боевое оружие. Но тут меня снова придержали, и чей-то голос произнес: «Теперь спускайтесь». Они терпеливо выждали, пока я ощупью доберусь до низа; эта лестница длиннее той, что в узилище, и воздух здесь сырой. Мы завернули за угол, преодолели еще несколько ступенек, и наши шаги вдруг стали обрастать гулким эхом: мы оказались в каком-то просторном зале. Загадочно и тревожно пахло костром и свежим дегтем. Меня остановили, сняли с головы мешок.

Я ожидал увидеть толпу людей. Но ни души, за исключением нас четверых, не было в исполинском подземелье, очертаниями напоминающем огромный резервуар, а размерами — подвальную церковь; подобные не раз обнаруживались под руинами дряхлых веницейско-турецких дворцов Пелопоннеса. Зимой на Пилосе я как раз в такую спускался. Подняв глаза, я заметил два характерных вытяжных отверстия; на поверхности их обычно венчают снабженные заслонками горловины.

В дальнем конце зала на невысоком помосте был воздвигнут трон. Напротив тянулся стол, точнее, три длинных стола, составленных пологой дугой и покрытых черной скатертью. У стола стояли двенадцать черных стульев, а в самом центре оставался прогал для тринадцатого.

Стены до высоты около пятнадцати футов побелены; над троном изображено колесо с восемью спицами. На полпути от стола к трону, вплотную к правой стене, рядком расставлены скамейки, на каких восседают присяжные.

В этом жутковатом судебном присутствии имелась одна явная несообразность. Освещалось оно факелами, прикрепленными к боковым стенам. Но из обоих углов за троном на дугообразный стол нацелилось по внушительной обойме прожекторов. Они не горели; однако электрические кабели и соты рефлекторов сообщали куклускслановскому интерьеру зала, и без того-то вселяющему ужас, гаденькое сходство с комнатой, где допрашивают арестованных. Скорее не храм правосудия, а храм неправедности; Звездная палата, логово инквизиции.

Меня подтолкнули в спину. Мы проследовали вдоль стены, мимо изогнутого стола к трону. Тут до меня дошло, что он предназначен лично для меня. Охранники помедлили, ожидая, пока я поднимусь на подиум. К площадке, где размещался престол, вели четыре или пять ступенек. И помост был сколочен тяп-ляп, и трон какой-то игрушечный, предмет театрального реквизита, обмазанный черной краской, с подлокотниками, прямой спинкой и балясинами по краям. В центре жесткой черной спинки — белое око вроде тех, что средиземноморские рыбаки рисуют на носу лодки, отгоняя злых духов. Меня усадили на плоское малиновое сиденье.

Не успел я сесть, замки наручников защелкали, и я оказался прикован к подлокотникам трона. Посмотрел вниз. Ножки крепятся к помосту мощными кницами. Я протестующе мыкнул, но Адам покачал головой: мне полагалось наблюдать, а не разговаривать. Охранники встали на караул позади трона, на нижней ступеньке помоста, утыкающейся в стенку. В припадке добросовестности Адам проверил, хорошо ли заперты наручники, рванул назад рубашку, которую я натянул было на плечо, и сошел с подиума. Повернулся ко мне лицом, склонился в высоком поклоне, точно перед алтарем, после чего обогнул стол и скрылся за дверью в дальней стене. Я остался сидеть, прислушиваясь к дыханию бессловесной парочки за спиною и к слабому потрескиванию пылающих головней.

Оглядел зал; надо зафиксировать все до мелочей. Сплошь каббалистические знаки. На правой стене черный крест — не христианский, со вздувшейся, словно перевернутая груша, верхушкой; на левой, вровень с крес-

том — пунцовая роза, единственное цветное пятно в черно-белом убранстве зала. На стене прямо над высокими дверями черным выведена гигантская отрубленная от предплечья шуйца: указательный палец с мизинцем торчит вверх, средний и безымянный согнуты и прижимают большой к ладони. Отовсюду так и разит обрядностью; а я всю жизнь презирал любые обряды. Я безостановочно твердил себе: сохраняй достоинство, сохраняй достоинство. С черным циклопьим буркалом во лбу, увитый белыми лентами и розочками — в таком виде кто угодно покажется идиотом. А мне нельзя казаться, нельзя.

И тут сердце мое ушло в пятки.

Что за кошмарная образина!

Стремительно и бесшумно в дальних дверях вырос Хёрни-зверобой. Божок неолита, дух таежного сумрака, племенного строя, черный и студеный, как прикосновенье железки.

Человек с головой оленя, вписанный в арку дверного проема; величавый разительный контур на фоне тускло подсвеченной беленой стены коридора. Рога развесистые, ветвистые, черные, в цвет миндальной коры. И весь он в черном с головы до ног, белым выделены лишь глаза и ноздри. Помедлил, давая мне прочувствовать свое присутствие, важно ступая, двинулся к столу; царственно застыл посредине, после долгой паузы прошел на левый край. Я уже разглядел и черные перчатки, и носки черных туфель под узкой накидкой-сутаной; догадался, что он не может идти быстрее: маска его чересчур хрупка и громоздка.

Как бывало и в Бурани, я устрашился не того, что вижу, а того, что не понимаю, зачем мне это показывают. Не самой маски,— век двадцатый, пресыщенный научной фантастикой, слишком высоко ставит реальные достижения науки, чтобы всерьез трепетать перед сверхъестественным,— но того, кто скрывался под маской. А то была неиссякаемая первопричина страха, ужаса, истинного зла — Человек с большой буквы.

В арке двери возник второй персонаж, замер, позируя, как будут позировать, являясь моему взору, и последующие.

На сей раз женщина. Одета как рядовая английская ведьма; широкополая шляпа с черной остроконечной тульей, седые лохмы, красный фартук, черный плащ, змеиная накладная улыбочка, крючковатый нос. Согнувшись в три погибели, она проковыляла к правой оконечности стола, утвердила на скатерти неразлучного своего котяру. Кот был дохлый; чучельщик придал ему сидячую позу. Стеклянные котовьи глаза вылупились на меня. И ее, черно-белые. И глаза человека-оленя.

Новый персонаж кошмара: человек с головой крокодила — экзотическая гривастая маска с далеко выдающимися челюстями и неуловимыми чертами негроидной расы; белозубый оскал, глаза навыкате. Этот на пороге почти не медлил, сразу устремился на свое место рядом с оленем — либо костюм ему где-то жал, либо он пока не притерпелся к подобным сценам.

Следом явился мужичок попризе мистей; болезненно распухшая голова, зверская ухмылка от уха до уха обнажает белоснежные бульники зубов. Глазницы провалившиеся, темные, будто могильные ямы. С макушки свисает пышный игуаний гребешок. Одет сей красавчик был в черное пончо и косил под мексиканца; под ацтека. Уселся рядом с ведьмой.

Еще женщина. Почти наверняка Лилия. Загримирована под крылатую вампиршу, ушастая чернявая морда нетопыря; губу оттопыривают белые клычищи; ниже пояса — черная юбка, черные туфли. Ножки стройные. Она поспешила к своему стулу обочь крокодила, когтистые крыла торчком пузырятся при ходьбе, зловеще отливают в факельных бликах; колеблющаяся их тень разом накрыла настенные крест и розу.

Очередной посетитель был родом из Африки, плебейский страшила в домодельной кукольной хламиде из черной ветоши, ступенчато ниспадающей до самых пят. Та же ветошь сгодилась и на маску, пришлось добавить лишь три белых хохолка-перышка да две тарелки вместо глаз. Руки, ноги и половые признаки надежно упрятаны; идеальное пугало для малолетних. Похиляло к стулу рядом с вампирихой; я ощутил на себе его взгляд, влившийся в общий хор: когда ж, когда ж ты выйдешь из себя?

За ним в дверь колобком вкатился суккуб [1] с босховской харей.

Следующий гость, разнообразия ради, тешил взор своей белизной: меланхолический скелетик-Пьеро, двойник изображенного на стене камеры. Маской ему служил череп. Тазовые кости хитро оттенены черным; шагал ряженый как-то дергано, окостенело.

Настал черед еще более нетривиальной личины. Это была женщина, и я засомневался: а точно ли вампирша — Лилия? Спереди ее юбку покрыли каким-то закрепителем и кое-как придали материи форму рыбьего хвоста; выше хвост раздавался в беременное чрево; а чрево на уровне груди стыковалось с птичьей, задранной кверху, головой. Сия участница карнавала продвигалась вперед тихо-тихо, левой рукой придерживая восьмимесячный живот, а правую засунув в желобок меж грудями. Белая клювастая голова, казалось, узрела своими миндалевидными глазами нечто весьма любопытное прямо на потолке. Рыба-женщина-птица была по-своему прекрасна, фигура ее, по контрасту с другими, грозными и недужными, дышала истинной кротостью. На вытянутом в струнку горле виднелись две дырочки, смотровые отверстия для глаз участницы маскарада.

Теперь пустовало только четыре места.

Я увидел в дверях своего старого приятеля. Песьеголовый Анубис, ненасытный губитель. Он заскользил к своему месту негритянской развалочкой.

Человек в черной мантии с белой вязью астрологических и алхимических знаков. На голове остроконечная шляпа в ярд высотой с широкими вольнодумными полями, шея замотана черным шарфом. Черные перчатки, длинный белый посох с кольцевой рукояткой: змея, кусающая собственный хвост. Лицо скрыто маской, черной как вороново крыло. Я догадался, кто это. Узнал блеск белков, безжалостно сжатые губы.

Осталось два места в центре стола. Какая-то заминка. Сидящие за столом не сводили с меня глаз; ни слова, ни жеста. Я оглянулся на стражников, застывших по стойке «смирно»; пожал плечами. Смог бы — зевнул, чтоб поставить их всех на место; да и самому себе напомнить, кто я есть.

Из белого коридора выступили четверо. Они тащили черный сидячий портшез, узкий, как гроб, поставленный на попа. Окна в передней и боковых стенках занавешены. На передке нарисована белой краской та же эмблема, что и над троном,— колесо с восемью спицами. Портшез увенчан черной тиарой с серпами на зубцах — хоровод юных лун.

Носильщики облачены в черные блузы. На лицах вычурные черно-белые маски знахарей, к затылкам прикреплены огромные вертикальные кресты больше ярда высотой. На концах перекладин, точно языки черного пламени, топорщатся пучочки ветоши или пакли.

Ведуны направились не прямо во главу стола, но, как некую гостию, как благодатные мощи святителя, пронесли портшез вдоль левой стены, между столом и престолом развернулись — я имел отличную возможность разглядеть серебряные полумесяцы, символы Дианы-Артемиды, на дверцах,— прошлись вдоль правой и, обойдя таким образом весь зал, взяли курс на середину стола. Вытянули жерди из скоб, поднатужились, поставили высокий ящик на скатерть. Остальные рыла, не обращая на портшез ни малейшего внимания, знай себе поедали меня глазами. Черные носильщики отступили к стенам и застыли — каждый под своим факелом. Три головни вот-вот должны были догореть. Свет в зале постепенно мерк.

И тут явился тринадцатый.

В отличие от предшественников, одет он был в длинный, до пола, белый халат-стихарь с широкими рукавами, скромно украшенными черной тесьмою по обшлагу. Руки, обтянутые красными перчатками, сжимают черный жезл. Голова чистокровного черного козла, самая что ни на есть натуральная, нахлобученная на манер колпака и высоко вздымающаяся на плечах ряженого, чье второе, человеческое лицо полностью скрыто черной

[1] Согласно поэтическим воззрениям западноевропейцев на природу, бесовское существо-самка. Пользуясь сонным состоянием жертвы, вступает в соитие с мужчинами.

косматой бородой. Внушительные витые рога, не тронутые камуфляжем, указывают вспять; янтарные бусины глаз; вместо головного убора меж рогами укреплена и затеплена толстая кроваво-красная свеча. Вот тут я пожалел, что во рту у меня кляп; сейчас весьма кстати выкрикнуть что-нибудь отрезвляющее: что-нибудь писклявое, розовощекое, английское; к примеру: «Доктор Кроули [1], если не ошибаюсь?» Увы, я ограничился тем, что закинул ногу на ногу и напустил на себя скучливый вид, мало кого, должно быть, обманувший.

Архидиавольская спесь, с которой козлобород, его адское величество, шествовал на место, приличное его сану, заставила меня сжаться в комок: похоже, предстоит черная месса. Стол, очевидно, приспособят под алтарь. Мне вдруг пришло в голову, что предо мною — карикатурный Христос; жезл — пастушеский посох, черная борода — Иисусова каштановая бородка, кровавая свеча — нечестивый аналог нимба. Козел уселся, и теперь все участники бесовского карнавала с удвоенным рвением вперились в меня снизу вверх. Я оглядел их по порядку: идолище-олень, идолище-крокодил, вампирша, суккуб, женщина-птица, чародей, домовина-портшез, идолище-козел, идолище-шакал, скелет-Пьеро, чучелко-страшила, ацтек, ведьма. Непроизвольно сглотнув, я еще раз посмотрел через плечо, на своих неразговорчивых стражей. Сдавленные кляпом губы начинали ныть. Пожалуй, дешевле всего притвориться, что я рассматриваю опоры помоста.

Прошла примерно минута. Потух очередной факел. Человек-козел вскинул жезл, подержал на весу, опустил на стол перед собой; при этом нижний конец скипетра, судя по всему, запутался в складках мантии, и скомороху, к моей тайной радости, пришлось порядком-таки покрутиться, дабы выпростать его оттуда. С честью выйдя из этой переделки, козел воздел длани, словно обнимая и подиум, и престол, и меня, на престоле сидящего. Стражники немедля направились к прожекторам. Миг — и зал наполнился электрическим светом; еще миг — и застывшая картинка пришла в движение.

Сидящие за столом персонажи принялись поспешно разоблачаться, будто актеры, что доиграли спектакль до конца. Крестоносцы вынули факелы из зажимов, строем направились в коридор. У самой двери им пришлось задержаться, чтобы пропустить в зал группу молодежи — человек двадцать. Те ввалились гурьбой, одетые по современной моде, чуть не на пятки друг другу наступая. Многие — с тетрадками и книжками. Без лишнего шума расселись на скамейках справа от меня. Люди с факелами удалились. Я стал разглядывать новоприбывших — немцы или скандинавы, смышленые студенческие лица; двое или трое посолидней остальных; три девушки за двадцать — видимо, старшекурсницы. Двоих парней я уже лицезрел на водоразделе.

Ряженые тем временем продолжали снимать с себя маски и костюмы. Адам и два охранника похаживали вдоль стола, пособляя. Адам вдобавок клал на скатерть перед каждым сидящим картонную папку с белой наклейкой. Чучело кота, посохи и прочий реквизит быстро припрятывали — с ловкостью, какая достигается лишь долгой тренировкой. По мере разоблачения я переводил взгляд с одного лица на другое.

Козел, вошедший в зал последним, обернулся старичком с короткой седой бородкой и серо-синими глазами; вылитый Смэтс [2]. Как и его сообщники, в мою сторону он поворачиваться избегал, однако Кончису, чародею-астрологу, сидевшему рядом, улыбнулся. За Кончисом совлекала с себя птичью голову и раздутое брюхо худенькая немолодая женщина. На ней был строгий темно-серый костюм; директриса или администратор. Шакал, Джо, щеголял в темно-синем. Из-под черепа скелета-Пьеро неожиданно вынырнул Антон. Из босховского суккуба вылупился еще один старикан — этот вовсе уж одуванчик, в пенсне. Из чучелка — Мария. Карлик-ацтек оказался немецким полковником, лже-Виммелем

[1] Джордж Кроули (1780—1860) — выдающийся религиозный деятель, проповедник, литератор.

[2] Ян Христиан Смэтс (1870—1950) — южноафриканский политический деятель.

с водораздела. Вампирша — не Лилией, а ее сестрой; запястье гладкое, без шрама. Белая блузка; черная юбка. Крокодил — мужчина под тридцать с богемной бородой; грек или итальянец. Тоже в парадном костюме. Оленя я раньше не встречал: долговязый умник с семитским лицом, лет сорока, загорелый до черноты, лысеющий.

Оставалась ведьма на правом конце стола. То была Лилия — в белом шерстяном платье с длинными рукавами и стоячим воротом. Взбила немилосердно навороченный шиньон, нацепила на нос очки. «Полковник» что-то шепнул ей на ухо; она выслушала, кивнула, открыла папку.

Только из высокого портшеза никто не появился.

За столом предо мною сидели прилично одетые, ничем не примечательные люди, листали свои папочки, косились на меня — с любопытством, но без всякой симпатии. Я поймал взгляд Джун (Розы), но в лице ее ничто не дрогнуло, точно я не человек, а восковой манекен. Я с нетерпением ждал, когда на меня обратит внимание Лилия, но и она посмотрела как чужая. Лилия вообще была тут вроде сбоку припека, теснилась на краешке, будто подмастерье, милостиво причисленный к сонму избранных.

Наконец старичок с седой бородкой поднялся со стула; зрители, уже начавшие перешептываться, разом стихли. Остальные «члены президиума» повернулись к нему. Некоторые — не скажу, что многие,— студенты раскрыли тетради на коленях и приготовились записывать. Седобородый навел на меня очки в золоченой оправе, улыбнулся, поклонился:

— Господин Эрфе, вы, несомненно, давным-давно пришли к выводу, что угодили в лапы клинических безумцев. Ладно бы безумцев, так еще и садистов. Ну-с, считаю своим долгом представить вам этих самых безумцев и садистов.— Кое-кто из сидящих за столом натянуто улыбнулся. По-английски он говорил безупречно, хотя некоторые звуки произносил с отчетливым немецким акцентом.— Однако сперва мы приведем вас, как только что привели сами себя, в нормальный вид.— Деловито махнул охранникам. Те взобрались на помост, проворно размотали ленты с розочками, застегнули рубашку, опустили штанину, содрали мушку со лба, натянули на меня пуловер, даже волосы пригладили; но кляп изо рта вынимать не стали.

— Превосходно. Итак... если позволите, прежде всего я сам представлюсь. Доктор Фридрих Кречмер, работал в Штутгарте, ныне возглавляю Институт экспериментальной психологии университета Айдахо, США. Справа от меня — хорошо вам знакомый доктор Морис Кончис из Сорбонны.— Кончис привстал, небрежно поклонился. Я испепелил его взглядом.— Правее — доктор Мэри Маркус, преподаватель Эдинбургского университета, бывший сотрудник фонда Уильяма Элансона Уайта, Нью-Йорк.— Женщина в строгом костюме важно кивнула.— Еще правее — профессор Марио Чьярди из Милана.— Тот вскочил и поклонился; щуплый лягушоночек.— Рядом с ним — наш очаровательный и талантливый художник по костюмам, мисс Маргарет Максвелл.— «Роза» удостоила меня кислой улыбочкой.— По правую руку от мисс Максвелл сидит господин Янни Коттопулос. Наш продюсер.— Бородач кивнул; дошла очередь до верзилы еврея — тот поднялся.— А это вас приветствует Арне Халберстедт из Стокгольмского королевского театра, инсценировщик и режиссер. Именно ему, а также мисс Максвелл и господину Коттопулосу мы, с нашим дилетантизмом в вопросах современного театрального искусства, обязаны успешным завершением и художественными достоинствами настоящей... гм... постановки.— Кончис захлопал в ладоши, к нему присоединился «президиум», а затем и студенты. Даже стражники не остались в стороне.

Старичок развернулся на сто восемьдесят градусов.

— Тэк-с... слева от меня вы видите пустой ящик. Но удобнее предполагать, что в нем заключена некая богиня. Богиня-девственница, которую никто из нас никогда не видел и не увидит. Промеж себя мы ее называем Незримой Астартой. Убежден, вы достаточно эрудированы, чтоб догадаться о значении этого имени. А догадавшись, схватить самую суть нашего вероисповедания, вероисповедания ученого люда.— Откашлялся.—

Сбоку от ящика — доктор Джозеф Гаррисон, сотрудник моей кафедры. Вы, может быть, слыхали о его фундаментальном исследовании неврозов, наиболее распространенных среди негров-горожан, озаглавленном «Души черных, души белых».— «Ду́ши», а не «души́». Джо привстал, лениво махнул мне рукой. Следующим был «Антон».— Рядом с ним — доктор Генрих Майер, в настоящее время работает в Вене. Рядом с ним — супруга Мориса Кончиса, более известная многим из присутствующих как блестящий специалист по травмам воспитанников детских домов военного периода. Излишне уточнять, что я имею в виду доктора Аннетту Казанян из Чикагского исследовательского центра.— Если даже я не выказал ни малейшего восторга, что уж говорить о подавляющем большинстве «зрителей», которые зашушукались и вытянули шеи, чтобы получше рассмотреть «Марию».— Рядом с мадам Кончис — приват-доцент Ольборгского университета Торвальд Йоргенсен.— «Полковник» подскочил, поклонился.— А вот рядом с ним — доктор Ванесса Максвелл.— Лилия блеснула мне очками, нимало не оживившись. Старичок обратился к коллегам: — Думаю, что выражу общее мнение: научная эффективность нашей постановки этим летом была во многом обусловлена именно участием доктора Максвелл. Доктор Маркус предупреждала меня, что в Айдахо едет самая одаренная ее ученица. Но, признаюсь вам, до сей поры никто не оправдывал моих надежд в столь полной мере. Меня подчас обвиняют в том, что я преувеличиваю роль женщин в данной области медицины. Должен сказать, однако, что доктор Максвелл, моя очаровательная юная коллега Ванесса, лишний раз подтверждает мою правоту: не за горами эпоха, когда величайшие психиатры-практики, в отличие от теоретиков, все без исключения будут принадлежать к прекраснейшей половине человечества.— Аплодисменты. Лилия переждала их, скромно уставясь на скатерть, а затем взглянула на старичка и пробормотала: «Спасибо». Тот вновь повернулся ко мне.

— Студенты, которых вы здесь видите,— это австрийские и датские учащиеся из семинара доктора Майера и из Ольборга. Молодые люди, вы все понимаете по-английски? — Послышалось нестройное «да». Одарив их отеческой улыбкой, старичок отхлебнул воды.

— Ну что ж, господин Эрфе, вот вы и разгадали нашу тайну. Перед вами интернациональный коллектив психологов, который я, исключительно в силу своего возраста — двое или трое протестующе замотали головами,— имею честь возглавлять. По многим причинам область нашего преимущественно исследовательского интереса такова, что использовать добровольцев в качестве испытуемых мы не можем, более того: испытуемый не должен догадываться, что на нем проводят эксперимент. Само собой разумеется, наши взгляды на человеческое поведение различны, ибо мы принадлежим к враждующим научным школам; но в одном мы согласны: эксперимент обречен на провал в том и только том случае, если испытуемый узнает о наших истинных целях — во время опыта или по его завершении. Впрочем, не сомневаюсь, что, оправившись от действия транквилизаторов, вы без труда вычислите хотя бы часть этих целей, стоит только как следует вдуматься в способы воздействия, которые были к вам применены.— За столом заулыбались.— Но к делу. В течение последних трех дней вы находились под глубоким наркозом, и мы получили от вас ценнейшую, повторяю, ценнейшую информацию. Позвольте выразить наше восхищение тем мощным потенциалом вменяемости, который вы продемонстрировали, блуждая в запутанных лабиринтах иллюзий, нами спроектированных.

Повскакали с мест, устроили мне овацию. Тут мое терпение лопнуло. Хлопали все до одного: Лилия, Кончис, студенты. Оглядев их, я вывернул ладони к себе и поднял указательный и средний пальцы обеих рук буквой «у». Сбитый с толку старичок наклонился к Кончису спросить, что бы это значило. Аплодисменты стихли. Кончис посмотрел на женщину, представленную мне как доктор наук из Эдинбурга. Та произнесла с сильным американским акцентом:

— Этот жест эквивалентен выражениям типа «Пидарас» или «Очко порву».

Старичок с нескрываемым интересом повернулся к ней. Повторил мой жест, поднеся собственную руку к самым глазам.

— Но Уинстон Черчилль вроде бы...

Вмешалась Лилия:

— Доктор Кречмер, носителем специфической семантики тут выступает восходящее движение кисти руки. Жест Черчилля, обозначающий победу, производится при фиксированном положении предплечья, ладонь при этом обращена к адресату. Вспомните наш разговор по поводу моей работы «Двучленные анальные метафоры в классической литературе».

— Ага. Как же, как же. Припоминаю. Ja, ja.

Кончис задал Лилии вопрос:

— Pedicabo ego vos et irrumabo, Aureli patheci et cinaedi Furi? [1]

Лилия:

— Именно так.

Виммель-Йоргенсен подался вперед, заговорил на ломаном английском:

— Никак не есть связано с рогоносительством? — Приставил кулак к макушке, помахал в воздухе двумя пальцами.

— В свое время мною была выдвинута гипотеза, что в любом акте оскорбления проявляется комплекс кастрации, стремление оттеснить и унизить сексуального конкурента, каковой с неизбежностью ассоциируется с какой-либо из кардинальных инфантильных фиксаций и всеми ей сопутствующими фобиями,— растолковала Лилия.

Я напряг мышцы, плотно сжал ноги, взывая к остаткам разума, пытаясь отыскать в этой бессмыслице хоть крупицу смысла. Я не верил, не мог поверить, что они и вправду психологи, что они отважились сообщить мне свои настоящие имена.

С другой стороны, профессиональным жаргоном они владеют безукоризненно: ведь никто не предвидел, какой жест я сделаю. Или предвидел? Соображай, соображай! Чтоб разыграть диалог по репликам, им нужен был мой жест — жест, которым я, кстати, последний раз баловался много лет назад. Однако я где-то читал, что под гипнозом наше поведение поддается программированию; человек, реагируя на сигнал, о котором условился с гипнотизером во время сеанса, выполняет внушенные ему указания. Механика простая. Аплодисменты и явились таким условным сигналом. Услышав их, я сделал непристойный жест. Надо быть начеку; каждое движение контролировать.

Старичок прервал разгоравшуюся дискуссию:

— Господин Эрфе, ваш многозначительный жест возвращает меня к тому, для чего мы тут собрались. Мы ни минуты не сомневаемся, что вы питаете к нам — по меньшей мере, к некоторым из нас — чувства искреннего гнева и ненависти. Пока вы пребывали в трансе, мы исследовали ваше подсознание, в сфере которого дела обстоят несколько иначе. Но, по слову коллеги Гаррисона, «наши проблемы — это прежде всего то, что мы сами о них думаем». Учитывая вышеизложенное, сегодня мы хотим предоставить вам возможность рассудить нас по совести, по вашей собственной совести. Вот почему вас усадили на судейское место. А кляп в рот засунули потому, что правосудию не пристало болтать, пока не наступит час приговора. Однако прежде чем мы выслушаем этот ваш приговор, позвольте нам дать дополнительные показания *против* себя самих. Мы преступили закон ради прогресса науки, но, как я уже говорил, клинические особенности настоящего эксперимента не позволяют приоткрыть вам обеляющие нас факты. Сейчас я попрошу доктора Маркус зачитать вслух ту часть нашего квартального отчета, где идет речь о вас, господин Эрфе, но не как об испытуемом, а как об индивидууме. Пожалуйста, доктор Маркус.

Дама из Эдинбурга поднялась со стула. Ей было около пятидесяти; прическа под мальчика, волосы тронуты сединой; никакой косметики; волевое, сообразительное лицо лесбиянки, нетерпимой к малейшим проявлени-

[1] Вот ужо я вас спереди и сзади, Мерзкий Фурий с Аврелием беспутным! (Катулл; перевод М. Л. Гаспарова (первая строка) и С. В. Шервинского).

ям человеческой глупости. С типично американским презрением к слушателям задолдонила:

— Объект эксперимента тысяча девятьсот пятьдесят третьего года относится к хорошо изученной категории интровертов-недоинтеллектуалов. Полностью отвечая нашим требованиям, структура его личности в целом не представляет значительного научного интереса. Определяющий принцип социального поведения негативный: навыки общежития никак не выражены.

Истоки подобной установки лежат в эдиповом комплексе объекта, претерпевшем лишь частичную деструкцию. Наблюдаются характерные симптомы боязни авторитета в сочетании с неуважением к нему, особенно к авторитету в его мужских проявлениях, и традиционно сопутствующий синдром амбивалентного отношения к женщине, при котором она рассматривается и в качестве предмета вожделения, и в качестве агента неверности, то есть помогает объекту оправдывать собственную мстительность и собственные измены.

Нам не хватило времени для глубинного изучения индивидуальной специфики таких травм объекта, как травма отторжения материнским лоном и травма отнятия от груди, но выработанные им компенсаторные приемы столь часты в так называемой интеллектуальной среде, что мы можем с уверенностью предположить: процесс отнятия от материнской груди протекал неблагополучно (возможно, из-за напряженного служебного распорядка отца), а отец, мужчина, на очень раннем этапе развития отождествился у объекта с разлучником — функция, которую в нашем эксперименте принял на себя доктор Кончис. Объект так и не смог смириться с преждевременным отлучением от орального удовлетворения и материнского покровительства, что и предопределило его аутоэротический подход к сексуальной жизни и к миру вообще. Добавим, что объект целиком подпадает под Адлерово описание пациента с синдромом единственного отпрыска.

Девушки не раз становились жертвами эмоциональной и сексуальной агрессии объекта. По свидетельству доктора Максвелл, его метод обольщения основан на навязчивой гипертрофии собственных одиночества и невезучести — по сути, речь идет о ролевой структуре «заблудившийся ребенок». Таким образом, объект апеллирует к подавленным материнским инстинктам своих жертв, на каковых инстинктах и принимается паразитировать с псевдоинцестуальной жестокостью, свойственной его психологическому типу.

Объект, как и подавляющее большинство людей, идентифицирует бога с фигурой отца, яростно отрицая самое веру в бога.

Из чистого карьеризма он постоянно инспирирует вокруг себя ситуацию полного одиночества. Доминантную травму отлучения сублимирует, притворяясь бунтарем и аутсайдером. В поисках изоляции подсознательно ориентирован на оправдание своей жестокости к женщинам и неприязни к сообществам, чьи конституирующие правила противоречат мощному импульсу самоудовлетворения, определяющему поведение объекта.

Ни в рамках семьи, ни в рамках сословия, ни в рамках нации справиться со своими проблемами объект не сумел. Он происходит из семьи военного, где существовали многочисленные табу, имеющие общий источник — непререкаемую диктатуру отца. На родине объекта ментальность сословия, к которому он принадлежит — а именно служащих среднего достатка, технобуржуазии (термин Цвимана),— несомненно, характеризуется нездоровой приверженностью к такого рода семейным мини-диктатурам. В разговоре с доктором Максвелл объект признал: «В отрочестве я вел двойную жизнь». Весьма точное, хотя и непрофессиональное определение благоприобретенной, а в конечном счете и сознательно усугубляемой парашизофрении — «безумие-смазка», по известному выражению Карен Хорни.

Окончив университет, объект избрал себе крайне неподходящую среду обитания — престижную частную школу, где с удесятеренной силой резонируют как раз те социальные недостатки, которые объект не переносит: патриархальность и деспотизм. Неудивительно, что, быстро ощутив себя отторгнутым и школой и родиной, он возомнил, что является экспатриантом,

предварительно застраховавшись от здравых оценочных суждений со стороны, а именно в очередной раз обеспечив для себя среду (школу на острове Фраксос), где в избытке имеются все те же антипатичные ему элементы общежития. С педагогической точки зрения его успехи здесь не выдерживают критики, контакты с учениками и коллегами находятся в зачаточном состоянии.

Подытожим: в поведенческом плане объект — жертва неверно осмысленного рефлекса непреодолимых препятствий. В любой обстановке он выделяет прежде всего факторы, позволяющие ощутить себя одиноким, оправдать свою неприязнь к значимым социальным связям и обязанностям, а следовательно, и свою регрессию на инфантильный этап вытесненного аутоэротизма. В настоящее время эта аутистская регрессия бытует в вышеупомянутой форме любовных интрижек. Несмотря на то что все попытки объекта разрядить конфликт эстетическим путем потерпели полную неудачу, можно прогнозировать и дальнейшие попытки подобного рода, а также формирование стандартной для этой категории лиц манеры поведения в культурном пространстве: непомерное преклонение перед авангардистским иконоборчеством, пренебрежение традицией, маниакальные вспышки братской любви к товарищам по бунтарству и нонконформизму, густо перемежающиеся припадками депрессии и самобичевания, омрачающими творческую и личную жизнь.

Как отметил в своей монографии «Пятидесятые на распутье» доктор Кончис, «бунтарю, который не обладает даром бунтаря от природы, уготована судьба трутня; но и эта метафора неточна, ибо у трутня всегда остается пусть мизерная, но возможность осеменить матку, в то время как двуногий трутень-бунтарь и такой возможности лишен; при некотором умственном усилии он осознает себя существом абсолютно бесплодным, существом, для коего отрезан путь не только к вершинам успеха, где нежатся матки, но и к простым блаженствам рабочих пчел, копошащихся в человеческом улье. Подобная личность, по сути, низведена до уровня воска, пассивного потребителя впечатлений; а на этом уровне ее всепоглощающее стремление, жажда бунта, утрачивает всякий смысл. И неудивительно, что на склоне лет многие падшие бунтари, бунтари, обернувшиеся разумными трутнями, жадно усваивающими новейшие философские веяния, натягивают на себя маску циника, из-под которой выглядывает убеждение — как правило, паранойяльное,— что мир надругался над их лучшими чувствами».

Она докладывала, а сидящие за столом слушали, каждый по-своему — кто глядя ей в рот, кто задумчиво созерцая складки скатерти. Лилия была чуть ли не внимательней всех. «Студенты» что-то помечали в тетрадках. Я не отрывал глаз от дамы, которая прочла длинный текст, ни разу не посмотрев в мою сторону. Мною понемногу овладели хандра и ненависть ко всем присутствующим без изъятия. В том, что она говорила, конечно, была доля истины. Но я твердо знал: такому вот публичному раздеванью, хоть сто раз правдивому, оправдания быть не может; и не может быть оправдания поступку Лилии — ведь «информация», на которой основан отчет, получена явно от нее. Я перевел взгляд на Лилию, но та не поднимала головы. Я понял, кто сочинил этот отчетец. Текст просто кишит идеями, знакомыми по беседам с Кончисом. Его новая личина не ввела меня в заблуждение. Церемониймейстером оставался он, он дергал марионеток за ниточки; за ниточки-паутинки.

Американка отхлебнула воды из стакана. Повисла пауза; все чего-то ждали. Она стала читать дальше.

— Тут имеются два приложения, то есть примечания. Автор первого — профессор Чьярди:

В отчете утверждается, что если отвлечься от специфических требований нашего эксперимента, объект не представляет интереса для науки. Лично я смотрю на это иначе. Уже сейчас можно предсказать, что через двадцать лет Запад вступит в эру невиданного и, казалось бы, парадоксаль-

ного процветания. Говорил и повторяю: угроза ядерной катастрофы окажет на Западную Европу и Америку благоприятное воздействие. Во-первых, она подстегнет материальное производство; во-вторых, станет гарантией мира на планете; в-третьих, насытит каждую секунду существования человека стойким ощущением реальной опасности, каковое ощущение было, на мой взгляд, утрачено в предвоенный период, что и способствовало развязыванию войны. И хотя военная угроза в каком-то смысле будет противодействовать восхождению женского пола на главенствующие позиции, естественные для мирного периода развития, когда общество посвящает себя погоне за наслаждением, я уверен, что фиксация на травме отнятия от груди, определяющая поведение нашего объекта, станет среди мужчин нормой. Мы вступаем в эпоху безнравственности и вседозволенности, где самоудовлетворение вследствие роста заработной платы и расширения ассортимента доступных потребительских товаров в атмосфере ежеминутно ожидаемого апокалипсиса станет уделом если не всех и каждого, то подавляющего большинства. Характерный тип личности в подобную эпоху — это неизбежно личность аутоэротическая, а в плане патологии — аутопсихотическая. Как личностные особенности обеспечили изоляцию объекта, так экономические условия изолируют упомянутую личность от непосредственного соприкосновения с общественными недугами, такими, как голод, нищета, низкий уровень жизни и прочее. Западный homo sapiens превратится в homo solitarius [1]. По-человечески я не питаю к объекту особой привязанности, но как социальному психологу мне этот тип любопытен, ибо генезис его конгениален моим представлениям о генезисе нашего современника со средним интеллектуальным развитием и угнетенными аналитическими способностями, не говоря уж о способностях к синтезу. На примере объекта, что уже немало, видно хотя бы то, что для завершения своей эволюционной миссии человеку в наши дни недостаточно одних лишь эстетических средств с их путаной шкалой ценностей и ложной аксиоматикой.

Дама отложила листок в сторону и взяла из папки следующий.

— Второе примечание принадлежит доктору Максвелл, чей личный контакт с объектом носил, несомненно, наиболее тесный характер. Она пишет:

На мой взгляд, корни эгоизма и социальной непригодности объекта лежат в его личном прошлом, а следовательно, знакомя его с результатами наших исследований, необходимо подчеркнуть, что изъяны психики объекта неподвластны автокоррекции. Объекту требуется разъяснить, что мы исходим из принципа научной объективности и не собираемся — по крайней мере, я не собираюсь — вторгаться в сферу нравственных оценок. Если к объекту и применимы какие-либо этические категории, то это прежде всего сострадание, которое вызывает в нас тот, кто вынужден маскировать собственные недостатки посредством множества сознательных и бессознательных обманов. Нельзя забывать, что объект вступил в жизнь, не имея навыков самоанализа и самоориентации; полученное им образование в целом причинило ему несомненный вред. Мало того, что он, если можно так выразиться, близорук от природы, он еще и ослеплен судьбой. Так что не стоит удивляться, что он стал таким, каков он есть.

Американка уселась. Седобородый старичок удовлетворенно закивал, будто услышанное его обнадежило. Посмотрел на меня, потом на Лилию.

— Доктор Максвелл, мне кажется, будет справедливо, если вы повторите при всех то, что сказали мне по поводу объекта вчера вечером.

Кивнув, Лилия поднялась и обратилась к присутствующим, изредка поглядывая на меня, точно я был прикнопленной к стенду диаграммой:

— Общаясь с объектом, я до некоторой степени подпала под его эмоциональное влияние. Вместе с доктором Маркус мы проанализировали мое состояние и пришли к выводу, что эта психологическая зависимость

[1] Человек разумный... в человека одинокого (*лат.*).

разложима на две составляющих. Первая обусловлена физическим влечением, которое взятая мною на себя роль искусственно форсировала. Вторая составляющая по сути своей эмпатийна. Жалость объекта к самому себе с такой силой проецируется вовне, что ею поневоле заражаешься. Видимо, этот факт представляет некоторый интерес в связи с замечаниями профессора Чьярди.

— Благодарю вас,— закивал старичок. Лилия села. Он вновь посмотрел на меня.— Вам все это может показаться излишне жестоким. Но мы ничего не хотим скрывать.— Обернулся к Лилии: — Возвращаясь к первой составляющей, а именно к физическому влечению: вы не поделитесь с нами и с объектом своими ощущениями на нынешнем этапе?

— Я считаю, что, если вынести за скобки сексуальный потенциал, объект не способен к семейной жизни.— Лед, чистый лед: покосилась на меня, затем на старичка. Давящее, кинжальное воспоминание: она прислонилась ко мне, тьма, ливень, вкрадчивая ласка.

— В структуру личности заложены антиматримониальные моменты? — перебила доктор Маркус.

— Да, заложены.

— Какие конкретно?

— Неверность. Себялюбие. Быстрая пресыщаемость. Вероятны гомосексуальные наклонности.

Старичок:

— Поддается ли объект психотерапии?

— На мой взгляд, не поддается.

Старичок крутанулся на месте:

— А вы как думаете, Морис?

— Кажется, все мы здесь согласны в том,— проговорил Кончис, глядя на меня,— что для решения первоначальной задачи он подходил идеально, однако мазохистская часть его натуры извлекает удовольствие даже из теперешнего обсуждения его психических уродств. Убежден, что дальнейшее внимание к объекту для него пагубно, а для нас бесполезно.

Старичок оборотился ко мне:

— Под наркозом вы признали, что до сих пор питаете к доктору Максвелл нежные чувства. Некоторых из нас беспокоило, не окажет ли утрата молодой австралийки, в каковой утрате вы, смею заверить, подсознательно вините себя и только себя самого, а затем еще и потеря вымышленной подруги, осознаваемой вами как «Жюли», нежелательного воздействия на вас. Я имею в виду вероятное самоубийство. Наш прогноз таков: склонность к аутоэротизму настолько прочно в вас укоренилась, что попытки самоубийства, кроме разве чисто истероидных, исключаются. А с истерией вы способны сладить самостоятельно.

Я издевательски склонил голову. Достоинство, сохраняй хоть видимость достоинства.

— А теперь... никто не хочет что-нибудь добавить? — По очереди оглядел сидящих за столом. Все они замотали головами.— Очень хорошо. Мы подошли к финалу эксперимента.— Знаком попросил «членов президиума» встать; те повиновались. «Зрители» остались сидеть. Повернулся ко мне: — Мы не утаили свое истинное мнение о вас; и коль скоро присутствуем в суде, тем самым дали показания против себя. Вы же, еще раз напоминаю,— судья, и настал срок вынесения приговора. Прежде всего мы озаботились поисками *фармакоса*. Козы отпущения.

Он повернул голову влево. Лилия сняла очки, вышла из-за стола, приблизилась к нижней ступени подиума и стала прямо напротив меня, глядя себе под ноги; белое шерстяное платье кающейся грешницы. В этот миг я по глупости своей представил, что меня ожидает какой-нибудь сказочный извив: шутовская свадьба, нелепо благополучный конец... и занялся мрачными прикидками, как поступить, коли они на такой извив осмелятся.

— Она в вашей власти, но вы не можете делать с ней все, что вам заблагорассудится, ибо врачебный кодекс чести, которому мы подчиняемся,

предусматривает особую, весьма специфическую кару за истощение в испытуемом всякой способности к снисхождению — а в этом-то преступлении мы и повинны.— И бросил застывшему у высоких дверей Адаму: — Подготовьте аппарат.

Адам выкрикнул какую-то фразу. Сидевшие за столом сместились к краю; сбились кучкой, повернувшись лицом к «студентам», старичок — впереди всех. В зал вошли четверо в черных спецовках. Сдвинули вбок портшез-катафалк и два средних стула, освобождая место в центре. Еще один стул поставили ближе ко мне, рядом с Лилией. Затем двое служителей ненадолго вышли в коридор и вернулись, таща тяжелую деревянную раму вроде дверной, с железными скобами на нижних углах. На высоте шести-семи футов к верхней перекладине крепились два металлических браслета. Раму поставили на полпути от дверей к трону; Лилия повернулась и направилась туда. Подойдя вплотную, остановилась, подняла руки. Адам защелкнул браслеты на ее запястьях, распялив девушку на раме, спиной ко мне. Натянул ей на голову шлем из плотной кожи с висячим клапаном-протектором, защищающим шею сзади.

Передо мной была стойка для бичуемых.

Адам скрылся; через две секунды появился вновь.

Сперва я не рассмотрел, что за вещь он мне несет, разматывая, раскручивая на ходу. А когда рассмотрел — догадался, в какую безумную игру хотят со мной сыграть напоследок.

Связка длинных, усеянных узелками ремней на жесткой черной рукоятке. Адам распутал те, что перехлестнулись косичкой, положил эту мерзость на стол рукояткой ко мне. Снова приблизился к Лилии — последовательность движений скрупулезно рассчитана — и до пояса расстегнул молнию на платье. Не удовлетворившись этим, разъял застежку лифчика, аккуратно оголил торс, выставив на всеобщее обозрение нагую девичью спину. Я разглядел на коже красноватые полоски — следы бретелек.

Итак, мне назначена роль Эвменид, неистовых Фурий.

Ладони покрылись испариной. Меня в очередной раз тыкали мордой в лужу Иного. С Кончисом всегда так: кажется, что спустился на самое дно, ан отыскивается лазейка, ведущая еще глубже.

Старичок, похожий на Смэтса, опять выступил вперед, подошел к помосту.

— Вот коза отпущения, а вот орудие экзекуции. Вы теперь судья и палач в одном лице. Нам претит идея бессмысленных страданий; впрочем, обдумывая все случившееся, вы могли бы и сами это сообразить. Но у нас нет разногласий в вопросе о том, что на некой стадии эксперимента вам, испытуемому, должна быть предоставлена полная свобода выбора: причинить нам ответную боль, боль, сама мысль о которой повергает нас в трепет, или же не причинять. Для этой цели мы выбрали доктора Максвелл, так как она удачнее всего олицетворяет урон, который мы вам нанесли. А теперь, будьте добры, по примеру римских императоров укажите большим пальцем правой руки вверх или вниз. Если вы укажете вниз, с вас снимут оковы, дабы вы могли без помех осуществить наказание, осуществить сколь захочется безжалостно и сурово, не выходя, однако, за пределы десяти ударов. Сего с лихвой достанет казнимой, чтоб претерпеть нечеловеческие муки и на всю жизнь остаться калекою. Если же вы укажете большим пальцем вверх, в знак помилования, то после короткой процедуры окончательной дезинтоксикации расстанетесь с нами навсегда. Расстанетесь и в том случае, если укажете вниз, каковой жест явится свидетельством того, что проводить дальнейшую дезинтоксикацию излишне. Об одном прошу вас теперь: серьезно обдумайте свой выбор, обдумайте со всей возможной серьезностью.

По чьему-то невидимому знаку студенты поднялись с мест. Взоры присутствующих скрестились на мне. Выбор и впрямь надо обмозговать как следует: долго ж они будут вспоминать меня, вспоминать, как во мне ошибались. Ведь судья-то я лишь по названию. Любой судья и сам рано или поздно становится подсудимым; приговор ему выносят вынесенные им приговоры.

Дураку ясно: альтернатива, предложенная мне, абсурдна. Все устроено так, чтоб экзекуция не состоялась. Единственным возмездием, которого я жаждал, были слезы ее раскаяния, а вовсе не слезы боли. Да и поверни я палец вниз, они уж найдут способ остановить меня. Вся ситуация, с ее бесцельно-садистским подтекстом,— ловушка; иллюзорная дилемма. Я до сих пор — несмотря на жгучую обиду и унижение (еще бы, выставили на позорище в каком-то лабазе),— до сих пор испытывал не желание всех простить, нет, и тем более не благодарность, но рецидивы давнего своего недоверчивого восторга: неужто все это наворочено ради меня одного?

Не без колебаний, поразмыслив, удостоверившись, что ничья чужая воля мною не управляет и выбор мой свободен, я указал большим пальцем вниз.

Старичок, окинув меня долгим взглядом, сделал знак стражникам и вновь присоединился к своим коллегам. Наручники спали с моих запястий. Я встал с трона, растер кисти рук, содрал с лица кляп. Пластырь намертво приклеился к щетине на щеках, и я, как последний болван, скривился от боли. Охранники замерли как неживые. Я помассировал кожу вокруг рта, оглянулся по сторонам.

Молчание. Ждете, когда я заговорю? Ждите, ждите.

Я сошел по деревянным ступенькам и взял со стола плеть. Не удивился бы, окажись она бутафорской. Но плечо ощутило нежданную тяжесть. Рукоятка деревянная, обтянутая складчатой кожей, с шишаком на конце. Ремешки потертые, узлы крепкие, как свинец. Вещь, похоже, старинная, из арсенала английского военного флота периода наполеоновских войн. Прежде чем дотронуться до нее, я прикинул, что будет дальше. Самое простое в их теперешнем положении — обесточить прожекторы; тогда без потасовки не обойтись. Бежать невозможно: дверь охраняют Адам и четыре служителя.

Ни секунды не медля, я взмахнул плетью и ударил ею по столу. Леденящий свист. Ремни хлобыстнули по сосновой столешнице с ружейным грохотом. Пара студентиков так и подскочила. Одна из них, девушка, закрыла лицо ладонями. Но никто и шага ко мне не сделал. Я направился туда, где висела Лилия. Добраться до нее я не надеялся.

Но добрался. Зрители стояли как вкопанные; и вот, негаданно — Лилия на расстоянии вытянутой плети, а ближайший «психолог» в тридцати футах от нас. Я покачался на месте, якобы выверяя дистанцию — левая нога выброшена вперед,— развернул туловище для удара. Даже махнул этой дьявольской игрушкой, как бы понарошку; кончики ремней чиркнули по голым лопаткам. Лица Лилии из-под кожаной каски не было видно. Я взметнул рукоятку, перекинул плеть за спину, еще миг — и многохвостый арапник со всей силой вопьется в нежную кожу. Ну, что ж никто не вопит от ужаса, не мчится сдержать мой замах? Ни шороха; и я, и они — мы понимаем: вовремя не поспеть. Только выстрелом остановишь. Я обернулся, ища глазами нацеленное на меня дуло. Одиннадцать «психологов», охранники, «студенты» стоят недвижимы.

Я опять повернулся к Лилии. Демон, знакомый по книгам, злонравный маркиз, шепнул мне на ухо: ударь, ударь, взгляни, как зазмеится по белизне кожи багровая волглость; и не затем даже, чтоб уязвить ее плоть, но затем, чтоб уязвить их душу, вчуже явить все их безрассудство, и в первую голову — безрассудство, с каким ей позволили так рисковать. Ну-ка, что говорил о ней «Антон»? «Очень смелая». Ха, они целиком полагаются на мою добродетель, тупую английскую добродетель; мы-де можем как угодно мытарить его, клеймами, клеймами жечь его самолюбье — а он будет держать плеть над головой хоть сотню тысяч лет и никогда, никогда не хлестнет по живой. И вот я опустил плеть, медленно, будто все никак не примерюсь, и снова занес. Неужто Кончис опять погрузил меня в транс, повелел: «Не бей!»? — нет, мне и вправду дано было выбрать свободно. Захоти я ударить — ударил бы.

И тогда.

И тогда я понял.

Я стою не в подземном резервуаре с плеткой в руке; но на залитой солнцем площадке, сжимая немецкий автомат; десяти лет как не было. А роль Виммеля не Кончис на себя принял. Виммель — во мне самом, в моей затекшей, занесенной руке, во всем, что со мною сталось; и больше всего Виммеля в том, что я сотворил с Алисон.

Чем глубже вы осознаете свободу, тем меньше ею обладаете.

Что ж, значит, и моя свобода, и моя — это свобода удержать удар, какой бы ценой ни пришлось расплачиваться, какие бы восемьдесят моих «я» ни отдали жизни за одно-единственное, что бы ни думали обо мне те, кто созерцает и ждет; пусть со стороны покажется, что они рассчитали верно, что я простил им, что я, губошлеп, обратился в их веру. Я опустил плеть. Глаза защипало — слезы гнева, слезы бессилия.

На все свои ухищрения Кончис пускался ради этой вот минуты, на все свои головоломки — оккультные, театральные, сексуальные, психологические; ради того, чтоб оставить меня здесь, одного, как его когда-то оставили перед мятежником, из которого и надо бы, да нельзя вышибить мозги; ради того, чтоб я проник в неведомый способ взысканья забытых долгов, чтоб познал валюту их выплат, неведомую валюту.

Одиннадцатеро плечом к плечу у стены; столпились вокруг портшеза, будто заслоняя его телами. Вот и Джун, милосердно отводящая взгляд. Я знаю: она-то страшится; она-то, в отличие от остальных, во мне не уверена.

Лилейная кожа.

Я зашагал к ним, зашагал к Кончису. «Антон», стоявший рядом, едва приметно подался вперед. Ага, привстал на цыпочки, готовясь к прыжку. Да и Джо смотрит чистым ястребом. Я остановился перед Кончисом и протянул ему плеть, держа ее за набалдашник. Он принял ее не глядя: глаза в упор устремлены на меня. Мы долго, долго смотрели друг на друга; привычный немигающий взор примата.

Он ждал: я что-то скажу; произнесу хоть слово. Но я не хотел. Не мог.

Лица тех, кто сгрудился у стены. Я знал, они всего лишь актеры и актрисы, но знал и то, что никакому лицедею, сколь бы он ни был даровит, не сыграть некоторые людские качества — например, духовность, опытность, душевную отвагу — без помощи слов; а в одиннадцатерых все это присутствовало. И потом, в таком представлении не станешь участвовать просто ради заработка, сколько бы Кончис ни посулил. На миг всех нас объединил безвидный обруч взаимопонимания и невольного уважения; впрочем, с их стороны это могла быть всего-навсего признательность за то, что я повел себя именно так, как они втайне планировали, за то, что, пройдя сквозь бесчисленные мóроки и унижения, я остался-таки невредим; с моей же — смутное чувство принадлежности к кругу немногих, к глубинному знанию, что опечатывает уста спасительной немотой. Стоя пред их очами, ощущая биение одиннадцати молчаний, трепет лиц, не дружественных, но и не враждебных, лиц, недосягаемых для ненависти, родных, чуждых, уклончивых, будто лики магов, протягивающих младенцу дары, на фламандском полотне, я как бы съеживался, укорачивался; так съеживаешься в присутствии высокого искусства, высокой истины, осознавая собственные значимость и масштаб, собственные малость, узость, немочь.

Все это я прочел в глазах Кончиса; да, элефтерия восторжествовала, но не только она. Что еще — мне, единственному из бывших в зале, постигнуть не дано. В поисках ответа я вновь впился взглядом в Кончиса; однако зрачки его зияли полночной чернотой. Потоки слов дрожали на моем языке, в моем сердце; и умирали невысказанными.

Ни слова в ответ, ни жеста.

Втуне; я метнулся к своему «престолу».

Вот покидают зал «студенты», вот снимают с рамы Лилию. Джун помогла ей натянуть платье, отвела к «психологам». Раму убрали. Теперь в помещении осталось тринадцать человек, включая меня. Стоявшие у стены слаженно, как хористы Софокла, склонили головы в поклоне, цепочкой потянулись к двери.

У арочного проема мужчины замешкались, пропуская дам вперед. Лилия скрылась в коридоре первой. Но когда из зала вышел последний мужчина, вернулась, ненадолго замерла на пороге, подставив моему взгляду неподвижное, неблагодарное лицо, ни намеком не указав ни на одну из десятков причин, по которым ей вздумалось бросить на меня этот финальный взор; или ощутить на себе мой, прощальный?

62

Три охранника, конвоировавших меня в зал, не двигались с места. Прошла минута, другая. Адам протянул мне сигарету. Я закурил, раздираемый бешенством и облегчением, досадой, что не успел обварить их самих и их промысел лавиной попреков, и удовлетворением, что избрал единственно достойную линию поведения. Не успел я сделать последнюю затяжку, как Адам взглянул на часы и обратился ко мне:

— А теперь...

Указал на наручники, свисающие с опор подлокотников трона.

— Эй, слушайте! С меня хватит. Не надо этого больше.— Я вскочил, но меня придержали за руки. Я с шумом втянул в себя воздух.

— Битте,— поморщился Адам.

И вот мои запястья вновь прикованы к запястьям тюремщиков. Адам подступил ко мне с кляпом в руке. Это уж слишком. Я заворочался, но сразу получил толчок в грудь и с размаху уселся на трон; поневоле пришлось подчиниться. Он завязал тесемки у меня на затылке, но приклеивать кляп пластырем на сей раз не стал. На голову мне надели мешок и куда-то повели. За высокой дверью свернули не налево, а направо — в сторону, противоположную той, откуда пришли. Шагов через двадцать-тридцать спустились по лестнице из пяти ступенек и, судя по всему, оказались в соседнем зале (резервуаре?).

Меня дернули назад; скрежетнули наручники. Потом левая рука взлетела вертикально вверх, раздался щелчок, и я похолодел от сознания, что меня пристегивают к стойке для бичуемых. Рванулся изо всех сил, замолотил локтями и коленями, вцепился в того охранника, который пока не успел отомкнуть замок своего браслета. При желании им ничего не стоило избить меня до полусмерти. Их трое, у меня на голове мешок — перевес абсолютный. Но им, должно быть, приказали обойтись со мной как можно мягче. Улучив момент, они вывернули мне и вторую руку, защелкнули на запястье браслет. И сняли мешок.

Узкая длинная комната — очередной резервуар, только потолок пониже; в длину восемьдесят футов, в ширину — около двадцати. Точно посередине — белый экран вроде того, каким недавно пользовались в Бурани. За ним, в некотором отдалении — черный раздвижной занавес, наглухо скрывающий противоположный конец зала. Над верхним краем полотна смутно виднеется дальняя стенка: ну просто копия часовни на Муце, занавес — иконостас. Рама, к которой я прикован, стоит вплотную к стене, но кольца сдвинуты вперед, чтоб лишить меня всякой опоры. Чуть впереди и справа — портативный кинопроектор, заправленный шестнадцатимиллиметровой пленкой. Единственный источник освещения — открытая дверь в левой стене, через которую мы вошли.

Троица чернорубашечников зря времени не теряла. Они включили проектор, проверили, правильно ли заряжена пленка, запустили мотор. В кадре появился черный круг на белом фоне — эмблема киностудии? Один из охранников подкрутил резкость. Адам отошел назад, стал напротив меня — так, чтоб я до него не дотянулся,— и произнес:

— Заключительная дезинтоксикация.

Итак, меня вынудили «проявить снисхождение», дабы подвергнуть последнему унижению: порке — если не в буквальном смысле, то в переносном.

Выходит, я еще не достиг самого дна.

Но достигну: порукой тому — стрекочущий проектор, задернутый до урочной минуты занавес. Эмблема на экране поблекла, уступив место надписи:

«ПОЛИМ ФИЛМЗ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

И после паузы:

ГОРЬКАЯ ПРАВДА

Черный круг. Титр:

С УЧАСТИЕМ
ЛЕГЕНДАРНОЙ ШЛЮХИ
ИО

Пауза.

СНИМАВШЕЙСЯ В РОЛЯХ
ИЗИДЫ
АСТАРТЫ
КАЛИ

Длинная пауза.

НЕОТРАЗИМОЙ
ЛИЛИИ МОНТГОМЕРИ

Мимолетная сценка: Лилия опускается на колени перед лежащим мужчиной. Я не сразу сообразил, что мужчина — я сам. Кто-то, скорей всего Кончис, заснял нас с помощью дальнобойной насадки, когда Лилия декламировала монолог из «Бури». Помнится, она даже предупреждала, что такая насадка у него имеется.

БЕСКОНЕЧНО ЖЕЛАННОЙ
ЖЮЛИ ХОЛМС

Еще эпизод: мы целуемся, озаренные прямым солнцем. Чуть погодя, у статуи Посейдона.

И ОТВАЖНОГО УЧЕНОГО
ВАНЕССЫ МАКСВЕЛЛ

На сей раз — фотография. Она за столом, за лабораторным столом, заваленным бумагами. Пробирки в штативе. Микроскоп. Вторая мадам Кюри.

А НЫНЕ ЗАНЯТОЙ В РОЛИ

Снова мелькнул черный круг.

САМОЙ СЕБЯ!

Надпись исчезла.

Наплыв: Джо в маске шакала, бегущий вдоль колеи по направлению к вилле; демон, явившийся средь бела дня; он нажал на объектив — затемнение.

А ТАКЖЕ С УЧАСТИЕМ
ГРОЗЫ МИССИСИПИ

Пауза.

ДЖО ГАРРИСОНА

Черный круг.

В РОЛИ САМОГО СЕБЯ

Титр в аляповатой рамочке:

Развратная барынька
леди Джейн
в гостиничном номере.

Мне показывают крутое порно.

Фильм начался: богато обставленная, вся в оборочках, эдвардианская опочивальня. Появилась Лилия в пеньюаре, с распущенными волосами. В разрезе пеньюара виднеется идиотский черный корсет. Оперлась на спинку стула, поправляя чулок; ужимка старая как мир; правда, кроме ноги выше колена, крупный план позволял различить и шрам на запястье. Припрыгнув, обернулась к двери, что-то крикнула. Вошел рассыльный с подносом. Лилия взяла с подноса письмо, рассыльный откланялся. Следующий кадр: вскрывает конверт, кривится, отбрасывает прочь. В объективе лежащее на полу письмо.

Пленка пузырчатая и неровная, изображение то и дело плывет, как в старом немом кино. На экране замигал очередной титр в рамочке:

...теперь, когда я узнал всю правду
о твоих развратных наклонностях,
между нами все кончено. Твой —
увы! — пока еще супруг,
оскорбленный... лорд де Вир!

Новый кадр. Лилия в постели, камера прямо над ней. Пеньюара и след простыл. Корсет, сетчатые чулки. Сквозь толстый слой туши и румян видно, что Лилия пыжится изобразить роковую женщину в расстроенных чувствах, но именно что только пыжится: подобно большинству порнографических лент, и эта — скорее всего, не без умысла — балансировала на грани пародии.

Что ж, все закончится шуткой? Дурной шуткой?

Изнемогая от страсти, она дожидается своего черного как ночь соучастника в смертном грехе.

Тот же ракурс. Порывисто приподнялась на латунной кровати, какие стоят во всех французских борделях: кто-то вошел.

Появляется Черный Бык, исполнитель куплетов.

На экране открытая дверь. В дверном проеме — Джо в до смешного узких брючках и блузе со свободными рукавами. Больше похож на увальня с негритянской скотобойни, нежели на быка. Закрывает дверь; пламенеющий взгляд.

Слов им не требуется.

Картина явно обретала пакостный крен. Лилия со всех ног бросилась к вошедшему. Он шагнул ей навстречу, схватил за руки, и они слились в страстном поцелуе. Он оттеснил ее к кровати, и они упали поперек перины. Она взгромоздилась сверху, покрывая лобзаниями его лицо и шею.

Черномазый жеребец
и белая женщина.

Лилия в черном белье стоит у стены, раскинув руки. Джо опускается на колени, голый по пояс, запускает обе руки в вырез корсета. Она прижимает его лицо к своему животу.

Ради него она пожертвовала любящим мужем, прелестными детьми, друзьями, родственниками, верой в Бога — всем, всем.

Пятисекундный экскурс в сферу фетишизма. Он растянулся на полу. Крупным планом — голая нога в черной туфельке с острым каблуком, попирающая его живот. Он нежно поглаживает туфлю. Дело нечисто. С тем же успехом это может быть нога белой дублерши; руки чернокожего дублера.

Похоть неудержима.

Общий план: он прижался к стене, она приникла к нему, елозя по телу губами. Его рука скользит по ее спине, начинает расстегивать корсет. Стройная нагая спина под черными ладонями. Наезд; камера рывком опускается. В кадр назойливо вползают черные пальцы. Джо, очевидно, уже совершенно наг, но белое женское тело заслоняет срам. Лицо мужчины иногда попадает в объектив, но качество пленки таково, что я не уверен, точно ли это Джо. А партнерша его упорно отворачивается от камеры.

Бесстыдство.

Шок мой понемногу сменялся скепсисом. Серия коротких эпизодов. Белые груди, черные ягодицы; нагая парочка в постели. Но расстояние, с которого велась съемка, не позволяет опознать участников. Светлые волосы женщины вроде светлей, чем полагалось бы, светлей и ярче: будто парик.

А пока разгорается бесовская вакханалия, за стеной идет обычная жизнь.

Общий план улицы, снятый в каком-то незнакомом городе, по виду — американском. Тротуары забиты прохожими: час пик. Этот фрагмент явно вырезан из другого, профессионального, фильма: качество пленки резко улучшилось. «Порнуха» после этого — по контрасту — стала казаться еще более лежалой и беспомощной.

Запретные ласки.

Белая рука, непонятно чья, поглаживает черный фаллос, непонятно чей: ничего «запретного», незамысловатый постельный прием. Вся запретность исчерпывается тем, что любовники разрешают себя снимать. Но на правом запястье, движущемся в рамке кадра, нет никакого шрама; и хотя пальцы пляшут по чужой коже будто по клапанам флейты, принадлежат они, бьюсь об заклад, не Лилии.

Соблазн.

Вот наконец кадр пооткровенней: голая девушка в постели, камера вровень с ней. Лица опять не видно, голова повернута к стене. Нетерпеливо повернута: негритос, чья расплывчатая задница застит три четверти обзора, вот-вот должен ею овладеть.

Тем временем.

Внезапно стилистика фильма переменилась. Следующий эпизод снимался прямо с рук, другой камерой и в другом интерьере. Двое за столиком людного кафе. Острая боль, вспышка яростной горечи: то были мы с Алисон, в Пирее, в вечер ее прилета. Затемнение, новая сцена; стойте-ка, а это где? Алисон спускается по крутой деревенской улочке, я иду в двух шагах позади. Вид у обоих измученный; и хотя лиц издалека не видно, сама дистанция между нами, сама наша походка говорят, до чего мы расстроены. Наконец я узнал деревню: Арахова, мы только что спустились с Парнаса. Оператор, похоже, затаился в каком-нибудь домике и снимал нас из-за полуоткрытой ставни: край кадра затемнен перекладиной. Ни дать ни взять тот военный ролик с полковником Виммелем. Итак, понял я, за нами следовали по пятам, наблюдали, снимали. На голых вершинах Парнаса — вряд ли, но вот в лесу... я вспомнил озеро, прикосновение лучей к нагим лопаткам, Алисон, лежащую рядом со мной. Неужто и эти мгновения не укрылись от чужих глаз? Какая чудовищная скверна!

Эта мысль сорвала покров, содрала кожу с давнего счастья: они знали, знали о нем.

Затемнение. Очередной титр:

Соитие.

Но тут замелькали какие-то цифры, разрывы: ролик закончился. По корпусу проектора суматошно захлопал раккорд. Пустой прямоугольник экрана. Кто-то, стоявший за дверью, подбежал, выключил мотор. Я презрительно хмыкнул; так я и думал, что у них духу не хватит снять по-настоящему жесткое порно. Однако вбежавший — в слабом свете, падающем из дверного проема, я разглядел, что это снова Адам,— подошел к экрану, оттащил его к стене... и я опять остался в зале один. Секунд тридцать царила полная темнота. Затем занавес осветился с изнанки.

Половинки его поползли в стороны — поверху была пропущена бечевка, как заведено на рождественских утренниках. Те, кто тянул, бросили свое занятие, не доведя его до конца, но и сделанного оказалось более чем достаточно, чтобы исключить всякое сравнение с утренником. С потолка свисала лампа с непроницаемым абажуром, и свет ее пологим уютным конусом падал на «сцену».

Приземистая кушетка, застланная пушистым золотисто-коричневым ковром — наверное, персидским. На нем вытянулась Лилия, абсолютно голая. Я не стал искать глазами шрам, я и без того понял, что это она: у сестры загар погуще. Опираясь на подушки — темно-золотые, янтарные, розоватые, буро-зеленые,— горкой взбитые у золоченой, резной, узорчатой спинки дивана, она лежала предо мной, в точности повторяя позу гойевской «Махи обнаженной». Руки закинуты за голову, все напоказ. Не на продажу — напоказ, будто ценнейший сакральный экспонат. Дразнящее лоно подмышки. Сердоликовые сосцы на медовой коже: мни нас, кусай. Ниспадающие изгибы бедер, лодыжек, босых ступней. И застывший, настильный взор, высокомерно устремленный в сумрак у дальней стены, в сумрак, окутывающий дыбу.

На каменном заднике изображен ряд тонких черных колонн. Сперва я решил, что они символизируют Бурани; но там арки пошире, да и попроще — не то что эти, стрельчатые, мавританские. Гойя, Гойя... Альгамбра? Присмотревшись, я заметил, что пол комнаты имеет уступ, точно в римских термах, и оттого кажется, что у дивана отпилены ножки. Занавес повешен как раз над ступеньками вниз.

Стройная фигурка недвижно покоилась в омуте рыже-зеленого света, словно персонаж старинной картины. Лилия позировала так долго, что мне стало казаться: это и есть апофеоз; оживший холст, нагая загадка, недоступная красота.

Текли минуты. Кокон тайны все плотней обволакивал нежное тело. Мнится, я различаю даже неприметное движение ребер на вдохе и выдохе... нет, всего лишь мнится. Да это не Лилия, а мастерски сработанный из воска муляж Лилии!

Но тут она пошевелилась.

Повернула голову в профиль, грациозно-милостиво вытянула правую руку — классический жест мадам Рекамье,— делая знак тем, кто зажег верхний свет и приоткрыл занавес. На сцену выступило новое действующее лицо.

Выступил Джо.

В балахоне, не отмеченном принадлежностью к конкретной эпохе, белоснежном, обильно изукрашенном золотым шитьем. Замер за спинкой дивана. Древний Рим? Императрица и раб? Покосился на меня — точнее, в мою сторону,— нет, на раба не похож. Слишком уж величествен, сумрачно-сановен. И зал, и сцена, и женщина — все здесь принадлежит ему. Опустил на нее глаза, а она посмотрела вверх, в его лицо, с беспредельным обожанием; лебединая шея. Он взял ее протянутую руку в свою.

И вдруг я догадался, *кого* они играют; и кого выпало играть мне; и как логичен этот расклад. Да, мне выпало... Я должен, должен освободиться от кляпа; я стал грызть его, широко разевать рот, тереться лицом о предплечья. Нет, тесемки слишком крепки.

Негр, мавр, опустился на колени, приник губами к ее ключице. Тонкая белая рука плотно охватила темную голову. Долгая, долгая неподвижность. Затем она откинулась назад. Любуясь ею, он медленно провел ладонью от основания шеи к низу живота. Точно щупая штуку шелка. Покорную, податливую. Неспешно выпрямился, потянулся к плечу, к застежке тоги.

Я зажмурился.

Правды не существует; все позволено.

Кончис: *Его роль еще не завершена.*

И я снова открыл глаза.

В увиденном не было ничего порочного или двусмысленного; просто влюбленные, занятые любовью; самозабвенно, точно боксеры на тренировочном ринге или акробаты на подмостках. Однако я не заметил ни акробатических трюков, ни бойцовского куража. Они вели себя так, как если б задались целью доказать, что недавний фильм с его пошлым идиотизмом не имеет ни одной точки соприкосновения с действительностью.

Порой я надолго закрывал глаза, отказываясь видеть. Но всякий раз нечто вынуждало меня, соглядатая адских отрад, поднимать голову, вынуждало смотреть. В довершение всех бед начали неметь руки. Два тела на ложе цвета львиной шкуры, светоносно-бледное и густо-темное, сплетающиеся, расплетающиеся, безразличные к моему присутствию, безразличные ко всему, кроме буквы своих неписаных прав.

Само по себе их занятие не содержало оттенка непристойности: интимное, обыденное дело; плотский ритуал, что вершится сотнями миллионов, едва на землю спускается ночь. Но я не мог и вообразить, что заставило их любить друг друга у меня на глазах; что за непостижимые доводы привел Кончис, дабы их уломать; что за доводы приводили они сами себе, прежде чем решиться на это. И если до сих пор мне казалось, что я обгоняю Лилию на гаревой дорожке опыта, то теперь она ровно на столько же обгоняла меня; где и когда она успела выучиться лгать с помощью жеста столь же виртуозно, как другие лгут с помощью слова? Или для нее, чающей высших степеней сексуальной раскрепощенности, это шоу — этап самосовершенствования, куда более необходимый, чем необходимо оно для меня в качестве заключительного, чисто профилактического этапа «дезинтоксикации»?

Все, что я вынес из длительной практики общения с женщинами, меркло, мутилось, затягивалось таинством, подергивалось обманным илом, зигзагами глубинных струй, будто все дальше, дальше погружаясь на дно, уходя из верхних, пронизанных солнцем слоев.

Пологий пролет черной спины, плотно прижатые бедра. Разомкнутые белые коленки. Страшный, хозяйский, пульсирующий меж кротких девичьих ног ритм. По неясной ассоциации я вспомнил ночь, когда она изображала Артемиду [1]; вспомнил неестественную белизну Аполлоновой кожи. Тусклый блеск золотого венца. Мускулистую мраморную фигуру. И понял, что Аполлона и Анубиса играл один и тот же актер. К нему ушла Лилия, простившись с нами... а наутро ждала на пляже девственницей, девчонкой. Часовня. Пляшет на бечеве черная кукла, злорадно скалится череп. Артемида, Астарта, богиня лжи и измен.

Он беззвучно справил обряд оргазма.

Два тела покойно распростерлись на брачном алтаре. Его затылок касается ее щеки, лицо уткнулось в спинку дивана, а ладони, ладони ее оглаживают его плечи, его спину. Я попробовал выкрутить ноющие запястья из железных браслетов или хотя бы повалить раму вперед. Но выяснилось, что та крепится к стене специальными кронштейнами, а браслеты жестко, шурупами, зафиксированы на верхней перекладине.

После невыносимо долгой паузы он поднялся с ложа, стал на колени, почти небрежно чмокнул ее в плечо и, захватив свой балахон, важно проследовал за пределы светового конуса. Она еще полежала в тесном ущелье диванных подушек, потом оперлась на локоть левой руки и приняла первоначальную позу. Отыскала меня взглядом. Ни враждебности, ни раскаянья, ни превосходства, ни ненависти; так Дездемона смотрела на Венецию, прощаясь с ней навсегда.

Смотрела на ошеломленный, смутой охваченный город. Шестой, несуществующий акт «Отелло»: коварный Яго искупает свои грехи. Яго прикован к стене пекла. Это я превратился в Яго, оставшись притом Венецией, покидаемым краем, начальной точкой дальнего пути.

Портьеры неспешно поползли навстречу друг другу. Я остался там, откуда пришел,— во тьме. Свет потух даже в коридоре. Голова моя пошла кругом: может, почудилось? Может, меня вынудили галлюцинировать? И не было ни суда, ни всего остального? Но нестерпимая боль в руках удостоверила: было.

И эта же боль, элементарное физическое страдание, привела мои мысли в порядок. Я был Яго; но при этом я был распят. Распятый Яго. Распятый тою, кто... и вереница обликов Лилии мгновенно выстроилась перед внутренним взором, мелькнула предо мной, словно череда менад, изгоняющих беса былой моей слепоты. Вдруг все маски исчезли, мне открылось ее настоящее имя. Открылся смысл шекспировской аллюзии. Смысл характера Яго. Слой за слоем; вниз, вниз. Мне открылось ее настоящее имя. Я не простил ее, даже возненавидел сильнее.

Но ее настоящее имя открылось мне.

Кто-то вошел в зал. Кончис. Приблизился к раме и стал напротив меня. Я закрыл глаза. Боль, дикая боль в предплечьях.

Зарычал, застонал из-под кляпа. Сам не знаю, что должен был означать этот стон: что мне больно? что я растерзаю Кончиса в клочья, попадись он мне только под руку?

— Я пришел сообщить: вот вы и призваны.

Я бешено замотал головой.

— Это уже не зависит от ваших хотений.

Я опять замотал головой, но без особой прыти.

Он не отрывал от меня глаз, и глаза были старше любых человечьих сроков; на лицо набежала тень состраданья, точно он задним числом пожалел, что навалился всем телом на хлипкий рычаг, подвластный единому мановению пальца.

[1] Воспоминания Николаса путаются; как помнит читатель (гл. 29), Артемиду изображала вовсе не Лилия.

— Учитесь улыбаться, Николас. Учитесь улыбаться.

До меня дошло, что под словом «улыбка» мы с ним разумеем вещи прямо противоположные; что сарказм, меланхолия, жестокость, всегда сквозившие в его усмешках, сквозили в них по умыслу; что для него улыбка по сути своей безжалостна, ибо безжалостна свобода, та свобода, по законам коей мы взваливаем на себя львиную долю вины за то, кем стали. Так что улыбка — вовсе не способ проявить свое *отношение* к миру, но *средоточие* жестокости мира, жестокости, для нас неизбежной, ибо эта жестокость и существование — разные имена одного и того же. Формула «Учитесь улыбаться» в его устах звучала куда многозначней, нежели Смайлзово улыбчивое «Смейся и стой на своем» [1]. Учитесь быть безжалостным, похоже, подразумевал Кончис, учитесь горечи, учитесь выживать.

Подразумевал: пьеса всегда одна, и роль одна. Пьеса «Отелло». Быть — это *быть Яго,* другого не дано.

Отвесив мне формальнейший из поклонов, исполненный насмешки и презрения, что притворялось преувеличенной учтивостью, он удалился.

Едва он ступил за порог, в комнате появились Антон, Адам и остальные чернорубашечники. Отомкнув браслеты, высвободили мне руки. Двое охранников разложили черные носилки на длинных шестах. Уложив меня, приковали к шестам наручниками. У меня не осталось сил ни сопротивляться, ни умолять о пощаде. Я лежал пластом, закрыв глаза, чтобы не видеть своих мучителей. Запах эфира, осторожный укол; на сей раз я не боролся с забытьем, на сей раз я торопил его.

63

Полуразрушенная стена. Из грубого камня, кое-где покрытого ошметками штукатурки. У подножья — куча вывалившихся из кладки булыг, пересыпанная крошевом раствора. Отдаленное звяканье козьих бубенцов. Дурманная слабость не давала мне шевельнуться, повернуть глазные яблоки, чтобы посмотреть, откуда падает на стену свет; откуда несутся звон, гул ветра, крики стрижей. В мою темницу. Я с усилием подвигал пальцами. Руки свободны. Перекатил голову на другую сторону.

Щелястая крыша. В пятнадцати футах — сломанная дверь, ослепительное солнце в проеме. Я лежу на надувном матрасе под кусачим бурым одеялом. Приподнял затылок. В ногах — мой чемодан, на крышке расставлены и разложены: термос, кулек из оберточной бумаги, сигареты, спички, черная коробочка типа футляра для драгоценностей, конверт.

Уселся, встряхнулся. Отбросив одеяло, неверным шагом по неровному полу побрел к двери. Я на вершине холма. Склон, насколько хватает глаз, усеян руинами. Сотни каменных развалин, некогда жилых, ныне в большинстве своем превратившихся в груды серого щебня; серые останки крепостной стены. Немногие постройки сохранились получше; двухэтажные каркасы, застекленные небом окна, темные прямоугольники дверей. Но невероятнее всего, что наклонное городище мертвых как бы висело высоко над землей, почти в тысяче футов от поверхности моря, обнимающего стены. Я взглянул на часы. Они еще шли; без одной минуты пять. Вскарабкавшись на ближайшую стенку, я осмотрелся. Солнце клонилось к закату, к гористому материку, чьи берега тянулись далеко на юг и на север. Похоже, я — на самом острие огромного полуострова, совершенно один, последний из выживших в средневековой Хиросиме — лишь море внизу, лишь небо над головой. Сколько ж часов — или цивилизаций? — кануло в прошлое, пока я спал?

Северный ветер пробирал до костей.

Я вернулся в помещение, перенес чемодан со всем, что на нем лежало, за порог, на прямой свет. В первую очередь — конверт. Там оказались мой паспорт, греческие купюры на сумму около десяти фунтов, листочек с тремя напечатанными на машинке фразами. «Пароход на Фраксос отходит в 23.30. Вы в Старой Монемвасии. Идите на юго-восток». Ни даты, ни

[1] Приводится максима Сэмюэла Смайлза (1812—1904), моралиста и сатирика, автора популярной книги «Как спасти самого себя».

подписи. Я отвернул крышку термоса: кофе. Наполнил колпачок до краев, единым глотком осушил; потом другой. В кульке — сандвичи. Я принялся за еду, испытывая такое же блаженство от вкуса кофе, хлеба, холодной, сдобренной душицей и лимонным соком баранины, с каким завтракал в утро суда.

Но теперь к этому блаженству прибавилось пружинистое чувство освобождения; и необъятный простор вторил мне немым эхом: спасен, спасен. За плечами приключение, что выпадает далеко не каждому; и действительно, я — не каждый, иначе не причастился бы страшной тайны, не слетал бы на Марс, не удостоился бы уникальной награды. Ведь в итоге-то я не подкачал — и понял это, кажется, еще до того, как очнулся; суд и дезинтоксикация — недобрые химеры, измышленные, дабы испытать мою вменяемость, и моя вменяемость с честью вышла из переделки. Это они, *они* потерпели крах — и финальное, самое выразительное из всех, представление, скорей всего, задумывалось как акт обоюдной епитимьи. Когда я наблюдал за ним, мне казалось, в меня воткнули кинжал по самую рукоятку и раскачивают, раскачивают, не веря, что рана смертельна; но сейчас, когда вспоминал... не была ли то их добровольная расплата за *собственное* вуайерство, собственную слежку за мной и Алисон?

Пришлось удовлетвориться этим: я *вроде бы* выиграл. Вырвался на волю, однако на иную волю, не прежнюю... *в некотором роде* сподобился благодати.

А они — они *как бы* просчитались.

Захлестываемый счастьем, я гладил теплый валун, на котором сидел, вслушивался в завыванья мелтеми, снова вдыхал воздух Греции, смаковал свое одиночество здесь, на самобытном яру, у столпов неведомого Геркулеса, которые, кстати, давно собирался посетить. Разбор, резюме, протокол откладывались на потом, как откладывались попреки школьного начальства и мое решение — оставаться на следующий семестр или уезжать. Сейчас главное — прочувствовать, что я уцелел, что я таки не сломался.

Позже я осознал всю манерность, всю нарочитость своего восторга, сгладившего и пережитые измывательства, и спекуляции на гибели Алисон, и чудовищные околичности, коим подверглась моя личность; видимо, и этот восторг мне внушил Кончис, внушил под гипнозом. Восторг обеспечивал мой душевный комфорт, как кофе и сандвичи — телесный.

Я заглянул в черную коробку. В ней, на ложе зеленого сукна, покоился револьвер, новенький «смит и вессон». Я вынул его, проверил барабан. Тупо уставился на цоколи шести патронов, на латунные кружочки с серыми свинцовыми глазками. Намек недвусмысленный. Я вытряс патрон на ладонь. Боевые. Вытянул руку с пистолетом на север, к морю, спустил курок. От грохота зазвенело в ушах; крупные бело-бурые стрижи, спирально кружившие в синеве, дико возвеселились.

Прощальная хохма Кончиса.

Взобравшись по склону ярдов на сто, я очутился на гребне холма. С севера путь преграждала куртина, возведенная в эпоху веницейского или оттоманского владычества. С этой дряхлой стены северный берег просматривался миль на десять-пятнадцать. Длинный белый пляж, в двенадцати милях — деревушка, пара беленых домиков или часовен на отшибе, а за ними — крутой горный массив, должно быть, Парнон; в ясную погоду его вершины видны и из Бурани. До Фраксоса по прямой около тридцати миль к северо-востоку. Я перевел взгляд пониже. Скальное плато обрывалось к узкой галечной полосе; там, в семистах-восьмистах футах под ногами, хмурое море нефритовой лентою кипело у пляжа, окаймляя пересеченную белыми барашками голубизну. Стоя на древнем бастионе, я послал все пять оставшихся в барабане пуль в сторону моря. Не прицеливаясь. То был торжественный салют в честь моего отказа умирать. Едва прогремел последний выстрел, я покрепче сжал рукоятку револьвера, размахнулся и, подкрутив, кинул в зенит. Пистолет достиг вершины незримой параболы, легко-легко полетел по нисходящей дуге в бездну; улегшись на самую бровку и вытянув шею, я увидел, как он шмякнулся о прибрежные скалы.

А я отправился в дорогу. Вскоре напал на хоженую тропу, миновал два засыпанных гравием резервуара, в каждый из которых вела высокая дверь. С южного края плато далеко внизу виднелся старинный укрепленный городок, лепящийся на земляном откосе между обрывом и берегом. Большинство домов нежилые, но на некоторых крыши настланы заново; и еще — восемь, девять, десять... целый выводок малюсеньких церквушек. Тропа петляла среди руин и вывела к каменному порталу, за которым начиналась нисходящая галерея. Выход из нее был перегорожен плетнем; вот почему за козами никто не приглядывает. Видно, даже они могут подняться на плато или спуститься с него одним-единственным способом. Я перемахнул через плетень и, щурясь от солнца, разглядел вымощенную вековыми плитами темно-серого базальта дорожку, по идеальной прямой бегущую под уклон, а у подножия скалы забирающую к охристо-красным крышам крепостного поселка.

Я спускался к морю по ломаной трассе улиц, меж дерев и беленых домов. Из хижины вышла старуха крестьянка с миской овощных очистков, принялась кормить кур. Похоже, вид мой был странноват: с чемоданом в руке, небритый, не здешний.

— Калиспера.

— Пьос исэ? — поинтересовалась она.— Пу пас? — Гомеровские вопросы греческого земледельца: кто ты таков? куда путь держишь?

Я англичанин, ответил я, киношник, мы фильм снимаем, эпано.

— Да что там наверху снимать-то?

Я отмахнулся, буркнул: «Что надо!» — и, не обращая внимания на ее склочные расспросы, свернул за угол. Наконец-то главная улица, захламленная, меньше шести футов в ширину, ставни либо закрыты наглухо, либо заколочены. Заметив на одном из домов вывеску, я вошел. Из темного угла явился пожилой усач, хозяин забегаловки.

По-братски разделив с ним чугунную плошку рецины и тарелку оливок, я выяснил у него все, что мне требовалось. Во-первых, проспал я целые сутки. Суд состоялся не сегодня, а вчера утром; сейчас понедельник, а не воскресенье. Мне снова впрыснули лошадиную дозу снотворного, и, конечно, не только снотворного, чтобы проникнуть в самые укромные уголки сознания. В Монемвасию не приезжали ни киношники, ни туристские группы... и вообще, уж дней десять иностранцев что-то не видать, с тех пор как уехали французский профессор и его жена. Как этот профессор выглядел? Жирнющий, по-гречески ни бе ни ме. Нет, ни вчера, ни сегодня в старый город вроде никто не поднимался. Да, Монемвасия теперь никого не интересует. А есть ли в развалинах большие подвалы с росписями на стенах? Нет и в помине. Все разрушено. Через несколько минут я миновал старые городские ворота и углубился в скалы. У кромки воды завидел два-три заброшенных причала, к которым вполне можно было пристать на шлюпке и на носилках вытащить меня на сушу. Легче легкого обогнуть жилые кварталы поселка, особенно если высаживаться ночью.

По всему Пелопоннесу разбросаны старые замки: Корони, Месини, Пилос, Корифасион, Пассава. Под каждым из них — обширное подземелье; от каждого до Монемвасии — не более дня плавания.

Шатаясь под порывами ветра, я пересек дамбу и очутился в небольшой деревушке у основания мыса, где и останавливался пароход. Зашел в таверну, с горем пополам перекусил, на кухне побрился — да вот, путешествую — и расспросил повара-подавальщика. Тот не сообщил ничего нового.

Пароходик, опоздавший из-за мелтеми, бросил якорь в полночь; он клевал носом, юзил и, как глубоководное чудище, отбрасывал жемчужно-зеленоватые, переливчатые усы-лучи. Меня и еще двоих дожидавшихся переправили к нему на лодке. Часа два я сидел в пустынном салоне, преодолевая морскую болезнь и настойчивые потуги афинского зеленщика, закупившего в Монемвасии партию помидоров, завязать со мной разговор. Он все пенял на дороговизну. В Греции любая беседа рано или поздно

сворачивает на деньги, а не на политику, как у нас, если только политика не имеет непосредственного отношения к деньгам. В конце концов морская болезнь отступила, и я проникся к зеленщику симпатией. И сам он, и окружавший его курган коробок, накрытых газетами, без остатка поддавались осмыслению и анализу; плоть от плоти мира, в который я только что вернулся, хоть и долго еще буду с пристрастием разглядывать каждого случайно встреченного здесь незнакомца.

Когда показался Фраксос, я вышел на палубу. Черный кит-остров надвигался на меня из штормовой тьмы. Я различил стрелку Бурани, но не дом на мысу — свет на вилле, конечно, не горел. Тут, на носу парохода, съежилось около десятка неимущих крестьян, обладателей посадочных билетов. Вечная загадка Других: интересно, во что обошелся Кончису его домашний спектакль; верно, раз в пятьдесят дороже, чем годовой заработок любого из этих работяг. В пятьдесят раз; пятьдесят лет трудовой человеческой жизни.

Де Дюкан. Милле. Сборщики брюквы.

Рядом со мной примостилось целое семейство: отец, лежащий на боку, с котомкою вместо подушки, два мальчугана, укрывшиеся от ветра между ним и его супругой. Все четверо — под одним худым одеялом. Жена в белом шерстяном платке, туго повязанном вокруг головы, как носили в средние века. Иосиф и Мария; рука женщины покоится на сыновьем плече. Я сунулся в карман; там еще оставалось семь или восемь дармовых фунтов. Воровато оглянувшись по сторонам, я положил эту тощую пачечку на одеяло у затылка мамаши; и бесшумно отскочил, будто совершил нечто предосудительное.

В четверть третьего я на цыпочках взошел по лестнице учительского корпуса. Моя комната прибрана, все на своих местах. Единственная перемена — стопки сочинений исчезли, а на столе лежат несколько писем.

Одно из них я вскрыл первым, ибо и предположить не мог, кому это в Италии вздумалось мне написать.

Обитель Сакро Спеко
Близ Субиако

14 июля

Уважаемый мистер Эрфе!

Мне переслали Ваше письмо. Сперва я решил не отвечать, но по зрелом размышлении мне пришло в голову, что честнее сообщить Вам: я не готов обсуждать ту тему, которую Вы хотели бы со мной обсудить. Мой отказ окончательный.

Буду безмерно признателен, если Вы не станете возобновлять попытки связаться со мной.

Искренне Ваш
Джон Леверье.

Почерк предельно аккуратный и четкий, хотя местами читается с трудом; почерк раздосадованного педанта — если только и это не подделка. Похоже, он решил немного отдохнуть от мирской суеты — иссохший молодой католик, какие заполонили Оксфорд под конец моей учебы, шастали повсюду на тоненьких ножках да чирикали что-то насчет монсеньора Нокса и Фарм-стрит.

Следующее письмо — из Лондона, от дамы, выдающей себя за школьную директрису, на безупречно сфабрикованном бланке.

Мисс Жюли Холмс

Мисс Холмс работала у нас всего лишь год, преподавая в младших классах классические языки, а также английский и закон Божий. Проявила задатки талантливого педагога, исполнительность и интеллект. Среди учениц пользовалась авторитетом.

Увольняясь, объяснила, что хочет стать киноактрисой. Я рада слышать о ее возвращении на педагогическую стезю.

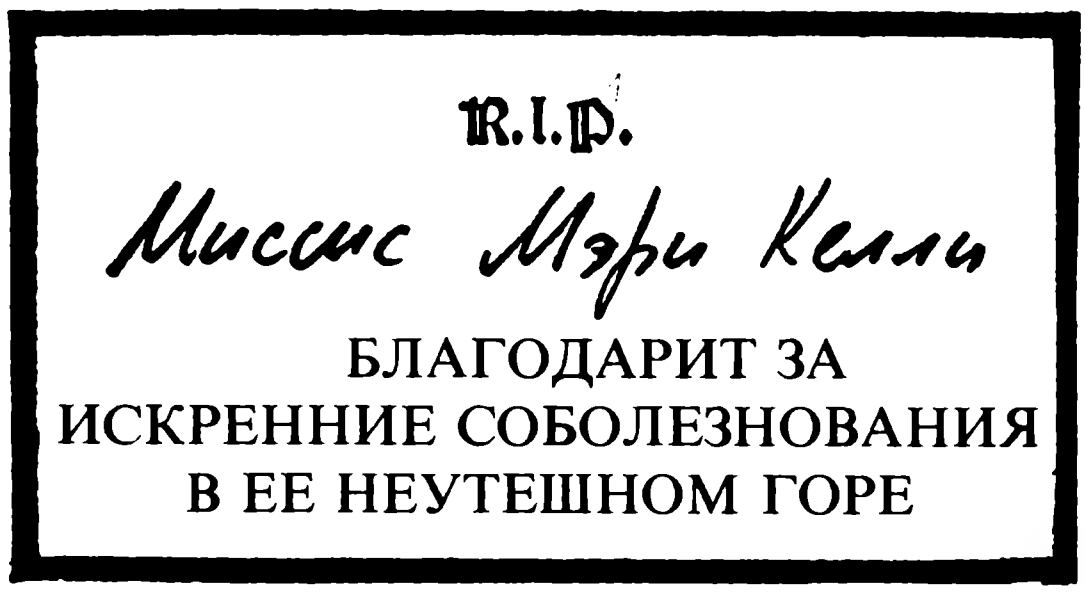
Должна прибавить, что мисс Холмс весьма удачно подготовила традиционный школьный спектакль и руководила кружком молодых христианок.

Рекомендации — самые лестные.

Животики надорвешь.

Затем я вскрыл второе письмо из Лондона. Из конверта выпало мое послание в труппу «Тависток». Какой-то лентяй буквально выполнил мою просьбу, нацарапав на листке синим карандашом фамилию театрального агента Джун и Жюли Холмс.

Я добрался до письма из Австралии. Типографская карточка в траурной рамке; для имени клиента оставлено пустое место, и имя вписано от руки по-детски старательным почерком.



Последнее письмо — от Энн Тейлор: открытка и фотографии.

Вот что мы обнаружили. Может, Вам будет приятно. Негативы я отправила миссис Келли. Вы правильно пишете, все мы по-своему виноваты. Только не думаю, что Элли понравилось бы, что мы так совестью мучимся, ведь этим ничего не исправишь. У меня до сих пор в голове не укладывается. Пришлось паковать ее вещи, ну, Вы представляете. Такая глупость все, я опять плакала. И все равно, по-моему, жизнь продолжается. Я через неделю еду домой, как смогу, повидаюсь с миссис К. Ваша

Энн.

Восемь нерезких снимков. На пяти — я или живописные горные пейзажи; а на трех — сама Алисон. Вот она на коленях рядом с девчушкой-гречанкой, вот — на Эдиповой развилке, вот — с погонщиком, на Парнасе. Снимок на развилке — четче и крупнее других: открытая мальчишеская улыбка, которая так подчеркивала ее прямоту... как же она себя в шутку назвала? Невежа; крепкий целебный раствор. А потом мы сели в машину, и я стал рассказывать об отце, все без утайки, ибо в ней самой не было утайки; ибо знал, что ее зеркало не солжет; что она всем сердцем со мною, всем сердцем, всей любовью. Это и было ее главным достоинством: вся — рядом, живая.

Сидя за столом, я смотрел на ее черты, на прядь волос, прижатую ветром ко лбу, остановленный миг, ветер, прядь, они здесь, они ушли навсегда.

И вновь горечь затопила меня. Не уснуть. Убрав письма и фотографии в верхний ящик, я вышел из школы и побрел вдоль берега. Далеко на севере, на той стороне бухты, палили подлесок. Рубиновый пунктирный свет прогрызал себе дорогу через перевал; и душа моя тлела, и через душу разорванным фронтом катилось грызущее пламя.

И все-таки кто же я, кто? Кончис был близок к истине: просто-напросто

---

[1] Requiescat in pace — да упокоится в мире (*лат.*).

арифметическая сумма бесчисленных заблуждений. К черту фрейдистские словечки, звучавшие на суде; однако я с детства пытался превратить реальность в вымысел, отгородиться от жизни; я вел себя так, будто некто незримый наблюдал за мною, вслушивался в меня, выставлял за мое поведение оценки, хорошие и плохие,— бог был для меня автором, с которым я чутко считался, будто персонаж, наделенный уменьем подладиться, подневольной тактичностью, готовый в меру разумения выкроить себя по мерке, придуманной автором-богом. Я сам сотворил и взлелеял в себе эту паразитическую форму суперэго, а она опутала меня по рукам и ногам. Не щитом моим стала она, но ярмом. Теперь я прозрел — на целую смерть позже, чем надо бы.

Сидя на берегу, я ждал, когда над серым морем займется заря.

От одиночества хотелось завыть.

64

По характеру своего ли характера, оптимизма ли, по методу Куэ [1], вживленного в меня Кончисом во время последнего забытья, я становился тем мрачнее, чем больше просветлялся горизонт. Само собой, я не располагаю ни уликами, ни свидетелями, которые могли бы подтвердить правдивость моего рассказа; а такой энтузиаст железной логики, как Кончис, уж явно загодя позаботился о безопасных путях к отступлению. Самой серьезной опасности он подвергся бы, пойди я в полицию; и упредить меня можно было одним-единственным маневром, так что в настоящий момент и он, и вся его «труппа», несомненно, уже за пределами Греции. А коли так, и допросить-то как следует некого, за исключением бедолаг вроде Гермеса, роль которого, скорей всего, даже незначительней, чем я полагал, или Пэтэреску, который ни в чем не сознается.

Остается последний ценный свидетель: Димитриадис. Удастся ли вырвать у него признание? В начале нашего знакомства он с виду был чист аки агнец; а ведь до того, как я впервые появился в Бурани, он, похоже, служил им основным поставщиком информации. Мы с ним часто делились впечатлениями об учениках, и я понимал, что Димитриадис не лишен своеобразной проницательности, особенно в тех случаях, когда требовалось отличить настоящего трудягу от хитрого бездельника. Представив, какие подробности он включал в свои донесения, я сжал кулаки. По телу пробежала дрожь сдерживаемой ярости. Ну, теперь они узнают, как я страшен в гневе.

На утреннее занятие я не пошел, ибо свое трогательное возвращение в лоно школы решил приурочить к завтраку. Едва я появился, в столовой воцарилась мертвая тишина, будто в пруд с токующими лягушками бросили камень; неловкое молчание, затем нарастающий гул голосов. Кое-кто из мальчиков захихикал. Преподаватели уставились на меня так, словно я только что ухайдакал родную матушку. Димитриадис завтракал в дальнем углу. Я направился прямо туда, не давая ему сориентироваться. Он было привстал, но тут до него дошло, что я шутить не намерен, и он плюхнулся обратно на стул, точно перепуганный Петер Лорре [2]. Я остановился за его спиной.

— Вставай, гад.

Он жалко улыбнулся; с напускным недоумением посмотрел на сидящего рядом мальчика. Я повторил приказ — громко, по-гречески, и присовокупил греческое же ругательство:

— Вставай-вставай, мандовошка.

Вновь звенящая тишина. Димитриадис покраснел, уткнулся взглядом в стол.

Перед ним на тарелке красовались размоченные в молоке и политые медом хлебцы — его излюбленное утреннее блюдо. Нагнувшись, я подцепил тарелку за край и выплеснул содержимое ему в лицо. Липкая кашица потекла за ворот рубашки, по лацканам щегольского пиджака. Димитриадис вскочил, счищая ее ладонями. Точно пламенеющий обидой ребенок,

---

[1] Эмиль Куэ (1857—1926) — французский психотерапевт.

[2] Петер Лорре (наст. имя — Ласло Левенштейн) — немецкий и американский киноактер. Амплуа — комический злодей.

посмотрел на меня снизу вверх: тут-то я и саданул как мечталось, засветил в правый глаз. Я не чемпион по боксу, но удар получился славный.

Все сорвались с мест; дежурные безуспешно пытались восстановить порядок. Подскочивший учитель физкультуры заломил мне руку назад, но я прохрипел: все нормально, я успокоился. Димитриадис — карикатурный Эдип — тер глаза кулаками. Потом вдруг ринулся на меня, по-старушечьи лягаясь и царапаясь. Физкультурник, всегда презиравший Димитриадиса, ступил вперед и одной левой обезвредил его.

Я развернулся и пошел к двери. Димитриадис, чуть не плача, слал мне вдогонку неразборчивые проклятия. На выходе я попросил служителя принести мне в комнату кофе. У себя уселся и приготовился к расправе.

И расправа не замедлила. Не успел отзвенеть звонок на урок, как меня призвали пред директорские очи. Кроме него, в кабинете находились его заместитель, старший администратор и учитель физкультуры; последнего, очевидно, пригласили на «трибунал» из опаски, что я опять полезу в драку. Старший администратор, Андруцос, бегло говорил по-французски и исполнял функции переводчика.

Попросив садиться, они вручили мне какое-то письмо. Судя по бланку, из столичной педкомиссии. Составлено на французском канцелярите, отослано два дня назад.

Попечительский совет школы лорда Байрона, рассмотрев докладную записку директора школы, с сожалением постановил расторгнуть контракт между Вами и упомянутым советом, руководствуясь седьмым пунктом упомянутого контракта: «Поступки, не совместимые со званием преподавателя».

В соответствии с данным пунктом Вам будет выплачено жалованье по сентябрь месяц включительно и оплачен обратный билет.

Да, этот приговор обжалованию не подлежал. Я обвел взглядом всех четверых. Их лица не выражали ничего, кроме замешательства, а в глазах Андруцоса, пожалуй, читалась жалость; словом, на интриганов они не походили.

— Не думал, что господину Конхису и директора удастся подкупить,— сказал я.

— A la solde de qui? [1]— растерянно переспросил Андруцос. Я зло повторил свою фразу, он ее перевел, но и директор, кажется, ничего не понял. Должность его была, по сути, престижной синекурой вроде должности ректора в американских колледжах, так что вряд ли начальство особо прислушивалось к его докладным. Выходит, Димитриадис заслуживал не одного фонаря, а двух. Димитриадис, Кончис и некто третий — ключевая фигура в совете. Тайный донос...

Директор вполголоса посоветовался с заместителем. Они говорили по-гречески, и я не понял ни слова, кроме дважды упомянутой фамилии Конхис. Андруцоса попросили перевести.

— Директор не понимает вашего намека.

— Разве?

Я грозно взглянул на старика, однако в душе готов был поверить, что его неведение искренне.

По знаку заместителя Андруцос взял со стола листок бумаги и прочел:

— Вам предъявляются следующие претензии. Во-первых, вы так и не сумели породниться со школой, ибо за минувшее полугодие редко когда оставались в ее стенах на выходные.— Все это начинало меня веселить.— Во-вторых, дважды давали взятки старшеклассникам, чтоб те за вас отдежурили.— Точно, давал, ведь лучше раскошелиться, нежели освобождать их от сочинений. Этой хитрости научил меня Димитриадис, и настучать на меня мог только он.— В-третьих, вы не проверили экзаменационные работы, тем самым нарушив первейший долг преподавателя. В-четвертых, вы...

---

[1] *Здесь:* Кому-кому? (*франц.*).

Но я был уже сыт этой комедией. Поднялся с места. Директор остановил меня, удрученно зашлепал морщинистыми губами.

— Директор хочет добавить,— перевел Андруцос,— что ваши безрассудные нападки на коллегу во время сегодняшнего завтрака серьезно поколебали уважение, которое он до сих пор испытывал к родине Байрона и Шекспира.

— О господи.— Громко расхохотавшись, я игриво погрозил Андруцосу пальцем. Физкультурник сделал стойку, готовясь на меня накинуться.— Слушайте внимательно. И ему передайте. Я уезжаю в Афины. Там наведаюсь в британское посольство, наведаюсь в министерство образования, наведаюсь в газеты и такую кашу заварю, что...

Я не стал продолжать. Окатив их презрением, вышел из кабинета.

Но спокойно уложить вещички мне не дали. Минут через пять в комнату кто-то постучал. Мрачно усмехнувшись, я рывком распахнул дверь. За ней стоял тот член трибунала, которого я менее всего ожидал здесь увидеть,— заместитель директора.

Звали его Мавромихалис. Он заведовал канцелярией и выполнял обязанности главного надзирателя; этакий придира, тощий, жилистый, лысеющий дядя под пятьдесят, который и с греками-то не мог найти общего языка. Я с ним до сих пор почти не сталкивался. Старший преподаватель народного, он, по давней профессиональной традиции, фанатически обожал отечество. Во время оккупации редактировал прославленную подпольную газету в Афинах; статьи подписывал античным псевдонимом «о Бупликс» — Быкожаб, и это имя подходило ему как нельзя лучше. Хотя на людях он поддакивал директору, школьный распорядок во многом зависел именно от симпатий и антипатий Мавромихалиса; пережитки византийской вялости, пятнающие греческий национальный характер, он ненавидел так яро, как никакому чужеземцу и не снилось.

Он стоял в коридоре, пытливо всматриваясь в мое лицо, а я топтался на пороге, пока гнев не угас под его спокойным взглядом, точно говорившим: если б не грустный повод, я улыбнулся бы.

— Je veux vous parler, Monsieur Urfe [1],— негромко произнес он.

Я еще больше удивился: со мной он всегда разговаривал только по-гречески, и я думал, что другими языками он не владеет. Пропустил его в комнату. Покосившись на кровать, где валялись раскрытые чемоданы, он жестом попросил меня за стол, а сам уселся у окна, скрестил руки на груди. Цепкие, пронзительные глаза. Он демонстративно помолчал. Я понял, что означает его молчание. Для директора я просто никудышный учитель; но для этого человека я нечто большее.

— En bien? [2]— сухо спросил я.

— Мне жаль, что все так обернулось.

— Вы не это хотели сказать.

Он не сводил с меня глаз.

— Как вы считаете, приличная у нас школа или нет?

— Милый мой господин Мавромихалис, если вы думаете, что...

Вскинул руки — жест резкий, но миролюбивый.

— Я пришел к вам как учитель к учителю. И мне важно услышать ответ.

По-французски он говорил с запинкой, но сложные фразы строил правильно, будто хорошо знал этот язык, но давно в нем не практиковался.

— Как учитель или... как посланец?

Впился в меня взглядом. Когда он идет по саду, зубоскалили ребята, даже цикады пикнуть боятся.

— Будьте добры ответить. Приличная у нас школа?

— Образование дает хорошее. Могли б и не спрашивать,— устало поморщился я.

Еще помолчав, он приступил к сути.

— Во имя ее репутации прошу вас не устраивать скандала.

---

[1] Господин Эрфе, мне надо с вами поговорить (*франц.*).

[2] В чем дело? (*франц.*).

Первое лицо единственного числа; о многослойная грамматика!

— Об этом раньше надо было беспокоиться.

Снова пауза.

— У нас, греков,— сказал он,— есть старая песня: «Кто крадет ради хлеба, тот прав, и не прав, кто крадет ради злата».— Подчеркивая скрытый смысл этих строк, проникновенно посмотрел на меня.— Если пожелаете уволиться по собственному почину... уверяю, Monsieur le Directeur войдет в ваше положение. А то письмо мы положим под сукно.

— Какой из двух директоров?

Скривил губы, не ответил; и я понял, что он никогда не ответит прямо. Как ни странно, я — может, потому, что восседал за столом,— чувствовал себя бесцеремонным следователем. А Мавромихалис отчаянно запирался, как истый патриот. Наконец он с преувеличенным любопытством посмотрел в окно и бросил:

— Школьная лаборатория прекрасно оборудована.

Я это знал; и знал, что после войны, когда занятия возобновились, некто, пожелавший остаться неизвестным, на свои средства оснастил лабораторию приборами и реактивами; обслуга поговаривала, что сей жертвователь — богатый коллаборационист, который надеялся искупить грех этим «бескорыстным» благодеянием.

— Ах вот оно что,— сказал я.

— Я пришел, чтоб убедить вас подать в отставку по-хорошему.

— Моих предшественников вы так же убеждали?

Не ответил. Я отрицательно помотал головой.

Он открыл еще одну карту:

— Мне неизвестно, что вам довелось пережить. И я не прошу вас сжалиться над теми, кто сотворил это с вами. Но вот над этим — он повел рукою вокруг себя: над школой,— сжальтесь.

— А как насчет того, что учителя из меня не вышло?

— Мы дадим вам самые лучшие рекомендации,— сказал он.

— Это не ответ.

Он пожал плечами:

— Что ж, коли вы настаиваете...

— Неужели я до такой степени безнадежен?

— Здесь преподают только достойнейшие из достойных.

Прямой взгляд быка, взгляд жабы; я опустил глаза. На кровати томились пустые чемоданы. Бежать отсюда, бежать в Афины, к черту на рога, туда, где нет ни зеркал, ни долгов. Я и сам знал, что в учителя не гожусь. Но вслух согласиться с этим — значило содрать с себя последний лоскут кожи, содрать собственноручно.

— Вы требуете слишком многого.— Непреклонное молчание было мне ответом.— Хорошо, я не стану поднимать бучу в Афинах, но при одном условии. До отъезда вы устроите мне встречу с ним.

— Pas possible [1].

И умолк. Интересно, как маниакальное чувство служебного долга уживается в нем с рабской преданностью веленьям Кончиса? Меж перекладинами открытого окна угрожающе заметалась крупная оса, косо спикировала вниз, и жужжание ее затихло вдали; и гнев мой, точно шершень, утихал в пространстве душевного нетерпения: скорей бы отделаться, скорей бы со всем этим покончить.

Я нарушил молчание:

— Почему именно вы?

Он не сдержал улыбки — застенчивой, нежданной улыбки:

— Avant la guerre [2].

В то время он еще не работал в школе; значит, гостил в Бурани. Я уперся взглядом в столешницу.

— Мне надо убраться отсюда как можно скорее. К вечеру.

— Ваша спешка понятна. Но вы ведь не станете больше поднимать шума? — Под «шумом» он разумел то, что случилось за завтраком.

[1] Это невозможно (*франц.*).

[2] До войны (*франц.*).

— Посмотрим. Раз уж...— я повторил его жест.— Только ради этого.

— Bien [1].— Он произнес это с какой-то даже задушевностью, обошел стол, чтобы пожать мне руку; и по плечу не забыл потрепать, как, бывало, делал Кончис: верю вам на слово.

Живо, размашисто ретировался.

Так вот меня и выперли. Как только он ушел, я вновь преисполнился досады — надо же, опять держал в руке плеть и опять не ударил. Увольняться-то не жалко... и думать нечего о том, чтоб куковать тут еще целый год, убеждать себя, что на острове нет и не было виллы под названием Бурани, трястись над прокисшими воспоминаниями. Но как расстаться с Фраксосом, с его солнцем и морем? Взгляд мой простерся над кронами оливковых рощ. Все равно что руку отрезать. Шум поднимать и вправду не стоит; шуметь бессмысленно. Как ни крути, обратная дорога на остров мне отныне заказана.

Я нехотя уложил чемоданы. Помощник казначея принес мне чек и адрес афинского трансагентства, в котором мне закажут билет в Англию. В начале первого я навсегда покинул школу.

И прямиком направился к Пэтэреску. Дверь мне открыла какая-то крестьянка; доктор отбыл на Родос, будет через месяц. Оттуда я пошел к дому на холме. Постучал в калитку. Никто не вышел; на воротах висел замок. Тогда я вновь пересек деревню и очутился в старой гавани, у таверны, где мы выпивали с дряхлым барбой Димитраки. Как я и рассчитывал, Георгиу помог мне снять комнату в одном из близлежащих домишек. За вещами я послал паренька с рыбачьей тележкой; перекусил хлебом и маслинами.

В два часа дня я, обливаясь по́том, уже брел сквозь заросли опунций к центральному водоразделу. Я захватил с собой походный фонарь, ломик и лучковую пилу. Я обещал не поднимать шума; но сидеть сложа руки не обещал.

65

До Бурани я добрался в половине четвертого. Лаз и обвершье ворот забраны колючей проволокой, а поверх вывески «Зал ожидания» прибита табличка с греческой надписью «Частное владение, вход строго воспрещен». Перелезть через изгородь, как и прежде, не составляло труда. Но, едва занеся ногу, я услыхал за лесом, на Муце, чьи-то голоса. Спрятал в кустах инструменты и фонарь, полез обратно на холм.

Пугливо, как бездомная кошка, я спускался по тропе, пока между деревьями не показался пляж. К дальней его оконечности приткнулся незнакомый каик. Приплывших было пятеро или шестеро — не местные, в дорогих купальных костюмах. Двое парней как раз взяли в оборот какую-то девицу, проволокли ее по гальке и плюхнули в воду — визг, шлепанье. Причитанья транзистора. Я подкрался к опушке поближе в безумной надежде, что узнаю кого-нибудь из старых знакомцев. Но голосистая девица оказалась низенькой и смуглой — типичная гречанка. Две толстухи; мужчина лет тридцати и еще двое, постарше. Никого из них я раньше не встречал.

За спиной послышались шаги. Из часовни вышел босоногий рыбак в дырявых серых штанах, хозяин каика. Я спросил, кого он сюда привез. Афинян, господина Сотириадиса с семейством, они каждое лето отдыхают на острове.

И, что, на Муцу в августе много курортников приезжает? Много, очень много, был ответ. Рыбак ткнул пальцем в сторону пляжа: еще через пару недель там будет десять, пятнадцать каиков, как сельди в бочке.

Скверна подступала к Бурани; все подтверждало, что мне пора уносить ноги с Фраксоса.

---

[1] Ладно (*франц.*).

На вилле ничего не изменилось: ставни закрыты, двери заперты. Перебравшись через лощину, я достиг Норы. Еще раз полюбовался, до чего ловко замаскирован вход в трубу-ловушку, открыл люк, ступил в его угольную черноту. Внизу запалил фонарь, оставил его у подножия лесенки, слазил за инструментами. Засов первой боковой двери пришлось порядком подпилить, прежде чем он уступил нажатию лома. Держа фонарь в левой руке, я отодвинул шкворень, толкнул тяжелую дверь и вошел.

Я оказался в северно-западном углу квадратного отсека. Прямо на меня смотрели две амбразуры, теперь явно слепые, хотя, судя по вентиляционным решеточкам, воздух с поверхности поступал именно этим путем. У противоположной, северной стены — длинный встроенный шкаф. У восточной две кровати, двуспальная и односпальная. Столики, стулья. Три кресла. Пол устилала дешевая кошма с национальным орнаментом, все стены, кроме одной, побелены, так что даже при тусклом свете фонаря здесь было вольготней, чем в общей зале. На западной стене, над кроватью,— обширная роспись, изображающая тирольскую пляску; пейзанин в кожаных штанцах и девушка, чья взметнувшаяся юбка открывает лодыжки, обтянутые чулками с цветочным узором в виде вертикальных ленточек-вставок. Колорит неплохо сохранился; а может, фреску недавно подновляли.

В стенном шкафу — около десятка разнообразных костюмов для Лилии, причем почти все — в двух экземплярах, дабы сестры при случае смогли одеться одинаково; некоторые из этих нарядов мне так и не довелось узреть на хозяйке. В ящиках гардероба — перчатки на любой сезон, сумочки, чулки, шляпки; все что душе угодно, вплоть до бабкиного полотняного купальника в комплекте с плотной шапочкой для волос, какие нынче носят в психушках.

На матрацах — аккуратно сложенные одеяла. Я понюхал подушку, но аромата духов Лилии не различил. Над столом, меж задраенными бойницами — книжная полка. Я наугад выбрал какую-то книгу. «Гостеприимная хозяйка. Краткий справочник по теории и практике хороших манер, желательных и принятых в высшем обществе. Лондон, 1901». Десяток эдвардианских романов. На форзацах кое-где — карандашные пометки, например «Богатый диалог», или «Общеупотребительные конструкции на стр. 98 и 164», или «См. эпизод на стр. 203». Эту страницу я открыл. «— Вы что, намерены подарить мне лобзание? — лукаво прыснула Фанни».

Комод, на поверку, пустой. Да и вся комната, паче чаяния, какая-то безликая. Вернувшись в залу, я перепилил второй засов. Убранство этой комнаты было точь-в-точь как в первой, только роспись изображала горы со снежными вершинами. В шкафу я обнаружил рог, в который трубил так называемый Аполлон; одеяние Роберта Фулкса; поварской халат с пышным колпаком; лопарскую рубаху; и форму капитана стрелковой бригады времен первой мировой.

Напоследок я снова отправился в первую комнату, к полке. Вывалил все книги до единой на стол. Из подшивки «Панча» за 1914 год в потрепанном переплете (многие иллюстрации раскрашены цветными карандашами) выпала пачечка сложенных пополам листков. Сперва я принял их за письма. Но то были не письма, а нечто вроде размноженных на ронеографе циркуляров. Ни один не датирован.

1. *Итальянский летчик-утопленник.*
Эту сцену решено опустить.

2. *Норвегия.*
Иллюстрации к этой сцене решено опустить.

3. *Касаточка.*
Применять с крайней осторожностью. Рана еще не зажила.

4. *В случае, если объект обнаружит Нору.*
Убедительно прошу до конца недели проштудировать переработанный сценарий, который должен немедленно вступить в силу. Лилия считает, что объект вполне способен устроить нам эту неприятность.

«Лилия»,— отметил я.

5. *Касаточка.*
Впредь в разговорах с объектом избегайте упоминаний о ней.

6. *Заключительный этап.*
К концу июля сворачиваем всю активность, кроме сердцевинной.

7. *Состояние объекта.*
Морис считает, что объект уже подготовлен к матрицированию. Имейте в виду, для него теперь любой вымысел предпочтительней реальности. Чаще меняйте стилистику, увеличивайте амплитуду.

На восьмом листочке — напечатанный на машинке монолог из «Бури», который декламировала Лилия. В самом низу стопки на обычной бумаге наспех нацарапано:

Передай Бо, чтоб захватил невидимки и книги. Да, и паутинки, главное.

На обороте каждого листка — черновые записи Лилии (или искусные подделки под черновые записи), пестрящие помарками и исправлениями. Почерк вроде бы всюду ее.

1. Это — что?
Услышав имя,
Имя не поймешь.
Отчего?
Узнав причины,
Не поймешь причин.
Это — то?
Нет, так и не поймешь наверняка,
Убогий житель комнат нежилых.

2. Любовь — методика ученых бдений,
Врагиня человеческих мечтаний.
Любовь — твой томный вор в моих садах.
Любовь — твой темный лик, склоненный над листами.
Твой темный, нежный лик и длани.
Ужель Дездемона

Тут ее, наверное, что-то отвлекло.

3. *Или — или*
Ласкай, пока он не умрет.
Терзай, пока он не воскреснет.

4. ominus dominus
Nicholas
homullus est
ridiculus

igitur meus
parvus pediculus
multo vult dare
sine morari

in culus illius
ridiculus
Nicholas
colossicus ciculus [1]

5. Шалопай сунул шило в Мазохов стул.
Барон сел и запрыгал: «Ту-ту, ту-ту-у!»

[1] Эти строчки представляют собой набор нежных непристойностей, не нуждающихся в буквальном переводе с латинского.

Платон обожал до зубовного скрежета
Небесный аналог свекольника свежего.
Но сколько ни думай про эйдосный борщ,
В тарелку его все равно не нальешь [1].

Подружка говорит мадам де Сад:
— Супруг твой, право слово, жутковат.
— Да был бы жутковат, оно б не худо,
Так нет! Он фантастический зануда!

Презентуй, милок, мне шаровары,
А то больно хоцца в Шопенгары.

Строфы написаны разными почерками; видно, таким образом сестры развеивали скуку.

6. Тайна в полдень позовет.
Слепой нехоженой тропой
Над перехоженой водой
Не забредай в леса личин
И не шатайся под луной,
Ведь белояровый восход
Уже сжигает тот утес,
Чья тайна в полдень позовет.

На обороте трех оставшихся листков был записан текст некой сказки.

ПРИНЦ И КУДЕСНИК

Жил-был юный принц. Он все принимал на веру и только три вещи на свете принять на веру не мог. Он не верил в принцесс, он не верил в острова, он не верил в Бога. Отец его, король, не однажды повторял, что всего этого просто не бывает. А коль скоро в королевстве не водилось ни принцесс, ни островов, да и Бог себя ничем не обнаруживал, юный принц с отцом соглашался.

Но вот как-то раз принц сбежал из дворца. И очутился в соседнем государстве. А там — что за диво! — острова виднелись с любого лукоморья, и на островах этих обитали чудные и поразительные созданья, которых он и про себя-то назвать побоялся. Пока он искал лодку, на берегу ему встретился человек в парадном, чин чинарем, костюме.

— Неужто эти острова взаправдашние? — спросил у него юный принц.

— Конечно, взаправдашние,— ответил человек в парадном костюме.

— А кто те чудные и поразительные созданья?

— Истинные и безобманные принцессы, все поголовно.

— Так, получается, и Бог есть! — воскликнул принц.

— Я и есть Бог,— с поклоном ответствовал человек в парадном, чин чинарем, костюме.

Юный принц со всех ног помчался домой.

— Ага, вернулся,— сказал отец его, король.

— Я повидал острова, я повидал принцесс, я повидал Бога,— гордо заявил ему принц.

Король и бровью не шевельнул.

— Не бывает взаправдашних островов и взаправдашних принцесс, и Бога взаправдашнего не бывает.

— Но я же их видел своими глазами!

— Ну скажи, как Бог был одет?

— Он был в парадном, чин чинарем, костюме.

— А рукава у пиджака закатаны?

Припомнил принц, что закатаны. Король улыбнулся:

— Это одеянье кудесника. Тебя провели.

---

[1] Согласно платоновской онтологии, реальный мир — лишь выморочное отражение мира идеальных сущностей (эйдосов).

И принц немедля устремился в соседнее государство, на тот самый берег, к тому самому человеку в парадном, чин чинарем, костюме.

— Отец мой, король, объяснил мне, кто ты таков,— с негодованьем сказал ему принц.— Сперва ты провел меня, а сейчас не проведешь. Теперь-то я знаю, что и острова, и принцессы невзаправдашние — ты ведь кудесник.

Человек на берегу усмехнулся:

— Не я тебя провел, мальчик мой. В королевстве отца твоего полным-полно и островов, и принцесс. Но отец твой наслал на тебя чары, и ты всего этого в упор не замечаешь.

Призадумался принц и побрел себе восвояси. Пришел к отцу, посмотрел тому прямо в глаза:

— Ты что, папа, действительно не взаправдашний король, а всего лишь навсего кудесник?

Улыбнулся король и закатал рукава:

— Да, сынок, я всего лишь навсего кудесник.

— Выходит, тот, на берегу, Бог.

— Тот, на берегу, тоже кудесник.

— Но я хочу понять, что есть взаправду, что останется, когда рассеются чары.

— Когда рассеются чары, ничего не останется,— ответил король.

Пригорюнился принц.

— Убью себя,— сказал он.

Король чародейством призвал во дворец смерть. Встала смерть на пороге, поманила принца. Задрожал принц. Вспомнил острова, прекрасные, но невзаправдашние, вспомнил принцесс, невзаправдашних, но прекрасных.

— Ладно уж,— сказал,— вытерплю как-нибудь.

— Знай же, сын мой,— сказал ему король,— что и ты теперь вот-вот станешь кудесником.

Все «циркуляры» подозрительно однотипные, будто их копировали зараз, да и стихи написаны одним и тем же карандашом, с одинаковым нажимом, как бы второпях и за один присест. С какого перепугу Кончису понадобилось бы посылать девушкам письменные указания? Какая-то «касаточка»... *рана еще не зажила;* при мне о ней не упоминать; некий фокус, некий эпизод, который от меня утаили. Истолковать стихи и эпистемологическую побасенку [1] гораздо проще; символика там вполне лобовая. Они, конечно, не могли быть твердо уверены, что я осмелюсь забраться в Нору. Видимо, такого рода подсказки распиханы по всей территории Бурани в расчете, что мне попадется на глаза лишь мизерная их часть. Однако чем меньше подсказка замаскирована, тем больше ей вроде бы хочется доверять; а значит, она тем вернее собьет меня с толку, верней, чем остальные, на первый взгляд невольные.

Нечего мне тут делать; что бы я ни обнаружил в Бурани, ситуацию это не прояснит, еще сильней запутает.

И сказочка на то же самое намекает. Роясь здесь в поисках улик, я превращаю летние события в канву детективного романа, а воспринимать реальность как детектив, как нечто доступное расследованию, отслеживанию и поимке — все равно что рассматривать детектив как вершину жанровой иерархии, а не как вспомогательный жанр, коим он на самом деле является. Подход непродуктивный — и с позиций здравого смысла, и с позиций литературоведения.

Завидев на Муце купальщиков, я, сам того не желая, воспрянул духом; а когда разглядел, что это всего-навсего отдыхающие, помимо воли духом пал. Выходит, вот чем провинился передо мной Кончис? *Не тем, что надо мной издевался, а тем, что прекратил издевательства.*

Сначала я собирался и виллу взломать, и там отвести душу. Но теперь

---

[1] Эпистемология — наука о методах, границах и принципах строгого знания.

это намерение представилось мне мальчишеским, мелочным; и вдобавок — преждевременным. Ибо жажда мщения вновь овладела мною; и я уже решил, каким именно способом отомщу. Что с того, что из школы меня выгнали? Никто не запретит мне вернуться на остров будущим летом. Да, будущим летом: хорошо смеется тот...

Выбравшись из Норы, я отправился к дому; на прощанье поднялся под колоннаду. Отсюда убрали и шезлонги, и даже колокольчик. Огуречные листья на огороде пожелтели, сморщились; Приапа и след простыл.

Меня переполняла тройная боль — о прошлом, о настоящем, о будущем. Ведь вот и теперь я слонялся по мысу не только ради того, чтобы сказать кому-то или чему-то последнее прости; нет, меня не оставляла надежда столкнуться с кем-нибудь, кого я встречал тут прежде. Правда, я не знал, как вести себя, если это все-таки произойдет; и точно так же не знал, куда ткнуться в Афинах. Я не знал, возвращаться ли в Англию; не знал, как быть дальше. Я вновь впал в смутное состояние, в коем пребывал после университета: наверняка известно лишь то, чего ты *не должен* делать. По сути, на путях выбора призванья я с тех пор мало продвинулся. Разве что приобрел стойкое отвращение к любым школам, к какому бы то ни было преподаванию. Лучше в золотари, чем в учителя.

И душа выжжена дотла. После игрушечной смерти Лилии и настоящей гибели Алисон я никогда и никого не полюблю. В процессе дезинтоксикации нежные чувства, которые я питал к Лилии, испарились, но дело не в них. Я не смог покорить ее сердце потому, что в моем собственном имеются роковые изъяны; во всякой женщине я волей-неволей стану искать ее черты, ее повадки; а заметив в будущей подруге хоть каплю пошлости или тупости, неминуемо вздохну по изяществу Лилии, ее уму и чутью. Только Алисон могла бы избавить меня от этого призрака. Сладкий восторг на руинах Монемвасии, на палубе парохода, подплывавшего к Фраксосу, когда самое обыденное, самое элементарное сулило небывалую красу, небывалое счастье — минуты чудодейственной причастности к простому кодексу будней,— с Алисон они растянулись бы на часы, дни, годы. Она обладала особым даром, редким талантом: умела быть как все, не залетать высоко, не обманывать ожиданий; хрустальное ядрышко постоянства; полная противоположность Лилии.

Я падал в пустоту, падал беспомощным камнем, словно стайка странных крылатых существ занесла меня ввысь, и обронила, и помчалась своей вольной, запретной, пролетною трассой. Стонущий журавлиный клин, тишь, насмерть вспоротая кинжальным криком.

А ветер нес с пляжа иные крики, безнадежно земные. Курортники все реготали. Минувшее расползалось под пальцами. Солнце клонилось к горизонту, пронизывая сосняк косыми лучами. Напоследок я зашел в урочище Посейдона.

Бог стоял себе, озирая море властительным взглядом, самоуверенный, пышущий мускульной силой, хваткий и потому недосягаемо царственный; сама Греция, непреходящий, бездонный, прозрачно-отважный край. *Тайна в полдень позовет.* Не он ли пуп Бурани, его омфалос? Он, а не вилла, не Нора, не Кончис, не Лилия — он, истукан, милостивец, промыслитель, немой и недвижный, способный лишь пребывать и оправдывать.

66

Первое, что я сделал, остановившись в афинской гостинице «Гран-Бретань»,— это позвонил в аэропорт. Меня соединили с представительством нужной мне компании. Трубку взял мужчина.

Фамилия ему незнакома. Я повторил по буквам. Спросив мою, он попросил минуточку подождать.

Минуточка затягивалась; наконец к телефону подошла женщина с греческо-американским выговором. Не та ли девушка, что дежурила, когда я дожидался Алисон у стойки?

— Простите, а кто ее спрашивает?

— Да так, знакомый.

— Вы местный?
— Местный.
Замялась. Все пропало. Зря я лелеял в душе знобкую, крохотную надежду. Глаза мои блуждали по бывалому зеленому ковру, устилавшему номер.
— Вы разве не в курсе?
— То есть?
— Она умерла.
— Умерла?
Похоже, в моем голосе не слышалось ни грана удивления.
— Месяц назад. В Лондоне. Я думала, все уже знают. Приняла чрезме...
Я положил трубку. Навзничь вытянулся на кровати. И долго лежал так, пока не накопил в себе силы спуститься в бар и заказать первую рюмку, первую из многих.

Наутро я явился в Британский Совет. Сообщил своему куратору, что контракт со мной разорван «по личным обстоятельствам», и, памятуя неопределенное обещание, данное Мавромихалису, ввернул-таки, что Совету не стоит посылать людей в столь уединенные места. Чиновник понял мой упрек по-своему.
— Да я не любитель мальчиков, не подумайте,— сказал я.
— Мил человек, мамой клянусь, я не то имел в виду.— Суетливо угостил меня сигаретой.
Мы галопом обсудили проблему одиночества, жизнь на островах, тупость посольских, которые никак не возьмут в толк: Совет им напрямую не подчиняется. Под конец я между прочим поинтересовался, не слыхал ли он о человеке по фамилии Конхис. Он не слыхал.
— А кто это?
— Да просто один тип, я с ним на острове познакомился. Вроде к Англии неровно дышит.
— Это у них новая мода. Стравливают нас с янки.— Молодцевато захлопнул личное дело.— Что ж, Эрфе, огромное спасибо. Надо покумекать над тем, что вы сказали. Жаль только, что у вас все накрылось. Но ни одно ваше слово для нас даром не пропадает, не сомневайтесь.
Пока мы дошли до двери, он, должно быть, совсем расчувствовался и пригласил меня отужинать.
Но уже на середине площади Колонаки, где помещается Совет, я пожалел, что согласился. От всей их конторы так и несло чем-то чуждым — английским; и, к собственному ужасу, я поймал себя на том, что пытаюсь приспособиться к этой атмосфере, примириться с ней, умоститься там поуютней, чтоб по головке погладили. Как там говорилось в квартальном отчете? *Целенаправленно избирает среду, которая вынуждает к бунту?* Нет уж, хватит мучиться «рефлексом непреодолимых препятствий»; а значит, надо найти в себе смелость отречься от прежнего опыта, от прежних ориентиров. Лучше в золотари, чем в учителя, лучше в учителя, чем в касту английских небогатых служак.
Сотрудники Совета казались абсолютно чужими; а греки, спешащие мимо по своим делам,— родными и близкими.

Регистрируясь в «Гран-Бретань», я полюбопытствовал, не останавливались ли недавно в гостинице двойняшки англичанки, светленькие, лет двадцати трех. Нет, заверил портье; другого ответа я не ждал и быстро успокоился.
Из Британского Совета я направился в Министерство внутренних дел. Выдавая себя за автора будущих путевых заметок, проник в отдел, где хранились криминальные отчеты времен войны, и через четверть часа заполучил английский перевод рапорта, составленного настоящим Антоном. Внимательно прочел; все, кроме незначительных деталей, совпадало с рассказом Кончиса.
Я спросил архивиста, жив ли еще Кончис. Тот углубился в скоросшива-

тель, из которого вынул рапорт. Тут указан только адрес на Фраксосе. Больше он ничем помочь не может. О Кончисе впервые слышит, в архив его определили недавно.

Третьим своим визитом я удостоил французское посольство. Девушка, ведущая прием посетителей, после нескольких неудачных попыток выцарапала атташе по культуре из его кабинета. Представившись, я заявил, что мне приспичило ознакомиться с трудами одного выдающегося французского психолога об искусстве как санкционированной иллюзии... он было загорелся, но, стоило мне упомянуть Сорбонну, сник. Он почти уверен, что тут какая-то ошибка: в Сорбонне нет медицинского факультета. Тем не менее отвел меня в библиотеку, к справочному стеллажу. Вскоре я выяснил множество увлекательных подробностей. В Сорбонну и нога Кончиса не ступала (как, впрочем, и в остальные французские университеты), его не было в регистре докторов наук, он не опубликовал ни одной работы на французском языке. В Тулузе отыскался некий профессор Морис Анри де Конше-Веронвей, автор ряда трактатов о вредителях виноградной лозы, но его кандидатуру я отмел с порога. Улизнув от атташе, я проникся приятным чувством, что внес свой скромный вклад во взаимопонимание между нашими народами: укрепил галлов в их и без того твердом мнении о британцах как племени темном и бесноватом.

По знойным предвечерним улочкам я поплелся в гостиницу. Портье встрепенулся, подал мне ключ от номера, а вместе с ключом — письмо. На конверте — ничего, кроме моей фамилии и пометки «Срочно». Трясущимися руками я вскрыл послание. Листочек с номером дома и названием улицы. «Сингру, 184».

— Кто его принес?

— Мальчик. Рассыльный.

— Откуда?

Развел руками: понятия не имею.

Мне приходилось бывать на Сингру — одном из широких бульваров, соединяющих Афины с Пиреем. Не поднимаясь к себе, я поймал такси. Мы лихо развернулись у трехколонного храма Зевса Олимпийского и покатили в сторону Пирея; вскоре водитель притормозил у особняка с порядочным садовым участком. Цифры на облупившейся табличке свидетельствовали, что это и есть № 184.

Сад как-то нехорошо разросся, окна заколочены досками. Сидящий под перечным деревом неподалеку продавец лотерейных билетов спросил, чего мне надо, но я не обратил на него внимания. Толкнул парадную дверь, потом зашел к дому с тыла. Ба, да от него только стены остались. Несколько лет назад здесь явно случился пожар; плоская крыша провалилась внутрь. Не отступаясь, я углубился в сад. Первое впечатление не обмануло: сушняк, дебри, глушь. Черный ход нараспашку. Внутри, средь рухнувших стропил и обуглившихся кирпичей, виднелись следы пребывания валашских цыган; в заброшенном очаге кто-то не так давно разводил огонь. Поколебавшись, я интуитивно почувствовал, что ловить тут нечего. Ложная тревога.

Желтое такси поджидало меня. Квелый ветерок пригоршнями поднимал с земли сухую пыль и обдавал ею кроны тощих олеандров, и без того побуревшие. По Сингру в обе стороны неслись автомобили, пальма у ворот мелко трясла пальцами. Продавец билетов беседовал с таксистом. Живо обернулся ко мне.

— Зитас каненан? — Кого-нибудь ищете?

— Чей это дом?

Был он небрит, облачен в потертый серый костюм и грязную белую сорочку без галстука; в руках янтарные четки. Помахал ими в воздухе: ни сном ни духом.

— Ну, это... не знаю. Ничей.

Я посмотрел на него сквозь стекла темных очков. И произнес одно-единственное слово:

— Кончис.

Лицо его сразу прояснилось, будто он сподобился высшего знанья.

— Ах! Понятно, понятно. Вы ищете кирьоса Конхиса?

— Да, да, ищу.

Развел руками:

— Он умер.

— Когда?

— Четыре, пять лет назад.— Выставил четыре пальца; провел ладонью по горлу и выкрикнул: — Капут!

Я внимательно поглядел на длинную, прислоненную к спинке стула палку, к которой были прикреплены шелестящие на ветру лотерейные билеты. Потом, едко улыбнувшись, спросил по-английски:

— Вы где служите? В Государственном театре?

Помотал головой, как бы не понимая:

— Богатый был, очень богатый.— Теперь он обращался за сочувствием не ко мне, а к таксисту.— Похоронен на святого Георгия. Кладбище — просто картинка.— В этой ухмыляющейся физиономии патентованного греческого лоботряса и в том, с какой непринужденностью он делился не идущими к делу сведениями, была такая жизненная правда, что я чуть было не поверил: он — тот, за кого себя выдает.

— Ну, все, что ли? — спросил я.

— Нэ, нэ. Побывайте на могилке-то. Могилка упоительная.

Я залез в такси. Он сбегал за палкой и принялся пихать ее в окошко.

— Вам повезет. Англичанам всегда везет.— Отцепил билетик, протянул мне. И внезапно добавил по-английски: — Вот. Один билет, и ваших нет.

Я прикрикнул на шофера, чтоб поторапливался. Тот сделал разворот, но ярдов через пятьдесят, у входа в кафе, я снова остановил его. Подозвал официанта.

Известно ему, чей это дом вон там, сзади?

Да. Вдовицы по фамилии Ралли, она на Корфу живет.

Я оглянулся и через заднее стекло увидел, что продавец удаляется, прямо-таки улепетывает, в противоположную сторону; скрывается в боковой аллее.

В четыре, когда жара спала, я доехал до кладбища на автобусе. Располагалось оно за городской чертой, на лесистом склоне Эгалеоса. Пожилой привратник и не подумал играть в молчанку; охая, провел меня в сторожку, раскрыл толстенный гроссбух и сообщил, что до могилы можно добраться по главной аллее, пятый поворот налево. Вдоль дорожки тянулись макеты ионических храмов, бюсты на высоких постаментах, неуклюжие стелы — кущи эллинской безвкусицы; но все это тонуло в зелени и прохладе.

Пятый налево. Здесь-то, меж двух кипарисов, осененная понурым ландышем, и покоилась неказистая плита пентеликского мрамора. Под распятием высечено имя:

ΜΩΡΙΣ ΚΟΙΧΙΣ
1896–1949

Четыре года, как мертв.

У нижнего края надгробья — зеленый горшочек с белой арумной лилией и красной розой в оправе какой-то бледной мелюзги. Присев на корточки, я вынул цветы из вазы. Срезаны недавно, чуть не сегодня утром; вода чистая, свежая. Я верно понял его подсказку: я был прав, погоня за уликами заведет в тупик, к фальшивой могиле, к очередной хохме, к призрачной усмешке Чеширского кота.

Поставил цветы обратно в горшочек. Одно из нежных бледных соцветий при этом выпало, я подобрал его, понюхал: сладковатый, медовый аромат. Наверно, эти цветочки, как и роза с лилией, тут неспроста. Я сунул стебель в петлицу и сразу о нем забыл.

На выходе спросил привратника, не осталось ли у покойного Мориса Конхиса родственников. Он снова заглянул в гроссбух — никого. Видел ли он, кто принес на могилу цветы? Нет, с цветами тут много кто ходит. Ветерок вздыбил жидкие волоски над его морщинистым лбом. Изнуренный старик.

Небо сияло голубизной. Над равнинами Аттики заходил на посадку самолет. Привратник захромал прочь, встречая новых посетителей.

Вечерок выдался препохабный, великолепный образчик английского пустословия. Собираясь на ужин, я заготовил парочку историй из жизни Бурани; то-то они поахают. Но уже минут через пять скис. За столом было восемь человек: пятеро из Совета, секретарь британского посольства, пожилой кургузый гомик — литературовед, приглашенный в Афины прочесть несколько лекций,— и я. Трепались в основном о литературе. Голубой волчонком набрасывался на каждое всплывавшее в разговоре имя.

— Последний опус Генри Грина [1] читали? — спрашивал, например, посольский.

— Жуткая муть.

— А мне понравилось.

— Ну, вы ведь помните,— говорил гомик, оправляя бант на шее,— что ответил лапочка Генри, когда его...

На десятый раз я обвел взглядом присутствующих, надеясь учуять среди них хоть одного единомышленника, которого, как меня, распирает желание гаркнуть: литература — это тексты, а не грязное белье сочинителей! Не учуял; булатные забрала лбов, стегозавровы щитки, наливные сосульки. Весь вечер в ушах отдавался хруст льдистых игл. Это вялые, неловкие мысли моих сотрапезников пытались перебраться через стальную ограду слов, подтягивались — дзинь-дзинь — и срывались обратно.

Они говорили о чем угодно, кроме того что думали и чувствовали на самом деле. Ни один не проявил широты взглядов, душевности, непосредственности; и беседа все сильнее отдавала мелодрамой. Я догадывался, что хозяин и его жена по-настоящему любят Грецию, но любовь комом застревала в их глотках. Критик обронил дельное замечание о Ливисе [2], но тут же все изгадил плоским злопыхательством. Да и я был не лучше прочих; хоть и старался помалкивать, но ни за искреннего, ни за самостоятельного не сошел. У стола, точно агенты госбезопасности, высились Прародина, Ее Величество, Среднее и Высшее образования, Литературная речь, Люди нашего круга, готовые завалить своими обломками росточки здравого европейского гуманизма, буде таковые проклюнутся.

Символично, что собеседники то и дело ссылались на «кое-кого»: кое-кто считает... кое-кто водит знакомство с... кое-кто нанимает в услужение только... кое-кто превыше других ставит книги... кое-кто, приезжая в Грецию... и вот чудовищно безликий, злопамятный кумир британской буржуазии, Кое-кто, закопченным идолом увенчал нашу вечеринку.

Критик жил в той же гостинице, что и я; мы отправились в «Гран-Бретань» вместе. По дороге я мучительно затосковал о светоносных просторах Фраксоса, обо всем, чего не вернуть.

— В Британский Совет будто нарочно одних зануд набирают,— пожаловался мой попутчик.— Но хочешь жить, умей вертеться.— У входа в гостиницу он меня покинул. Сказал, что пройдется до Акрополя и назад. Однако свернул к парку Заппион, где кучковались мальчишки из провинции, которые, ошалев от недоедания, стекаются в Афины продавать свои ледащие тела за плошку жратвы.

А я добрел до ресторана Зонара, что на Панепистемиу, заказал двойной бренди. За время ужина я по горло насытился Англией, а ведь мне туда, бр-р-р, возвращаться. Вернусь или нет — родина отторгла меня навсегда. Нет, я не имел претензий к родине; но тщетно метался в поисках товарищей по изгнанию.

В номере я оказался около половины первого. Тут стояла душная жарища, какой вообще отличаются летние ночи в Афинах. Я разделся и только собрался под душ, как на столике у кровати зазвонил телефон. Я подошел к нему в чем мать родила. Мило будет, если это литературовед.

---

[1] Генри Грин (наст. имя Генри Винсент Йорк, 1905—1973) — модный писатель-интеллектуал. Речь идет о его романе «Любовь пунктиром» (1952).

[2] Фрэнк Реймонд Ливис — выдающийся критик и литературовед, автор нашумевшей книги «Величие традиции» (1948); см. также примечание на стр 51.

Убрался небось из Заппиона несолоно хлебавши, а теперь рыщет, не зная, на кого бы излить свои нежные воспоминанья о сотнях и сотнях «лапочек».

— Алло.

— Мистер Урф? — Голос ночного портье.— Соединяю.

Щелк!

— Алло?

— Это господин Эрфе? — Какой-то незнакомый мужчина. Греческий акцент почти неразличим.

— Слушаю. Кто говорит?

— Будьте любезны, посмотрите в окно.

Щелк! Молчание. Я постучал по рычажку — безрезультатно. Повесили трубку. Захватив с кровати халат, я выключил свет и рванулся к окну.

С четвертого этажа открывался вид на боковую улочку.

На той ее стороне, чуть ниже по склону холма, задом ко мне стоял у обочины желтый таксомотор. Стоял себе и стоял. Как раз на гостиничном пятачке. Из-за угла появился человек в белой рубашке, торопливо прошел по дальнему тротуару. Вровень с моим окном пересек мостовую. Человек как человек. Пустынная улица, фонари, закрытые магазины, темные конторы, случайное такси. Прохожий исчез из поля зрения. И сразу...

Прямо напротив и чуть пониже меня на стене противоположного здания горел фонарь, освещая вход в какой-то торговый пассаж. Со своего места вглубь заглянуть я не мог.

Из пассажа вышла девушка.

Мотор такси заурчал.

Она знала, что я на нее смотрю. Встала на бровку, щупленькая, та же — и не та, подняла голову, встречая мой взор. Свет фонаря выхватывал из темноты загорелые руки, но лицо оставалось в тени. Черный сарафан, черные туфли, строгая черная сумочка на левом предплечье. Позировала на свету, как гулящая; как позировал Роберт Фулкс. Ни шага, ни жеста, лишь взгляд — наклонный мост. Раз-два-три... секунд через пятнадцать все было кончено. Такси тронулось с места, подкатило к ней задним ходом. Открылась дверца, девушка юркнула на сиденье. Желтый автомобиль вихрем понесся прочь. Жгуче всхлипнули тормоза на повороте.

Кристаллик — вдребезги.

Все ложь, ложь.

67

В последний миг я хрипло выкрикнул ее имя. Может, откопали где-то дублершу, похожую на нее как две капли воды? Да нет, эту походку не собезьянничаешь. Походку, осанку.

Скакнув к телефону, я вызвал портье.

— Можете вычислить, с какого аппарата звонили? — Он не понял, что значит «вычислить».— Откуда звонили, с какого номера?

Нет, не может.

Не болтались ли в холле посторонние? В кресле посидеть никто не забредал?

Нет, мистер Урф, никто не забредал.

Я закрутил кран в ванной, кое-как оделся, выбежал на площадь Конституции. Прочесал все кафе, заглянул во все такси, совершил рейд к Зонару, к Тому, к Запорити, побывал в остальных ближних забегаловках; соображать я не мог, мог только́ без конца повторять ее имя, хрупать ее именем словно ореховой скорлупой.

Алисон. Алисон. Алисон.

Теперь все ясно, ох, до чего ясно! Очевидность есть очевидность, против нее не попрешь: Алисон на их стороне. Но как же она согласилась? Как, отчего? Отчего, отчего?

Я вернулся в гостиницу.

Кончис, несомненно, пронюхал о нашей ссоре, а то и подслушал ее: где кинокамера, там и микрофоны, и магнитозапись. А ночью или рано утром вошел с ней в контакт... циркуляры в Норе: *касаточка.*

Постояльцы в Пирее, видевшие, как я скребусь в дверь ее номера. Услыхав от меня о существовании Алисон, Кончис, похоже, навострил ушки; узнав же, что она приезжает в Афины, усложнил первоначальный сценарий. Его люди не спускали с нас глаз ни на секунду; а ночью он подступил к ней с уговорами, использовал все свое обаяние, даже прилгнул для начала... укол бесполой ревности: вот он рассказывает ей правду; я-де собираюсь преподать вашему самонадеянному приятелю урок на всю жизнь. По странной ассоциации я вспомнил, на каких высоких тонах мы с Алисон, бывало, обсуждали новых писателей и художников. Выпячивать их недостатки было куда приятней, чем выслушивать ее восторги; я и тут чувствовал себя ущемленным... а она, умница, отважно бросала: да не кипятись, от тебя не убудет.

Или это Кончис, а не случай свел меня с Алисон? Разве не он вынудил меня ехать в Афины, отменив каникулы на вилле? Разве не предлагал свой деревенский дом, если мы захотим пожить на острове? Правда, «Джун» в последней нашей беседе призналась, что эксперимент строился на импровизации, что «мышь» и наблюдатель возводили лабиринт на паритетных началах. Похоже, она не врала: итак, после свары в пирейской гостинице они в лепешку расшиблись, но уломали Алисон помогать им, уломали с помощью своей извращенной логики, с помощью маниакальной лжи, с помощью денег... а может, открыли ей главную тайну, разгадка которой мне до сих пор недоступна: почему выбор пал именно на меня. Как припомнишь, сколько лжи я нагородил об Алисон, а они прекрасно понимали, что я вру... я аж застонал от стыда.

И потом, если рассуждать здраво, «Джун» они почему-то не дали как следует развернуться. Судя по богатому выбору маскарадных костюмов в Норе, до того как в «спектакль» вмешалась Алисон, второй двойняшке предназначалась одна из ключевых партий. Первое же столкновение с нею лицом к лицу, губами к губам — скрытый вызов моему мужскому постоянству, навязчивая ахинея вокруг повести «Сердца трех»,— свидетельствовало об их изначальных планах. Воскресный пляж, бесстыдство ее наготы... наверно, сразу-то Кончис поостерегся целиком положиться на Алисон и заготовил запасной вариант. Постепенно Алисон доказала, что не лыком шита, и «Джун» отставили в сторонку. Отсюда же — резкая перемена рисунка и пафоса роли Лилии: из призрачной невесты она мигом перевоплотилась в коварную Цирцею.

Портшез-катафалк. Он вовсе не был пуст; они пожелали, чтоб Алисон воочию убедилась в эффективности их методик. Безжалостный хлыст полосовал мою душу, одну за другой сдирая с нее защитные оболочки. Суд: «Девушки не раз становились жертвами...» — это она, она им рассказала. И про свои угрозы наложить на себя руки перед моим отъездом. Все, что им известно о моем прошлом, рассказала она.

Я обезумел от ярости. Какая горькая, искренняя кручина одолела меня при известии о ее смерти! А она все это время ошивалась в Афинах; или в деревенском доме; или на том берегу, в Бурани. Подглядывала за мною. Лилия была Оливией, я — Мальволио, Алисон — невидимкой Марией; голова кру́гом от шекспировских аллюзий.

Я мерил шагами номер, предвкушая расправу. Ну, попадись мне, измордую так, что свои не узнают, горючими слезами умоешься.

И вновь я поразился Кончису, его тайному могуществу, его уменью обрабатывать сообразительных девушек вроде Лилии и своенравных вроде Алисон. Он точно владел неким знанием, коим делился с ними, а взамен обращал их в рабство; а со мной не делился, выталкивал в ночь, вон из круга.

Итак, я не Гамлет, оплакивающий Офелию. Я Мальволио, вечный юродивый, я Мальволио.

Сна ни в одном глазу; съездить, что ли, в Элиникон, свернуть шею девушке за стойкой? И подошедший к телефону мужчина, и сама девушка как-то слишком упорно выясняли, кто я такой; их явно попросили подыг-

рать, Алисон-то и попросила. Но там я ничего не добьюсь. Скорее всего, они сунут мне под нос те же подложные вырезки.

Но что-то ведь надо предпринять! Я спустился в холл и разыскал ночного портье.

— Мне нужно срочно позвонить в Лондон. Вот по этому телефону.— Записал номер на бумажке. Вскоре портье указал на одну из кабинок.

Стоя там, я прислушивался к вяканью звонка в своей бывшей квартире на Рассел-сквер. Трубку долго не брали. Наконец чей-то голос:

— Что за черт... кто это?

— Вас Афины вызывают,— сообщила телефонистка.

— Какие еще Афины?

— Порядок,— вмешался я.— Алло?

— Да кто это, а?

Постепенно девушка на том конце провода совсем проснулась и стала отвечать охотней. Разговор с ней влетел мне в четыре фунта, но я о них ничуть не пожалел. Выяснилось, что Энн Тейлор действительно уехала в Австралию, но шесть недель назад. Рук на себя никто не накладывал. Официальной съемщицей квартиры Энн числилась теперь какая-то девушка, «кажется, подружка»; но моя собеседница «вот уже месяц, что ли», ее не видела. Да-да, блондинка; они только два раза встречались; да, вроде бы тоже из Австралии. А в чем, собственно...

Вернувшись в номер, я вспомнил о цветочке, который вечером вдел в петлицу пиджака. Тот порядком скукожился, но я вынул его из петлицы и поставил в стакан с водой.

Неожиданно меня сморил богатырский сон. Проснулся я поздно. Повалялся в постели, вслушиваясь в рокот уличного транспорта и размышляя об Алисон. Попробовал воссоздать в памяти вчерашнее выражение ее запрокинутого лица: сарказм? сострадание? обещанье лучшего? худшего?.. Времени, чтобы воскреснуть, у нее было в обрез. Очутившись в Лондоне, я мгновенно бы все выяснил; поэтому воскресение и состоялось тут, в Афинах.

И мне предстоит взять след.

Увидеть ее, встретиться, поговорить с ней, вытянуть, вытрясти правду, втолковать, до чего гнусно она меня предала. Пусть осознает, что и проползи она на карачках вдоль всего экватора, я не прощу. С нею покончено. Меня от нее выворачивает. Дезинтоксикация удалась вдвойне. Господи боже, только бы до нее добраться. Но я не стану, ни в коем случае не стану идти по следу.

Затаюсь. Теперь они сами приведут ее ко мне, дайте срок. И на сей раз я не выпущу плеть.

К завтраку я спустился в полдень; и обнаружил, что в засаде сидеть не придется. Ибо меня дожидалось новое рукописное послание. Не в пример предыдущему, оно состояло из одного слова: «Лондон». Я вспомнил циркуляр, найденный в Норе: *К концу июля сворачиваем всю активность, кроме сердцевинной.* Алисон и есть сердцевина, Алисон и есть Незримая Астарта.

Я отправился в трансагентство, выкупать билет на вечерний лондонский рейс. На стене висела карта Италии. Пока оформляли билет, я отыскал на ней Субиако; и решил выкинуть фортель. Пускай теперь кукловоды денек поскучают без своей марионетки.

На обратном пути я зашел в центральный книжный магазин на углу Стадиу и потребовал определитель травянистых растений. С водой я спохватился поздновато, цветочек пришлось выбросить. На английском у нас ничего нет, сказала продавщица, но есть дорогой французский атлас, где приведены названия на разных языках. Я для вида полюбовался цветными таблицами, затем открыл указатель. Alyssum, стр. 69.

Вот он, на вкладке: узкие листочки, бледное соцветьице. Alysson maritime... parfum de miel... [1] от греч. *а* (отрицательный префикс), *лисса* (безумие). По-итальянски называется так-то, по-французски так-то.

По-английски: *медовая алисон.*

---

[1] Бурачок матросский... медовый аромат... (*франц.*).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Поистине, философия достигнет вершин успеха, если ей когда-нибудь удастся обнаружить средства, используемые Провидением с тем, чтобы привести человека к своему предназначению. Только тогда мы сможем предписывать несчастному двуногому животному определенные способы поведения, указав ему верный путь среди житейских терний. Только тогда человек освободится от причудливых капризов судьбы, которой мы даем двадцать различных имен, поскольку ничего конкретного о ней не знаем.

Де Сад. «Несчастная судьба добродетели»

68

Рим.

Я покинул Грецию несколько часов назад, а казалось — несколько недель. Солнце тут светило в упор, манеры были изящнее, архитектура и живопись — разнообразнее, но итальянцы, подобно их предкам, римлянам, словно бы прятались от света, правды, от собственной души за тяжелой ширмой роскоши, за маской изнеженности. Мне так недоставало греческой прекрасной наготы, человечности; низменные, расфуфыренные жители Рима отталкивали меня, как иногда отталкивает твое отражение в зеркале.

Встав пораньше, я успел на электричку до Тиволи и Альбанских холмов, пересел на автобус, трясся на нем до Субиако, там перекусил и по краю зеленого ущелья отправился в горы. Дорога привела меня в безлюдный дол. Далеко внизу слышались шум воды, птичье пение. Тут начиналась тропинка, бегущая меж тенистых падубов к узким ступенькам, вырубленным в отвесной скале. Обитель прилепилась к ней, как ласточкино гнездо, и потому напоминала греческий православный монастырь. Над ущельем кокетливо нависала стрельчатая аркада, а ниже по склону спускались возделанные терраски. Изысканные фрески на внутренней стене; прохлада, спокойствие.

У дверей галереи сидел старый монах в черном. Я спросил, можно ли видеть Джона Леверье. И пояснил: англичанина, который нашел здесь приют. К счастью, я захватил его письмо. Старик придирчиво изучил подпись, потом, когда я совсем было решил, что след ложный, кивнул и, ни слова не говоря, стал спускаться по какой-то лестнице. Я вошел в приемную, украшенную мрачными росписями; смерть протыкает мечом юного сокольничего; средневековый комикс: вот девушка прихорашивается перед зеркалом, вот она же в гробу, вот ее скелет, обтянутый лопнувшей кожей, вот жалкая горстка костей. Послышался смех, старый монах что-то весело выговаривал по-французски своему молодому товарищу; оба они приближались ко мне из глубины приемной.

— Oh, si tu penses que le football est un digne sujet de méditation... [1]

Появился и третий; вздрогнув, я понял: это и есть Леверье.

Высокий, с короткой стрижкой, худым загорелым лицом, очки в стандартной отечественной оправе; англичанин до кончиков ногтей. Он помахал рукой: вы хотели меня видеть?

— Я Николас Эрфе. С Фраксоса.

Он как-то сразу и удивился, и смутился, и рассердился. После долгого колебания протянул руку. Мне, взопревшему после ходьбы, она показалась сухой и прохладной. Он был дюйма на четыре выше меня, на столько же лет старше и вел себя иронично, словно старшекурсник с абитуриентом.

— Вы что, специально ехали в такую даль?

— Нет, просто заскочил по дороге.

---

[1] Ну, коли ты считаешь футбол подходящей темой для размышлений... (*франц.*).

— По-моему, я ясно дал понять, что...

— Дали, но...

Обменявшись этими незаконченными фразами, мы не удержались от кислых улыбок. Он решительно посмотрел мне в глаза.

— Боюсь, вы все-таки напрасно приехали.

— Честно говоря, я и помыслить не мог, что вы...— я робко указал на его одеяние.— Я думал, монахи подписываются...

— «Ваш брат во Христе»? — Слабая улыбка.— Здесь забываешь о формальностях. Не знаю, хорошо это или плохо.

Он опустил голову, повисла неловкая пауза. Может, лишь для того, чтобы прервать эту неловкость, он смягчился:

— Что ж. Коль скоро вы здесь, я покажу вам монастырь.

Я открыл рот, чтобы сказать, что я не турист, но он уже вел меня во внутренний двор. Я осмотрел непременных воронов [1] и ворон, священную ежевику, на которой расцвели розы после того, как туда упал святой Бенедикт. У меня слишком живое воображение, чтобы относиться к таким вещам подобающим образом; вот и сейчас, вместо того чтобы размышлять об умерщвлении плоти, я представил себе человека, споткнувшегося на буераке и голышом влетевшего в колючие кусты... Нет, работы Перуджино произвели на меня более сильное впечатление.

О лете 1951 года я не выяснил ровным счетом ничего, зато кое-что узнал о самом Леверье. В Сакро Спеко он всего несколько недель, а раньше проходил послух в одном из швейцарских монастырей. Он изучал историю в Кембридже, бегло говорил по-итальянски, «совершенно незаслуженно считался» знатоком английского монашества второй половины XV века — собственно, он и попал в Сакро Спеко, чтобы покопаться в знаменитой библиотеке; в Грецию ни разу не возвращался. Он и тут оставался английским интеллектуалом — боялся показаться смешным и делал вид, что всего лишь притворяется монахом, а на самом деле этот маскарад ему даже чуточку в тягость.

На закуску он провел меня по террасам, где размещались угодья. Я через силу восторгался огородами и виноградниками. Наконец он направился к деревянной скамье под смоковницей. Мы сели. Он все отводил глаза.

— Вы разочарованы. Но я предупреждал.

— Приятно встретить товарища по несчастью. Даже если он немой.

Перед нами была клумба, обсаженная самшитом, а за ней — голубое марево раскаленных солнцем склонов. Из глубины ущелья доносился рокот реки.

— Товарища — да. Но по несчастью ли?

— Я просто думал, что мы можем обменяться впечатлениями.

Помолчав, он сказал:

— Сущность его... системы — именно в том, чтобы отучить вас «обмениваться впечатлениями».— Это прозвучало как намеренная грубость. Он только что не гнал меня взашей. Я искоса посмотрел на него.

— Ведь вы здесь потому...

— Когда дорога забирает вверх, понимаешь, что идти скоро станет труднее. Но почему она забирает вверх — не понимаешь.

— Со мной все могло быть не так, как с вами.

— А с какой стати должно было быть именно так? Вы католик? — Я помотал головой.— Хотя бы христианин? — Я снова помотал головой. Он пожал плечами. Под глазами у него обозначились темные круги усталости.

— Но я верю в людское мило...сердие.

— От меня, друг мой, вы не милосердия добиваетесь. А признаний, к которым я не готов. Мне как раз кажется, что по-настоящему милосердным будет не делать этих признаний. Будь вы на моем месте, вы бы поняли.— И добавил: — Чем скорее мы расстанемся, тем раньше вы поймете.

---

[1] Ворон — эмблема монашеского ордена бенедиктинцев.

В его голосе послышалось раздражение, он умолк.
Потом сказал:
— Простите. Вы вынудили меня на резкость. Сожалею.
— Я, пожалуй, пойду.
С видимым облегчением он встал.
— Я не хотел вас обидеть.
— Понимаю.
— Я провожу вас до ворот.
И мы пошли обратно: через беленую дверь, вделанную в скалу, через комнатки, похожие на тюремные камеры, в приемную с загробными сюжетами на стенах: тусклые зеркала вечности.
— Забыл расспросить вас о школе,— сказал он.— Там был ученик по фамилии Афендакис, очень способный. Я по нему скучал.
Мы задержались под аркадой, у фресок Перуджино, и поговорили о школе. Видно было, что она его не интересует, что он просто пытается сгладить свою резкость, смирить гордыню. Но и тут он следил за собой, боясь показаться смешным.
Мы пожали друг другу руки.
— Это одно из священнейших мест Европы,— сказал он.— Наставники учат, что наши гости — какому бы богу они ни молились — должны уходить отсюда... кажется, так: «обновленными и утешенными».— Он умолк, словно ожидая возражений, колкостей, но я не проронил ни слова.— Еще раз подчеркиваю, что молчал столько же в ваших интересах, сколько в своих.
— Хотелось бы верить.
Учтивый кивок, скорее в итальянском, чем в английском духе; каменная лестница, тропинка меж падубов.
Из Субиако автобус отправился только вечером. Он мчался по долгим зеленым долинам, мимо горных селений, вдоль осиновых рощ, уже тронутых желтизной. Небо из нежно-синего стало янтарно-розовым. Старики отдыхали у своих хижин; попадались лица, напоминавшие о Греции,— загадочные, уверенные, спокойные. Я понял,— может быть, благодаря бутылке вердиччо, которую выпил, чтобы скоротать ожидание,— что мир, чья печать врезана в меня навсегда, первичнее мира Леверье. И сам он, и его вера мне неприятны. Казалось, эта неприязнь и полупьяная нежность к древнему, неизменному греко-латинскому миру — одно. Я — язычник, лучшее во мне — от стоиков, худшее — от эпикурейцев; им и останусь.
Пока ждал электричку, выпил еще. Станционный бармен все втолковывал мне, что там, на сиреневом холме под лимонным с прозеленью небом, было поместье поэта Горация. Я пил за здоровье Сабинского холма; один Гораций — лучше десятерых святых Бенедиктов; одно стихотворение — лучше десяти тысяч проповедей. Потом-то я понял, что в данном случае Леверье, пожалуй, согласился бы со мной; ведь и он обрек себя на изгнание; ведь иногда безмолвие — это и есть стихи.

69

Если Рим, город дурного тона, после Греции нагоняет одну тоску, то уж Лондон, город мертвенной желтизны, в пятьдесят раз тоскливее. На просторах Эгейского моря я забыл, как он огромен, как уродлив, как по-муравьиному суматошен. Словно вам подсунули мусор вместо бриллиантов, серую чащобу вместо солнечного мрамора; и пока автобус из аэропорта буксовал в безбрежном предместье между Нортолтом и Кенсингтоном, я гадал, как можно вернуться к этой природе, к этим людям, к этой погоде по собственной воле: По грязно-синему небу ползли вспученные белые облака; а рядом кто-то сказал: «Отличный денек выдался!» В ореоле блекло-зеленого, блекло-серого, блекло-коричневого лондонцы за окнами двигались однообразно, как заводные. В Греции каждое лицо говорит о цельном, оригинальном характере; я так привык к этому, что перестал замечать. Ни один грек не похож на другого; лица же англичан в тот день сливались в одно лицо.

В четыре я сидел в гостинице у аэровокзала и думал, что́ предпринять. В десять минут пятого снял трубку и набрал номер Энн Тейлор. Никто не подошел. Без двадцати пять я позвонил еще раз, снова безрезультатно. Целый час я заставлял себя читать журнал; опять длинные гудки. Я поймал такси и поехал на Рассел-сквер. Алисон ждет меня там, а нет — оставила записку, где ее найти. Сейчас что-нибудь выяснится. Зачем-то я зашел в бар, заказал виски и выждал еще четверть часа.

Наконец я направился к дому. Дверь подъезда, как всегда, на задвижке. Звонок на третий этаж — никакой таблички. Я поднялся по лестнице, остановился у двери, прислушался, ничего не услышал, постучал. Тишина. Еще постучал, еще. Музыка! — нет, сверху. Я последний раз постучал в квартиру Энн Тейлор, поднялся на четвертый. В тот вечер мы всходили по этим ступенькам вместе с Алисон: ей нужно было принять ванну. Сколько жизней прошло с тех пор? И все-таки Алисон где-то здесь, рядом. Да, рядом: в верхней квартире. Я сам не понимал, что делаю. Наитие вытеснило логику.

Я зажмурился, сосчитал до десяти, постучал.

Шаги.

Открыла девушка лет двадцати, в очках, полная, губы вымазаны помадой. Я заглянул ей за плечо, через прихожую — в комнату. Парень и еще одна девушка застыли в нелепых позах — видно, они показывали хозяйке новые танцевальные па; джаз, вся комната в лучах заката; три неподвижные фигуры, словно остановленные неким современным Вермеером. Заметив, как я расстроен, девушка у двери ободряюще улыбнулась.

Я отступил назад.

— Простите. Ошибся квартирой.— И стал спускаться. Она вдогонку спросила, кто мне нужен, но я ответил: — Да все в порядке. Второй этаж.— Надо было торопиться, пока она не выстроила простейшую цепочку: мой загар, бегство, загадочный звонок из Афин.

Я вернулся в бар, а потом пошел в итальянский ресторанчик, который мы когда-то любили; точнее, Алисон любила. Там все гужевался блумсберийский полусвет: аспиранты, безработные актеры, газетчики (в основном молодежь) и люди вроде меня. Завсегдатаи были те же, зато я изменился. Чем дольше я слушал их болтовню, тем яснее мне открывалось, сколь узок круг их интересов, сколь они парадоксально неопытны, тем сильнее чувствовал свою инородность. Я оглядывался, ища, с кем бы мне хотелось познакомиться поближе, подружиться,— и не находил. Еще одно доказательство, что я утратил английскость; и я вдруг подумал, что так, наверное, не раз было с Алисон: радость и замешательство при встрече с англичанами — у вас общий язык, общее происхождение, и при всей этой общности ты никогда не станешь одним из них. У тебя не просто нет корней. У тебя нет национальности.

Я снова наведался на Рассел-сквер, но на третьем этаже свет не горел. И я вернулся в гостиницу ни с чем. Старик, глубокий старик.

Утром я отправился в агентство по найму жилья, надзиравшее за домом на Рассел-сквер. Размещалось оно на Саутгемптон-роуд, над какой-то лавчонкой, в занюханной анфиладке комнат, обмазанных зеленой краской. Ко мне вышел насморочный клерк — тот, с которым я имел дело в прошлом году; он меня тоже припомнил, и скоро я вытянул из него те немногие сведения, какими он располагал. Квартира числилась за Алисон с начала июля — с нашей поездки на Парнас прошло недели две. Жила она там или нет, он не знает. Заглянул в копию нового договора. Адрес прежней съемщицы не изменился.

— Наверно, вместе жили,— сказал клерк.

Вот и все.

Почему бы не успокоиться? Зачем продолжать поиски?

Но, вернувшись из агентства, я весь вечер просидел в номере, ожидая известий. Назавтра я переехал в гостиницу «Рассел», так что теперь мне

достаточно было нескольких шагов, чтобы увидеть дом на том конце площади, чтобы караулить, когда зажгутся темные окна третьего этажа. Прошло четыре дня, окна не загорались; ни писем, ни звонков, ни малейшей надежды.

Я издергался и пал духом, подкошенный этим необъяснимым затишьем. Я волновался, не потеряли ли они меня, знают ли, где я, и злился, что волнуюсь.

Меня душила жажда увидеть Алисон. Увидеть. Чтобы вырвать у нее разгадку, чтобы... я сам не сознавал что. Целую неделю я ходил в кино, в театры, лежал в номере и глядел в потолок, надеясь, что молчащий телефон сжалится и зазвонит. Чуть не отправил в Бурани телеграмму с собственным адресом; гордость не позволила.

Наконец я сдался. Гостиница, Рассел-сквер, пустые окна осточертели мне. На витрине табачного киоска я увидел объявление: «Сдается квартира». Собственно, квартирой это назвать было нельзя: душная мансарда двухэтажной швейной на северном конце Шарлотт-стрит, по ту сторону Тоттнем-Корт-роуд. Дороговато, но с телефоном; а хозяйка, хоть и жила в полуподвале, оставалась истинной шарлоттстритской богемой разлива тридцатых годов: неряха, тертый калач, заядлая курильщица. Не прошло и пяти минут, как она сообщила, что Дилан Томас был ее «близким другом» — «Господи, сколько раз я его, бедолагу, в постель укладывала». Верилось с трудом; на Шарлотт-стрит говорят «Дилан здесь ночевал» (или «отходил») с тем же упорством, с каким в провинциальных гостиницах твердят то же самое о Елизавете II. Но она пришлась мне по душе — «Я Джоан, но все меня называют Кемп». В голове у нее, как и на кухне, и на полотнах, царил полный бардак; однако сердце было золотое.

— По рукам,— сказала она, когда я осмотрел квартиру и согласился.— Пока платите, живите. Водите кого угодно и когда угодно. До вас тут жил сутенер. Само очарование. На той неделе его сцапали подлые фашисты.

— О господи.

Она указала подбородком:

— Вон те.

Оглянувшись, я увидел на углу двух молодых полицейских.

Обзавелся я и подержанной тачкой. Корпус никуда не годился, крыша протекала, но мотор, пожалуй, год-два еще мог протянуть. Для начала я торжественно вывез Кемп в «Замок Джека Соломины». Она пила и ругалась как извозчик, но в остальном не обманула ожиданий: отнеслась ко мне с участием и доверием, сразу приняла резоны, по которым я не устраивался на работу; ее теплая горечь помогала мне свыкаться с Лондоном и англичанами; и — хотя бы на первых порах — скрашивала мою застарелую бесприютность, мое одиночество.

70

На протяжении августа глубокое отчаяние то и дело сменялось полным безразличием. Я задыхался в сером воздухе Англии, как рыба в застойной воде. Изгнанный Адам, я вспоминал светоносные пейзажи, соль и тимьян Фраксоса; вспоминал Бурани, где со мной произошло невероятное, и к концу одного квелого лондонского дня понял: у меня уже нет сил жалеть, что оно все-таки произошло, и нет сил простить Кончису роль, которую он заставил меня играть. Ибо речь, как постепенно прояснялось, шла лишь о смиренной констатации факта, о забвении вреда, мне причиненного; я и мысли не допускал, что сам причинил кому-то вред.

Например, Лилии. Как-то я чуть не разбил машину, затормозив при виде стройной длинноволосой блондинки, сворачивающей за угол. Наспех припарковался, побежал следом. Но, не успев догнать, понял: нет, не Лилия. Я бросился за незнакомкой потому, что хотел увидеть Лилию, поговорить с ней, постичь, наконец, непостижимое; а не потому, что тосковал по ней. Тосковать можно было по отдельным ее ипостасям — но именно эта дробность исключала всякую вероятность любви. Ее первый, светлый лик был для меня чем-то вроде романтического воспоминания,

нежного, но отдаленного; темный же, теперешний, вызывал лишь ненависть.

С середины августа, чтобы отвлечься от ожидания, от привкуса пережитого, что неуклонно просачивался в повседневность, я пытался напасть на след Кончиса и Лилии; а значит, и на след Алисон.

Эти разыскания служили пусть непрочной и обманчивой, но защитой; они смягчали бесплодную тоску по Алисон. Бесплодную, ибо иное чувство пробивалось во мне, чувство, которое я силился и не мог выполоть — в основном потому, что знал: это Кончис заронил его в мою душу и теперь орошает пустотой и молчанием, которыми умышленно меня окружил; чувство, не утихающее ни днем, ни ночью, презренное, лживое, постылое, но растущее, как нежеланный плод растет в материнском чреве, вселяя ярость, но в минуты гармонии осеняя... я боялся произнести чем.

И тогда его заслонили розыски, версии, переписка. Я решил забыть все, что наговорили мне Кончис и девушки: где там правда, где ложь? Большей частью я просто искал хоть какой-то след, хоть какую-то улику: ведь даже гений обмана иногда пробалтывается.

Заметка о смерти Алисон. Судебный репортаж мог появиться только в «Холборн газетт», но там они набираются иначе.

Брошюра Фулкса. В отличие от брошюры Кончиса, числится в каталоге Британского музея.

Военная история. Письмо майора Артура Ли-Джонса.

Уважаемый мистер Эрфе!

Боюсь, что Вы, как сами предполагаете, хотите невозможного. В нёшапельской бойне участвовали в основном регулярные войска. Маловероятно, чтобы туда попали добровольцы Кенсингтонского полка принцессы Луизы, даже при описанных Вами обстоятельствах. Впрочем, документы тех безумных лет не дают полной картины происходившего, и я могу лишь предполагать.

Упоминаний о капитане Монтегю найти не удалось. Конкретного офицера установить обычно легче. Но он мог быть прикомандирован к какой-либо части.

Де Дюкан. Этой фамилии нет ни в Готском альманахе, ни в иных источниках такого рода. Живре-ле-Дюк не отмечен даже на самых подробных картах Франции. Паук Theridion deukansii не существует, хотя есть род Theridion.

Сейдварре. Письмо Юхана Фредриксена.

Уважаемый сэр!

Мэр Киркенеса передал мне, который являюсь школьным учителем, Ваше письмо ответить. Есть в Пасвикдале место Сейдварре, и была там семья Нюгор много лет назад. Неизвестно, к сожалению, что случилось с этой семьей.

Очень рад быть вам полезным.

Я обрадовался еще больше его. Кончис был там, там что-то произошло. Хоть капля правды.

Мать Лилии. Я съездил в Сёрн-Эббес, не надеясь отыскать там ни Эйнсли-коттеджа, ни вообще чего-либо стоящего. И не отыскал. Заехал позавтракать в маленькую гостиницу и сказал управляющей, что знал девушек из Сёрн-Эббес, очень симпатичных, но позабыл их фамилию. Чем привел ее в полное недоумение: она знала в деревне каждую собаку, но ума приложить не могла, о ком я говорю. «Директор» школы оказался директрисой. Письма, несомненно, были сфабрикованы на Фраксосе.

Шарль-Виктор Брюно. У Гроува [1] не значится. Человек из Королевской

[1] Обиходное название «Словаря музыки и музыкантов», первое издание которого осуществлено Джорджем Гроувом (1820—1900).

музыкальной академии, с которым я разговаривал, никогда не слышал о нем; и тем более о Кончисе.

Костюм Кончиса на «суде». Возвращаясь из Сёрн-Эббеса, я заехал в Хангерфорд пообедать и по дороге к гостинице увидел антикварную лавку. В витрине красовались пять старинных карт таро. На одной из них был изображен человек, одетый в точности как Кончис тогда, даже рисунки на плаще те же самые. Подпись: «LE SORCIER» — волшебник. Лавка была на замке, но я записал адрес, и эту карту мне потом прислали — «прелестная вещица XVIII века».

Увидев ее в витрине, я похолодел, оглянулся по сторонам — словно ее выставили тут специально для меня, словно за мной наблюдают.

«Психологи» на суде. Я навел справки в Тавистокской клинике и в американском посольстве. Имен, названных мной, никто не знал, хотя некоторые институты и существовали. Дальнейшие изыскания никаких сведений о Кончисе не принесли.

Невинсон. Так звали человека, преподававшего в школе лорда Байрона до войны; его оксфордский колледж был указан в книге, найденной мною в библиотеке. Канцелярия Бейлиола выслала мне его теперешний адрес — в Японии. Я написал туда. Через две недели пришел ответ.

Английский факультет
Осакского университета

Уважаемый мистер Эрфе!

Спасибо за письмо. Оно пришло словно из давнего прошлого, удивив меня необычайно! Однако я счастлив слышать, что школу пощадила война; надеюсь, Вам там понравилось так же, как и мне.

Про Бурани я и позабыл. Теперь припоминаю и виллу, и (очень смутно) ее хозяина. Не с ним ли мы жарко спорили о Расине и предопределении? Кажется, с ним, хотя точно сказать не могу: столько воды утекло!

Что до других довоенных «жертв» — тут от меня, увы, мало толку. С моим предшественником я не встречался. Знал я Джеффри Сагдена, он там работал через три года после меня. О Бурани он ничего примечательного не сообщал.

Если окажетесь в наших краях, буду рад поболтать о днях былых и угостить Вас хоть и не узо, но сакэ пу на пинете.

Искренне Ваш
Дуглас Невинсон.

Виммель. В конце августа — неожиданная удача. У меня заболел зуб, и Кемп отправила меня к своему дантисту. В приемной, просматривая старый киношный журнал (за январь прошлого года), я наткнулся на фото лже-Виммеля. Чуть ли не в том же фашистском мундире. Под снимком — врез:

> *Игнаций Прушинский, играющий жестокого немца, коменданта города, в лучшем польском фильме о Сопротивлении «Тяжелые испытания», в жизни исполнял совсем иную роль. Во время оккупации он возглавлял подпольную группу, за что удостоен польской награды, примерно соответствующей нашему Кресту Виктории.*

Гипноз. Я прочел о нем пару книг. Кончис, несомненно, владел этими навыками профессионально. Постгипнотическое внушение — команды, выполняемые по условному сигналу, когда испытуемый уже вышел из транса и внешне вернулся в нормальное состояние,— «технически несложно и часто демонстрируется». Но сколько я ни вспоминал, не смог вспомнить ни одного момента, когда, побуждаемый подсознанием, вел себя иначе, чем диктовало сознание. Под гипнозом меня, конечно, «заряжали». Но поступки, совершаемые мною по собственной воле, делали всякое внушение излишним — за исключением каких-нибудь частностей.

Руки над головой. Кончис заимствовал этот жест из древнеегипетских обрядов. То был знак Ка, употребляемый жрецами, чтобы «управлять сверхъестественной энергией космоса». Воспроизведен на многих надгробных памятниках. Его смысл: «Я обладатель чар. Я повелитель сил. Я указую силам». Крест с кольцом на верхушке, нарисованный на стене зала суда,— другой египетский знак, «ключ жизни».

Лента на ноге, оголенное плечо. Атрибуты масонских ритуалов, восходящие, как полагают, к элевсинским таинствам. Ассоциируются с обрядом посвящения.

«Мария». Возможно, и вправду была крестьянкой, из сообразительных. По-французски она произнесла два-три слова, на суде сидела молча, с отсутствующим видом. В отличие от остальных, она *могла* быть тем, чем казалась.

Банк Лилии. На письмо мне ответил подлинный управляющий филиалом банка Баркли. Его звали не П. Дж. Фирн; бланк был другим, чем тот, что я получил на острове.

Ее школа. Жюли Холмс в списках выпускников нет.

Митфорд. Я послал открытку по прошлогоднему нортамберлендскому адресу и получил ответ от его матери. Александр в Испании, сопровождает группу туристов. Я связался с агентством, где он работал: вернется только в сентябре. Я оставил ему записку.

Картины в Бурани. Я начал с Боннара. И в первом же альбоме наткнулся на девушку с полотенцем. Заглянул в список иллюстраций. Оригинал находится в картинной галерее Лос-Анджелеса. Альбом издан в 1950 году. Потом я «нашел» второго Боннара — в Бостонском музее изящных искусств. На вилле висели копии. Модильяни я так и не разыскал; подозреваю, что, судя по кончисовским глазам на портрете, то была даже не копия.

«Ивнинг стандард» от 8 января 1952 года [1]. Фото Лилии нет ни в одном из выпусков.

«Астрея». Мог ли Кончис сыграть на том, что я считал себя отдаленным потомком д'Юрфе? Сюжет «Астреи» таков: пастушка Астрея, наслушавшись гадостей о пастухе Селадоне, порывает с ним. Начинается война, Астрею сажают в тюрьму. Селадон умудряется вызволить ее оттуда, но она непреклонна. Чтобы получить ее руку, ему приходится превратить в каменные статуи льва и единорогов, пожирающих неверных любовников.

Шаляпин. В июне 1914 года пел в «Ковент-гардене», и именно в «Князе Игоре».

«Вас еще призовут». Говоря это во время нашей первой захватывающей встречи, он имел в виду «Я решил вас использовать» — вот и все. Так же следовало понимать и его прощальные слова: «Вот вы и призваны». То есть: «Я таки использовал вас».

Лилия и Роза. В Оксфорде или Кембридже сестры-близнецы, красивые и способные (хотя классическое образование Лилии теперь казалось сомнительным), должны были сиять в два раза ярче, чем Зулейка Добсон [2]. Оксфорд исключался — я сам учился там примерно в те же годы,— и я ткнулся к «чужим». Листал университетские журналы, рассматривал запечатленные в них сцены из студенческих спектаклей, отважился даже навести справки в канцеляриях женских колледжей... все впустую. Она говорила о Джертоне — ни одной подходящей кандидатуры. В Лондонском университете — тоже по нулям.

Обращался я и в столичные театральные агентства. Трижды мне показывали фотографии двойняшек, всякий раз не тех. У Бермена и других костюмеров мне повезло не больше. В «Тавистоке» «Лисистрата» ни разу не ставилась. Королевская театральная академия была бессильна мне помочь. Все,что я вынес из моих блужданий (причем каждый запрос требовал новых

---

[1] По рассеянности или недоброму умыслу Фаулза, Николас ищет фотографию близнецов не в той подшивке. Вырезка, показанная ему Лилией (гл. 46), была датирована 8 января 1953 года.

[2] Заглавная героиня романа (1911) Макса Бирбома.

вымышленных предлогов) — это запоздалое и завистливое восхищение близнецами, так мастерски умевшими врать.

Во всей этой выдумке с «Жюли Холмс» была одна ключевая хитрость. Людям, чей жизненный путь сходен с нашим, трудно не доверять. Она училась в Кембридже, я — в Оксфорде и так далее.

«Отелло», акт I, сцена 3.

> ...Она погублена, погибла,
> Ее сманили силой, увели
> Заклятьем, наговорами, дурманом.
> Она умна, здорова, не слепа
> И не могла бы не понять ошибки,
> Но это чернокнижье, колдовство!

И далее:

> Шагнуть боялась, скромница, тихоня,
> И вдруг, гляди, откуда что взялось?
> Все побоку — природа, стыд, приличье,
> Влюбилась в то, на что смотреть нельзя! [1]

Легендарная шлюха Ио. Лемприер [2]: «В древней варварской традиции Ио и Гио означали землю, в то время как Изи, или Иза,— лед или воду как первичную стихию; и то и другое — имена богини, воплощавшей земное плодородие». Индийская Кали, сирийская Астарта (Астарот), египетская Изида и греческая Ио, как полагают, одна и та же богиня. Ее цвета (в зале суда они преобладали) — белый, красный и черный: фазы луны и периоды жизни женщины (девушка, мать, старуха). Лилия была, несомненно, богиней белого, девственного периода; возможно, и черного тоже. Розу предназначали для красного; но потом эту роль взяла на себя Алисон.

Киностудия «Полим». И как я сразу не заметил эту букву, переставленную из конца в начало?

Тартар. Чем больше я читал, тем определеннее Бурани — особенно на заключительной стадии — отождествлялся для меня с Тартаром. Там правил царь Гадес (Кончис); царица Персефона, носительница разрушения (Лилия) — «шесть месяцев в году она пребывала с Гадесом в царстве мертвых, а шесть — на земле, со своей матерью Деметрой». Был в Тартаре и высший судия — Минос (бородатый председатель?); и, конечно, Анубис-Цербер, черный пес с тремя головами (три обличья?). Именно в Тартар спустилась Эвридика, разлученная с Орфеем.

Сознавая, что роль сыщика, охотника не слишком достойна, я наводил справки с некоторой прохладцей. Но внезапно одна, причем отнюдь не самая убедительная, версия принесла существенные результаты.

71

А что, если Кончис и в самом деле провел детство в Лондоне, а в Сент-Джонс-вуд действительно жила некая Лилия Монтгомери? Убежденный, что гипотеза не подтвердится, как-то в понедельник я тем не менее отправился в Марилебонскую центральную библиотеку и заказал адресные книги 1912—1914 годов. Фамилия Кончис в них, конечно не значится; а Монтгомери? Экейше-роуд, Принц-Альберт-роуд, Хенстридж-плейс, Куинс-гроув... сверяясь с алфавитным перечнем фамилий, я исследовал все подходящие улицы к востоку от Веллингтон-роуд. И вдруг в глаза мне бросилась строчка: «Монтгомери, Фред-к, Эллитсен-роуд, 20».

Фамилии соседей — Смит и Меннингем; правда, второй в 1914 году переехал, уступив место Хакстепу. Я выписал адрес и продолжал поиски. Почти сразу, через пару кварталов, я наткнулся на другого Монтгомери, с Элм-Три-роуд. Впрочем, эту находку вряд ли можно было назвать удачной, ибо полное его имя звучало так: сэр Чарльз Пенн Монтгомери;

[1] Перевод Бориса Пастернака.

[2] Джон Лемприер (ум. в 1824г.) — автор энциклопедии «Классическая библиотека» (1788).

судя по длинным аббревиатурам, светило хирургии; Кончис рассказывал явно не о нем. Соседи — Хэмилтон-Дьюкс и Чарльзворт. На Элм-Три-роуд жил еще один сэр; престижное место.

Дальнейшая сверка новых Монтгомери не выявила.

Я обратился к позднейшим адресным книгам. Монтгомери с Эллитсен-роуд исчез в 1922 году. На Элм-Три-роуд Монтгомери, как ни странно, продержались дольше, хотя сэр Чарльз, похоже, умер в 1922-м; домовладелицей до 1938 года была леди Флоренс Монтгомери.

Позавтракав, я поехал на Эллитсен-роуд. И по прибытии понял, что тут ловить нечего. Домики с верандами вместо «особняков», которые описывал Кончис.

До Элм-Три-роуд я добрался за пять минут. Застройка подходящая: особняки, бывшие конюшни, коттеджи середины прошлого века раскинулись живописной дугой. Время здесь словно остановилось. Дом 46 — из самых представительных. Припарковавшись, я прошел к парадному входу по дорожке, обсаженной гортензиями; позвонил.

Но дом был пуст — до начала сентября. Хозяева уехали отдыхать. Я нашел в справочнике имя владельца: некий Саймон Маркс. В старом выпуске «Кто есть кто» я вычитал, что знаменитый сэр Чарльз Пенн Монтгомери имел трех дочерей. Как их звали, я выяснять не стал, к тому времени уже давясь изысканиями, словно ребенок — остатками пирожного. И потому, однажды увидев у подъезда машину, только что не расстроился: вот-вот развеется очередная робкая надежда.

Дверь открыл итальянец в белой тужурке.

— Скажите, можно увидеть хозяина? Или хозяйку?

— Вас ожидают?

— Нет.

— Хотите что-нибудь продать?

Меня выручил чей-то хриплый голос:

— Кто там, Эрколе?

Лет шестьдесят, еврейка, богато одетая, с умным взглядом.

— Вы знаете, я пишу книгу, и в связи с этим меня интересуют Монтгомери.

— Сэр Чарльз Пенн? Хирург?

— По-моему, он жил здесь.

— Да, он жил здесь.— Слуга не двигался с места, пока она не отпустила его царственным помаванием руки; я сперва подумал, что жест относится ко мне.

— На самом деле... как бы это объяснить... я разыскиваю Лилию Монтгомери.

— Да. Я ее знаю.— Она, похоже, не заметила моей ошарашенной улыбки.— Вы ее ищете?

— Книга — об известном греческом писателе, то есть в Греции известном, и, по моим сведениям, он дружил с мисс Монтгомери, когда жил в Англии, много лет назад.

— Как его звали?

— Морис Кончис.— Имя явно ничего ей не говорило.

Романтика поиска в конце концов пересилила недоверие.

— Сейчас поищу адрес. Заходите.

Я ждал в роскошной прихожей. Аляповатость мрамора и позолоченной бронзы; трюмо; картина, похожая на Фрагонара. Давящее изобилие, нервная дрожь. Через минуту она вернулась с визитной карточкой. «Г-жа Лилия де Сейтас, Динсфорд-хаус, Мач-Хэдем, Хертфордшир» — прочел я.

— Мы не виделись несколько лет,— сказала дама.

— Очень вам благодарен.— Я попятился к двери.

— Может, чаю? Выпьете что-нибудь?

Теперь в ее глазах светилась сдерживаемая алчность, будто она уже предвкушала, как высосет мою кровь. Богомолиха в драгоценной клетке. Я поспешно отказался.

Сев в машину, я в последний раз оглядел окрестности дома 46. Где-то

здесь, возможно, прошла юность Кончиса. За домом высилось нечто вроде фабрики, но из справочника я знал, что это крикетный стадион. Садовых участков за высокими стенами не видно; «садик» теперь скорее всего задавлен нависающими трибунами. Ведь построены они, очевидно, после первой мировой.

Назавтра, в одиннадцать утра, я достиг Мач-Хэдема. День выдался погожий, безоблачный, синий, какие бывают ранней осенью; казалось, я снова в Греции. Динсфорд-хаус стоял в стороне от деревни и, хотя я ожидал большего, впечатление производил: элегантный широкий фасад с изящным, ненавязчивым орнаментом, красно-белый; ухоженный участок величиной примерно с акр. Тут дверь открыла прислуга-скандинавка. Да, г-жа де Сейтас дома — она сейчас в конюшне, сюда, за угол.

Гравийная дорожка ныряла в кирпичную арку. За двумя гаражами виднелась конюшня; я почувствовал запах лошадей. В дверях появился мальчуган с корзиной. Заметив меня, крикнул: «Мама! Тут какой-то дядя!» Следом вышла стройная женщина в брюках для верховой езды, в перчатках, красном платке и красной клетчатой рубашке. На вид ей было не больше сорока: еще не старая, энергичная, со здоровым румянцем.

— Чем могу быть полезна?

— Вообще-то я к госпоже де Сейтас.

— Госпожа де Сейтас — это я.

А я-то думал, она седая, ровесница Кончиса. Вблизи проявились морщины у глаз, легкая, но красноречивая дряблость шеи; пышные каштановые волосы, скорее всего — крашеные. Пожалуй, ей пятьдесят, а не сорок; но все равно лет на десять меньше, чем нужно.

— Госпожа Лилия де Сейтас?

— Да.

— Ваш адрес мне дала миссис Саймон Маркс.— Она скорчила гримаску, и я понял, что это не лучшая рекомендация.— Я пишу книгу, и вы можете мне помочь.

— Я?

— Ведь ваша девичья фамилия — Монтгомери?

— Но отец...

— Книга не о вашем отце.— В конюшне заржал пони. Мальчик смотрел на меня недоверчиво; мать велела ему не глазеть и живо наполнить корзину. Я пустил в ход все свое оксфордское обаяние.— Если я не вовремя, назначьте любой другой день.

— Да мы просто навоз убираем.— Отставила метлу.— Если не об отце, то о ком?

— Я работаю над биографией... Мориса Кончиса.

Я смотрел во все глаза; в лице ее ничто не дрогнуло.

— Мориса... как-как?

— Кончиса.— Я произнес фамилию раздельно.— Это знаменитый греческий писатель. В молодости он жил в Англии.

Она неуклюже откинула с лица прядь волос; типичная деревенская англичанка, которую интересуют лишь лошади, хозяйство да дети.

— Право, мне очень жаль, но тут какая-то ошибка.

— Вы могли знать его как... Чарльзворта. Или Хэмилтон-Дьюкса. Давным-давно. Во время первой мировой.

— Но, друг мой... то есть не друг мой, а...— Очаровательная заминка. Собеседник из нее был, как из слона балерина; но разве можно сердиться на этот загар, на ясные глаза, тронутые голубизной, крепкое тело? — Как вас зовут? — спросила она.

Я представился.

— Мистер Эрфе, вы знаете, сколько лет мне было в четырнадцатом году?

— Судя по вашему виду, немного.

Она улыбнулась, хотя явно считала, что в Англии комплименты неуместны и обременительны.

— Десять.— Оглянулась на сына, нагружавшего корзину.— Вот как Бенджи.

— А эти имена вам... знакомы?

— Боже мой, конечно, но... этот Морис или как его там, он что, бывал у них?

Я покачал головой. Кончис снова поставил меня в глупое положение. Имя Монтгомери он, очевидно, нашел в старой адресной книге; ему оставалось лишь уточнить, как звали дочерей. Но отступать все-таки рано.

— Он был сыном кого-то из них. Кажется, единственным. Очень музыкальный ребенок.

— Боюсь, вы ошибаетесь. У Чарльзвортов детей не было, а сын Хэмилтон-Дьюкса...— Она помедлила, как бы что-то припомнив.— Он погиб на войне.

— По-моему, вы сейчас подумали о ком-то другом.

— Нет... то есть да. Не знаю. Вы сказали «музыкальный»? — И нерешительно: — Ведь это не мистер Крыс? — Засмеялась, сунула руки в карманы брюк.— «Ветер в ивах» [1]. Итальянец, он учил нас играть на фортепьяно. Меня и сестру.

— Молодой?

Она пожала плечами.

— Довольно-таки.

— Что вы еще о нем помните?

Опустила глаза.

— Гамбеллино, Гамбарделло... что-то в этом духе. Гамбарделло? — Она произнесла это со смешком.

— Это фамилия. А имя?

Она не смогла припомнить.

— Почему «мистер Крыс»?

— У него были такие внимательные карие глаза. Как же мы его мучили! — Виновато оглянулась на сына, подталкивавшего ее сзади, словно мучили именно его. И не увидела, как я оживился; нет, фамилию Кончис взял не из адресной книги.

— Он был низенький? Ниже меня?

Напрягая память, она комкала платок. Потом испуганно посмотрела на меня.

— Вы знаете, да... Но ведь это не...

— Будьте добры, позвольте мне расспросить вас. Десять минут, не больше.

Она заколебалась. Я был вежлив, но настойчив: всего десять минут.

— Бенджи, бегом, скажи Гунхильд, пусть сварит нам кофе. И принесет в сад.

Он посмотрел в глубь конюшни.

— А Сачок?

— Сачок подождет.

Бенджи убежал в дом, а г-жа де Сейтас, стягивая перчатки, развязывая платок, повела меня по ивовой аллее, вдоль кирпичной стены, через калитку, в чудесный старый сад; озеро осенних цветов; у дальнего края дома — лужайка, кедр. Мы поднялись на веранду. Качалка с козырьком, гнутые чугунные стулья, выкрашенные белой краской. Нетрудно догадаться, что скальпель принес сэру Чарльзу Пенну Монтгомери целое состояние. Она опустилась в качалку, а мне указала на стул. Я промямлил что-то насчет сада.

— Он ничего, правда? Муж сам за ним ухаживает, а сейчас ему, бедняжке, приходится так редко тут бывать.— Улыбка.— Он экономист. Торчит в Страсбурге.— Она задрала ноги; было в ней что-то легкомысленное, кокетливое; деревенская скука, что ли, так действует? — Но к делу. Расскажите мне про вашего знаменитого писателя, о котором я слышу впервые в жизни. Вы с ним знакомы?

---

[1] Роман-сказка (1908) Кеннета Грэма.

— Он умер во время оккупации.

— Бедный. От чего?

— От рака.— Я поднажал.— Он был очень скрытен, и его прошлое приходится восстанавливать по намекам, разбросанным в его произведениях. Известно, что он был грек, но мог выдавать себя и за итальянца.— Вскинувшись, я поднес огонь к ее сигарете.

— Вряд ли это мистер Крыс. Тот — просто забавный коротышка.

— Он играл только на фортепьяно или на клавикордах тоже?

— Клавикорды — это такая тарахтелка? — Я кивнул, но она развела руками.— Вы же говорили, он писатель?

— Начинал он как музыкант. Понимаете, в его ранних стихах и в этом... в романе — множество упоминаний о безответной, но незабываемой любви, которую он пережил в Англии. Пока, конечно, трудно сказать, что было на самом деле, а что он домыслил.

— А... мое имя там тоже есть?

— Анализируя текст, я пришел к выводу, что имя девушки — это название цветка. Что жила она неподалеку. И что свела их музыка.

Она наклонилась вперед, вся внимание.

— Но почему вы решили, что это именно мы?

— Ну... по ряду причин. Есть и прямые указания. Известно, что рядом был крикетный стадион. В одном... фрагменте он говорит, что у девушки — старинная фамилия. Да, и отец — известный врач. Я вооружился адресными книгами, и...

— Просто поразительно.

— Иначе нельзя. Бьешься как рыба об лед, пока что-нибудь не забрезжит.

Она с улыбкой обернулась к дому.

— Вот и Гунхильд.

За три-четыре минуты, пока сервировался кофе, я успел деликатно расспросить Гунхильд о Норвегии; севернее Тронхейма ей бывать не приходилось. Появился Бенджи, но его отослали; я снова остался наедине с... хм... Лилией.

Для пущей важности я вытащил блокнот.

— Разрешите задать вам несколько вопросов.

— Я чувствую, вы собираетесь меня обессмертить.— Глупо и вульгарно захихикала; мое внимание ей льстило.

— Я думал, он был вашим соседом. Оказывается, нет. Где же он жил?

— Да понятия не имею. В этом возрасте такими вещами разве интересуешься?

— Знали ли вы его родителей? — Покачала головой.— А ваши сестры... они не могут знать больше?

Она помрачнела.

— Старшая сестра — в Чили. Она старше меня на десять лет. А Роза...

— Роза?!

Улыбка.

— Роза.

— Боже мой, это потрясающе. Все сходится. В цикле, посвященном... вам, есть загадочное стихотворение. Весьма туманное, но теперь, когда мы знаем, что у вас есть сестра...

— Была. Роза умерла примерно тогда же. В шестнадцатом.

— От брюшного тифа?

Я сказал это с такой уверенностью, что она растерялась; потом улыбнулась.

— Нет. Желтуха дала какое-то редкое осложнение.— Несколько мгновений она смотрела поверх моей головы.— Моя первая невосполнимая потеря.

— А чувствовали вы, что он неравнодушен к вам... или к вашим сестрам?

Она снова улыбнулась, вспоминая.

— Нам казалось, он тайно влюблен в Мэй, старшую. У нее, конечно,

был жених, но она любила смотреть, как мы занимаемся. Да-да... господи, вот так штука, я как сейчас все это вижу... когда она приходила, он начинал важничать — ну, мы это так называли. Играл головоломные пьесы. А ей нравилась одна вещь Бетховена — «К Элизе», кажется? Мы часто ее напевали, чтоб подразнить его.

— Роза была старше вас?

— На два года.

— Значит, две вредные девчонки и нудный учитель-иностранец?

Она принялась раскачиваться.

— Знаете, это ужасно, но я не помню. То есть да, мы мучили его, паршивки этакие. Но тут началась война, и он исчез.

— Куда?

— Ой. Не могу вам сказать. Понятия не имею. Но вместо него у нас появилась мерзкая старая кувалда. Вот ее мы не-на-ви-дели. Что там, мы скучали по нему. Пижонства в нас было много. Дело прошлое.

— И долго он давал вам уроки?

— Два года? — Почти вопрос.

— Не выказывал ли он особого расположения... к вам?

Надолго задумалась, покачала головой.

— Вы хотите сказать, что он был... извращенец?

— Нет-нет. Ну, к примеру, вы хоть раз оставались с ним наедине?

Шутливое возмущение.

— Ни разу. С нами всегда была гувернантка или сестра. Или мать.

— Вы совсем ничего о нем не помните?

— Сейчас я бы подумала: какой милый человечек. Не знаю...

— Вы или ваша сестра играли на флейте или на рекордере?

— Боже мой, нет.— Она усмехнулась этому дикому предположению.

— Весьма интимный вопрос. Можно ли сказать, что в детстве вы были редкостно красивы?.. Я в этом уверен, но сознавали ли вы, что вы не такая, как все?

Она разглядывала сигарету.

— В интересах, как бы это выразиться, в интересах ваших исследований я, старая крашеная развалина, отвечу вам: да. С меня написан портрет. Он имел большой успех. Признан лучшим на вернисаже Королевской академии в тринадцатом году. Он тут, я вам его покажу.

Я уткнулся в блокнот.

— Так вы не можете вспомнить, куда он делся, когда началась война?

Она закрыла лицо нежными ладонями.

— Господи, вы же не думаете, что... Наверно, его интернировали... но клянусь, я...

— Может, ваша сестра в Чили лучше помнит? С ней можно связаться?

— Конечно. Дать вам адрес? — И я записал его под диктовку.

Прибежал Бенджи, остановился ярдах в двадцати, у астролябии на каменном постаменте. Весь его вид говорил: мое терпение вот-вот лопнет. Она подозвала его, ласково потрепала по голове.

— Милый, твоя бедная мамаша на седьмом небе. Оказывается, она — муза.— Взглянула на меня.— Я правильно говорю?

— Что еще за муза?

— Это леди, которой джентльмен посвящает стихи.

— Вот этот джентльмен?

Рассмеявшись, она повернулась ко мне.

— Он и правда знаменит?

— Расцвет его славы еще впереди.

— Дайте почитать.

— Его книги не переведены. Но их переведут.

— Вы?

— Возможно...— Я притворился скромником.

— Честно говоря, не знаю, что еще могу добавить,— сказала она. Бенджи что-то зашептал ей на ухо. Она засмеялась, вылезла из-под козырька, взяла его за руку.— Вот покажем мистеру Орфе картину — и за работу.

— Только не Орфе, а Эрфе.

Пристыженная, она зажала рот рукой.

— Ну вот, опять я...— Мальчик тянул ее за собой; ему тоже стало неловко от ее промаха.

Мы вошли в дом, миновали гостиную, просторную прихожую и очутились в боковой комнате. Длинный обеденный стол, серебряные подсвечники. В простенке меж окон висел портрет. Бенджи шустро включил подсветку. Настоящая Алиса, длинноволосая, в матроске, выглядывает из-за двери, словно она спряталась, а ищут ее не там, где надо. Глаза живые, горящие, взволнованные, но совсем еще детские. На раме — черная табличка с позолоченной надписью «Сэр Уильям Блант, К. А. [1]. Шалунья».

— Прелестно.

Бенджи заставил мать нагнуться и что-то шепнул ей.

— Он хочет сказать вам, как мы ее называем в семейном кругу.

Она кивнула, и он выкрикнул:

— «Наша мама — сю-сю-сю!» — и улыбнулся, а она взъерошила ему волосы.

Картина не менее прелестная.

Она извинилась, что не приглашает меня к столу: нужно ехать в Хертфорд, «на курсы домохозяек». Я пообещал, что, как только стихи Кончиса выйдут в свет в английском переводе, пришлю ей экземпляр.

В разговоре с ней я понял, как все-таки завишу от старика: не хотелось расставаться с тем образом богатого космополита, который они с «Джун» мне внушили. Теперь я вспоминал, что в его рассказах то и дело возникал отзвук резкого поворота судьбы в 20-х. Я снова принялся строить догадки. Талантливый сын бедного грека эмигранта, скажем с Корфу или с Ионических островов, он мог, стыдясь своего греческого имени, принять итальянское; попытки найти себе место в чуждой эдвардианской столице, отречься от прошлого, от корней, маска, постепенно прирастающая к лицу... и все мы, пленники Бурани, обречены были расплачиваться за отчаяние и унижение, испытанные им в те далекие годы в доме Монтгомери, да и в других таких же домах. Я жал на газ и улыбался — во-первых, тому, что за всеми его наукообразными построениями скрывалась чисто человеческая обида, и, во-вторых, тому, что теперь у меня есть новая убедительная версия, которую надо проверять.

В центре Мач-Хэдема я посмотрел на часы. Половина первого; до Лондона далеко, неплохо бы перекусить. Затормозил у открытого бара, отделанного деревом. Я оказался единственным посетителем.

— Проездом? — спросил хозяин, наливая пиво.

— Нет. Был тут неподалеку. В Динсфорд-хаусе.

— Уютно она там устроилась.

— Вы с ними знакомы?

Галстук-бабочка; гнусный смешанный выговор.

— Не знаком, а знаю. За бутерброды — отдельно.— Дребезжание кассы.— Детишки ихние к нам забегают.

— Кое-какие справки наводил.

— Ну ясно.

Пергидрольная блондинка вынесла блюдо с бутербродами. Протягивая мне сдачу, он спросил:

— Она ведь в опере пела?

— По-моему, нет.

— А болтают, что пела.

Я ждал продолжения, но он, видно, иссяк. Я съел полбутерброда. Задумался.

— Чем занимается ее муж?

— Мужа нету.— Он поймал мой удивленный взгляд.— Я уж два года тут, а о нем ни слуху ни духу. Вот приятели всякие... этого, говорят, хватает.— И подмигнул.

---

[1] Королевская академия.

— Ах вот как.

— Земляки мои. Из Лондона.— Молчание. Он повертел в руках стакан.— Красивая женщина. Дочерей ее видели? — Я покачал головой. Он протер стакан полотенцем.— Высший класс.— Молчание.

— Молоденькие?

— А мне все одно теперь, что двадцать лет, что тридцать. Старшие, между прочим, близнецы.— Если б он протирал стакан с меньшим усердием — знаю я этот фокус: хочет, чтоб его угостили,— то заметил бы, как окаменело мое лицо.— Двойняшки. Есть просто близнецы, а есть двойняшки.— Посмотрел через стакан на небо.— Говорят, даже родная мамаша их отличает то ли по шраму, то ли еще по чему...

Я вскочил и бросился к машине — он и рта не успел открыть.

72

Сперва я не чувствовал злости; мчался как сумасшедший, чуть не сшиб велосипедиста, но большую часть пути ухмылялся. На сей раз я без церемоний въехал в ворота, поставил машину на гравийной дорожке у черного хода и задал дверному молотку с львиной головой такую трепку, какой он за все двести лет не пробовал.

Г-жа де Сейтас сама открыла дверь; она успела лишь сменить брюки. Посмотрела на мою машину, словно та могла сообщить ей, почему я опять тут. Я улыбнулся.

— Вижу, вы решили остаться дома.

— Да, я все перепутала.— Стянула рубашку у горла.— Вы о чем-нибудь забыли спросить?

— Да. Забыл.

— Понятно.— Я молчал, и она простодушно спросила (вот только паузу чуть-чуть передержала): — О чем же?

— О ваших дочерях. О двойняшках.

Выражение ее лица изменилось; она взглянула на меня — нет, не виновато; почти ободряюще, со слабой улыбкой. И как я не заметил сходства: глаза, большой рот? Видно, фальшивый снимок, показанный Лилией, крепко засел в моей памяти: клуша со взбитыми волосами. Она впустила меня в дом.

— Действительно забыли.

В другом конце прихожей появился Бенджи. Закрывая входную дверь, она ровно произнесла:

— Все в порядке. Иди доедай.

Я быстро пересек прихожую и склонился над ним.

— Бенджи, скажи-ка мне одну вещь. Как зовут твоих сестер-двойняшек?

— Лил и Роза.

— Спасибо.

Смерив меня напоследок взглядом, исполненным сомнений, он исчез. Я повернулся к Лилии де Сейтас.

Размеренной походкой направляясь в гостиную, она сказала:

— Мы назвали их так, чтоб задобрить мою мать. Она обожала жертвоприношения.— Ее поведение сменилось вместе с брюками; смутное несоответствие между внешностью и манерой выражаться сгладилось. Теперь верилось, что ей пятьдесят; и не верилось, что еще недавно она казалась недалекой. Я вошел в гостиную следом за ней.

— Простите, что отрываю вас от завтрака.

Холодно взглянула на меня через плечо:

— Я не первую неделю жду, когда вы меня от чего-нибудь оторвете.

Усевшись в кресло, она указала мне на широкий диван в центре комнаты, но я покачал головой. Она держала себя в руках; даже улыбалась.

— К делу.

— Мы остановились на том, что у вас есть две шибко деловые дочки. Послушаем, что вы про них придумаете.

— Боюсь, придумывать мне больше не придется. Осталось лишь сказать правду.— Она не переставала улыбаться; улыбаться тому, что я серьезен.— Морис — крестный двойняшек.

— Вы знаете, кто я? — Если ей известно, что творилось в Бурани, почему она так спокойна?

— Да, мистер Эрфе. Я оч-чень хорошо знаю, кто вы.— Ее глаза предостерегали; дразнили.— Дальше что?

Посмотрела на свои ладони, снова на меня.

— Мой муж погиб в сорок третьем. На Дальнем Востоке. Он так и не увидел Бенджи.— Мое нетерпение забавляло ее.— Он был первым учителем английского в школе лорда Байрона.

— Вот уж нет. Я видел старые программки.

— В таком случае вы помните фамилию Хьюз.

— Помню.

Скрестила ноги. Она сидела в старом, обтянутом золотистой парчой кресле с высокими подлокотниками, наклонившись вперед. Деревенской неотесанности как не бывало.

— Присядьте, прошу вас.

— Нет,— сурово ответил я.

Она пожала плечами и посмотрела мне в глаза; взгляд проницательный, беззастенчивый, даже надменный. Потом заговорила:

— Мне было восемнадцать, когда умер отец. Я неудачно — и очень глупо — вышла замуж; в основном, чтобы сбежать из дому. В двадцать восьмом познакомилась с моим вторым мужем. С первым развелась через год. Мы поженились. Нам хотелось отдохнуть от Англии, а денег было не густо. Он нанялся учителем. Он был специалист по античной литературе... Грецию обожал. Мы познакомились с Морисом. Лилия и Роза зачаты на Фраксосе. В доме, где Морис пригласил нас пожить.

— Не верю не единому слову. Но продолжайте.

— По моему настоянию мы вернулись в Англию, чтобы обеспечить близнецам нужный уход.— Она взяла сигарету из серебряной коробки, стоявшей на трехногом столике у кресла. Предложила и мне, но я отказался; и огонь не стал подносить. Она не отреагировала; настоящая хозяйка.— Девичья фамилия матери — де Сейтас. Можете пойти в Сомерсет-хаус [1] и проверить. У нее был брат-холостяк, мой дядя, весьма состоятельный. Он относился ко мне, особенно после смерти отца, как к дочери — насколько мать ему позволяла. Она была очень властная женщина.

Кончис говорил, что поселился в Бурани в апреле 1928-го.

— Вы хотите сказать, что познакомились с... Морисом только в двадцать девятом году?

Улыбка.

— Конечно. Детали того, что он вам рассказывал, ему сообщила я.

— И про сестру Розу?

— Пойдите в Сомерсет-хаус.

— И пойду.

Она разглядывала кончик сигареты; я ждал.

— Родились двойняшки. Через год дядя умер. Оказалось, он завещал мне почти все, что имел, при условии, что Билл добровольно возьмет фамилию де Сейтас. Даже не де Сейтас-Хьюз. Эта низость — целиком на совести матери.— Взглянула на ряд миниатюр, висящих тут же, у каминной доски.— Последним отпрыском мужского пола в семье де Сейтас был дядя. Муж взял мою фамилию. Как японец. Это тоже можно проверить.— И добавила: — Вот и все.

— Далеко не все, черт побери!

— Можно мне называть вас Николасом? Я ведь столько о вас слышала.

— Нельзя.

Потупилась; опять эта невыносимая улыбочка, блуждавшая на губах ее дочерей, на губах Кончиса, даже на губах Антона и Марии (хоть и с иным оттенком), словно их тренировали улыбаться загадочно и высокомерно; может, и правда тренировали. И подозреваю: тренером в таком случае была женщина, сидящая передо мной.

---

[1] Здание в Лондоне, где размещается архив управления налоговых сборов.

— Думаете, вы первый молодой человек, который вымещает на мне свою злость и обиду на Мориса? И на всех нас, его помощников. Думаете, вы первый, кто отвергает мою дружбу?

— Я бы хотел задать вам несколько неприятных вопросов.

— Задавайте.

— Но начнем не с них. Почему в деревне говорят, что вы пели в опере?

— Пела иногда на местных концертах. У меня музыкальное образование.

— «Клавикорды — это такая тарахтелка»?

— Но ведь они действительно тарахтят.

Я повернулся спиной к ней, к ее мягкости, к ее смертоносной светскости.

— Уважаемая госпожа де Сейтас, никакое обаяние, никакой ум, никакая игра в слова вам не помогут.

Она помолчала.

— Ведь это вы заварили кашу. Неужели не понимаете? Явились и начали лгать. Думали застать здесь то, что вам хотелось застать. Ну и я лгала. Чтобы вы услышали то, что хотели.

— Ваши дочери здесь?

— Нет.

Я повернулся к ней.

— А Алисон?

— С Алисон мы очень подружились.

— Где она?

Покачала головой; не ответила.

— Я требую, чтобы мне сказали, где она.

— В этом доме не требуют.— Она смотрела кротко, но внимательно, как шахматист — на доску.

— Отлично. Интересно, что на это скажет полиция.

— Ничего интересного. Скажет, что у вас не все дома.

Я снова отвернулся, чтобы вытянуть из нее хоть что-нибудь. Но она молча сидела в кресле; я спиной чувствовал ее взгляд. Чувствовал, как она сидит там, в пшенично-золотом кресле, словно Деметра, Церера, богиня на троне; не просто пятидесятилетняя умница в современной комнате, куда с полей проникает ропот трактора; но актриса, столь беззаветно преданная учению, которого я не мог понять, и людям, которых я не мог простить, что ее игра уже не была собственно игрой.

Встала, подошла к конторке в углу, вернулась, положила на стол у дивана какие-то фотографии. Опять села в кресло; я не удержался, посмотрел. Вот она в качалке, на фоне веранды. С другой стороны — Кончис; между ними — Бенджи. Вот Лилия и Роза. Лилия улыбается фотографу, и Роза смеется, повернувшись в профиль, как бы проходя за спиной сестры. Позади виднелась та же веранда. И пожелтевший снимок. Я узнал Бурани. На ступенях перед домом стоят пятеро. В центе Кончис, рядом красивая женщина — несомненно, Лилия де Сейтас. Ее обнимает высокий мужчина. На обороте надпись: «Бурани, 1935».

— А кто остальные двое?

— Один — наш друг. А второй — ваш предшественник.

— Джеффри Сагден? — Она кивнула, не справившись с удивлением. Я положил снимок и решил немного отыграться.— Я нашел человека, который работал в школе до войны. Он рассказал мне много любопытного.

— Да что вы говорите? — Спокойный тон с оттенком сомнения.

— Так что давайте без вранья.

Повисла неловкая пауза. Она испытующе взглянула на меня.

— Что он рассказал?

— Достаточно.

Мы смотрели друг другу в глаза. Затем она поднялась и подошла к письменному столу. Вынула оттуда письмо, развернула последний лист; пробежала глазами, подошла и протянула мне. Это был второй экземпляр полученного мной письма Невинсона. Сверху он нацарапал: «Надеюсь, что пыль не засорит глаза адресата на веки вечные!» Отвернувшись, она

рассматривала книги в шкафу у стола, потом приблизилась и молча дала мне три томика в обмен на письмо. Проглотив колкость, я посмотрел на верхний — школьная хрестоматия в голубой обложке. «Греческая антология для внеклассного чтения. Составил и прокомментировал магистр Уильям Хьюз. Кембридж, 1932».

— Это по заказу. Но две других — по любви.

Вторая — малотиражное издание Лонга в английском переводе, помеченное 1936 годом.

— Тридцать шестой. Все-таки «Хьюз»?

— Автору не запретишь подписываться, как он считает нужным.

Холмс, Хьюз; мне вспомнилась одна деталь из рассказа ее дочери.

— Он преподавал в Уинчестере?

Улыбка.

— Недолго. Перед женитьбой.

Третья книга — сборник стихотворных переводов Паламаса, Соломоса и других современных греческих поэтов, в том числе даже Сефериса.

— Морис Кончис, знаменитый поэт.— Я кисло взглянул на нее.— Удачно я придумал, ничего не скажешь.

Она взяла у меня книги, положила на стол.

— Получилось довольно убедительно.

— Хоть я и глуповат.

— Ум и глупость друг друга не исключают. Особенно у мужчин вашего возраста.

Снова уселась в кресло, снова улыбнулась моей серьезности; подкупающе нежная, дружеская улыбка достойной, неглупой дамы. Словно все идет как надо. Я подошел к окну. Солнечный счет лег на мои руки. У веранды Бенджи играл в салки с норвежкой. До нас то и дело доносились их возгласы.

— А если б я поверил в историю про мистера Крыса?

— Тогда я припомнила бы про него что-нибудь важное.

— И?

— Вы ведь приехали бы послушать?

— А если б я вас так и не нашел?

— В таком случае некая миссис Хьюз вскоре пригласила бы вас позавтракать.

— Ни с того ни с сего?

— Ну почему? Она написала бы вам что-нибудь в таком духе.— Откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза.— «Уважаемый мистер Эрфе, ваш адрес мне дали в Британском Совете. Мой муж, первый учитель английского в школе лорда Байрона, недавно скончался, и в его дневниках обнаружились упоминания о неких удивительных событиях, о которых он никогда не рассказывал...» — Открыла глаза, подняла брови: ну как?

— И когда я должен был получить письмо? Сколько мне оставалось ждать?

— Этого я вам, к сожалению, сказать не могу.

— Не хотите.

— Да нет. Просто решаю не я.

— Нетрудно догадаться кто. Она решает?

— Вот именно.

Протянула руку к каминной полке и вынула из-за какой-то безделушки фотографию.

— Нерезко получилось. Это Бенджи снимал своим «брауни».

Три женщины на лошади. Лилия де Сейтас, Гунхильд, а между ними Алисон. Вот-вот свалится, хохочет, глядя в объектив.

— А с дочерьми вашими она... уже познакомилась?

Серо-голубые глаза посмотрели на меня в упор.

— Можете взять карточку себе.

Но я стоял насмерть.

— Где она?

— Хотите обыскать дом?

Она не сводила с меня глаз; рука подпирает подбородок; желтое кресло; невозмутимая; уверенная. В чем — непонятно; но уверенная. А я — как несмышленый щенок, что гонится за бывалым зайцем: щелкаешь зубами, а во рту лишь ветер. Повертев снимок, я разорвал его на четыре части и кинул в пепельницу на столике у окна. Она неожиданно заговорила.

— Послушайте-ка меня, бедный мой, сердитый юноша. Подчас любовь — это просто твоя способность любить, а не заслуга того, кого любишь. И у Алисон, по-моему, редкая способность к преданности и верности. Мне такая и не снилась. Драгоценное свойство. А я только убедила ее, что нельзя разбрасываться своими богатствами, как она, очевидно, разбрасывалась до сих пор.

— Очень мило с вашей стороны.

Вздохнула.

— Опять ирония.

— Ну а вы чего хотели? Слез раскаянья?

— Ирония вам не к лицу. Она делает вас беззащитным.

После паузы она продолжала:

— Как вы счастливы и как слепы! Счастливы потому, что в вас есть нечто, перед чем женщина не может устоять, хотя на меня вы свои чары тратить явно не собираетесь. А слепы потому, что держали в руках частичку истинно женственного. Поймите, Алисон щедро одарена тем единственным качеством женщины, без которого мир бы перевернулся. Рядом с ним образование, происхождение, деньги — ничто. А вы упустили ее.

— С помощью ваших дочурок.

— Мои дочери — всего лишь олицетворение вашего собственного эгоизма.

Во мне закипало тупое, подспудное бешенство.

— В одну из них я, между прочим, влюбился — сдуру, не обольщайтесь.

— Как беспечный коллекционер влюбляется в вожделенную картину. И все готов отдать, лишь бы завладеть ею.

— Нет уж, то была не картина. А девчонка, у которой столько же порядочности, сколько у последней шлюхи на Пляс-Пигаль.

Чуть-чуть помолчав — изящный салонный укор,— она ровно произнесла:

— Сильно сказано.

Я повернулся к ней.

— Начинаю подозревать, что вам не все известно. Во-первых, ваша подгулявшая дочка...

— Мне известно все, что она делала, в точности.— Она спокойно смотрела на меня; только слегка наклонилась вперед.— Известны и мотивы, которыми она руководствовалась. Но рассказать вам о них — значит, рассказать все.

— Позвать тех, внизу? Скажите сыну, как его сестрица крутит — кажется, это так называется — неделю со мной, неделю с негром.

Она снова замолчала, словно желая приглушить мои слова; так оставляют вопрос без ответа, чтобы одернуть спрашивающего.

— А будь он белым, вы бы не так возмущались?

— Будь он белым, возмущался бы так же.

— Он умен, очарователен. Они довольно давно спят вместе.

— И вы это одобряете?

— Мое одобрение никого не интересует. Лилия — взрослый человек.

Горько усмехнувшись, я посмотрел в окно.

— Теперь ясно, зачем вам столько цветов.— Она повернула голову, не понимая.— Чтоб не так несло серой.

Она встала, взялась за каминную полку, следя, как я расхаживаю по комнате; спокойная, внимательная, она забавлялась мной, как воздушным змеем: взмывай ввысь, спускайся ли — веревка крепка.

— Вы можете выслушать меня и не перебивать?

Я взглянул на нее; согласно кивнул.

— Отлично. А теперь оставим эти разговоры о том, что пристойно, а что непристойно.— Тон размеренный, деловой, как у тех врачих, что на работе стараются выглядеть бесполыми.— Если я живу в особняке начала восемнадцатого века, это не значит, что и мораль у меня, как у большинства теперешних англичан, тогдашняя.

— Что-что, а это мне и в голову не приходило.

— Так будете слушать? — Я подошел к окну, стал к ней спиной. Нужно наконец припереть ее к стенке; это было бы только справедливо.— Как вам это объяснить? Морис на моем месте сказал бы, что секс отличается от других удовольствий интенсивностью, но не качеством. Что это лишь часть, причем не главная, тех человеческих отношений, что зовутся любовью. И что главная часть — это искренность, выстраданное доверие сердца к сердцу. Или, если угодно, души к душе. Что физическая измена — лишь следствие измены духовной. Ибо люди, которые подарили друг другу любовь, не имеют права лгать.

Я разглядывал дальний край лужайки. Все заготовлено заранее — все, что она говорит; может, она даже выучила сей ключевой монолог наизусть.

— Кто вы такая, чтоб читать мне рацеи, госпожа де Сейтас?

— А кто вы такой, чтоб отказываться от проповеди?

— Послушайте...

— Нет, это вы послушайте, будьте добры.— Я не внял бы просьбе, будь в ней хоть какая-то настойчивость, хоть какое-то высокомерие. Но нет, она прозвучала обескураживающе мягко, почти заискивающе.— Я пытаюсь объяснить, что мы за люди. Морис убедил нас — больше двадцати лет назад,— что надо отказаться от привычных сексуальных табу. Не потому, что мы развратнее остальных. Потому что мы чище. И мы отказались, в меру своих сил. И детей я воспитывала так, чтобы табу для них не существовали. Как объяснить вам, что мы, помощники Мориса, не отводим сексу такого уж значительного места? Того места, которое он занимает в жизни остальных? У нас есть занятия поважнее.

Я не оборачивался.

— До войны я дважды играла роль, в чем-то похожую на ту, которую играла перед вами Лилия. Ей доступно то, что мне не удавалось. Слишком многие запреты мне нужно было переступить. Не забудьте, у меня был муж, которого я любила — и физически, и в иных, более важных смыслах. Но коль уж мы так серьезно вмешались в вашу судьбу, знайте: даже при жизни мужа я, всякий раз с его ведома и согласия, отдавалась Морису. А на войне он в свою очередь завел возлюбленную, индианку, с моего ведома и согласия. И при всем том у нас была крепкая, очень счастливая семья, ибо мы соблюдали два основных правила. Во-первых, никогда не лгали друг другу. А во-вторых... но для этого я должна узнать вас поближе.

Я гадливо обернулся. Ее спокойствие начинало пугать; сквозь него прорывалось безумие. Она снова села.

— Если вы привыкли принимать на веру авторитетные нормы, мое поведение, поведение моей дочери вы, конечно, осудите. Дело ваше. Но помните, возможна и иная точка зрения. Если вы станете на нее, то восхититесь отвагой Лилии. Ни я, ни мои дети не притворяемся такими, как все. Они не так воспитаны, чтобы быть как все. Мы богаты, восприимчивы, и жизнь у нас богатая, насыщенная.

— Вам везет.

— Конечно. Везет. И мы сознаем ответственность, которую налагает на нас везение в жизненной лотерее.

— Ответственность? — Я снова резко обернулся.

— Вы что, действительно считаете, что мы для вас старались? Что на наших... картах не намечен курс? — И на полтона ниже: — Нами движет необходимость.— Она имела в виду: не просто жажда развлечений.

— Да, добровольное бесстыдство ставит свои требования.

— Требования ставит сложнейший эксперимент.

— Я — за эксперименты попроще.

— Время простых прошло.

Воцарилось молчание. Во мне все ныла тоска; а сейчас еще и непостижимый страх при мысли, что Алисон — в руках этой женщины, словно любимый мною край заграбастали строительные подрядчики. Меня снова оставили за бортом, снова отвергли. Я чужой на этой далекой планете.

— Многие вам бы позавидовали.

— Вряд ли, узнай они, как все было.

— Только посочувствовали бы вашей ограниченности.

Подошла, взяла меня за плечо, повернула к себе.

— Похожа я на исчадие ада? А дочери мои похожи?

— Дела у вас адские. Не внешность.— Мой голос задрожал; хотелось отбросить ее руку, вырваться отсюда.

— Вы совершенно уверены, что мы не причинили вам ничего, кроме зла?

Я опустил глаза. Не ответил. Она убрала руку, но не отошла.

— Поверьте мне... поверьте хоть самую малость.— Я молчал, и она продолжила: — Звоните в любое время. Захотите осмотреть дом — осматривайте. Но предупреждаю, вы не найдете тех, кто вам нужен. Только Бенджи и Гунхильд, да еще двое моих детей — они на той неделе приезжают из Франции. Вам ведь не они нужны, другая.

— Она могла бы объяснить сама.

Посмотрела в окно, потом на меня.

— Мне так хочется помочь вам.

— Помощь мне не нужна. Мне нужна Алисон.

— А теперь можно называть вас Николасом? — Я отвернулся; подошел к столику у дивана, склонился над фотографиями.— Ну хорошо. Больше не стану просить.

— Вот отправлюсь в газету и расскажу там всю эту историю. И конец вашему подлому...

— Не отправитесь. Не ударили же вы мою дочь плетью.

Я злобно посмотрел на нее.

— Так это вы были? В портшезе?

— Нет.

— Алисон?

— Вам же сказали. Он был пуст.— Встретила мой подозрительный взгляд.— Честное слово, не Алисон. И не я.— Я все еще не верил; она улыбнулась.— Ну что ж, возможно, там кто-нибудь и сидел.

— Кто?

— Ну, одна... знаменитость. Которую вы узнали бы. Все, никаких вопросов.

Ее вкрадчивая доброжелательность подточила-таки мой гнев. Решительно повернувшись, я направился к выходу. Она догнала меня, захватив со стола листок бумаги.

— Возьмите, пожалуйста.

Перечень имен; даты рождения; «Хьюз — на де Сейтас, 22 февраля 1933 года»; номер телефона.

— Это ничего не доказывает.

— Доказывает. Сходите в Сомерсет-хаус.

Я пожал плечами, запихал бумагу в карман и пошел дальше, не глядя по сторонам. Распахнул входную дверь, спустился по ступенькам. Она остановилась на пороге. Не садясь, я пронзил ее взглядом.

— Если я и вернусь, то лишь после того, как отыщу Алисон.

Она уже открыла рот, чтобы ответить, но передумала. На лице ее появилось что-то вроде упрека; и страдальческая кротость, с какой смотрят на непослушного ребенка. Первый я счел незаслуженным, вторую — вызывающей. Влез в машину и включил зажигание. На выезде из ворот в зеркальце мелькнула ее фигура. Она все стояла там, под итальянским крылечком, словно — вот смех-то! — ей было жаль, что я уезжаю так рано.

73

Но и тогда я понимал, что далеко не так сердит, каким хочу выглядеть; что противопоставляю неприязнь ее спокойствию просто потому, что она противопоставляет спокойствие моей неприязни. Но ничуть не жалел о своей невежливости, о том, что отверг ее мирные инициативы; а насчет Алисон я сказал почти правду.

Ибо теперь главная загадка заключалась вот в чем: почему мне не позволяют увидеться с Алисон? От меня ждут каких-то действий, каких-то Орфеевых подвигов, открывающих путь в преисподнюю, где ее прячут... или сама она прячется. Меня испытывают. Но ясных указаний на то, что́ именно я должен совершить, нет. Несомненно, мне удалось отыскать вход в Тартар. Но это не приблизило меня к Алисон.

И рассказ Лилии де Сейтас не приблизил меня к разгадке давней тайны: какой курс, какие карты?

Злость целый день поддерживала во мне боевой дух; но на другой я отправился в Сомерсет-хаус, выяснил, что каждая строчка в списке Лилии де Сейтас — чистая правда, и этот факт почему-то вверг меня в уныние. Вечером я позвонил в Мач-Хэдем. Подошла норвежка.

— Динсфорд-хаус. Кто это? Вас не слышно.— Я молчал. Девушку, видимо, о чем-то спросили, и она сказала: — Никто не отвечает.

В трубке возник новый голос:

— Алло! Алло!

Я отключился. Она еще там. Но заговорить с ней? Ни за что!

Назавтра — после визита в Динсфорд-хаус прошло три дня — я с утра пил и сочинял горькое письмо в Австралию. Я решил, что Алисон именно там. Изложил все, что наболело; перечитывал раз двадцать, словно это могло воплотить в жизнь содержавшуюся в нем ложь о моей невинности и ее вероломстве. Но отправить все не решался, и в конце концов письмо заночевало на камине.

В эти три дня, обидевшись на весь род человеческий, я изменил обыкновению по утрам спускаться к Кемп. До готовки у нее руки не доходили, но кофе она варила неплохой; а на четвертое утро мне смертельно захотелось кофе.

При моем появлении она отложила «Дейли уоркер» (в «Уоркер» она искала «правду», а в других газетах — «сраное вранье») и осталась сидеть, дымя и глядя на меня. Без сигареты ее рот напоминал яхту без мачты; несомненный признак катастрофы. Мы обменялись парой фраз. Она умолкла. Но вскоре я понял, что под прикрытием милосердной завесы табачного дыма — с утра она выглядела как чистая Горгона — меня скрупулезно изучают. Я притворился, что читаю газету, но ее не проведешь.

— Что стряслось, Ник?

— В каком смысле?

— Ни друзей. Ни баб. Никого.

— Что за разговоры в такую рань!

Она развалилась на стуле в своем старом красном халате, нечесаная, древняя как время.

— Работу не ищешь. Это все я, жопа, виновата.

— Не смею спорить.

— Я стараюсь помочь.

— Знаю, Кемп.

Я взглянул на нее. Одутловатое, рыхлое лицо, глаза вечно прищурены из-за дыма; почти как маска театра Но, парадоксально личащая атавизмам выговора кокни и нарочито грубой манере выражаться. И вдруг с неожиданной сентиментальностью она перегнулась через стол и похлопала меня по руке. Будучи пятью годами моложе Лилии де Сейтас, выглядела она лет на десять старше. Таких называют охальницами; горластый рядовой того полка, который мой отец ненавидел больше всех, который он ставил ниже «чертовых социалистов» и «мудрил из Уайтхолла» — полка Волосатиков.

На миг он возник в дверях мастерской: злобные голубые глаза; кустистые полковничьи усы; неубранная кушетка, зловонная, заросшая плита, мусор на столе, развеселые утробно-похабные абстракции на стенах; вязь бросовой посуды, тряпок, газет. Но в ее скупом жесте, во взгляде, что сопровождал его, таилось больше истинной человечности, чем во всем доме моих родителей. И все же родительский дом, годы, проведенные там, не отпускали меня; я подавил естественную реакцию. Наши взгляды встретились над пропастью, и перебросить мост через нее я был бессилен; грубоватая ласка: хочешь, я побуду твоей мамой? — и бегство: я блудный сын, им и останусь. Она убрала руку.

— Долго объяснять,— сказал я.

— У меня весь день впереди.

Ее лицо маячило передо мной, затянутое сизым дымом, и мне вдруг почудилось, что это лицо тупого, грозного чужака. Она хорошая, хорошая, но ее любопытство стягивает меня, как сеть. Я — будто уродливый паразит, который может существовать лишь при удачном стечении обстоятельств, в неком непрочном симбиозе. Те, на суде, ошиблись, сочтя, что я — охотник за женщинами. На самом деле достичь комфорта, искренности в общении, духовной свободы я могу только с помощью женщин, которые охотятся за мной. Я жертва, не палач.

Нет, говорить я буду лишь с одним человеком. И до тех пор не в состоянии шевелиться, идти вперед, строить планы, развиваться, становиться лучше... до тех пор моя тайна, моя загадка окутывает меня защитным покровом; она — мой единственный товарищ.

— В другой раз, Кемп. Не сейчас.

Пожала плечами; бросила на меня увесистый взгляд пророчицы, предчувствующей беду.

За дверью завопила старушка, раз в две недели убиравшая лестницу. У меня звонит телефон. Я взлетел наверх и поднял трубку — похоже, в последний момент.

— Слушаю. Николас Эрфе.

— А, доброе утро, Эрфе. Это я. Санди Митфорд.

— Вернулся?!

— Почти что, старичок. Почти что.— Он откашлялся.— Получил твою записку. Не хочешь где-нибудь перекусить?

Через минуту, условившись о времени и месте, я перечитывал письмо к Алисон. Из-за каждой фразы выглядывал оскорбленный Мальволио. Еще через минуту письмо, подобно всему, что связывало меня с миром, превратилось в струп пепла. Слово редкое, но точное.

Митфорд совсем не изменился — я готов был поклясться, что и одежда на нем та же: темно-синий пиджак, темно-серые фланелевые брюки, клубный галстук. Все это слегка потерлось, как и сам владелец; он был уже не такой разбитной, каким я его помнил, хотя несколько порций джина возродили в нем былое партизанское нахальство. Все лето он «разъезжал по Испании со сворой американашек»; нет, моего письма с Фраксоса он не получил. Должно быть, они его уничтожили. Значит, Митфорд мог рассказать нечто для них неудобное.

За бутербродами мы поболтали о школе. О Бурани — ни слова. Он все твердил, что предупреждал меня, и я поддакивал: предупреждал. Я искал предлог, чтобы перейти к тому, что меня по-настоящему интересовало. И тут, как я и надеялся, он сам заговорил на эту тему.

— Ну, а в зале ожидания был?

Я сразу понял, что вопрос не так случаен, как кажется; что ему и страшно, и любопытно; что оба мы шли на эту встречу с одной и той же целью.

— Господи, я как раз собирался спросить. Помнишь, не успели мы тогда попрощаться...

— Да.— Скрытно-настороженный взгляд.— Был ты в бухте Муца? Южная сторона — рай земной, правда?

— Ну да. Конечно.

— Видел виллу на восточном мысу?

— Да. Там никто не живет. Так мне сказали.

— Ага. Интересно. Очень интересно.— Он задумчиво вперился в угол; я дрожал от нетерпения. Он медленно, по невыносимой восходящей дуге поднес ко рту сигарету; выпустил из ноздрей султан дыма.— Ну и ладно, старина. Сказали и сказали.

— Но почему «Не ходи...»?

— Да ерунда. Е-рун-да на постном масле.

— Расскажи, раз ерунда.

— А я рассказывал.

— Рассказывал?!

— Как поцапался с коллаборационистом. Помнишь?

— Да.

— Это и есть хозяин виллы.

— Стой, стой...— Я прищелкнул пальцами.— Подожди-ка. Как его звали?

— Кончис.— Он проказливо ухмыльнулся, будто догадывался, что́ я сейчас скажу. Пригладил усы; только и знает, что охорашиваться.

— А я понял, он как раз отличился во время Сопротивления.

— Держи карман. Немцам прислуживал. Лично руководил расстрелом восьмидесяти крестьян. А потом подмазал приятелей фрицев, чтоб и его внесли в список. Понял? И вышел храбрецом и праведником.

— Но ведь он, кажется, был опасно ранен?

Он выпустил клуб дыма, презирая мою наивность.

— От карателей живым не вырвешься, старина. Нет, мерзавец ловко все обделал. Сперва предал, а потом прославился, как черт знает какой герой. Состряпал даже фальшивый немецкий отчет об этой истории. Надул всех, как мало кому удавалось.

Я внимательно посмотрел на него. У меня возникло новое, страшное подозрение. Все дальше в лабиринт.

— И неужели никто...

Митфорд потер большой палец указательным; так в Греции обозначается взятка.

— Ты так и не объяснил, в чем там дело с залом ожидания,— сказал я.

— Так он называет свою виллу. Ожидание смерти или что-то в этом роде. К дереву прибита надпись по-французски.— Он вывел пальцем в воздухе: — Salle d'attente.

— Что вы не поделили?

— Да ничего, старик. Ровным счетом ничего.

— Не жмись.— Я жизнерадостно улыбнулся.— Теперь-то я там побывал.

Помню, ребенком, в Гэмпшире, я лежал на ветке ивы, нависающей над ручьем, наблюдая, как отец ловит форель. Он священнодействовал: забрасывал «муху» так, чтобы она едва касалась воды, словно пух чертополоха. Видно было, как форель, которую он собирался одурачить, поднимается со дна. Вот рыбина медленно подплыла, зависла под наживкой — бесконечный, захватывающий миг; и вдруг — удар хвостом, молниеносная подсечка отца; стрекот катушки.

— Да ерунда, старик. Честно.

— Кончай телиться. Рассказывай.

— Чушь собачья.— Рыба на крючке.— Ну, пошел я как-то прогуляться. В мае, в июне — не помню. Достала меня школа. Подхожу к Муце, чтоб поплавать, спускаюсь, ну, ты знаешь, между деревьев, и вдруг — не просто две бабы. Две бабы почти без ничего. А у меня уж план операции готов. Подваливаю на бреющем, мне не привыкать, говорю что-то по-гречески, а они, ну и ну, по-английски отвечают. Оказалось, англичанки. Роскошь. Двойняшки.

— Вот это да. Пойду еще джина принесу.

У стойки в ожидании заказа я рассматривал себя в зеркале; чуть-чуть подмигнул.

— Сийя. Ну, ясное дело, веду войну на два фронта. И тылы укрепляю.

Выведал, кто такие. Крестницы старого хрыча, хозяина виллы. Высший свет, только что из Швейцарии и все такое. Сюда приехали на лето, старикан рад будет со мной познакомиться, почему бы нам не подняться и не выпить чаю. Заметано. Ноги в руки. Знакомлюсь со стариком. Пью чай.

Он так и не отделался от привычки вздергивать подбородок, словно воротничок слишком жмет: мне палец в рот не клади.

— А этот, как его, говорил по-английски?

— В совершенстве. Всю жизнь мотался по Европе, сливки общества и все такое. Вообще-то одна из двойняшек не совсем годилась. Не в моем вкусе. Сосредоточил огонь на второй. Ну, старик и не та близняшка после чая куда-то слиняли, а эта Джун, так ее звали, повела меня осматривать владения.

— Удачно все повернулось.

— До рукопашной пока не дошло, но я смекнул, что она на все готова. Ну, ты ж только что с острова. Полный магазин, а стрелять не в кого.

— Точно.

Согнул руку, пригладил волосы на затылке.

— Вот и я говорю. Ну, пора возвращаться в школу. Нежное прощание. Приглашает в субботу на обед. Через неделю я там, одетый с иголочки. И вообще — картинка. Киряем, девочки в ударе. И вдруг...— Интригующий взгляд.— Ну, словом, другая, не Джун, на меня взъелась.

— О господи.

— Я ее сразу раскусил. Шибко умная, знаешь? Сначала — не подступись, но пара рюмок джина — и как с цепи сорвалась. Смотрю, пахнет жареным. Непонятно, за что хвататься. Эта Жюли меня изводит, изводит. Я сперва и внимания не обращал. Ладно, думаю, не рассчитала. А может, женские дела. Но тут... тут она принялась форменно измываться, причем этаким идиотским манером.

— Как?

— Ну... понимаешь, передразнивала меня. Голос, выражения. Ловко у нее получалось. Но обидно до чертиков.

— Что же она говорила?

— Да кучу всякой фигни: пацифизм, ядерная война. Ну, ты их знаешь. А я к этому не привык.

— А те двое что?

— Слово вставить боялись. Растерялись вконец. Все ничего, но тут эта Жюли стала выдавать такие гадости, просто одну за другой! Совсем уж вышла из берегов. Все всполошились. Другая, Джун — к ней. Старикан затрепыхался, что твоя подбитая ворона. Жюли убегает. Сестра за ней. За столом — только мы со стариком. Он заливает мне, что они рано осиротели. Извиняется, значит,

— Что же это за гадости?

— Да не помню уж, старина. Вожжа ей под хвост попала.— Погрузился в воспоминания.— Ну, обозвала меня фашистом.

— Фашистом?!

— Мы поспорили относительно Мосли.

— Ты же не хочешь сказать, что...

— Ну что ты, старичок. Побойся бога.— Рассмеялся, искоса взглянул на меня.— Но, без балды, Мосли иногда и дело говорит. Я тебе скажу, наша страна и вправду здорово распустилась.— Приосанился.— Порядка нам не хватает. Национальный характер...

— Согласен, но Мосли...

— Старик, ты не понял. С кем я, по-твоему, на войне сражался? Не в этом суть... Ну вот возьми Испанию. Посмотри, сколько сделал для нее Франко.

— Наоткрывал в Барселоне десятки тюрем, только и всего.

— Ты в Испании-то бывал, старичок?

— Честно говоря, нет.

— Так съезди, а я пока помолчу о том, что Франко сделал, а чего не сделал.

Я сосчитал про себя до пяти.

— Извини. Оставим это. На чем ты остановился?

— Мне как-то попались сочинения Мосли, и там я прочел много дельного,— настырно чеканил он.— Очень много дельного.

— Не сомневаюсь.

Почистив таким образом перышки, он продолжал:

— Моя близняшка вернулась, старый хрен отлучился ненадолго, и она вела себя ну просто как киска. Я времени не терял и намекнул, что прийти в норму мне поможет небольшая прогулка под луной. Прогулка? — говорит. А почему не купанье? Если б ты слышал, как она это сказала! Сразу ясно, что от купания до других делишек, поинтереснее, рукой подать. В полночь на условленном месте, у ворот. Ладно, ложатся там в одиннадцать, я сижу, готовый к старту. Выхожу на цыпочках. Все спокойно. К воротам. Минут через пять является. И знаешь, старина, хоть мне и не впервой, но чтоб так, с пол-оборота... Ну, думаю, операция «Ночное купание» отменяется, приступим к делу. Но она говорит: хочу освежиться.

— Хорошо, что ты не рассказал мне все это перед отъездом. Я бы умер от зависти.

Он покровительственно улыбнулся.

— Спустились к воде. Она: я без купальника, идите первым. То ли стесняется, то ли в кустики захотелось. Ну ладно. Разоблачаюсь. Она — в лес. Я мальчик послушный, отплыл ярдов на пятьдесят, барахтаюсь, жду две минуты, три, четыре, наконец, десять, замерз как цуцик. А ее и в помине нет.

— И одежды твоей тоже?

— Соображаешь, старик. В чем мать родила. Стою на этом чертовом пляже и шепотом ее кличу.— Я расхохотался, и он нехотя улыбнулся углом рта.— Такая вот хохма. Тут до меня доходит. Представляешь, как я рассвирепел? Ждал ее полчаса. Искал. Пусто. Почапал к дому. Чуть ноги не переломал. Прихватил сосновую ветку, причиндалы прикрыть в случае чего.

— Потрясающе.

Я сочувственно кивал, с трудом сдерживая ухмылку.

— Ворота, дорожка, дом. Заворачиваю за угол. И как ты думаешь, что я там вижу? — Я пожал плечами.— Висельника!

— Шутишь!

— Нет, старина. Это они пошутили. Чучело, конечно. Как на штыковых учениях. Внутри солома. Петля на шее. В моих шмотках. И морда нарисована: Гитлер.

— Силы небесные. А ты что?

— А что мне оставалось? Отцепил, снял одежду.

— А потом?

— Все. Сбежали. Чистая работа.

— Сбежали?

— На каике. Я слышал шум на берегу. Может, рыбачий. Сумка моя на месте. В целости и сохранности. И я поперся в школу: четыре мили.

— Ты, наверное, был вне себя.

— Психанул слегка. Не без этого.

— Но ты же не мог все это так оставить.

Самодовольная улыбка.

— Правильно. Я сделал просто. Сочинил донесеньице. Во-первых, про историю с немцами. Во-вторых, кое-что о теперешних убеждениях нашего друга господина Кончиса. И послал куда следует.

— Написал, что он коммунист? — С 1950-го, со времен гражданской войны, коммунистам в Греции спуску не давали.

— Знавал их на Крите. Доложил, что парочку встретил на Фраксосе и проследил, что они пошли к нему. Большего им не требуется. Коготок увяз —всей птичке пропасть. Теперь понимаешь, почему тебя никто не морочил?

Поглаживая ножку бокала, я думал, что, похоже, благодаря этому

невозможному человеку, сидящему рядом, меня, напротив, как раз и «морочили». «Джун» сама призналась, что в прошлом году они жестоко просчитались и вынуждены были отступить; лисица не проявила нужной хитрости, и они свернули охоту в самом начале. Кажется, Кончис говорил, что, останавливая выбор на мне, они доверялись чистой случайности. Что ж, я сполна оправдал их ожидания. Я улыбнулся Митфорду.

— Значит, ты смеялся последним?

— Я иначе не умею, старик. Такой уж у меня характер.

— Но зачем им это понадобилось, черт возьми? Ну хорошо, ты пришелся им не ко двору... ведь можно было сразу указать тебе на дверь.

— Вся эта болтовня про крестных дочерей — полная чушь. Я, как дурак, поверил. Какие там крестницы! Первоклассные шлюхи. Когда эта Жюли начала чертыхаться, все стало ясно. И эта их манера смотреть на тебя... с поощрением.— Быстрый взгляд.— Такой балаган в Средиземноморье часто устраивают — особенно в Восточном. Я с этим не в первый раз сталкиваюсь.

— То есть?

— Ну, грубо говоря, старина, богатей Кончис сам-то уже не фурычит, но, что ли, кайф ловит, глядючи, как другие этим занимаются.

Я снова исподтишка посмотрел на него; лабиринт нескончаемых отражений. Неужели он...

— Но ведь они тебе ничего такого не предлагали?

— Намекали. Я потом сообразил. Намекали.

Он принес еще джина.

— Ты должен был предупредить меня.

— Я предупреждал, старина.

— Не слишком вразумительно.

— Знаешь, как поступал Ксан, Ксан Филдинг, с новичками, которых сбрасывали к нам в Левкийские горы? Сразу отправлял в дело. Ни советов, ни напутствий. «Не зевай», и все. Понял?

Митфорд был мне неприятен не так своей ограниченностью и подловатостью, как тем, что в нем я видел шарж на самого себя, гипертрофию собственных недостатков; раковая опухоль, которую я заботливо прятал внутри, у него находилась снаружи, открытая взору. Даже знакомое болезненное подозрение, что он — очередной «саженец», проверка, урок, во мне не пробуждалось; при его непроходимой тупости не верилось, что он такой искусный актер. Я подумал о Лилии де Сейтас; видно, я для нее — то же, что он для меня. Варвар.

Мы вышли из «Мандрагоры».

— В октябре еду в Грецию,— сказал он.

— Да что ты?

— Фирма хочет будущим летом и там экскурсии наладить.

— Странная идея.

— Грекам это на пользу. Выбьет дурь у них из головы.

Я обвел глазами людную улицу Сохо.

— Надеюсь, сразу по прибытии Зевс поразит тебя молнией.

Он решил, что я шучу.

— Эпоха толпы, старичок. Эпоха толпы.

Он протянул руку. Знай я приемы, выкрутил бы ее и перебросил его через себя. Долго еще перед глазами маячила его темно-синяя спина, удаляющаяся к Шефтсбери авеню; вечный триумфатор в схватке, где побеждает слабейший.

Через несколько лет я выяснил, что тогда он действительно блефовал, хоть и не в том вопросе. Я наткнулся на его имя в газете. Его арестовали в Торки за подделку эмиссионных чеков. Он гастролировал по всей Англии под видом капитана Александра Митфорда, кавалера ордена «За безупречную службу» и Военного креста.

«Хотя,— гласило обвинительное заключение,— подсудимый и находился в Греции в составе освободительной армии после поражения Германии,

в движении Сопротивления он участия не принимал». И далее: «Выйдя в отставку, Митфорд вскоре вернулся в Грецию и получил там место учителя, предъявив фальшивые рекомендации. Уволен за профнепригодность».

Ближе к вечеру я позвонил в Мач-Хэдем. Долго слушал длинные гудки. Наконец голос Лилии де Сейтас. Она запыхалась.

— Динсфорд-хаус.

— Это я. Николас Эрфе.

— А, привет,— как ни в чем не бывало произнесла она.— Простите. Я была в саду.

— Мне нужно с вами увидеться.

Короткая пауза.

— Но мне нечего добавить.

— Все равно нужно.

Снова тишина; я чувствовал, как она улыбается.

— Когда? — спросила она.

На следующий день я ушел рано. Вернувшись около двух, обнаружил под дверью записку от Кемп: «Заходил какой-то янки. Говорит, ты ему срочно нужен. В четыре будет тут». Я спустился к ней. Она большим пальцем размазывала поверх грязных, янтарно-черных риполиновых [1] пятен жирных червяков зеленого хрома. Вмешиваться в «творческий процесс» обычно воспрещалось.

— Что за тип?

— Сказал, ему надо с тобой поговорить.

— О чем?

— Собирается в Грецию.— Отступила назад, критически изучая свою мазню; во рту — папироса.— Туда, где ты работал, по-моему.

— Как же он меня разыскал?

— А я откуда знаю?

Я перечитал записку.

— Какой он из себя?

— Боже, да потерпи ты час-другой! — Повернулась ко мне.— Не мельтеши.

Он явился без пяти четыре, тощий верзила с типично американской стрижкой. В очках, на пару лет младше меня; приятное лицо, улыбка, само обаяние, свежий, зеленый, как салатный лист. Протянул руку.

— Джон Бриггс.

— Привет.

— Николас Эрфе — это вы? Я правильно произношу? Эта дама внизу...

Я впустил его.

— Обстановочка тут подгуляла.

— Так уютно.— Он оглядывался, ища нужное слово.— Атмосфера.— Мы двинулись наверх.

— Не ожидал, что они возьмут американца.

— Взяли. Понимаете... ну, на Крите неспокойно.

— Вот оно что.

— Я два семестра учился в Лондонском университете. И все пытался устроить себе годик в Греции, перед тем как отправиться домой. Вы не представляете, как я рад.— Мы замешкались на лестничной площадке. Он заглянул в дверь, к швеям. Кто-то из них присвистнул. Он помахал им рукой.— Какая прелесть. Настоящий Томас Гуд.

— Как вы нашли эту работу?

— В «Таймс эдьюкейшнл сапплмент».— Привычные названия английских учреждений он произносил неуверенным тоном, словно полагал, что я о них впервые слышу.

---

[1] Риполин — фирменное название бытового красителя.

Мы вошли в квартиру. Я закрыл дверь.

— А мне казалось, Британский Совет теперь не занимается вербовкой.

— Разве? Видимо, педкомиссия решила, что раз мистер Кончис все равно здесь, он может заодно со мной побеседовать.— В комнате он подошел к окну и залюбовался унылой Шарлотт-стрит.— Потрясающе. Знаете, я просто влюблен в ваш город.

Я предложил ему кресло поприличнее.

— Так это... мистер Кончис дал вам мой адрес?

— Конечно. Что-нибудь не так?

— Нет. Все в порядке.— Я сел у окна.— Он рассказывал обо мне?

Он поднял руку, будто успокаивая.

— Ну да, он... то есть я понимаю... он говорил, учителя просто погрязли в интригах. Чувствую, вы имели несчастье...— Он не закончил фразу.— Вам до сих пор неприятно об этом вспоминать?

Я пожал плечами:

— Греция есть Греция.

— Уверен, они уже потирают руки при мысли, что к ним едет настоящий американец.

— Непременно потирают. — Он покачал головой, убежденный, что втянуть настоящего американца в левантийскую школьную интригу просто невозможно.— Когда вы виделись с Кончисом? — спросил я.

— Три недели назад, когда он был тут. Я бы раньше к вам зашел, но он потерял адрес. Прислал уже из Греции. Только утром.

— Только утром?

— Угу. Телеграммой.— Усмехнулся.— Я тоже удивился. Думал, он и забыл об этом. А вы... вы с ним близко знакомы?

— Ну... встречались несколько раз. Я так и не понял, какой пост он занимает в педкомиссии.

— По его словам, никакого. Просто содействует им. Господи, как же виртуозно он владеет английским!

— Не говорите.

Мы приглядывались друг к другу. Он сидел с беззаботным видом, в котором угадывалась не природная непринужденность, а тренировка, чтение книг типа «Как разговаривать с незнакомыми». Чувствовалось, что все в жизни ему удается; но завидовать его чистоте, восторженности, энергии было совестно.

Я напряженно размышлял. Мысль, что его появление совпало с моим звонком в Мач-Хэдем случайно, казалась столь абсурдной, что я готов был поверить в его неведение. С другой стороны, из нашего телефонного разговора г-жа де Сейтас могла заключить, что я сменил гнев на милость; самое время аккуратно проверить, насколько мои намерения искренни. Он сказал о телеграмме: еще один довод в его пользу; и хотя я знал, что выбор «объекта» производится на основе случайностей, может быть, Кончис по какой-то причине, подведя итоги последнего лета, решил приготовить себе кролика заблаговременно. Глядя на бесхитростного, ничего не подозревающего Бриггса, я начал понимать Митфорда, его злобное ликование; в данном случае оно осложнялось злорадством европейца при виде американца-воображалы, которого вот-вот окоротят; и еще человеколюбивым нежеланием — я не признался бы в нем ни Кончису, ни Лилии де Сейтас — портить ему удовольствие.

Они, конечно, понимают (если Бриггс не лжет), что я могу все ему рассказать; но они понимают также, что мне известно, чего это будет стоить. Для них это значило бы, что я так ничего и не усвоил; а следовательно, не заслуживаю снисхождения. Опасная игра; что я выберу: сладкую месть или дарованное блаженство? Мне снова сунули в руку плеть, и я снова не решался размахнуться и ударить.

Бриггс вынул из кейса блокнот.

— Можно я задам вам несколько вопросов? Я приготовил список.

Очередное совпадение? Он вел себя так же, как я в Динсфорд-хаусе несколько дней назад. Открытая, добродушная улыбка. Я улыбнулся в ответ.

— Огонь!

Он оказался невероятно предусмотрительным. Программа, пособия, одежда, климат, спортивные принадлежности, выбор лекарств, стол, размеры библиотеки, достопримечательности, будущие коллеги — он хотел знать о Фраксосе абсолютно все. Наконец он отложил свой список, карандаш и подробный конспект моих ответов, принялся за пиво, которым я его угостил.

— Тысяча благодарностей. Просто превосходно. Мы не упустили ни одной детали.

— За исключением той, что жить там надо еще научиться.

Кивнул.

— Мистер Кончис предупреждал.

— По-гречески говорите?

— Плохо. По-латыни — получше.

— Ничего, навостритесь.

— Я уже беру уроки.

— Придется обходиться без женщин.

Кивок.

— Тяжело. Но я обручен, так что меня это мало волнует.— Вытащил бумажник и показал мне фото. Брюнетка с волевой улыбкой. Рот маловат; уже вырисовываются контуры лика развратной богини по имени Самовлюбленность.

— С виду англичанка,— сказал я, возвращая снимок.

— Да. Точнее, валлийка. Сейчас она здесь, учится на актрису.

— Вот как.

— Надеюсь, будущим летом она выберется на Фраксос. Если я до тех пор не соберу чемоданы.

— А вы... говорили о ней Кончису?

— Говорил. Он был очень любезен. Предложил, чтобы она остановилась у него.

— Интересно, где именно. У него ведь два дома.

— Кажется, в деревне.— Усмешка.— Правда, предупредил, что возьмет с меня плату за комнату.

— Да что вы?

— Хочет, чтоб я помог ему, ну, в...— Махнул рукой: да вы и сами знаете.

— В чем?

— А вы разве не...— По моему лицу он понял, что я действительно «не».— В таком случае...

— Господи, какие от меня могут быть тайны?

Поколебавшись, он улыбнулся.

— Ему нравится держать это в секрете. Я думал, вы знаете, но если вы редко виделись... про эту ценную находку в его владениях?

— Находку?

— Вы ведь знаете, где он живет? На той стороне острова.

— Знаю.

— Так вот, кажется, летом там отвалился кусок скалы и обнаружился фундамент дворца — он считает, микенской эпохи.

— Ну, этого ему скрыть не удастся.

— Конечно нет. Но он хочет немного потянуть время. Пока что замаскировал все рыхлой землей. Весной начнет раскопки. А то народу набежит — никакого покоя.

— Понятно.

— Так что скучать мне не придется.

Я представил себе Лилию в облике кносской богини-змеи; в облике Электры; Клитемнестры; талантливого молодого археолога, доктора Ванессы Максвелл.

— Да, похоже, не придется.

Он допил пиво, взглянул на часы.

— Ох, я уже опаздываю. Мы с Амандой встречаемся в шесть.— Он

пожал мне руку.— Вы сами не знаете, как помогли мне. Честное слово, я напишу и сообщу вам, как идут дела.

— Напишите. Буду ждать с нетерпением.

Спускаясь по лестнице, я разглядывал его флотскую стрижку. Я начал понимать, почему Кончис выбрал именно его. Возьмите миллион молодых американцев с высшим образованием, извлеките из них общее, и вы получите нечто вроде Бриггса. Конечно, грустно, что вездесущие американцы добираются до самых сокровенных уголков Европы. Но имя у него гораздо более английское, чем у меня. И потом, на острове уже есть Джо, трудолюбивая доктор Маркус.

Мы вышли на улицу.

— Последние напутствия?

— Да нет, пожалуй. Просто добрые пожелания.

— Что ж...

Мы еще раз пожали друг другу руки.

— Все будет хорошо.

— Вы правда так считаете?

— Приготовьтесь, кое-что вам покажется странным.

— Я готов. Вы не думайте, у меня широкие взгляды. Я ничего не стану отвергать. Спасибо вам.

Я медленно улыбнулся; хотелось, чтобы он запомнил эту улыбку, что красноречивее слов, на которые я не смог отважиться. Он вскинул руку, повернулся. Через несколько шагов посмотрел на часы, перешел на бег; и я затеплил в сердце свечку во здравие Леверье.

75

Она опоздала на десять минут; скорым шагом приблизилась к почтовому киоску, где я ждал ее; на лице — вежливая, извиняющаяся улыбка досады.

— Простите. Такси еле ползло.

Я пожал ее протянутую руку. Для женщины, у которой за плечами полвека, она удивительно хорошо сохранилась; одета с тонким вкусом — в то хмурое утро посетители музея Виктории и Альберта рядом с ней казались тусклее, чем были на самом деле; с вызывающе непокрытой головой, в бело-сером костюме, подчеркивавшем загар и ясные глаза.

— И как мне могло прийти в голову назначить вам встречу именно здесь! Вы не сердитесь?

— Нисколько.

— Я тут купила блюдо восемнадцатого века. А здесь прекрасные эксперты. Это не отнимет много времени.

В музее она себя чувствовала как дома; направилась прямо к лифтам. Пришлось ждать. Она улыбнулась; родственная улыбка; взыскующая того, к чему я еще не считал себя подготовленным. Намереваясь лавировать меж ее мягкостью и своей твердостью, я запасся дюжиной подходящих фраз, но ее быстрые шаги и чувство, что я отнимаю ее драгоценное время, все обратили в прах.

— В четверг я виделся с Джоном Бриггсом,— сказал я.

— Как интересно. Я с ним незнакома.— Мы как будто нового дьякона обсуждали. Приехал лифт, мы вошли в кабину.

— Я все ему рассказал. Все, что ждет его в Бурани.

— Мы предполагали, что вы это сделаете. Потому и послали его к вам.

Оба мы слабо улыбались; напряженное молчание.

— Мог ведь и правда рассказать.

— Да.— Лифт остановился. Мы очутились на мебельной экспозиции.— Да. Могли.

— А если это была просто проверка?

— Проверять вас ни к чему.

— Вы так убеждены в этом?

Взглянула на меня в упор — так же она смотрела, протягивая второй экземпляр письма Невинсона. Мы уткнулись в дверь с надписью «Отдел керамики». Она нажала кнопку звонка.

— По-моему, мы начали не на той ноте,— сказал я.

Она опустила глаза.

— Пожалуй. Попытаемся еще раз? Подождите минутку, будьте добры.

Дверь открылась, ее впустили. Все — в спешке, все скомкано, некогда передохнуть, хотя, войдя, она оглянулась почти виновато; словно боялась, что я сбегу.

Через две минуты она вернулась.

— Удачно?

— Да, я не прогадала. Бау.

— Значит, вы не во всем полагаетесь на интуицию?

Задорный взгляд.

— Если б я знала, где находится отдел молодых людей...

— То нацепили бы на меня бирку и поставили в витрину?

Она снова улыбнулась и окинула взглядом зал.

— Вообще-то я не люблю музеи. Особенно — устаревших ценностей.— Двинулась вперед.— Они говорят, тут выставлено похожее блюдо. Вот сюда.

Мы попали в длинный безлюдный коридор, уставленный фарфором. Я начал подозревать, что вся сцена отрепетирована: она без колебаний подошла к одной из витрин. Вынула блюдо из корзинки и медленно, держа его перед собой, зашагала вдоль рядов посуды, пока не углядела за чашками и кувшинами почти такое же, белое с голубым. Я подошел к ней.

— Вот оно.

Сличив блюда, она небрежно завернула свое в папиросную бумагу и, застав меня врасплох, протянула мне.

— Это вам.

— Но...

— Прошу вас.— Моя чуть ли не оскорбленная мина ее не смутила.— Его купили мы с Алисон.— Поправилась: — Алисон была со мной, когда я его покупала.

Мягко всучила блюдо мне. Растерявшись, я развернул его и уставился на наивный рисунок — китаец с женой и двумя детишками, вечные кухонные окаменелости. Я почему-то вспомнил крестьян на палубе, зыбь, ночной ветер.

— А я думала, вы научились обращаться с хрупкими предметами. Гораздо ценнее, чем этот.

Я не отрывал взгляда от синих фигурок.

— Из-за этого я и хотел встретиться с вами.

Мы посмотрели друг другу в глаза; и я впервые почувствовал, что меня не просто оценивают.

— А не выпить ли нам чаю?

— Ну,— сказала она,— из-за чего вы хотели со мной встретиться?

Мы нашли свободный столик в углу; нас обслужили.

— Из-за Алисон.

— Я ведь объяснила.— Она подняла чайник.— Все зависит от нее.

— И от вас.

— Нет. От меня — ни в малейшей степени.

— Она в Лондоне?

— Я обещала ей не говорить вам, где она.

— Послушайте, госпожа де Сейтас, мне кажется...— но я прикусил язык. Она разливала чай, бросив меня на произвол судьбы.— Что ей, черт побери, еще нужно? Что я должен сделать?

— Не слишком крепко?

Я недовольно покачал головой, глядя в чашку, которую она мне протянула. Она добавила себе молока, передала мне молочник. Улыбнулась уголками губ:

— Злость редко кого красит.

Я хотел было отмахнуться от ее слов, как неделю назад хотел стряхнуть ее руку; но понял, что, помимо неявной издевки, в них содержится

прямой намек на то, что мир мы воспринимаем по-разному. В ее фразе таилось нечто материнское; напоминание, что, ополчаясь против ее уверенности, я тем самым ополчаюсь против собственного недомыслия; против ее вежливости — против собственного хамства. Я опустил глаза.

— У меня просто нет сил больше ждать.

— Не ждите; ей меньше хлопот.

Я глотнул чаю. Она невозмутимо намазывала медом поджаренный хлебец.

— Называйте меня Николасом,— сказал я. Рука ее дрогнула, затем продолжала размазывать мед — возможно, вкладывая в это символический смысл.— Теперь я послушен своей епитимье?

— Да, если искренни.

— Столь же искренен, как были искренни вы, когда предложили мне помощь.

— Ходили вы в Сомерсет-хаус?

— Ходил.

Отложила нож, взглянула на меня.

— Ждите столько, сколько захочет Алисон. Не думаю, что ждать придется долго. Приблизить вас к ней — не в моей власти. Дело теперь в вас двоих. Надеюсь, она простит вас. Но не слишком на это уповайте. Вам еще предстоит вернуть ее любовь.

— Как и ей — мою.

— Возможно. Разбирайтесь сами.— Повертела хлебец в руках, улыбнулась.— «Игра в бога» окончена.

— Что окончено?

— «Игра в бога».— В ее глазах одновременно сверкнули лукавство и горечь.— Ведь бога нет, и это не игра.

Она принялась за хлебец, а я обвел взглядом обыденный, деловитый буфет. Резкий звон ножей, гул будничных разговоров вдруг показались мне не более уместными, чем какой-нибудь щебет ласточек.

— Так вот как вы это называете!

— Для простоты.

— Уважай я себя вот на столечко, встал бы и ушел.

— А я рассчитывала, что вы поможете мне поймать такси. Нужно прикупить Бенджи кое-что к школе.

— Деметра в универмаге?

— А что? Ей бы там понравилось. Габардиновые пальто, кроссовки.

— А на вопросы отвечать ей нравится?

— Смотря на какие.

— Вы так и не собираетесь открыть мне ваши настоящие цели?

— Уже открыли.

— Сплошная ложь.

— А если иного способа говорить правду у нас просто нет? — Но, будто устав иронизировать, она потупилась и быстро добавила: — Я как-то задала Морису примерно тот же вопрос, и он сказал: «Получить ответ — все равно что умереть».

На лице ее появилось новое выражение. Не то чтобы упорное; непроницаемое.

— А для меня задавать вопросы — это все равно что жить.— Я подождал, но она не ответила.— Ну ладно. Я не ценил Алисон. Хамло, скотина, все что хотите. Так ваше грандиозное представление было затеяно лишь для того, чтобы доказать мне, что я ничтожество, конченый человек?

— Вы когда-нибудь задумывались, зачем природе понадобилось создавать столько разнообразных форм живого? Это ведь тоже кажется излишеством.

— Морис говорил то же самое. Я понимаю, что вы имеете в виду, но как-то смутно, отвлеченно.

— А ну-ка, послушаем, что вы понимаете.

— Что в наших несовершенствах, в том, что мы друг от друга отличаемся, должен быть какой-то высший смысл.

— Какой именно?

Я пожал плечами.

— Тот, что субъекты вроде меня в этом случае имеют шанс хоть немного приблизиться к совершенству?

— А до того, что случилось летом, вы это понимали?

— Что далек от идеала, понимал очень хорошо.

— И что предпринимали?

— Да, в общем, ничего.

— Почему?

— Потому что...— Я перевел дух, опустил глаза.— Я же не защищаю себя, каким был раньше.

— И вас не волнует, как могла бы сложиться ваша судьба?

— Это не лучший способ преподать человеку урок.

Она помедлила, снова оценивающе оглядела меня, но заговорила уже помягче:

— Я знаю, Николас, на том шутливом суде вы наслушались неприятных вещей. Но судьей-то были вы сами. И если бы, кроме них, о вас сказать было нечего, вы вынесли бы совсем другой приговор. Все это понимали. И не в последнюю очередь — мои дочки.

— Почему она мне отдалась?

— Мне кажется, то была ее воля. Ее решение.

— Это не ответ.

— Тогда, наверное, чтобы доказать вам, что плотские утехи и совесть лежат в разных плоскостях.— Я вспомнил, что сказала Лилия перед тем, как меня вытащили из ее постели; нет, им не все известно. События той ночи не укладывались в рамки загодя расчисленного урока; если они и были уроком, то не для меня одного. Ее мать продолжала: — Николас, если хочешь хоть сколько-нибудь точно смоделировать таинственные закономерности мироздания, придется пренебречь некоторыми условностями, которые и придуманы, чтобы свести на нет эти закономерности. Конечно, в обыденной жизни условности преступать не стоит, более того, иллюзии в ней очень удобны. Но «игра в бога» предполагает, что иллюзия — всё вокруг, а любая иллюзия приносит лишь вред.— Улыбка.— Что-то я копнула глубже, чем собиралась.

Я слабо улыбнулся в ответ.

— Но до того, чтобы внятно объяснить, почему выбрали именно меня, не добрались.

— Основной принцип бытия — случай. Морис говорит, что этого уже никто не оспаривает. На атомном уровне миром правит чистая случайность. Хотя поверить в это до конца, естественно, невозможно.

— Но к будущему лету вы решили подготовиться заранее?

— Кто знает, что из этого выйдет? Его реакция непредсказуема.

— А если бы Алисон приехала на остров вместе со мной? Такая вероятность была.

— Скажу вам только одно. Морис бы сразу увидел, что ее искренность подвергать каким-либо испытаниям излишне.

Я опустил глаза.

— Она знает о...?

— Чего мы добиваемся, ей известно. Подробности — нет.

— И она сразу согласилась?

— По крайней мере, инсценировать самоубийство — не сразу, и при том условии, что обманывать вас мы будем недолго.

Я помолчал.

— Вы сказали ей, что я хочу с ней увидеться?

— Она знает мое мнение на сей счет.

— Что не стоит принимать меня всерьез?

— Когда вы говорите подобные глупости — пожалуй.

Я обводил вилочкой узор на скатерти; пусть видит, что я настороже, что ей не удалось усыпить мою бдительность.

— Расскажите, с чего все это началось.

— С желания быть с Морисом, помогать ему.— Она на секунду умолкла, затем продолжала: — В один прекрасный день, вернее, ночь у нас был долгий разговор о чувстве вины. После смерти моего дяди оказалось, что мы с Биллом — сравнительно богатые люди. Мы испытали то, что теперь называется стрессом. И поделились этим с Морисом. И — знаете, как это бывает? Рывок, гора с плеч. Все озарения приходят именно так. Сразу. Во всей полноте. И ничего не остается, как воплощать их в жизнь.

— И в чужую боль?

— Мы никогда не были уверены в успехе, Николас. Вы проникли в нашу тайну. И теперь вы — как радиоактивное вещество. Мы пытаемся контролировать вас. Но удастся ли? — Потупилась.— Один человек... ваш товарищ по несчастью... как-то сказал мне, что я похожа на озеро. В которое так и тянет бросить камень. Я переношу все это не так спокойно, как кажется.

— Ничего, у вас ловко выходит.

— Один-ноль.— Поклонилась. Потом сказала: — На той неделе я уезжаю — в сентябре уже не надо присматривать за детьми. Я не прячусь, я поступаю так каждый год.

— К... нему?

— Да.

Воцарилось странное, почти извиняющееся молчание; словно она поняла, что во мне вспыхнула незваная ревность и что эта ревность оправданна; что властная связь, выстраданная общность существуют не только в моем воображении.

Взглянула на часы.

— Друг мой. Мне так жаль. Но Гунхильд и Бенджи будут ждать меня у Кингз-Кросс. Ох, пирожные такие аппетитные...

Они остались на тарелке, нетронутые, во всем своем вычурно-пестром великолепии.

— За удовольствие так их и не попробовать стоит заплатить.

Она весело согласилась, и я помахал официантке. Пока мы ждали счет, она сказала:

— Забыла вам сообщить, что за последние три года Морис дважды перенес тяжелый инфаркт. Так что следующего... лета может и не быть.

— Да. Он говорил мне.

— И вы не поверили?

— Нет.

— А мне верите?

— Из ваших слов трудно заключить, что с его смертью все кончится,— уклончиво ответил я.

Она сняла перчатки.

— Как странно вы это сказали.

Я улыбнулся ей; она улыбнулась в ответ.

Она хотела что-то добавить, но передумала. Я вспомнил, как Лилия иногда «выходила из роли». Дочь, мерцающая в матери; лабиринт; дары пожалованные, дары отвергнутые. Замирение.

Через минуту мы очутились в коридоре. Навстречу шли двое мужчин. Поравнявшись с нами, тот, что слева, негромко вскрикнул. Лилия де Сейтас остановилась; встреча и для нее была полной неожиданностью. Темно-синий костюм, галстук-бабочка, ранняя седина в густой шевелюре, румяные щеки, живые, пухлые губы. Она быстро обернулась ко мне.

— Николас, извините... вы не поймаете такси?

У него было комичное лицо человека — солидного человека,— который вдруг снова стал мальчишкой, которому эта случайная встреча вернула молодость. Я с преувеличенной учтивостью посторонился, уступая дорогу идущим в буфет, и благодаря этому на секунду задержался. Он за обе руки тянул ее к себе, а она улыбалась своей загадочной улыбкой, как Церера, вновь сошедшая на бесплодную землю. Нужно было идти, но у дверей я еще раз обернулся. Его попутчик прошел дальше и ждал у входа в буфет.

Те двое не двигались с места. Морщинки нежности у его глаз; она с улыбкой принимает дань.

Такси не попадались; я стоял у края тротуара. Может, это и есть «знаменитость», сидевшая в портшезе? — но я его не узнал. Узнал лишь его благоговение. Он видел одну ее, словно ее присутствие отменяло все дела разом.

Минуты через две она подбежала ко мне.

— Вас подвезти?

Она не собиралась ничего объяснять, и вновь что-то в этой нарочитой таинственности вызвало во мне не любопытство, а пресыщенность и досаду. Она не была вежливой; скорее *умела* быть вежливой; хорошими манерами она пользовалась как рычагом, чтобы двигать мою неподъемную тушу в нужном направлении.

— Нет, спасибо. Мне в Челси.— Мне вовсе не надо было в Челси; я просто хотел от нее избавиться.

Украдкой взглянув на нее, я сказал:

— При встречах с вашей дочерью у меня все время крутилась в голове одна байка, но к вам она даже больше подходит.— Она улыбнулась, слегка растерявшись.— Байка про Марию Антуанетту и мясника — скорее всего, легенда. В первых рядах черни к Версальскому дворцу подошел мясник. Размахивал ножом и вопил, что перережет Марии Антуанетте горло. Толпа расправилась со стражей, и мясник ворвался в королевские покои. Вбежал в спальню. Она была одна. Стояла у окошка. Мясник с ножом в руке и королева. Больше никого.

— И что дальше?

Я увидел такси, едущее в обратном направлении, и махнул шоферу, чтобы тот развернулся.

— Он упал на колени и разрыдался.

Она помолчала.

— Бедный мясник.

— Кажется, то же сказала и Мария Антуанетта.

Она следила, как такси подруливает к нам.

— Главный вопрос: кого, собственно, оплакивал мясник?

Я отвел глаза.

— А по-моему, не главный.

Такси остановилось, я открыл дверцу. Она смотрела на меня, собираясь что-то сказать, но потом либо передумала, либо вспомнила о другом.

— Ваше блюдо.— Вынула его из корзинки.

— Постараюсь не разбить.

— С наилучшими пожеланиями.— Протянула руку.— Но Алисон вам никто не подарит. За нее придется заплатить.

— Ее месть затягивается.

Еще на мгновение задержала мою руку в своей.

— Никóлас, я так и не назвала вам вторую заповедь, которой мы с мужем придерживались всю жизнь.

И назвала, глядя на меня без улыбки. Еще секунду смотрела мне прямо в лицо, потом наклонилась и села в такси. Я провожал машину глазами, пока она не скрылась за Бромптонской часовней; в точности как тот мясник вглядывался, болван, в обюссонский ковер; только что не плакал.

76

Итак, я ждал.

Жестокость этих бесплодных дней казалась чрезмерной. Словно Кончис, с согласия Алисон, следовал давнишним рецептам викторианской кухни — варенья, лакомых перемен не получишь, пока не объешься хлебом, черствыми корками ожидания. Но философствовать я разучился. На протяжении последующих недель нетерпение вовсе не утихало, наоборот, и я отчаянно пытался хоть как-то развеяться. Каждый вечер находил предлог, чтобы прогуляться по Рассел-сквер — наверное, так, движимые скорее скукой, нежели надеждой, бродят по причалу моряцкие жены и чер-

ноглазые зазнобы. Но огни моего корабля все не зажигались. Два-три раза я ездил в Мач-Хэдем; окна вечернего Динсфорд-хауса были еще чернее окон на Рассел-сквер.

Не зная, чем заняться, я часами сидел в кино, читал, в основном всякую чушь; книги мне нужны были исключительно для того, чтобы одурманить себя. А ночами, бывало, бесцельно устремлялся прочь из города — в Оксфорд, Брайтон, Бат. Дальние поездки успокаивали, будто, мчась сквозь тьму, несясь во весь дух по спящим полночным улочкам, возвращаясь в Лондон на рассвете, ложась измотанным и просыпаясь лишь к вечеру, я делал что-то сто́ящее.

Перед самым знакомством с Лилией де Сейтас к моей тоске добавилась другая напасть.

Я часто забредал в Сохо и Челси — места, малоподходящие для невинных прогулок, если не жаждешь подвергнуть свою невинность серьезному искушению. Чудищ в этих дебрях хватало — от размалеванных кляч у подъездов Грик-стрит до столь же сговорчивых, но более аппетитных фиф и помятых барышень на Кингз-роуд. К некоторым из них меня тянуло. Сначала я отмахивался от этой мысли; потом смирился. Избегал или, точнее, не ввязывался в соблазн я по многим причинам; скорее по соображениям выгоды, чем из брезгливости. Пусть *те* видят,— если они где-то рядом; ведь нельзя исключить, что за мной наблюдают,— что я могу прожить и без женщин; а в глубине души я сам хотел удостовериться в этом. При встрече с Алисон эта уверенность станет оружием, лишним ударом плети — если дойдет до плетей.

Дело в том, что чувства, которые я теперь питал к Алисон, не имели ничего общего с сексом. Может, тут сыграла роль пропасть, отделявшая меня от Англии и всего английского, моя безымянность, неприкаянность; но, похоже, я мог ежедневно менять партнерш, а по Алисон тосковать при этом ничуть не меньше. От нее я ждал совсем иного, и это иное могла дать мне только она. Вот в чем разница. Секс я получу от кого угодно; но лишь от нее получу... это не назовешь любовью,— гипотеза, требующая экспериментального подтверждения, реальность, еще до всяких проверок зависящая от глубины ее раскаяния, от искренности признаний, от того, насколько полно она докажет, что сама еще любит меня; что предать ее побудила именно любовь. В такие моменты «игра в бога» вызывала во мне смешанное чувство восторга и отвращения, словно замысловатая религия: наверно, в этом что-то есть, но сам я никогда не уверую. Кстати, из того, что граница любви и секса становилась все резче, вовсе не следовало, что я собирался вести жизнь праведника. И все проповеди г-жи де Сейтас, призывавшей отсечь верх от низа взмахом скальпеля, были в каком-то смысле избыточны.

Но некая часть меня еще сопротивлялась. Басни, которыми г-жа меня накормила, мертвым грузом лежали в желудке. Они противоречили не только общепринятой морали. Нет, они вступали в конфликт с подсознательной уверенностью, что никто, кроме Алисон, мне не нужен, а если все же понадобится кто-то еще, то пострадают не одни лишь нравственность и принципы, но нечто трудноопределимое, плотское и духовное одновременно, связанное с воображением и смертью. Возможно, Лилия де Сейтас предвосхищала законы взаимоотношения полов, какие установятся в двадцать первом веке; но чего-то не хватало, какого-то жизненно важного условия — как знать, не пригодится ли оно в двадцать втором?

Все это легко сказать; труднее воплотить в жизнь, ведь век-то нам достался двадцатый. Век, когда инстинкты отпущены на свободу, чувства и желания — все скоротечнее. Викторианцу моего возраста ничего не стоило дожидаться возлюбленной хоть пятьдесят — что там дней! — месяцев и при этом ни разу не согрешить даже в мыслях, не то что в делах своих. С утра мне еще удавалось подражать викторианцам; но днем, стоя в книжной лавке рядом с очаровательной девушкой, я молил бога, в которого не верил, чтобы она не повернула головы, не улыбнулась.

И как-то вечером в Бейсуотере улыбнулась-таки; поворачивать голову ей не потребовалось. Она сидела напротив меня в закусочной и болтала с приятелем; я смотрел во все глаза, забыв о еде: обнаженные руки, высокая грудь. Похожа на итальянку; черноволосая, волоокая. Приятель ушел, девушка откинулась на спинку стула и взглянула на меня с недвусмысленной, обезоруживающей улыбкой. Она не была потаскухой; просто сигнализировала: хочешь познакомиться? Вперед!

Я неуклюже поднялся, пошел к выходу и топтался там, пока не расплатился с официанткой. Мое позорное бегство отчасти объяснялось чрезмерной подозрительностью. Девушка с приятелем вошли после меня и сели так, чтобы наверняка попасться мне на глаза. Чистое безумие. Я вот-вот поверю, что любая женщина, попавшаяся на пути, послана мучить и искушать; теперь перед тем, как войти в кафе или ресторан, я заглядывал в окно и заранее намечал себе место в закутке, где не услышу и не увижу этих ужасных тварей. Я все больше и больше походил на шута и злился, что не в силах вести себя иначе. И тут появилась Джоджо.

Это было в конце сентября, с Лилией де Сейтас мы распрощались две недели тому назад. Под вечер, измаявшись от безделья, я пошел на старый фильм Рене Клера. Плюхнулся рядом с какой-то нахохлившейся фигурой и стал смотреть бессмертную «Соломенную шляпку». По гнусавым придыханиям я догадался, что сосед, словно сошедший со страниц Беккета,— женщина. Через полчаса она попросила огоньку. Я различил круглое лицо, не тронутое косметикой, рыжеватые, прихваченные резинкой волосы, густые брови, руку с грязными ногтями, держащую бычок. В перерыве она принялась со мной заигрывать, так неумело, что я ее даже пожалел. На ней были джинсы, засаленный серый свитер с широким воротом, древнее мужское шерстяное пальто; но три вещи в ней вызывали неожиданную симпатию: зияющая ухмылка, хриплый шотландский выговор и такая бесприютная слезливость, что я сразу узнал в ней родственную душу и сердце, достойное нового Мэйхью [1]. Ухмылка казалась неестественной, словно кто-то невидимый растягивал ей рот пальцами. Похилившись набок, как расстроенный карапуз, она безуспешно пыталась вытянуть из меня, чем я занимаюсь, где живу; и тут, то ли сжалившись над ее жабьей ухмылкой, то ли потому, что уж с этой-то стороны опасность явно не грозила (наша встреча, вне всякого сомнения, случайна), я пригласил ее выпить кофе.

Мы отправились в кафе. Я заявил, что голоден, и предложил ей порцию спагетти. Сперва она наотрез отказалась; затем призналась, что истратила последние деньги на билет в кино; затем набросилась на еду так, что за ушами трещало. Я преисполнился умиления, точно хозяин, кормящий собаку.

Продолжили мы в баре. Она приехала из Глазго изучать искусство — два, что ли, месяца назад. В Глазго вращалась в кругах маргинально-выморочной кельтской богемы, здесь не вылезала из кафе и кинотеатров, «благо ребята деньжат подбрасывают». С искусством она завязала; типичная бродяжка из захолустья.

Я все больше убеждался, что за свою нравственность с ней могу быть спокоен; может, потому мы и подружились так быстро. Она была забавная, с характером, сипатая, начисто лишенная какой бы то ни было женственности. Как, впрочем, и эгоизма; зато отзывчивости хоть отбавляй. Я довез ее до меблирашек в Ноттинг-хилле, и она решила, что я ожидаю приглашения. Но я разочаровал ее.

— Так мы больше не увидимся?

— Ну почему...— Я оглядел ее поникшую фигурку.— Тебе сколько лет?

— Двадцать один.

— Не ври.

— Двадцать.

— Восемнадцать?

— Пошел к черту. Двадцать, правда.

---

[1] Генри Мэйхью (1812—1887) — публицист, автор очерковых книг из жизни лондонского «дна».

— Хочу сделать тебе предложение.— Фыркнула.— Да я не то имел в виду. Дело в том, что я сейчас дожидаюсь одну... девушку... она в Австралию уехала. И на ближайшие две-три недели не отказался бы от компании.— Улыбнулась до ушей.— Я тебе работу предлагаю. В Лондоне куча агентств этим занимается. Подыскивает сопровождающих и компаньонов.

Она все ухмылялась.

— Что ты мне мозги пудришь?

— Нет... я правду говорю. Ты сейчас за бортом. Я тоже. Давай вылезать вместе... деньги — моя забота. Никакой постели. Просто дружба.

Она сделала движение, будто намылила руки; снова ухмыльнулась, пожала плечами: психом больше, психом меньше.

И мы стали встречаться. Если они следят за мной, должны отреагировать. Вдруг хоть это поможет форсировать события.

Джоджо была странное создание, флегматичное, как дождь (лондонский дождь: она редко мылась), добродушное и безвредное. С предложенной ролью справлялась прекрасно. Мы шатались по киношкам, барам, выставкам. Иногда с утра до вечера сидели у меня. Но ближе к ночи я всякий раз отвозил ее домой. Мы могли часами сидеть за столом в полном молчании, читая газеты и журналы. Через семь дней у меня появилось чувство, что мы знакомы семь лет. Я платил ей четыре фунта в неделю, предлагал купить кое-что из одежды и оплачивать ее грошовую квартиру. Отказалась, взяла только темно-синий вязаный жакет от «Маркса и Спенсера». Большего и желать было нельзя: она отпугивала от меня девушек, а я взамен уделял ей толику своей сублимированной верности.

Она не роптала, довольствуясь малым, будто старая дворняга; терпеливая, кроткая, ни на что не претендующая. На вопросы об Алисон я не отвечал, и Джоджо, похоже, перестала верить в ее существование; смирилась с тем, что я «слегка чокнутый», как мирилась со всем на свете.

Как-то в октябре, ощутив приближение бессонницы, я предложил махнуть куда ее душе угодно, только чтобы за ночь обернуться. Поразмыслив, она, бог знает почему, выбрала Стоунхендж [1]. И мы отправились в Стоунхендж, бродили там в три часа ночи под пронизывающим ветром, натыкаясь на менгиры; чайки ерзали над нашими головами в своих гнездах из водорослей, полных лунного света. Потом мы залезли в машину и подкрепились шоколадом. Я едва различал ее лицо: темные кляксы глаз, наивная кукольная улыбка.

— Чему смеешься, Джоджо?

— Я такая счастливая.

— Не устала?

— Нет.

Я наклонился, поцеловал ее в висок. Раньше я никогда не целовал ее; быстро включил зажигание. Вскоре она заснула и медленно сползла мне на плечо. Во сне она казалась девочкой лет пятнадцати-шестнадцати. Пряди ее волос, давно не мытых, касались моего лица. И я ощутил к ней почти то же, что к Кемп: нестерпимую нежность, подспудное желание.

Через несколько дней мы отправились в кино на вечерний сеанс. Кемп, считавшая, что у меня не все дома, раз я сплю с такой никчемной уродкой,— объяснить ей, что к чему, я даже не пытался,— но довольная, что хоть с этим у меня наконец наладилось, присоединилась к нам, и после фильма мы зашли в ее «мастерскую» залить глаза какао и остатками рома. Около часу Кемп нас выставила; ей хотелось спать, да и мне тоже. Мы с Джоджо остановились в подъезде. Это была первая по-настоящему промозглая осенняя ночь, к тому же лило как из ведра. Мы выглянули на улицу.

---

[1] О Стоунхендже, древнем языческом храме-обсерватории, Фаулз написал документальную книгу; именно сюда приведет своих спутников загадочный мистер Бартоломью из романа «Личинка» — приведет, дабы устроить им первую встречу со сверхъестественными существами-пришельцами, носителями Знания.

— Ник, я переночую у тебя, в кресле.

— Нет. Все в порядке. Подожди-ка. Я подгоню машину.— Машину я оставил в переулке. Сел, затаив дыхание, завел мотор, тронулся с места, но уехал недалеко: переднее колесо спустило. Я вылез под дождь, осмотрел шину, чертыхнулся, сунулся в багажник. Насоса там не было. В последний раз я пользовался им дней десять назад, так что неизвестно, когда его сперли. Я захлопнул крышку и побежал обратно в подъезд.

— Наверху полный бардак.

— У тебя настоящие хоромы.

— Спасибо.

— Не психуй. Лягу на твое старое кресло.

Разбудить Кемп? Но выслушивать ее смачную ругань что-то не хотелось. Мы поднялись по лестнице, миновали пустое ателье и вошли в квартиру.

— Ложись-ка в кровать. А я как-нибудь перекантуюсь.

Кивнув, она вытерла нос тыльной стороной руки; отправилась в ванную, оттуда — в спальню, легла, натянув на себя свое потрепанное пальто. В глубине души я злился на нее, я устал как собака, но сдвинул два стула и улегся. Прошло пять минут. Она выглянула из-за двери.

— Ник!

— У-у?

— Иди.

— Куда?

— Сам знаешь.

— Нет.

Она не уходила. Обдумывала следующий шаг.

— Но я хочу.— Удивительно: до сих пор она ни разу не употребляла глагол «хотеть» в первом лице.

— Мы же друзья, Джоджо. Не любовники.

— Просто полежим рядом.

— Нет.

— Один разочек.

— Нет.

Она стояла в дверном проеме, толстая, в джинсах и синем жакете, смутное пятно безмолвного упрека. В свете фонаря ее силуэт казался плоским, а черты лица — необычайно рельефными, как на литографиях Мунка. «Ревность»? «Зависть»? «Невинность»?

— Я замерзла.

— Ну так залезь под одеяло.

Помедлив, заковыляла к кровати. Еще пять минут. У меня занемела спина.

— Я легла. Ник, ты можешь спать тут, на одеяле.— Я глубоко вздохнул.— Слышишь?

— Да.

Молчание.

— Я думала, ты спишь.

Лило, шелестело в водосточных трубах; сырая лондонская мгла заполняла комнату. Одиночество. Зима.

— Можно к тебе на секундочку, огонь зажечь?

— О боже.

— Я тихенько.

— Трогательная заботливость.

Пошла по комнате, натыкаясь на мебель; чиркнула спичкой. Фукнул, зашипел газ. По стенам заплясали розоватые отблески. Она двигалась тихо-тихо, но я наконец сдался, приподнял голову.

— Не смотри. Я без ничего.

Но я посмотрел. Она стояла над огнем, путаясь в моем джемпере. Я с раздражением подумал, что в свете газа она почти красива, по меньшей мере женственна. Отвернулся, достал сигарету.

— Слушай, Джоджо, ничего не выйдет. Не буду я спать с тобой.

— Не могла же я лезть в твою чистую постель одетая.

— Грейся — и немедленно назад.

Я успел выкурить полсигареты, пока она снова заговорила:

— Просто ты так добр ко мне.— Я упрямо молчал.— Я хочу тебе отплатить добром.

— Если в этом дело — не беспокойся. Ты мне ничего не должна.

Я взглянул на нее. Она сидела на полу, спиной ко мне, обняв пухлые коленки, уставясь в огонь. Снова молчание.

— Не только в этом,— сказала она.

— Иди оденься. Или ляг. Тогда поговорим.

Шипение газа утихло. Я прикурил новую сигарету от первой.

— Сказать, почему ты не хочешь?

— Ну скажи.

— Боишься подцепить какую-нибудь вашу болезнь.

— Джоджо!

— Может, я заразная. Что с того, что нет симптомов? А вдруг я бациллоноситель?

— Перестань.

— Но ведь ты так думаешь.

— Никогда я этого не думал.

— Ты не виноват. Ни капельки.

— Заткнись, Джоджо. Заткнись сейчас же.

Молчание.

— Замараться боишься, индюк надутый.

Прошлепала по полу, хлопнула дверью так, что та снова открылась. Послышались всхлипывания. Черт бы побрал мою недогадливость; мог бы и заметить, что сегодня она вела себя не так, как обычно: вымыла голову, завязала «хвост», поглядывала со значением. Я представил себе настойчивый стук, Алисон за дверью. И потом, я обиделся. Джоджо никогда не сквернословила и употребляла эвфемизмы раз в пятьдесят чаще, чем требовало ее социальное положение. А последняя ее фраза меня по-настоящему задела.

Полежав минуту, я пошел в спальню, тоже освещенную теплым пламенем газа. Завернул ее в одеяло.

— Ох, Джоджо. До чего ты смешная.

Я гладил ее по голове, другой рукой придерживая одеяло, чтобы она на меня не бросилась. Зашмыгала носом. Я сунул ей платок.

— Знаешь что?

— Что?

— Я ни разу этого не делала. Ни разу не спала с мужчиной.

— Господи.

— Чиста как младенец.

— Ну и слава богу.

Повернулась на спину, посмотрела мне в глаза.

— И теперь меня не хочешь?

Эта ее реплика перечеркнула две предыдущие. Я дотронулся до ее щеки, покачал головой.

— Я люблю тебя, Ник.

— Нет, Джоджо. Тебе кажется.

Снова захлюпала; я начал злиться.

— Так ты что, специально? Проткнула покрышку? — Пока Кемп возилась с какао, она ненадолго отлучалась, соврав, что ей нужно наверх.

— Я не могла иначе. Помнишь, мы ездили в Стоунхендж? Я на обратном пути вовсе не спала. Притворялась.

— Джоджо... Хочешь, я расскажу тебе то, что никому не рассказывал? Хочешь?

Я вытер ей глаза платком и заговорил, сидя на краю постели, спиной к ней. Ничего не приукрашивая, поведал об Алисон, о том, как потерял ее. О Греции. О Лилии — пусть без подробностей, но по сути точно. О Парнасе, о своем позорном поведении. И так — до сегодняшнего дня, до

встречи с Джоджо. Рассказал, зачем она мне понадобилась. Неожиданный, но не худший исповедник; ибо она отпустила мне грехи.

И почему я не рассказал все с самого начала? Она бы вела себя умнее.

— Я был слеп. Прости.

— Что уж тут поделаешь.

— Прости. Пожалуйста, прости.

— Да я просто сопливая идиотка из Глазго.— Напустила на себя важный вид.— Мне семнадцать, Ник. Я все наврала.

— Хочешь, я куплю тебе билет?

Но она замотала головой.

В наступившей тишине я размышлял о том, что есть только одна истина, только одна мораль, один грех, одно преступление. Прощаясь со мной, Лилия де Сейтас сформулировала эту истину; тогда я подумал, что она говорит о прошлом, о моей притче про мясника. Но теперь понял: она говорила о будущем.

Десять библейских заповедей не выдержали испытания временем; для меня они были пустым звуком, в лучшем случае — мертвой догмой. Но, сидя в спальне, глядя на блики огня на дверном косяке, я чувствовал, как эта сверхзаповедь, соединившая в себе все десять, овладевает мною; да, я всегда знал о ее существовании, всю жизнь пытался ей следовать, но снова и снова нарушал. Кончис считал, что есть опорные точки поворота, моменты, когда сталкиваешься с собственным будущим. И я понял, что все упирается в Алисон, в мою верность ей, которую нужно доказывать ежедневно. Зрелость, как гора, возвышалась передо мною, а я стоял у подножия этого ледяного утеса, этого невозможного, неприступного «Не терзай ближнего своего понапрасну».

— Ник, дай курнуть.

Я сходил за сигаретой. Она лежа затягивалась, высвечивая свои румяные щеки, внимательные глаза. Я взял ее за руку.

— О чем ты думаешь, Джоджо?

— А если она...

— Так и не вернется?

— Да.

— Женюсь на тебе.

— Ври больше.

— У нас будет куча детишек с толстой мордой и обезьяньей улыбкой.

— Ах ты злобная скотина.

Ее глаза; молчание; тьма; сдерживаемая нежность. Я вспомнил ночь с Алисон в комнате на Бейкер-стрит, в прошлом октябре. И память просто и откровенно подсказала мне: ты уже не тот.

— У тебя будет другой муж, гораздо лучше.

— Я хоть немного на нее похожа?

— Да.

— Так я и поверила. Свистишь.

— Потому что вы обе... не такие, как все.

— Каждый человек — не такой.

Я пошел в комнату, бросил шиллинг в прорезь газового счетчика; остановился на пороге спальни.

— Тебе, Джоджо, надо жить в особняке. Или на заводе работать. Или ходить в школу. Или обедать в посольстве.

За окном закричал юстонский поезд, затих на севере. Она нагнулась, потушила сигарету.

— Если бы я была красивой.

Натянула одеяло на подбородок, словно пряча свое уродство.

— Иногда красота — это внешнее. Как обертка подарка. Но не сам подарок.

Долгая пауза. Ложь во спасение. Соломки подстелить.

— Ты забудешь меня?

— Нет. Запомню. Навсегда.

— Дай бог, раз в год вспомнишь.— Зевнула.— А вот я тебя не

забуду.— И через несколько минут пробормотала, как бы уже не отсюда, будто ребенок во сне: — И эту вонючую Англию.

77

Заснул я после шести и часто просыпался. Наконец, к одиннадцати, набрался мужества посмотреть в лицо дневному свету. Зашел в спальню. Джоджо и след простыл. Заглянул в кухню (она же — ванная). Обмылком на зеркале выведены три креста, «Пока» и подпись. Выскользнула из моей жизни с той же легкостью, с какой вошла в нее. На кухонном столе лежал насос.

Снизу доносилось стрекотание швейных машинок; женские голоса, избитая мелодия из радиоприемника. А я был один в своей квартире.

Ожидание. Бесконечное ожидание.

Прислонившись к старой деревянной сушилке, я запивал жесткое печенье растворимым кофе. Хлеба я, как всегда, забыл купить. На глаза мне попалась коробка из-под кукурузных хлопьев. Рисунок изображал тошнотворно довольную «среднюю» семейку за завтраком; загорелый, веселый папа, симпатичная моложавая мама, сыночек, дочка; рай земной. Хорошо бы прочистить желудок. Но кто знает — а вдруг за этой трусливо-подловатой жаждой походить на других, эгоистичным желанием, чтобы кто-то стирал тебе носки, пришивал пуговицы, удовлетворял твою похоть, восторгался тобой, готовил обед из трех блюд, и есть что-то сто́ящее, некое стремление к порядку, к гармонии?

Я сделал себе еще кофе, помянув недобрым словом чертову сучку Алисон. Почему я должен ее дожидаться? Это в Лондоне-то, где больше сговорчивых девушек на единицу площади, чем в любом другом европейском городе, настоящих красоток, искательниц приключений, стаями слетающихся сюда, чтобы их умыкнули, раздели, запихали в постель!..

А Джоджо, которую я меньше всего хотел оскорбить? Это все равно что ударить голодную псину по тонким, дрожащим ребрам.

Смятение, разжигаемое отвращением к себе и обидой, охватило меня. Всю жизнь я ненавидел компромиссы. И вот я раздавлен; я дальше от свободы, чем когда бы то ни было. Я лихорадочно схватился за мысль о том, чтобы забыть Алисон, вновь пуститься в скитания... одинокие, но вольные. Даже трагические; ведь, что бы ни делал, я обречен причинять боль. Может, в Америку? В Южную Америку?

Свобода — это сделать решительный выбор и стоять на своем до последнего: так было в Оксфорде: раскрепощенные воля и инстинкт выталкивают тебя по касательной в новую, чуждую среду. Положусь на случай. Разрушу зал ожидания, где я заперт.

Я пересек унылую квартиру. Над каминной полкой висело «китайское» блюдо. Опять семья; порядок и долг. Плен. За окном — дождь; серое ветреное небо. Окинув взглядом Шарлотт-стрит, я решил съехать от Кемп немедленно, сейчас же. Чтобы доказать себе, что еще способен двигаться, бороться, что я свободен.

Я спустился в Кемп. Она выслушала меня холодно. Похоже, она знала, что произошло между мной и Джоджо, ибо в глазах ее светился стойкий огонек презрения; она отмахнулась от моих оправданий — я, дескать, собираюсь снять загородный дом, буду писать книгу.

— А Джоджо с собой возьмешь?

— Нет. Мы решили расстаться.

— *Ты* решил расстаться.

Да, знает.

— Ну хорошо, *я* решил.

— Что, замучился с нами, плебеями, прынц хренов?

— Как тебе не стыдно!

— Дуришь башку бедной девчонке, на кой ляд — непонятно, потом, когда она втюрилась в тебя по уши, поступаешь как настоящий джентльмен. Гонишь ее на все четыре стороны.

— Послушай...

— Мне-то не заливай, не на ту напал.— Она сидела передо мной прямая, непреклонная.— Уматывай. Возвращайся домой.

— Нет у меня дома, чтоб тебя!

— Есть, есть. Называется — буржуазия.

— Избавь меня от этих глупостей.

— Не ты первый. Ах, они тоже люди! Восторга полные штаны.— И с едкой снисходительностью добавила: — Ты не виноват. Ты жертва диалектики.

— А ты — наглая старая...

— Да пошел ты! — Отвернулась, словно меня тут уже не было; словно весь мир был похож на ее мастерскую — сплошные обломы, хлам, беспорядок, здесь и в одиночку-то не выживешь. Заплесневелая мамаша Кураж, она направилась к мольберту и принялась перекладывать краски с места на место.

Я пошел восвояси. Но не успел подняться и на пролет, как она высунулась и загавкала вдогонку:

— Послушай-ка, тупица! — Я обернулся.— Знаешь, что теперь будет с этой малышкой? Пойдет по рукам! И знаешь, кто в этом виноват? — Ее указательный палец, как пулемет, поливал меня негодованием.— Святой Николас Эрфе, эсквайр! — Это последнее слово показалось мне самым грязным ругательством, какое я от нее слышал. Ошпарив меня глазами, захлопнула дверь мастерской. Между Сциллой и Харибдой, между Лилией де Сейтас и Кемп долго не повиляешь: клац — и нет тебя.

В холодном бешенстве я паковался; и, увлекшись воображаемым спором с Кемп, где она терпела поражение по всем пунктам, небрежно сдернул с гвоздя блюдо. Она выскользнуло из моих пальцев; ударилось о газовую колонку; упало в камин, расколовшись на две равные половинки.

Я опустился на колени. Кусал губы, как безумный, чтобы не разрыдаться. Я стоял на коленях, держа в руках осколки. Даже не пытаясь сложить их. Даже не двигаясь, когда с лестницы донеслись шаги Кемп. Она вошла, а я стоял на коленях. Не знаю уж, что она хотела сказать, но, увидев мое лицо, промолчала.

Я показал ей осколки: смотри, что случилось. Жизнь моя, прошлое, будущее. И вся королевская конница, и вся королевская рать...

Она долго переваривала увиденное: полупустой чемодан, груда книг и бумаг на столе; и тупица, униженный мясник, на коленях у очага.

— Силы небесные,— сказала.— В твоем-то возрасте.

И я остался у Кемп.

Крупица надежды, право на существование — что еще нужно антигерою? Оставь его, говорит век, оставь на распутье, перед выбором: разве не в том же положении и человечество — оно может проиграть все, а выиграть лишь то, что имело; сжалься над ним, но не выводи на дорогу, не благодетельствуй; ибо все мы ждем, запертые в комнатах, где никогда не звонит телефон, одиноко ждем эту девушку, эту истину, этот кристалл состраданья, эту реальность, загубленную иллюзиями; и то, что она вернется,— ложь.

Но лабиринт не имеет оси. Конец — лишь точка на прямой, лязг сходящихся ножниц. Да, Бенедикт поцеловал Беатриче; а десять лет спустя? И что случилось в Эльсиноре, когда пришла весна?

Словом, еще десять дней. А дальнейшие годы — молчание; иная тайна.

Еще десять дней без телефонных звонков.

Взамен, 31 октября, в канун Дня всех святых, Кемп позвала меня на субботнюю прогулку. Это предложение, дикое в ее устах, насторожило бы меня, если б день не выдался таким роскошным, с нездешним весенним небом, синим, как лепесток дельфиниума, с бурой, янтарной, желтой листвой, безветренным, точно во сне.

Кстати, Кемп потихоньку начала со мной нянчиться. Этот процесс

требовал столь обильной компенсации в виде сквернословия и непрестанной грубости, что наши отношения дослужились до того чина, когда внешнее — полная противоположность внутреннему. Но стоило облечь это внутреннее в слова, перестать притворяться, что мы о нем не догадываемся,— и все было бы испорчено; само это притворство непонятным образом казалось важнейшим условием взаимной привязанности. Не признаваясь друг другу в симпатии, мы проявляли некую деликатность, служившую залогом того, что на деле симпатия имеет место. За эти десять дней у меня поднялось настроение — то ли стараниями Кемп; то ли благодаря запоздалому влиянию Джоджо, гадкого ангела, по ошибке ниспосланного мне лучшим миром; то ли пришло сознание, что я способен ждать дольше, чем казалось до сих пор. По той ли, по иной причине, но что-то во мне изменилось. Я перестал быть просто игрушкой в чужих руках: во мне укрепились истины Кончиса, особенно та, которую он воплотил в Лилии. Я трудно привыкал улыбаться той особой улыбкой, на какой настаивал Кончис. Наверное, можно принимать, не прощая; можно прийти к решению, но сидеть сложа руки.

Мы отправились на север, за Юстон-роуд, по Внешней кольцевой — в Риджентс-парк. Кемп вырядилась в черные клеши и изгвазданную фуфайку, во рту — потухший окурок, чтобы свежий воздух помнил: если его и допустили в легкие, то весьма ненадолго. В парке нас окружили древесные панорамы, бесчисленные группки гуляющих, влюбленных, одиночек с собаками, краски, смягченные неуловимой осенней дымкой, незамысловатой и живописной, как побережья на полотнах Будена.

Мы бродили, любуясь утками, морщась при виде хоккеистов.

— Ник, родной,— сказала Кемп,— а не хлебнуть ли нам национального напитка?

И тут я не насторожился: ведь волосатики пьют только кофе.

Мы зашли в чайный павильон, отстояли очередь, отыскали два свободных стула. Кемп отлучилась по нужде. Я вытащил из кармана книжку. Парочка, сидевшая за нашим столиком, ушла. Шум, толкотня, нехитрая закуска, хвост у стойки. Видно, в женском туалете тоже очередь. Я погрузился в чтение.

Села у прохода, наискосок от меня.

Так спокойно, так просто.

Смотрела не на меня, на скатерть. Я завертел головой в поисках Кемп. Но понял, что Кемп уже на пути домой.

Она молчала. Ждала реакции.

А я-то воображал впечатляющий выход на сцену, загадочный звонок, нисхождение, может и буквальное, в новый Тартар. Но сейчас, глядя на нее, слова не в силах вымолвить, видя, как избегает она моих глаз, я признал, что вернуться она могла только таким способом; всплыть сквозь суету будней, сквозь пошлую лондонскую сутолоку, сквозь бытие, привычное и пресное, как хлеб. Ей отвели роль Реальности, и возникла она соответственно, хотя и не без многозначительности, отчужденности, не без привкуса иного мира; не из, а из-за мельтешения толпы.

Твидовый костюм с изящным рисунком (осенние листья и снег); темно-зеленый, завязанный по-крестьянски платок. Руки чинно сложены на коленях, как после тяжелой работы; вернулась. Мой ход. Но в этот долгожданный миг оказалось, что я не в состоянии двигаться, говорить, мыслить. Я многажды представлял себе нашу встречу, но не думал, что она будет именно такой. Наконец уставился в книгу, словно не желал иметь с вернувшейся ничего общего, потом злобно воззрился на семейку любознательных дебилов, рассматривавших нас через проход. Тут она искоса взглянула на меня; в этот момент я как раз грозно нахмурился, выражая им свое возмущение.

Внезапно поднялась, пошла прочь. Я смотрел, как она лавирует меж столиками: такая маленькая, вызывающе маленькая и тщедушная, такая желанная в своей крохотности. Мужчины оборачивались ей вслед. Она скрылась за дверью.

В оцепенении и муке я выждал несколько секунд. Затем взял след, расчищая дорогу локтями. Она медленно брела по траве на восток. Я догнал ее, и она скользнула взглядом по моим ботинкам: значит, заметила. Мы пока не обменялись ни единым словом. Меня будто застигли врасплох — это было видно даже по одежде. Я давно перестал интересоваться, что ношу, как выгляжу... перенял у Кемп и Джоджо их неброскую гамму. А рядом с ней почувствовал себя оборванцем и оскорбился: кто дал ей право притворяться модной, невозмутимой зажиточной матроной? Словно ей хотелось выпятить тот факт, что мы поменялись ролями и судьбами. Я осмотрелся. Столько народу, но лиц не различить, далеко. Риджентс-парк. Я вспомнил другую встречу, встречу юного дезертира со своей возлюбленной; аромат сирени, бездонная тьма.

— Где они?

Чуть заметно пожала плечами.

— Я одна.

— Так я и поверил.

Шла дальше не отвечая. Кивком указала на свободную скамейку у дорожки, под деревьями. Словно и вправду явилась из Тартара: холодная, невозмутимая.

Мы подошли к скамейке. Она села с краю, я — посередине, лицом к ней. Меня бесило, что она не глядит в мою сторону, не выказывает ни тени раскаяния; молчит как рыба.

— Я жду,— сказал я.— Как три с половиной месяца ждал.

Развязала платок, встряхнула головой. Волосы отросли, как при нашем знакомстве, на коже слабый загар. С первого же взгляда я понял — и от этого растерялся еще сильнее,— что Лилия затмила Алисон в моей памяти; о первой я помнил одно лестное, о второй — одно плохое. Из-под жакета выглядывала светло-коричневая блузка. Костюм дорогой; похоже, Кончис ей заплатил. Красивая, желанная; даже без... я вспомнил Парнас, другие ее обличья. Она не отрывала глаз от своих туфель с низкими каблуками.

Я отвернулся.

— Чтобы сразу внести ясность.— Молчание.— Я простил тебе тот подлый летний розыгрыш. Простил бабскую мелочную мстительность... ты ж заставила меня так долго ждать.

Пожала плечами. После паузы:

— Но?

— Но я хочу знать, чего вы добивались в тот день в Афинах. Чего добивались все это время. И добиваетесь сейчас.

— А дальше что?

— Дальше посмотрим.

Вынула из сумочки сигареты, закурила; с подчеркнутой вежливостью протянула пачку мне.

— Нет, спасибо,— сказал я.

Она смотрела вдаль, на изысканные постройки Камберленд-террейс, что спускается к парку. Кремовая штукатурка, белые рельефы карнизов, небесный негромкий тон.

Подбежал пудель. Я дрыгнул ногой, а она — погладила его по голове. Женский зов: «Тина! Радость моя! Ко мне!» Раньше мы бы насмешливо переглянулись. Она снова принялась разглядывать архитектуру. Я осмотрелся. На скамейках неподалеку — сидят, наблюдают. Вдруг показалось: людный парк — сцена, за каждым кустом лазутчик. Я вынул свою пачку, закурил, напрягся: взгляни на меня! Не взглянула.

— Алисон.

Посмотрела искоса, отвела глаза. В пальцах дымилась сигарета. Словно ничто не могло заставить ее заговорить. С платана сорвался лист, косо спланировал, чиркнул по юбке. Она нагнулась, подняла его, разгладила на колене желтые зубчики. На дальний конец скамьи сел индиец. Потертое черное пальто, белый шарф; узкое лицо. Маленький, несчастный в давящей чуждой стране; официант, раб дешевой закусочной? Я придвинулся к ней, понизил голос, следя, чтобы слова звучали так же сухо, как у нее:

— Как насчет Кемп?

— Нико, прекрати меня допрашивать. Сейчас же прекрати.

Мое имя; что-то подалось. Нет — все та же замкнутость, настороженность.

— Они наблюдают? Они где-то здесь?

Сердитый вздох.

— Они здесь?

— Нет.— И сразу поправилась: — Не знаю.

— Значит, здесь.

Она все отводила глаза. Произнесла тихо, почти устало:

— Дело теперь не в них.

Долгая пауза.

— Ты лжешь мне? Вот так, в лицо? — спросил я.

Поправила волосы; волосы, запястье, ее манера встряхивать головой. Мелькнула мочка уха. Меня охватила ярость, словно я лишился принадлежащего мне по праву.

— А я считал тебя единственной, кому можно верить. Ты хоть понимаешь, что я пережил летом? Когда получил письмо, эти цветы...

— Если вспоминать, кто что пережил...— сказала она.

Все мои усилия пропали втуне; у нее на уме было что-то иное. Я нащупал в кармане пальто сухой гладкий шарик — каштан на счастье. Раз вечером, в кино, мне сунула его Джоджо, завернув в фантик: шотландский юмор. Джоджо... может, в этот момент, в миле-другой отсюда, за кирпичом и шумом машин, она закадрила еще кого-то, медленно прощаясь с девичеством; ее кургузая рука во тьме кинозала. Внезапно мне захотелось взять руку Алисон в свою.

Я вновь произнес ее имя.

Но она непреклонно (не тронь!) отбросила желтый лист.

— Я приехала в Лондон переоформить квартиру. Возвращаюсь в Австралию.

— В такую даль из-за подобной ерунды?

— И повидаться с тобой.

— Милая встреча.

— На случай, если...— Не договорила.

— Если?

— Я не хотела приходить.

— Так зачем пришла? — Пожала плечами.— Заставили, что ли?

Нет, не ответит. Загадочная, почти незнакомая; отступи назад, пытайся снова; *и увидишь свой край впервые*. Будто некогда податливое, доступное, как солонка на обеденном столе, ныне заключено в фиал, стало сакральным. Но я знал Алисон. Знал, как она перенимает окраску и привычки тех, кого любит или уважает, хоть в глубине ее души и таится непокорство. И знал, откуда эта замкнутость. Рядом со мной сидела жрица из храма Деметры.

Пора перейти к делу.

— Куда ты поехала из Афин? Домой?

— Возможно.

Я перевел дух.

— Ты хоть вспоминала обо мне?

— Иногда.

— У тебя кто-нибудь есть?

— Нет,— помедлив, ответила она.

— Не слышу уверенности в голосе.

— Всегда кто-нибудь найдется... если поискать.

— А ты искала?

— У меня никого нет,— сказала она.

— «Никого» — значит, и меня тоже?

— И тебя тоже, с того самого... дня.

Угрюмый, нарочито устремленный вдаль профиль. Чувствуя мой взгляд, она следила за каким-то прохожим, словно он интересовал ее больше, чем я.

— Что я должен сделать? Заключить тебя в объятия? Пасть на колени? Чего им надо?

— Не понимаю, о чем ты.

— Нет, понимаешь, черт побери!

Быстро посмотрела на меня, отвела глаза.

— В тот день я тебя раскусила,— сказала она.— И конец. Такое не забывается.

— Но в тот же день мы любили друг друга. Такое тоже, в общем, не забывается.

Набрала воздуха, словно собираясь сказать колкость; ну скажи что-нибудь, все равно что, хоть колкость; сдерживая бешенство, я старался говорить спокойно.

— Там, в горах, я в какой-то момент любил по-настоящему. Ты это поняла, тут и гадать нечего. Я видел — ты поняла. Я слишком хорошо тебя знаю и потому уверен: поняла, запомнила.— И добавил: — Я не секс имею в виду.

Снова помедлила, прежде чем ответить.

— На кой мне помнить? Наоборот, я должна была поскорее забыть.

— И на этот вопрос ответ тебе известен.

— Неужели?

— Алисон...— сказал я.

— Отодвинься. Пожалуйста, отодвинься.

Я не видел ее глаз. Но в голосе слышалась неявная дрожь, глубинная, словно трепетали нейроны. Не поворачиваясь, она сказала:

— Ну да, я понимаю.— Пряча лицо, достала еще сигарету, закурила.— Или — понимала. Когда любила тебя. Что бы ты ни сказал, что бы ни сделал, все было важно. В духовном плане. Все задевало, волновало меня. Подавляло и...— Перевела дыхание.— Скажем, сидишь ты после всего в этом павильоне и смотришь на меня, как на шлюху, что ли, и...

— Я растерялся. Бога ради...

Тут я прикоснулся к ней, положил руку на плечо, но она сбросила руку. Чтобы расслышать, я придвинулся ближе.

— Быть с тобой — все равно что упрашивать: мучь меня, терзай. Задай мне жару. Ведь...

— Алисон.

— Да, сейчас ты хороший. Сейчас ты хороший. Лучше некуда. Но это — на неделю, на месяц. А потом — снова-здорово.

Она не плакала — я заглянул ей в лицо. Я смутно догадывался, что она играет и не играет одновременно. Пусть она выучила свои слова наизусть — и все же они искренни.

— Ты же все равно уезжаешь в Австралию.

Я сказал это мягко, без иронии, но она посмотрела так, точно я грязно выругался. Я сдуру улыбнулся, протянул руку. Тут она вскочила. Пересекла дорожку, прошла меж деревьев на газон. И почти сразу замерла.

Как порыв это выглядело правдоподобно, как поступок — не слишком, особенно остановка. Нечто в ее позе, в повороте головы... и вдруг меня озарило. Газон простирался на четверть мили, до границы парка. За ним вздымался фасад Камберленд-террейс: статуи эпохи Регентства, изящные окна.

Множество окон, изваяния античных божеств. Парк просматривался оттуда, как с бельэтажа. Вот к чему ухищрения Алисон — выманить меня из павильона, сесть на нужную скамейку, остановиться на самом виду, поджидая меня. С меня хватит: я подошел, стал напротив, спиной к комплексу. Она опустила голову. Роль несложная: подведи глаза, сглатывай слезы.

— Вот что, Алисон. Я знаю, кто за нами наблюдает, откуда и зачем. Так вот, во-первых. Я на мели. У меня нет пристойной работы и едва ли будет. Так что я — не самая удачная партия. Во-вторых. Появись сейчас там, на аллее, Лилия и помани... не уверен, что устою. Запомни: не уверен и никогда не буду уверен. А тебе бы надо знать, что она не просто девушка,

а идеал разлучницы.— Я помолчал.— И в-третьих. Как ты любезно сообщила в Афинах, в постели я далек от совершенства.

— Я этого не говорила.

Глядя на ее макушку, я ощущал своей пустые высокие окна Камберленд-террейс, белых каменных богов.

— В-четвертых. Как-то он сказал мне одну вещь. О мужчинах и женщинах. Что мы воспринимаем людей по отдельности, а вы — то, что их связывает. Отлично. Ты всегда чувствовала то, что... между нами, как его ни назови. Общее. А я — нет. И все, что я могу тебе предложить,— надежда, что я тоже научусь это чувствовать.

— Можно перебить?

— Нет. Выбирай. Чем скорее, тем лучше. Я или они. Как скажешь, так и будет.

— Ты не имеешь права...

— А ты имела — тогда, в гостинице? Вот и я имею. Полное.— И добавил: — На тех же основаниях.

— Это нельзя сравнивать.

— Можно, можно. Мы поменялись ролями.— Я указал за спину, в сторону Камберленд-террейс.— У них есть всё. А у меня, как и у тебя,— только одно. Если ты повторишь мою ошибку, выберешь их всё, а не наше с тобой будущее, обижаться нечего. Но выбрать ты должна. Здесь, при них. И сейчас.

Она взглянула на постройки, я тоже обернулся. В лучах вечернего солнца они сочились безмятежным, вышним, благостным сиянием олимпийской возгонки, каким подчас осеняются летние облака.

— Я возвращаюсь в Австралию,— сказала она, отвергая и меня, и их.

Между нами как бы разверзлась пропасть, бездонная, но невероятно узкая, такая узкая, что ее можно пересечь, сделав шажок по траве газона. Я безотрывно смотрел в ее лицо: ошеломление, упрямство, скованность. Запахло костром. Ярдах в ста прогуливался слепой — непринужденно, как зрячий. Лишь белая тросточка свидетельствовала, что он не видит.

Я направился к аллее, ведущей к южному выходу, к дому. Два шага, четыре, шесть. Десять.

— Нико!

Это прозвучало неожиданно властно, резко; без тени раскаяния. Я вмиг остановился, почти обернулся, но через силу пошел дальше. Слыша ее шаги, я не поворачивался, пока она не догнала меня. Стала футах в пяти-шести, немного запыхавшись. Она не блефовала, она действительно возвращалась в Австралию — по крайней мере, в некую Австралию мысли и чувства, чтобы коротать там век без меня. Но уйти просто так она не могла мне позволить. Боль, ярость во взгляде. Я был ей невыносим как никогда раньше. Шагнул к ней, шагнул еще, в сердцах погрозил пальцем.

— Ты так ничего и не поняла. Все пляшешь под их дудку.

Мы смотрели друг на друга, истекая злобой.

— Я пришла, потому что надеялась, что ты переменился.

Не знаю, что на меня нашло. Я действовал не обдуманно и не по наитию, не хладнокровно и не в запале; сделав же, понял, что это было необходимо; я не нарушил заповедь. Выбросил руку вперед и изо всех сил хлестнул ее по левой щеке. Удар застиг ее врасплох, чуть не вывел из равновесия, она испуганно заморгала; затем медленно прижала к щеке ладонь. В бешеном ужасе мы долго глядели друг на друга; мир распался, мы очутились в открытом космосе. Пропасть хоть и узка, но бездонна. На дорожке за спиной Алисон остановились гуляющие. С лавочки вскочил какой-то мужчина. Индиец, оцепенев, уставился на нас. Она не отрывала руки от лица, глаза наполнились слезами — слезами боли, конечно, но, похоже, отчасти и растерянности.

Пока мы стояли, трепеща и взыскуя, между прошлым и будущим; пока, чтобы перерасти в слияние, разрыву не хватало пустяка, слабого жеста, попытки довериться, понять,— мне открывалась истина.

За нами никто не наблюдал. Никто не стоял у окон. Театр был пуст.

Это был не театр. Они внушили ей, что это театр, и она поверила им, а я ей. Не затем ли внушили, чтобы довести меня до этой черты, преподать последний урок, подвергнуть финальному испытанию?.. я, как в «Астрее», должен был обратить в каменных истуканов львов, единорогов, волхвов и иных сказочных чудищ. Я вперился в далекие окна, в фасад, в белые торжественные силуэты на фронтоне. Что ж, логично. Прекрасный апофеоз для «игры в бога». Они скрылись, оставив нас вдвоем. Я был убежден в этом... но, после всего происшедшего, мог ли не колебаться? Неужели они столь холодны, бесчеловечны... столь нелюбопытны? Поставить на кон так много и выйти из игры?

Я посмотрел на дорожку. Случайные свидетели тоже потихоньку рассасывались, потеряв интерес к этой вспышке повседневной мужской жестокости, поначалу столь занимательной. Алисон не двигалась, не отнимала ладонь от щеки, только голову опустила. Судорожно вздохнула, борясь с подступающим рыданием; затем сказала ломким, еле слышным, упавшим голосом, словно сама себе удивляясь:

— Ненавижу тебя. Ненавижу.

Я молчал, не пытаясь дотронуться до нее. Вот она подняла голову; в лице, как в словах и голосе, ничего, кроме ненависти, страдания, женской обиды, накопившейся от сотворения мира. Но в глубине серых глаз я схватил и нечто иное, чего не замечал прежде,— или замечал, но боялся осознать? — отблеск естества, что не могли заслонить ни ненависть, ни обида, ни слезы. Несмелое движение, разбитый кристалл, ждущий воссоединения. Она вновь произнесла, точно уничтожая то, что я увидел:

— Не-на-ви-жу.

— Почему же не отпускаешь меня?

Помотала склоненной до предела головой, словно вопрос был некорректен.

— Знаешь ведь почему.

— Нет.

— Я понял это, как только увидел тебя.— Я подошел ближе. Она поднесла и другую руку к лицу, как бы предчувствуя повторный удар.— Теперь я понимаю, что означает это слово, Алисон, это твое слово.— Она ждала, закрыв лицо ладонями, будто внимая вестнику горя.— Нельзя ненавидеть того, кто стоит на коленях. Того, кто не человек без тебя.

Склоненная голова, лицо в ладонях.

Молчит, не скажет ни слова, не простит, не протянет руки, не покинет застывшее настоящее время. Все замерло в ожидании. Замерли деревья, небо осени, люди без лиц. В ивах у озера поет весеннюю песню дурашка дрозд. Голубиная стая над кровлями; кусочки свободы, случайности, воплощенная анаграмма. Откуда-то тянет гарью палой листвы.

cras amet qui numquam amavit
quique amavit cras amet [1]

От автора

В этой редакции проблематика и сюжет «Волхва» не претерпели значительных перемен. Но правку нельзя назвать и чисто стилистической. Ряд эпизодов практически переписан заново, один-два добавлены. Такую, казалось бы, бестолковую работу я проделал не в последнюю очередь потому, что из всего мной написанного самый сильный интерес публики — если авторская почта что-то доказывает — возбудила именно эта книга. Мне не давала покоя мысль о том, что повышенным спросом пользуется произведение, к которому и у меня, и у рецензентов накопилось столько профессиональных претензий.

---

[1] завтра познает любовь не любивший ни разу,
и тот, кто уже отлюбил, завтра познает любовь (*лат.*).

Я закончил «Волхва» в 1965 году, уже будучи автором двух книг, но если отвлечься от даты публикации, это мой первый роман. Предварительные наброски относятся к началу 1950-х; с тех пор сюжет и поэтика не раз видоизменялись. Сначала в них преобладал мистический элемент — в подражание шедевру Генри Джеймса «Поворот винта». Но четких ориентиров у меня тогда не было ни в жизни, ни в литературе. Здравый смысл подсказывал, что на публикацию моих писаний рассчитывать нечего; фантазия же не могла отречься от любимого детища, неуклюже и старательно тщилась донести его до ушей человеческих; хорошо помню, что мне приходилось отвергать один фрагмент за другим, ибо текст не достигал нужной изобразительной точности. Несовершенство техники и причуды воображения (в них видится скорее неспособность воссоздать уже существующее, чем создать не существовавшее доселе, хотя ближе к истине второе) сковывали меня по рукам и ногам. И когда в 1963 году успех «Коллекционера» придал мне некоторую уверенность в своих силах, именно истерзанный, многажды перелицованный «Волхв» потеснил другие замыслы, выношенные в пятидесятых... а ведь по меньшей мере два из них, на мой вкус, были куда масштабнее и принесли бы мне большее уважение — во всяком случае, в Англии.

В 1964-м я взялся за работу: скомпоновал и переделал ранее написанные куски. Но сквозь сюжетную ткань «Волхва» все же проглядывало ученичество, путевые записки исследователя неведомой страны, полные ошибок и предрассудков. Даже в той версии, которая увидела свет, куда больше стихийного и недодуманного, чем полагает искушенный читатель; критика усерднее всего клевала меня за то, что книга-де — холодно-расчетливая проба фантазии, интеллектуальная игра. А на самом деле один из коренных ее пороков — попытка скрыть текучее состояние ума, в котором она писалась.

Помимо сильного влияния Юнга, чьи теории в то время глубоко меня интересовали, «Волхв» обязан своим существованием трем романам. Усерднее всего я придерживался схемы «Большого Мольна» Алена-Фурнье — настолько усердно, что в новой редакции пришлось убрать ряд чрезмерно откровенных заимствований. На прямолинейного литературоведа параллели особого впечатления не произведут, но без своего французского прообраза «Волхв» был бы кардинально иным. «Большой Мольн» имеет свойство воздействовать на нас (по крайней мере на некоторых из нас) чем-то, что лежит за пределами собственно словесности; именно это свойство я пытался сообщить и своему роману. Другой недостаток «Волхва», против которого я также не смог найти лекарства, тот, что я не понимал: описанные в нем переживания — неотъемлемая черта юности. Герой Анри Фурнье, не в пример моему персонажу, явственно и безобманно молод.

Второй образец, как ни покажется странным,— это, бесспорно, «Бевис» Ричарда Джеффриса [1], книга, покорившая мое детское воображение. Писатель, по-моему, формируется довольно рано, сознает он это или нет, а «Бевис» похож на «Большого Мольна» тем, что сплетает из повседневной реальности (реальности ребенка предместий, рожденного в зажиточной семье, каким и я был внешне) новую, незнакомую. Говорю это, чтобы подчеркнуть: глубинный смысл и стилистика таких книг остаются с человеком и после того, как он их «перерастает».

Третью книгу, на которую опирается «Волхв», я в то время не распознал, а ныне выражаю благодарность внимательной студентке Ридингского университета, написавшей мне через много лет после выхода романа и указавшей на ряд параллелей с «Большими ожиданиями». Она и не подозревала, что это единственный роман Диккенса, к которому я всегда относился с восхищением и любовью (и за который прощаю ему бесчисленные погрешности остальных произведений); что, работая над наброс-

---

[1] Роман «Бевис. История одного мальчика» (1882) — самое популярное произведение писателя и натуралиста Ричарда Джеффриса. В этой пространной книге скрупулезно описывается пребывание малолетнего героя на родительской ферме. Большую часть времени мальчик предоставлен самому себе; фермерский надел для него превращается в замкнутую, таинственную страну, населенную растениями, животными и даже демонами.

ками к собственному роману, я с наслаждением разбирал эту книгу в классе; что всерьез подумывал, не сделать ли Кончиса женщиной (мисс Хэвишем),— замысел, отчасти воплощенный в образе г-жи де Сейтас. В новую редакцию я включил небольшой отрывок, дань уважения этому неявному образцу.

Коротко о паре более заметных отличий. В двух эпизодах усилен элемент эротики. Я просто наверстал то, на что ранее у меня не хватало духу. Второе изменение — в концовке. Хотя ее идея никогда не казалась мне столь зашифрованной, как, похоже, решили некоторые читатели (возможно, потому, что не придали должного значения двустишию из «Всенощной Венере» [1], которым завершается книга), я подумал, что на желаемую развязку можно намекнуть и яснее... и сделал это.

Редкий автор любит распространяться об автобиографической основе своих произведений — а она, как правило, не исчерпывается временем и местом написания книги,— и я не исключение. И все же: мой Фраксос («остров заборов») — на самом деле греческий остров Спеце, где в 1951—1952 годах я преподавал в частной школе, тогда не слишком похожей на ту, какая описана в книге. Пожелай я вывести ее как есть, мне пришлось бы написать сатирический роман [2].

Знаменитый миллионер, купивший участок острова, не имеет никакого отношения к моему, вымышленному; господин Ниархос появился на Спеце гораздо позже. А прежний владелец виллы Бурани, чьими внешностью и роскошными апартаментами я воспользовался в романе, ни в коей мере не прототип моего персонажа, хотя, насколько мне известно, это становится чем-то вроде местного предания. С тем джентльменом, другом старика Венизелоса, мы виделись лишь дважды, оба раза мельком. Запомнился мне его дом, а не он сам.

По слухам — мне бывать там больше не доводилось,— сейчас Спеце совсем не тот, каким я изобразил его сразу после войны. Общаться там было почти не с кем, хотя в школе работали сразу два преподавателя-англичанина, а не один, как в книге. Счастливый случай познакомил меня с чудесным коллегой, ныне старым другом Денисом Шароксом. Энциклопедически образованный, он отлично понимал греческий национальный характер. Это Денис отвел меня на виллу. Он вовремя отказался от литературных притязаний. Поморщившись, заявил, что, гостя в Бурани прошлый раз, сочинил последнее в своей жизни стихотворение. Почему-то это подстегнуло мою фантазию: уединенная вилла, великолепный ландшафт, прозрение моего приятеля; очутившись на мысу и приближаясь к вилле, мы услышали музыку, неожиданную среди античного пейзажа... не благородные плейелевские клавикорды, как в романе, а нечто, весьма некстати приводящее на ум валлийскую часовню. Надеюсь, эта фисгармония сохранилась. Она тоже многое мне подсказала.

В те дни чужаки — даже греки — были на острове большой редкостью. Помню, к нам с Денисом примчался мальчуган, спеша сообщить, что с афинского парохода сошел какой-то англичанин,— и мы, как два Ливингстона, отправились приветствовать соотечественника, посетившего наш пустынный остров. В другой раз приехал Кацимбалис, «марусский колосс» Генри Миллера [3], и мы поспешили засвидетельствовать ему почтение. Тогдашняя Греция трогательно напоминала одну большую деревню.

Необитаемую часть Спеце воистину населяли призраки, правда,

---

[1] Анонимная римская поэма второй половины II — первой половины III в.

[2] Существует и еще один, весьма любопытный, роман об этой школе: «Алеко» Кеннета Мэтьюза («Питер Дэвис», 1934). Француз Мишель Деон также выпустил автобиографическую книгу «Балкон на Спеце» («Галлимар», 1961). (*Прим. автора.*)

[3] «Марусский колосс» (1941) — очерковая книга Генри Миллера о поездке в Грецию. Кацимбалис — поэт, представитель афинской богемы, сопровождавший Миллера в странствиях по Элладе и, в частности, в плавании на остров Спеце. Здешний пейзаж, видимо, не произвел на автора «Тропика Рака» особого впечатления. «У деревни был бледный вид, будто дома страдали морской болезнью и их только что вывернуло наизнанку»,— вскользь бросает Миллер.

бесплотнее (и прекраснее) тех, что я выдумал. Молчание сосновых лесов было, как нигде, бесхитростно; будто вечный чистый лист, ожидающий ноты ли, сло́ва. Там вы переставали ощущать течение времени, присутствовали при зарождении легенд. Казалось, уж тут-то никогда ничего не происходит; но все же нарушь некое равновесие — и что-то произойдет. Местный дух-покровитель состоял в родстве с тем, какой описан в лучших стихах Малларме — о незримом полете, о словах, бессильных пред невыразимым. Трудно передать все значение тех впечатлений для меня как писателя. Они напитали мою душу, отпечатались в ней глубже, нежели иные воспоминания о людях и природе Эллады. Я уже сознавал, что вход во многие сферы английского общества мне заказан. Но самые суровые запреты у всякого романиста — впереди.

На первый взгляд то были безотрадные впечатления; с ними сталкивается большинство начинающих писателей и художников, ищущих вдохновения в Греции. Мы прозвали это чувство неприкаянности, переходящее в апатию, эгейской хандрой. Нужно быть истинным творцом, чтобы создать что-то сто́ящее среди чистейших и гармоничнейших на земле пейзажей, к тому ж понимая, что люди, которые были им под стать, перевелись в незапамятные времена. Островная Греция остается Цирцеей; скитальцу художнику не след медлить здесь, если он хочет уберечь свою душу.

Никаких событий, напоминающих сюжет «Волхва», кроме упомянутых, на Спеце не происходило. Реальную основу сюжета я позаимствовал из своего английского житья-бытья. Я сбежал от Цирцеи, но выздоровление оказалось мучительным. Позже мне стало ясно, что романист нуждается в утратах, что они полезны книгам, хоть и болезненны для «я». Смутное ощущенье потери, упущенного шанса заставило меня привить личные трудности, с которыми я столкнулся по возвращении в Англию, к воспоминаниям об острове, о его безлюдных просторах, постепенно превращавшихся для меня в утраченный рай, в запретное поместье Алена-Фурнье, а может, и в ферму Бевиса. Вырисовывался герой, Николас, тип если не современника вообще, то человека моего происхождения и среды. В фамилии, которую я ему придумал, есть скрытый каламбур. Ребенком я выговаривал буквы th как «ф», и Эрфе на самом деле означает Earth, Земля — словечко, возникшее задолго до напрашивающейся ассоциации с Оноре д'Юрфе и его «Астреей».

Сказанное, надеюсь, снимает с меня обязанность толковать «смысл» книги. Роман, даже доходчивее и увлекательнее написанный, не кроссворд с единственно возможным набором правильных ответов — образ, который я тщетно пытаюсь («Уважаемый мистер Фаулз! Объясните, пожалуйста, что означает...») вытравить из голов нынешних интерпретаторов. «Смысла» в «Волхве» не больше, чем в кляксах Роршаха, какими пользуются психологи. Его идея — это отклик, который он будит в читателе, а заданных заранее «верных» реакций, насколько я знаю, не бывает.

Добавлю, что, работая над вторым вариантом, я не стремился учесть справедливые замечания об излишествах, переусложненности, надуманности и т. п., высказанные маститыми обозревателями по поводу варианта первого. Теперь я знаю, читателей какого возраста привлекает роман в первую очередь, и пусть он остается чем был — романом о юности, написанным рукою великовозрастного юнца. Оправданием мне служит тот факт, что художник должен свободно выражать собственный опыт во всей его полноте. Остальные вольны пересматривать и хоронить свое личное прошлое. Мы — нет, какая-то часть нашей души пребудет юной до смертного часа... зрелость наследует простодушие молодости. В самом откровенном из новейших романов о романистах, в последнем, горячечном творении Томаса Харди «Возлюбленная» немолчно звучит жалоба на то, что молодое «я» повелевает вроде бы «зрелым», пожилым художником. Можно скинуть с себя это иго, как сделал сам Харди; но поплатишься

способностью писать романы. И «Волхв» есть поспешное, хоть и не вполне осознанное, празднество возложения ярма.

Если и искать связную философию в этом — скорее ирландском, нежели греческом — рагу из гипотез о сути человеческого существования, то искать в отвергнутом заглавии, о котором я иногда жалею: «Игра в бога». Я хотел, чтобы мой Кончис продемонстрировал набор личин, воплощающих представления о боге — от мистического до научно-популярного; набор ложных понятий о том, чего на самом деле нет,— об абсолютном знании и абсолютном могуществе. Разрушение подобных миражей я до сих пор считаю первой задачей гуманиста; хотел бы я, чтобы некий сверх-Кончис пропустил арабов и израильтян, ольстерских католиков и протестантов через эвристическую мясорубку, в какой побывал Николас.

Я не оправдываю поведение Кончиса во время казни, но признаю важность вставшей перед ним дилеммы. Бог и свобода — понятия полярно противоположные; люди верят в вымышленных богов, как правило, потому, что страшатся довериться дьяволу. Я прожил достаточно, чтобы понять, что руководствуются они при этом добрыми побуждениями. Я же следую основному принципу, который пытался заложить и в эту книгу: истинная свобода — между богом и дьяволом, а не в том или в другом только, а значит, она не может быть абсолютной. Свобода, даже самая относительная,— возможно, химера; но я и по сей день придерживаюсь иного мнения.

ДЖОН ФАУЛЗ

1976

ЮЛИЯ ХАРТВИГ

Стихотворения в прозе и верлибры

Перевод с польского НАТАЛЬИ АСТАФЬЕВОЙ

Поэзия Юлии Хартвиг — одна из коронных драгоценностей современной литературной Варшавы. Но родилась поэтесса в Люблине. Мать пани Юлии, урожденная Бирюкова, была русская, из старообрядцев. До революции семья Хартвигов жила в Москве, в Москве родился и старший брат пани Юлии, Эдвард Хартвиг, известный в Польше фотограф-художник, автор весьма ценимых любителями фотоальбомов, посвященных польским городам. Объединяет обоих художников, сестру и брата, острота зрения, та «пронзительность и прозрачность», которую поздний Милош считает идеалом искусства.

В годы оккупации недавняя люблинская гимназистка учится в тайном Варшавском университете. Об этих годах Юлия Хартвиг вспоминает очень редко и очень сдержанно. Лаконичное стихотворение «Сидели женщины, пили кофе...» позволяет догадаться почему.

В первые послевоенные годы она продолжает учиться. В Кракове. Потом — в Париже (1949—1950). В Париже она изучает французскую филологию, одновременно служит в отделе культуры польского посольства.

Она вспоминала позже, как слушала в «экзистенциалистском погребке» несравненную Жюльетт Греко, как встречала на улицах Латинского квартала Жана-Поля Сартра, на бульваре Сен-Жермен — старого Тристана Тцара, в одном из кафе — другого старика, Андре Бретона, как «наткнулась» в Париже на Эльзу Триоле и Луи Арагона. Многие годы в Польше ее знали почти исключительно как переводчицу французов — Элюара, Сандрара, Жакоба, а международную известность принесла ей книга об Аполлинере (1962), сразу же переведенная в Праге, в Будапеште, в Москве и в самом Париже.

Первая книга стихов Юлии Хартвиг вышла в 1956 году и была итогом почти десятилетия поэтической работы. Так продолжалось и дальше. На взгляд наблюдателя, Юлия Хартвиг работает примерно так же, как полюбившийся ей американский гейзер Олд Фэйтфул: укрывшись в глубинах, «собирает силы», чтобы время от времени «ударить кипящим фонтаном». Но на самом-то деле работа, скрытая от наших глаз, идет постоянно.

С американскими впечатлениями связаны десятка два стихотворений Хартвиг (и книга прозы — «Американский дневник», 1979). Но преобладают в ее поэзии польские и европейские ландшафты. Впрочем, ее стихи о природе — не пейзажные зарисовки, она пишет о Природе с большой буквы, а вернее — даже «о природе вещей». Словом, это поэзия натурфилософская.

Живая поэтическая мысль Юлии Хартвиг ускользает, как рыба, из сетей категорий и терминов. А поэзия ее ускользает от определений, от всяких «измов». Правда, чрезвычайно огрубляя и упрощая, можно было бы приблизительно сказать, что от «романтизма-символизма-сюрреализма» Хартвиг двигалась в своем творчестве к «реализму» и «классицизму». От «ночи» — к «дню». От «поэтики сна» — к «поэтике яви», «поэтике бодрствования». Книга 1978 года так и названа ею: «Бодрствование». Но чтобы хоть чуть-чуть ощутить сложность и тонкость поэзии Хартвиг и эволюции этой поэзии, чтобы понять, какое «бодрствование» имеет в виду Юлия Хартвиг, процитируем ее стихотворение в прозе из книги 1978 года: «...Если, сновидя, мы будем бодрствовать, может быть, ночь допустит нас к своим самым сокровенным тайнам...» (Здесь, пожалуй, уместно редкое, полузабытое русское слово, подслушанное в народе и записанное Далем: «снобдение».)

Естественной формой для поэтической философии Хартвиг стало стихотворение в прозе. Если первую ее книгу (1956) составляли верлибры и они же господствуют в двух последних (1987, 1992), то поток ее поэзии 60-х и 70-х годов течет двумя руслами: верлибры и стихотворения в прозе. И на протяжении двадцати лет стихотворения в прозе не только преобладали, а определяли самый облик поэзии Хартвиг. И «суть» этой поэзии.

Русский читатель от стихотворений в прозе, увы, отвык. Эта третья ветвь литературы, так великолепно взращенная у нас на исходе XIX века Тургеневым, в 1900-х и 1910-х годах продолжала зеленеть в России, но к концу 1920-х почти засохла. В Польше было иначе. После вдохновенных стихотворений в прозе Ярослава Ивашкевича («Касыды», 1925) был блестящий дебют молодой Анны Свирщиньской («Стихи и проза», 1936), Свирщиньская

вернулась к этой форме двадцать лет спустя в известном цикле «Война». Стихотворения в прозе писали Ружевич, Херберт, Посвятовская. Но только в творчестве Хартвиг эта форма стала — по крайней мере, на долгие годы — главной.

«От самых давних до последних моих опытов в этом жанре,— писала Хартвиг о своих стихотворениях в прозе в 1981 году,— я прошла через фазы раскрытия все новых регионов воображения, все новых способов видения. Незаметно для себя самой я двигалась таким путем к ясности, простоте и понятности».

В какой-то момент она повернула не только к простоте и понятности, но и к поэзии «проповеднической». «Я всегда смеюсь, что в каждом писателе есть чуть-чуть от приходского священника»,— шутила по этому поводу Хартвиг в недавнем интервью.

Если прежде в поэзии Хартвиг являлись нам Природа, Космос, Психея, то теперь брутально, резко заявило о себе социальное бытие. Если прежде мы слышали — через Юлию Хартвиг, через ее женскую душу, ставшую медиумом Натуры,— боль живого, боль материи, то теперь мы слышим боль именно человека, в особенности человека униженного, оскорбленного, терзаемого, убиваемого. Название страшного стихотворения «В сердце тьмы» (из книги 1992 года) восходит к роману Джозефа Конрада «Сердце тьмы» (1902), книге, пророчески предсказавшей, что XX век будет веком террористического тоталитаризма. Но только ли двадцатый таков? А каков был первый? На это отвечает стихотворение Хартвиг «Кто сказал» — об избиении младенцев воинами царя Ирода, таком же страшном, как сейчас резня в Закавказье.

Вот такую Юлию Хартвиг — беспощадно правдивую, протестующую, гневную — выбирает по преимуществу Наталья Астафьева. Но слышим мы и нежность Юлии Хартвиг (последняя ее книга так и называется — «Нежность»). Нежность и жалость к людям. Жалость и доброта — свойство любого нормального, не озверевшего человека любой народности, в любой стране. И уж во всяком случае — свойство поэта. Оставаться человечным посреди современного бесчеловечного мира.

ВЛАДИМИР БРИТАНИШСКИЙ

* * *

Когда отодвинулась туча, заслонявшая до этого небо, она увидела святое семейство, усаженное тесной, неподвижной группой. На нее глядели суровые очи Христа, Дева Мария, очень старая, такая, какой вознеслась, сидела с отсутствующим взглядом, давно уже безразличная к ходу событий.

Рядом хмурый Иосиф и апостолы, в том числе, с остальными вместе, Иуда — он ведь все-таки выпутался как надо из неразрешимой задачи,— а в вышине семейство Авраама, Исаака, прекрасные черноволосые женщины и бородатые старцы в длинных ниспадающих одеяниях. Где-то в глубине, еще выше, толпились тужурки, фраки и совсем современные костюмы, кто-то носил даже джинсы с надписью «Levy's». Но лица их были едва различимы, тем более что заходящее солнце коснулось уже горизонта и засияло так ярко, что она должна была зажмуриться.

Когда она открыла глаза, все исчезло. Холод взъежил ее седые волосы, вдруг покинула ее надежда.

(1969)

* * *

Ночь не перебредешь, как воду, мрак — это твердая земля, которую надо пахать. С трудом ступаем шаг за шагом. Вдруг — гнездо и пять бело-синих яичек, плоды звезд. Лоснящийся пот стекает по теплому стволу дерева.

Закричала ошалелая неясыть, как обездоленный, потерявший корону рогач. Неведомые большие птицы пролетают ночью через сад.

Тогда с ближних лугов, среди тумана, подымает голову аист со сломанной ногой. Ощупывает клювом землю. Натыкается на брошенные детьми раздерганные венки из одуванчиков и трав. На одном из них капля крови, нет, это ржавчина. И это не венок, а моток колючей проволоки. На него упал, споткнувшись, местный дурачок, преследуемый детьми, прервавшими поспешно игру.

(1969)

* * *

Бабкина мать дожила до ста восьми лет, когда услышала голос архангела Гавриила. Она велела дочери поцеловать ей руку, легла и, прежде чем солнце зашло, умерла.

Бабка сидит на своем низком стульчике и дремлет. Сын посмеивается над ней: не хотел бы дожить до твоего возраста. Но бабка его не слышит. Сегодня она рассказывала чужим: нет уж теперь людей, которые, как моя мать, отдали бы бедняку собственную одежку и обувку.

(1969)

Сухой гербарий

Все чаще приглядываюсь я к кустикам трав на лугах и у дороги, сдружаюсь с лесными травами, с цветущей ясноткой и мягким светом скабиозы.

Какими необыкновенными кажутся придорожные растения, когда мороз уже покарал сады за их неумеренную яркость!

Что может быть изящнее, чем кружевные зонтики укропа в разреженном воздухе осени, чем розовеющий конский щавель, чем бронзовый бархат соцветий пижмы, чем последние взблески тысячелистника среди слабеющих трав?

Природа теперь показывает свой сухой гербарий, берет реванш изысканной простотой, демонстрирует тонкий вкус низинок, орхидеи и туберозы обочин, деликатную старость, которая постепенно единится с нутром земли.

(1980)

Небо как...

Небо как раскидистая яблоня. На ее зеленом лоне играют среди листьев светлые младенцы, сыплют искрами цветы неоновых звезд, капли зеркальной росы превращают дерево в поднебесный подсвечник.

Но одно дуновение ветра, и блестящая яблоня станет матовой, младенцев покроет страшная седина, часы начнут бить со всех сторон горизонта, и человек, стоящий в восхищении с обнаженной головой, снова схватит лопату, чтобы дальше копать ров для незнакомых умерших.

(1971)

* * *

Мальчик сует грача, верещащего что есть мочи, с головою в воду и повторяет монотонно:

— Говори по-польски, говори по-польски, говори по-польски, падло!

(1971)

* * *

Сидели женщины, пили кофе.
Мне вырывали ногти — говорит одна.
Меня слепили рефлектором.
На меня капала вода двое суток.
Мне отбили почки.
У меня расстреляли сына, сожгли отца.
Обыкновенные варшавянки.

(1969)

Кто сказал

Кто сказал что в час избиенья младенцев
не цвели цветы и воздух не ошеломлял ароматами
И что птицы не возносились
на вершины виртуознейшего пенья
и молодые любовники не сплетались в страстном объятии
Другое дело приличествовало ли тогдашним писакам
описывать именно это
а не чудовищное смятенье на улице залитой кровью
дикий вопль матерей у которых вырывали из рук младенцев
возню и бессмысленный гогот солдат
возбужденных близостью женских тел
и теплых от молока грудей
Горящие факелы скатывались с каменных ступеней
всякая мысль о спасении казалась безнадежной
и ярость ужаса быстро уступала
может быть еще более страшному
оцепенению отчаянья
Именно тогда укрытые легким покровом южной ночи
бородатый мужчина опирающийся на посох
и молодая женщина прижимающая к себе ребенка
покидали землю жестокого деспота
унося в безопасное место надежду мира
под молчаливыми звездами в которых от века
было записано то что теперь совершалось

(1987)

Все выше

Рожденные на мусорной куче
жертвы всех казней египетских
мы возглашаем каждый день победу
Еще день Еще живы
А мусорная куча растет и возносит нас вверх
к бессмертью

(1971)

В сердце тьмы [1]

Эта обритая худая голова
голова безумная тюремная мистическая
одержимая одной мыслью
Эта голова взывающая к нам
Эти обритые худые головы нарушающие наш покой
Я была бита и унижена — говорит одна
Кто ты который уцелел
ценою легкого труда неучастья
Кто ты который бежишь или даже сочувствуешь мне

[1] В романе Джозефа Конрада «Сердце тьмы» (1902) европеец-колонизатор в Африке собирал коллекцию высушенных голов африканцев.

Не прощаю тебе ничего ибо я тоже ненавидела муки
но пошла на них
у меня отобрали возможность здороваться без подозрений
и радоваться утру пробуждаясь
Я выбрала и выбрана А ты
откуда черпаешь свою надежду
на которой хочешь строить радость и приятие мира
Ты не спрашивала есть ли у меня силы на этот восторг
не спрашивала есть ли у нас какая-либо общность
Приглашаю же тебя на встречу
головы необритой с головой обритой
чтобы взвесить наше участие в существовании
нарушенном в самой своей основе
Так говорила обритая голова от имени других обритых голов
и присоединились к ней голова безумная и голова мистическая
и голоса их перешли в бормотанье
а потом они все вместе заплакали
глядя на бесконечный цоколь
уставленный насколько хватает глаз черепами обритых голов

(1992)

Конечно же так

Конечно же так Ты тоже годишься в мученики
ты со слабым своим здоровьем с одышкой
с привычкой к комфорту
и к ежедневной горячей ванне
Конечно же так Нигде ведь не сказано
что ты будешь вечно ходить задумавшись
со своей интеллигентной улыбкой
что не разбросают однажды все твои книги
что с твоего разбитого лица не польется кровь

(1987)

Ботинки христианина

Узнаю их, эти ботинки, на ногах человека,
которого люблю я любовью ближнего и друга.
Я думаю: это вот именно ботинки христианина,
крепкие, чуть свободные, чищенные небрежно.
Между Варшавой, Краковом и всеми дорогами мира
ходили эти ботинки по лужам, по острым каменьям.
Я видела их в Татрах, под скалой, где погиб Карлович [1],
и на топкой луговине, где, разнежены весною,
грязли они среди блеска желтых калужниц.
Стань на колени — увидишь стертые их подошвы
с печатями мест чудесных,
по которым бегал Франциск Ассизский
и где на камень собора пал убитый епископ Ромеро [2].

[1] Мечислав Карлович (1876—1909) — польский композитор, известный альпинист.
[2] Архиепископ Оскар Арнольдо Ромеро был убит в 1980 г. в г. Сан-Сальвадоре.

Эти ботинки охотно наверстывали дороги по галереям,
Блудный Сын перед ними обнажил обритое темя
своей округлой головы,
улетающий из дома Товита ангел [1]
раскрыл им тайну конструкции своих крыльев.
Бывало, что припекал их вулкан священного гнева
и ледники теологических прений их охлаждали.
Обычно, однако, голову вознося в облака,
сами они держались земли.
Если попросишь ты эти ботинки,
хозяин отдаст их тебе не колеблясь.
Неизвестно, однако,
останутся ли они на тебе
ботинками христианина.

(1992)

Торопливость

Торопливость берез бегущих навстречу маю
в зеленой дымке дыханья
потому что хотят быть первыми первыми первыми
в весеннем соревновании зелени
Их приветствуют снизу округлые окрики ветрениц
и карусели цветущего терна
Висла вздыблена ветром и пробует взвиться в высь
притягиваемая серым магнитом неба
За пахарем вислинские чайки
горизонт описывает круг как свернувшаяся змея
которая держа в зубах свой собственный хвост
замыкает эту маленькую бесконечность.

(1992)

Летнее утро

О, какой же чудесный чистый обновленный день!
Солнце смотрит прямо на нас, не заслонено пеленою,
деревья в великолепии зелени, ветер гармонично свободный,
шум листьев созвучен шуму далекого моря.
Но эти мальчики не догадываются даже,
что их радость такая шальная оттого, что день просто царский.
Скачут через клумбы цветов, гоняются в лабиринтах самшита.
Борются, издавая воинственные крики,
полунагие, в играх своих так сейчас похожи
на юных предков своих, на своих ровесников
с берегов Эгейского моря, тренирующихся совместно,
когда солнце одевает им золотые шлемы на головы,
на их локоны, на их светлые, влажные еще волосы.
О, храбрые ахейцы Ловичского края!
В ярком солнечном блеске в вязовой аллее
молча на ваши игры взирает богиня:
лик ее неподвижен, взгляд, как копье, острый,
думает, кого выбрать,— ищет героя.

(1992)

---

[1] В «Книге Товита» рассказывается, как архангел Рафаил, исцелив старого Товита от слепоты, исчез.

ДЕБРА ИММЕРГУТ

Счастливый номер

РАССКАЗ

Перевод с английского ***ИННЫ СТАМ***

В полдневный сентябрьский зной — слышно только, как гудят мухи да кто-нибудь вдруг вздумает вытрясти коврик из окна ванной комнаты,— свободно может почудиться, что на дворе по-прежнему тысяча восемьсот шестидесятый год. Джорджия авеню называлась тогда Седьмой-стрит-роуд: обыкновенный немощеный проулок, который вел из города прямиком в маисовое поле. Но вот около половины третьего кончаются уроки в школе, отовсюду слышится радио и визг девчачьих стаек, и вы сразу понимаете, что все это — сейчас. Иногда наведывается сюда малыш по имени Моджил и уже не отходит ни на шаг. Однажды он сказал мне, что я похожа на мужчину.

Я высокая, в этом, надеюсь, все дело, да еще в форменной одежде: залоснившиеся коричневые, обтягивающие зад брюки, на бедрах карманы, оттопыренные, точно уши; защитного цвета рубаха с нашивкой на рукаве. Наряд, что и говорить, не девичий, привлекательного в нем мало, я знаю. Но ведь этого от формы и не требуется. Зато я имею по закону право даже и арестовать человека.

Здесь, может, не веяло бы так девятнадцатым веком, если бы я была не одна, но после того как Гантер Лоуэлл перевелся в Маунт-Вернон [1], Форт Стивенс сразу понизили в ранге, оставив одного-единственного смотрителя. Все сокращается. Жизнь музея-заповедника теперь похожа на кружево: одни сплошные дырки, едва скрепленные нитью.

Гантер принадлежит к вымирающему племени. Теперь многие идут работать смотрителями музеев ради привольной жизни или потому, что не прочь стать полицейскими, но только чтоб никакой крови; или же, как я, потому что нравится работать с людьми. Но Гантер пошел в музей потому, что такие места, как Форт Стивенс, не превратились для него в историческую окаменелость. Он будто воочию видел солдат-северян, прикорнувших в тенька, в то время как Эйб Линкольн вышагивает по брустверу под визг картечи. А теперь Гантер попусту пропадает в Маунт-Верноне: в этом ухоженном, выставленном напоказ поместье его дар оживлять историю совершенно ни к чему. Смотрите только не скажите этого тамошним музейным работникам.

Прошлой весной у Гантера заболела жена, и он стал сам не свой. Тогда-то и началась та гадкая полоса в наших с ним служебных отношениях. За год, что мы проработали вместе, он меня многому научил, и замечательно, что научил, а то каково бы мне пришлось здесь одной? Кто-нибудь из посетителей нет-нет да и задаст вопрос-другой, и я почти всегда могу рассказать все, что нужно.

Форт Стивенс находится в той части округа Колумбия, которая в наши дни пользуется дурной славой. По утрам я нахожу за земляными укреплениями валяющиеся там и сям в пыли приметы противозаконной деятель-

---

[1] Музей-усадьба Джорджа Вашингтона (1732—1799), первого президента США; расположен в штате Виргиния, в 13 милях (21 км) к югу от г. Вашингтона, столицы США. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

ности: красные и синие крышки от флаконов с наркотиками, обгоревшие пластмассовые пробки. За день, если не приводят группы школьников, у меня бывает обычно меньше дюжины посетителей, в основном это ярые знатоки истории Гражданской войны; зажав в руках блокноты, они щупают пазы и стыки, проверяя прочность старинной столярной работы, разглядывают, нагнувшись, гвозди в половицах. Подобные гвозди изготовлялись — во всяком случае, так мне сказал один посетитель, вооруженный лупой и изящной щеточкой для разметания пыли,— на литейном заводе в Шрайве, штат Пенсильвания, там же отливали и смертоносные пули, которые прозвали «разрывными». (Гантер однажды сказал мне, что в этих мелочах времен Гражданской войны отражается сложность человеческой истории. А в конце концов из тьмы разрозненных фактов складывается картина непостижимого разгула насилия.)

А вчера случилось необычное. Я слушала в сторожке смотрителя радиопередачу, протирая запыленные окна бумажными полотенцами, смоченными в уксусном растворе. У меня всегда теплеет на душе, когда со стекол сходит короста грязи и они снова сияют чистотой. Протираю я, стало быть, окно и вдруг вижу, что к сторожке направляется парень, молодой негр в ослепительном розово-оранжевом спортивном костюме. Парень быстро взбирается по склону, хотя вроде бы совсем и не торопится, в нашей округе по такой походочке отличают крутых ребят. И мне сразу становится не по себе.

Я роняю на пол скомканную бумагу и выхожу из сторожки, которая встроена в восстановленный генеральский командный пункт. Парень уже карабкается вверх по земляным укреплениям. Посетителям положено ходить по пешеходным дорожкам, но я решаю, что выговаривать ему не стану; я просто наблюдаю за ним, а мысленно так и вижу мою полицейскую дубинку, висящую в сторожке на ручке двери, и телефон на столе. Однако я просто стою там, на вершине укреплений с бойницами, и жду, наблюдая, как он лезет наверх; глядя на его черную макушку, я вдруг осознаю, как просто им было целиться, этим янки. Бум! — сквозь самое темечко, через шею мятежника прямиком в его гулко бьющееся сердце.

Вот он взбирается все ближе, так близко, что мне видно, как блестит от пота его шея и что за ярлык на вороте его куртки, и я говорю: Сэр, сюда положено входить через ворота на Двадцать пятой улице.

Щурясь от солнца, он смотрит на меня снизу вверх; зубы у него ровные и белые. Пальцы, словно когти, впились в мягкий дерн на склоне. Он зажмуривает один глаз и говорит: Ну извини. Не знал я.

Он проворно переваливается через бровку укрепления, и я вижу, что брюки у него испачканы на коленях землей. Он отряхивает их и выпрямляется. Мелкими шажочками я отступаю к сторожке. На всякий случай. Местные ребята обычно не балуют нас посещениями.

Он неторопливо направляется ко мне, усмехается и говорит: А я-то все думал, что́ здесь и как.

Это Форт Стивенс, говорю я. На шее у него, под самым горлом, болтается серебристая пластина с надписью «РЕНТГЕН». Я дам вам брошюрку...

Скучно небось тут? Ты ведь одна здесь, да?

Ничего страшного, говорю я, останавливаясь, и заправляю волосы за уши; чего он так ухмылялся, над формой потешался, что ли? Он поворачивается и идет к скамье, стоящей под окнами сторожки, сплевывает, сует руки в карманы и, усевшись, вытягивает ноги. Короткие ноги-то, а туловище длинное. Лет ему, пожалуй, около двадцати пяти.

Надо мне привести сюда младшего брата, говорит он. Ему небось полезно будет.

Конечно, говорю. Мы любим, когда к нам дети приходят.

Кто это мы? Он глядит на меня. У него миндалевидные, чуть раскосые глаза с длинными ресницами.

Я пожимаю плечами. Смотрители музея-заповедника.

А, смотрители, кивает он с серьезным видом. Музеи — народу.

Вот именно, говорю я.

И сколько же к вам сюда людей приходит?

Не особенно много. Я ковыряю пыль квадратными носками грубых форменных башмаков и думаю: а куда это парень клонит, если он действительно куда-то клонит? Руки у меня по-прежнему в карманах, локти свободны.

Меня зовут Джеймс, говорит он и встает со скамьи, суетливо болтая руками. Делает шаг ко мне и протягивает ладонь. Я пожимаю ее, а он, крепко обхватив мои пальцы, резко встряхивает руку и сразу отпускает. Потом, отступив на шаг, смотрит на мой нагрудный знак с именем. Это имя или фамилия? спрашивает он.

Фамилия, говорю.

Мисс Моррис, у вас какой рост? Шесть футов?

Я чувствую, как вспыхивает мое лицо. Чувствую, что у меня, как когда-то в школе, в старших классах, опускаются плечи, сами собой подгибаются колени. Я выдаю все ту же тухлую ложь. Пять футов одиннадцать дюймов. Да вам-то какое дело, присовокупляю я. Однако его интерес мне льстит и немного ослабляет мое напряжение.

Он отступает назад, в тень под навесом сторожки, прислоняется к стене и достает из кармана пиджака шариковую ручку с зеленой пастой. Ты в баскетбол играешь? Бьешь по корзине? Он сует ручку за ухо.

Да, раньше играла, говорю я.

И правильно. Не сегодня-завтра женский баскетбол начнет приносить крупные барыши.

Ну, так есть у вас вопросы про форт? Я подбираю окурок, бросаю его в урну. Я пытаюсь придать себе вес представителя федеральной власти.

А что, есть закон, по которому мне возбраняется разговаривать с вами, леди Моррис? — спрашивает он, прижав к груди ладони. Какой-нибудь закон, о котором я слыхом не слыхал?

Я вздыхаю. Нет. Поворачиваюсь и иду за угол, назад в сторожку. Я опять принимаюсь мыть окна. С той стороны Джеймс придвигает лицо почти вплотную к стеклу и машет рукой — сдвинув пальцы, машет ладошкой, как ребенок. Потом садится на скамью, вынимает из кармана маленькую записную книжку, вытягивает из-за уха ручку, начинает писать. Его затылок почти касается стекла. Зажав в руке бумажное полотенце, я замираю над его плечом; завитки его волос в считанных дюймах от меня. Тут раздается телефонный звонок, и я подпрыгиваю от неожиданности.

Это звонит моя мать. «Привет!» — слышу я ее бодрый голос, и меня как током бьет; такое же неприятное чувство бывает, когда случайно услышишь обрывок записи с собственной речью. Мама уже неделю как уехала; не припомню, чтобы мы когда расставались так надолго. Она возбужденно щебечет, сообщая мне новости: Лиза только что родила, у малыша, как и предполагали, коллапс легкого, но он на искусственном дыхании, дышит нормально. Недельки через две его можно будет забрать домой, говорит она. Голос у мамы такой счастливый, кажется, она совсем близко, хотя на самом деле далеко, в Сан-Диего, куда переехала моя сестра Лиза с мужем Родни, он моряк. Я передам от тебя горячие приветы всем, даже Родни, говорит мама. Мне кажется, я различаю за звуками ее голоса плеск фонтана. Как мне хочется тоже быть там, с тобой, говорю я. Для одной квартира великовата.

Что правда, то правда, говорит она. Как движется дело с платьем?

Она учит меня шить, и теперь я тружусь над первым самостоятельным заданием к рождественскому вечеру в музее — это платье из розового бархата с вырезом лодочкой. Продвигается, но медленно, говорю я.

Ну еще масса времени, говорит она, несколько месяцев впереди. Она обещает взглянуть на платье, как только вернется на следующей неделе. Я вешаю трубку, и вязкий спертый воздух в комнате словно становится еще гуще. Я выхожу на улицу и иду за угол сторожки. Скрестив руки на груди, обозреваю заповедник. По краю заросшей ползучим сорняком лужайки медленно шествуют старая дама и ее коротконогая гончая; соблюдая ежедневный ритуал, собака поднимает лапу и орошает деревянный музейный указатель. На горизонте, за дальними крышами, извиваются длинные

облака, похожие на сероватых угрей. У моей сестры только что родился мальчик, его назвали Джеймс, говорю я.

Только что? переспрашивает Джеймс. Я поворачиваюсь к нему, он смотрит на меня, подняв голову от блокнота с ручкой. Правда? спрашивает он.

Вообще-то Джеймсом его назвали какое-то время назад, но родился он только что. Во дворе, в нескольких футах от сторожки висит на столбах схема расположения батарей и ведения огня. Я провожу рукой по нагретому плексигласу, и ладонь моя чернеет от пыли.

Значит, они заранее знали, что будет мальчик, говорит Джеймс.

Да, по результатам обследования. Я бреду назад в сторожку и, найдя большую губку, набираю в раковине, покрытой ржавыми натеками, ведро воды.

Тащу ведро, в котором болтается губка, к стенду. Джеймс, сидя на лавке, наблюдает. Все убираешься, говорит он.

Да уж. Взглянув на него через плечо, вижу, что он держит ручку наготове, будто записывает все, что происходит вокруг. Я шлепаю губкой по плексигласу и вожу ею взад-вперед, описывая широкие полукружья. Так время быстрее проходит, говорю я.

Ты прямо как уборщица.

Это только *часть* работы. Когда я пытаюсь дотянуться до углов стенда, рубаха выбивается у меня из брюк. Я роняю губку и поворачиваюсь к Джеймсу лицом, одной рукой запихивая сзади рубаху обратно.

Он глядит на меня в упор. Я закусываю губу, раздумывая, что сказать. По-моему, пора уже объяснить мне, чего вы тут сидите, говорю я ему. Не смóтрите ничего, и вообще.

Ладно. Чуть усмехаясь, он скребет ручкой в волосах над ухом. Я здесь не для того, чтобы смотреть. Я здесь прячусь.

Вот те на, думаю я. Теперь мне страшно. Но лицо мое по-прежнему спокойно. От кого же вы прячетесь?

Он трет рукой нос и рот, оттягивая веки вниз. Да тут приятели одни хотят меня убить.

С чего вы взяли? спрашиваю я. У него, замечаю, тоже немножко испуганный вид — на лбу, возле волос, капельки пота. Я начинаю различать где-то вдали звуки сирен «скорой помощи», чувствую запах горящего мусора, долетающий с Двадцать пятой улицы.

А меня предупредила сестра одного из этих ребят. Я выскочил из дома через черный ход и тут вспомнил про это вот место. Он улыбается, глядя на меня снизу вверх. Самое оно, говорит он.

Ага, это же форт, говорю я. Он и строился для укрытия и защиты.

Верно, местечко безопасное. Он покусывает ноготь на большом пальце и внимательно смотрит на меня. Хочешь знать, почему они меня преследуют?

Я стою и гляжу на него долго-долго. Так и смотрим друг на друга неотрывно. Да нет в общем, говорю я ему.

Ты, значит, неприятностей не боишься? нахмурившись, говорит он. Губы у него цвета красного вина.

Да нет в общем. Я отворачиваюсь, собираясь взять ведро.

Я писал завещание, говорит он. Хочешь, я тебе что-нибудь оставлю?

Нет. Покачав ведро, я опрокидываю его над землей, вода, выплеснувшись в пыль, разлетается грязными брызгами. Пустое ведро стукается о мое колено, и тут я чувствую, что у меня трясутся руки, трясутся ноги, тело не слушается. С грехом пополам я доплетаюсь до сторожки. Вроде бы слышу, как Джеймс спрашивает: с тобой все в порядке? Прикрыв за собой дверь, я роняю ведро и, опустившись на шаткий конторский стул, кладу голову на стол и рыдаю в промокашку.

Теперь, спокойно оглядываясь на себя прежнюю, я знаю, что вызвало эти слезы. Теперь-то я понимаю. Тогда я впервые, после того как уехал Гантер, оказалась здесь, в форте, наедине с мужчиной. И хотя этот человек был во всех отношениях совершенно не таким, как Гантер,

тишина, стоявшая вокруг, то, как мы разглядывали друг друга, а еще, возможно, и толща заповедных укреплений живо напомнили мне дни, проведенные с Гантером.

Лицо мое, прижатое к локтю, пылает, веки жжет от слез, а под ними словно метет оранжевый снег. Волосатые ноги Гантера, на щиколотках мотаются защитного цвета штаны, белые хлопчатобумажные трусы стираные-перестираные. И мне становится жутко стыдно.

Когда его жена только заболела, он стал уходить после обеда к машине и там плакать навзрыд; впервые увидев, как он там сидит: крупные руки на приборной доске, бледное искаженное лицо словно маска, губы бесформенно растянуты,— я старалась держаться подальше от южной стены, где окно выходит на стоянку. Когда он возвращался в сторожку, обычно без малого в пять — розовые полосы закатного света уже ложились на старые деревянные стены, через считанные минуты запирать ворота,— то глаза у него бывали воспалены, однако щеки сухие.

Чтобы не смущать его, я разводила большую суету: записывала что-то в журнал, подметала, а то начинала подсчитывать полученную за день мелочь, но украдкой все посматривала на него, и когда он плюхался в кресло у стола, душа моя разрывалась и хотелось крикнуть ему: успокойся, пожалуйста, не надо так сильно расстраиваться. Можно я скажу тебе, что никогда раньше не видела, чтобы мужчина плакал, никогда не видела мужчины с красными от слез глазами. Отец вот ни разу — ни когда уходил от мамы, ни до того. Братьев у меня нет. Однажды только видала, как заревел парень из нашей школы, когда наша команда продула на крупном соревновании. Вот и все.

Конечно, мне надо было доложить о поведении Гантера — он ведь стал время от времени принимать на работе таблетки, какое-то сильное болеутоляющее, оставшееся от жены. Он глотал их, запивая оранжадом, уверенный, что я не вижу.

Но я не доложила о его поведении.

В этом, я думаю, отчасти повинен мой последний дружок, который учился на военную стипендию, а потом должен был уйти офицером в армию. Когда мы с ним кончили колледж, его направили в Гренландию, в воздушные войска. Он говорил, что любит меня, обещал писать. И писал какое-то время, а потом встретил другую женщину. Где — в Гренландии! Это был сокрушительный удар. Я-то уже до мелочей продумала наше будущее, вплоть до балов в офицерском клубе, а тут пришлось возвратиться в унылую действительность: по-прежнему жить с мамой в Арлингтоне, смотреть допоздна телевизор. И работать в музее-заповеднике.

Мама меня тогда — как и всегда — очень поддержала. Она рассказывала мне об отце; как удивительно, говорила она, что они все-таки прожили вместе целых девять лет, с его-то сложным характером, а я рассказывала ей про того парня из офицерского резерва, о том, какая же он тварь. Но я никогда не рассказывала ей о Гантере.

У Гантера короткие волосы, щетинистые, каштанового цвета, и сильные широкие плечи, он не особенно старый, тридцать семь всего-навсего. Однажды утром, когда мы проработали вместе уже несколько месяцев — после моего жестокого разочарования в любви,— я увидела, как он разыгрывает перед группой немецких туристов сцену наступления генерала Эрли; те стояли разинув рот, а он носился по укреплениям, размахивал руками, указывая то на север, то на юг, и, увертываясь от воображаемых снайперских пуль, изображал, как сходились пехотные и кавалерийские полки противников. Туристы щелкали фотоаппаратами, а потом столпились вокруг него, пожимая ему руку. Я и сама была в восторге. С того дня я начала его немножко стесняться; а еще купила себе новую тушь и опять стала носить серьги. Конечно же, я ничего не собиралась предпринимать — но когда он сидел и разговаривал по телефону или составлял наши отчеты, я неотрывно смотрела ему в спину. Я почти ощущала под ладонями его плечи, надежные, как прогретая солнцем земля.

Однажды холодным февральским днем он прибрел со стоянки, где под пылающим анилиново-красным небом осталась его машина, сел, сгорбившись, за свой стол и уставился воспаленными глазами на недельный отчет,

а я подошла и положила руки на эти его плечи. Мне не надо было собираться с духом — это вышло само собой.

Спустя, наверное, полминуты он наклонил голову и прислонился к моей левой руке теплой колючей щекой. Я повернула его к себе — кресло-то вращающееся,— опустилась на колени и обняла его. Он коснулся моих волос и застонал. Тут я подняла голову и увидела, что глаза у него влажные и темные. Я поцеловала его. Часто-часто прижимаясь губами, целовала его лицо, шею. Его уши. И вот тогда он как будто очнулся и начал действовать сам. Опустил меня на пол, зарылся лицом в мою шею. И все шепчет, бормочет: «Джинни, Джинни, Джинни», горло перехватывает от любви.

Конечно же, меня зовут не Джинни. Меня зовут Гвен, а Джинни звали его жену, она в это время умирала. Рак желудка, вроде той хитрой пули, разрывал ее изнутри.

За три недели мы занимались любовью шесть раз — всегда, кроме того первого случая, ждали, пока придет время запирать ворота. И каждый раз он вставал потом с пола, медленно приводил в порядок одежду и говорил: это нехорошо, это просто отвратительно. Я знаю, говорю я, бывало, в ответ. Потом мы садились каждый в свою машину, и я ехала по Джорджия авеню на запад, переезжала реку по плоскому уродливому мосту, соединяющему округ Колумбия со штатом Виргиния, и думала, как ужасно, как скверно то, чем я с ним занимаюсь. Потом я включала радио и дальше, пока ехала домой, была счастлива.

На третьей неделе в пятницу Гантер перед закрытием сказал мне, что попросил перевести его в Маунт-Вернон и получил согласие. Потом он пошел к машине, сел и уехал. С тех пор от него не было никаких вестей. Несколько месяцев назад, в июне, на стене в нашей конторе, расположенной в центре города, появилась открытка с выражениями соболезнования, рядом висел на цепочке фломастер и маленькая записка: Для Гантера Лоуэлла по случаю кончины его жены, распишитесь, пожалуйста. Я написала какую-то глупость: сочувствую, Гвен.

Я всегда ненавидела имя Гвен. Оно, мне кажется, похоже на — Плен? Тлен?

И тут Джеймс стучит в окно. Эй, кричит он, когда я поднимаю голову. Уцепившись рукой за верх оконной рамы, он наклонился и всматривается мне в лицо. Почему ты плачешь?

Я поспешно вытираю глаза; от смущения лицо горит еще сильнее. Я пытаюсь не обращать на него внимания, он отошел от окна, и минуту спустя дверь сторожки со стуком распахивается, и он небрежно, словно гуляючи, вступает в комнату; ну ладно, входит — тут повернуться негде, не то что вступить.

Опустившись на шаткий складной стул, он нагибается ко мне, опершись локтями о колени. Расскажи-ка, говорит он.

Посетителям сюда заходить не положено, говорю я; шмыгая носом, достаю из коробки с надписью «Бюро находок», стоящей под столом, пропотевший бумажный свитер и вытираю им лицо.

А денек-то отличный, говорит он. Пошли на улицу.

Я выхожу вслед за ним. Солнце все ниже соскальзывает в мутную мглу, висящую там, за крышей булочной. Позади нас, под карнизом склада боеприпасов, суетятся и бормочут голуби.

Ты ведь из-за мужчины плачешь, верно? — говорит он.

Нет. Я хмуро смотрю на него. У ребенка моей сестры коллапс легкого. Он борется сейчас за каждый глоток воздуха.

Да? Это плохо, очень плохо. Он качает головой, опускает глаза; руки лежат на бедрах. Знаешь, я ведь был рентгенотехником в Главной окружной клинике. Так это не клиника, а настоящий остров спасения для больных ребятишек, правда-правда.

Я тянусь к ящику, прибитому возле двери склада, чтобы поправить лежащие там буклеты; Джеймс стоит у самой двери. До меня долетает едва уловимый запах лосьона после бритья, мятного, некрепкого. А что же вы там сейчас не работаете? спрашиваю я.

Сокращения. Он с покорным видом оглядывает горизонт. Средства урезали. Такие вот сейчас дела, говорит он.

Да уж, вздыхаю я.

Может, окажешь мне одну услугу, говорит он, опускаясь на корточки.

Я гляжу на него. Смотря какую.

Иди-ка, глянь осторожненько, не видать ли где поблизости большого красного «мерседеса-бенц». Он ободряюще улыбается. Просто посмотри, и все, говорит он.

Я иду на вершину восточного склона, позади склада боеприпасов. Толстобокий, похожий на помидор автомобиль медленно катит по Двадцать пятой. Я оборачиваюсь к Джеймсу. Ага, вижу.

Дизельный двигатель. Он, тряхнув головой, шлепается на землю; кладет локти на поднятые колени и свешивает перед собой длинные пальцы. Такие машины всегда издалека слышно.

Пока я наблюдаю, машина сворачивает в переулок. Через несколько мгновений я снова вижу ее на углу Джей-стрит и Двадцать пятой, стоит у светофора. Потом сворачивает на Двадцать пятую и снова неторопливо ползет по ней.

Когда я вновь оборачиваюсь к Джеймсу, он за шнурок вытягивает из-под куртки пластмассовые часы со светящимися цифрами. Вы когда закрываетесь? спрашивает он. В пять?

Да.

Он морщит губы, вид у него несчастный. Без десяти пять, говорит он. Надо что-то придумать.

Почему они за тобой гонятся? — говорю я, отвернувшись от него. Я сворачиваю садовый шланг, вешаю его на кронштейн.

Из-за денег, говорит он. Я задолжал им кучу денег.

Я бросаю на него быстрый взгляд. Он пожимает плечами, глаза у него грустные. Я совершил ошибку, но я себя прощаю, говорит он. Сплевывает на землю и дрожит в беззвучном смехе.

Вынимая пластиковый мешок с мусором из контейнера, стоящего у входа в заповедник, я слышу скрежет и вой грузовиков, снижающих скорость на Джорджия авеню, мягкий шелест легковых машин — наступил час пик. Я завязываю горловину мешка толстым узлом, бросаю его возле ворот. Джеймс следит за каждым моим движением, но мы оба молчим.

Вернувшись в сторожку, я снимаю с полки свою сумку, рядом с которой всегда высится похожий на силосную башню весь в кофейных потеках термос, забытый Гантером; там, наверное, есть еще немного кофе. Покопавшись в кожаной сумке с бахромой — мамин подарок,— я нахожу зеркальце в пластмассовой рамке и, усевшись на стул возле стола, гляжусь в него. Ресницы у меня светлые, а глаза голубые — мятные леденчики, говорит мама,— и, когда я пла́чу, веки у меня опухают и краснеют. Впрочем, сейчас они вроде не очень заплаканные, решаю я и, достав из сумки синий карандаш для век, подвожу глаза.

Я слышу, как снаружи расхаживает Джеймс, под его кроссовками хрустит гравий, которым посыпан дворик. Я откидываюсь на спинку стула, наклоняя его назад, чтобы поглядеть сквозь открытую дверь. Он шагает взад-вперед, подняв лицо к небу, губы его крепко сжаты, руки сцеплены на затылке. Он напоминает мне старинные картины, на которых изображено, как захваченных в бою повстанцев выводят из Виксберга. Он оборачивается и видит, что я сижу, все еще держа у глаз карандаш для век.

Я поспешно прячу карандаш с зеркальцем, вешаю сумку на плечо, запираю за собой дверь. Джеймс замирает на месте, сует руки в накладные карманы. Красиво смотришься, говорит он.

Вот теперь мне пора запирать.

Он опускает взгляд, трется подбородком об острое, обтянутое нейлоном плечо, потом смотрит мне в глаза. Разреши мне остаться здесь на ночь, чего тебе стоит.

Так. У него вздрагивают ресницы, а я думаю: для меня это может

кончиться большими неприятностями. Мама заявила бы, что я сошла с ума, совсем рехнулась. Но ее нет.

Ладно, говорю я. Подняв руки, рывком выпрастываю волосы из-под ворота рубахи. Уборную я оставлю открытой.

Отлично, говорит он. Большое спасибо. Он улыбается и смотрит в землю.

Ухватив одной рукой мешок с мусором за узел, я закрываю за собой тяжелые деревянные ворота. Пока, говорит Джеймс.

Увидимся.

Цветам в саду моей хозяйки выдержать сентябрь уже невмоготу: коленки у них подгибаются, плечи опускаются, хорошенькие круглые головки жухнут. И все-таки сквозь сгущающийся сумрак сияют они мне навстречу разными оттенками лилового, красного, зеленого, словно разноцветная галька в аквариуме. Вернувшись с работы в город, я смотрю в сад из нашего окна на втором этаже, уплетая миску спагетти. Оконную сетку теребит легкий ветерок, еще летний, но уже несущий дуновение прохлады. Это дуновение напоминает мне, что там, в форте, находится человек; у меня сжимается горло — мало ли что может случиться! — и я стараюсь выбросить всякие мысли из головы. Такое впечатление, что я жую очень громко: мамы нет, и никто не разговаривает.

Поев, я иду к кровати, снимаю телефонную трубку и набираю номер сестры в Сан-Диего. К телефону подходит Родни.

Поздравляю, папочка, говорю я ему.

Только один человек нам и не позвонил. Твой отец. Родни возмущенно фыркает. И особых надежд, что позвонит, у меня нет.

Как там Джеймс? спрашиваю я.

В порядке — если верить докторам, дела идут на лад, но я прошу всех, кто может и хочет, молиться за него. Ты готова нам в этом помочь, Гвен? Когда ты последний раз разговаривала с Господом?

Недавно вроде бы. На днях. В ответ он протяжно вздыхает, и этот вздох переполняет мне ухо. А мама там? спрашиваю я.

Ну ладно — не вешай трубку, я схожу за ней. Голос у него любезный и въедливый, даже и за тридевять земель все такой же. Родни вырос там, неподалеку от Бейкерсфилда, на бобовой ферме. Жизнь моей сестры он полностью взял в свои руки. Он жалеет ее, ребенка из распавшейся семьи.

Привет, лапушка, звонко говорит, взяв трубку, мама; она очень радуется первому внуку. Дочек Лизы и Родни она любит всей душой, но у мамы никогда не было собственного сына. Она рассказывает мне, какие у малыша глазки, наверно, останутся голубыми, вроде моих, и как сейчас выглядит Лиза — прямо цветет, говорит она, через полчаса после родов уже наводила марафет; и, слушая ее, я понимаю, что для нее рождение внука — запоздалая радость и она упивается ею сполна. Маме уже шестьдесят девять лет. Она вышла замуж в сорок один год.

Тут я ее спрашиваю, мам, слушай, может, и не время об этом говорить, но когда ты долго-предолго жила одна, не замужем, ты хоть раз приходила в отчаяние?

Она молчит; на мгновение мне очень хочется увидеть ее, как она кончиками пальцев приглаживает свои аккуратно подстриженные седые волосы.

Я постоянно была в отчаянии, говорит она. Всегда, всегда. До самого последнего времени. А сейчас я в полном порядке.

Ох. Я вздыхаю в трубку.

Гвенни, говорит мама, как только ты позабудешь о том парне из офицерского резерва и перестанешь об этой истории думать, тут же появится другой мужчина, вот и все. Я серьезно, лапушка. Но сначала надо выкинуть из головы того парня.

Ладно, мам. Я постараюсь, говорю я, а сама думаю: о некоторых уголках моей души она совершенно не догадывается, даже не знает, что они есть. И я понимаю, что о Джеймсе я говорить не стану.

Когда я кладу трубку, то вдруг чувствую головокружение: до меня

доходит, что я совсем одна в квартире, а может быть, и в жизни, и какое же это глубокое одиночество, просто бездонное. Я разглядываю половицы, расположение древесных волокон, прожилку в виде облака между моими башмаками и думаю: неужто вот и пришел он, мой день? Вдруг мне на этот раз выпадет счастливый номер?

Я нетерпеливо расталкиваю одежду, висящую в моем стенном шкафу, и наконец нахожу то, что нужно. Стаскиваю с себя форменные брюки и рубаху, натягиваю черную шелковую блузку с короткими рукавами, потом черную мини-юбку в блестках, которую я как-то купила для новогодних вечеринок. Всовываю ноги в черные с бантами туфли, на низком каблуке.

Подойдя к проигрывателю, я быстро перебираю мою маленькую коллекцию пластинок, пока не натыкаюсь на одну, с бухающим ритмом, вроде той музыки, что со всех сторон доносится к нам в форт. Шлепаю ее на проигрыватель, бегу к зеркалу возле шкафа, взбиваю, как умею, волосы и принимаюсь танцевать — бешено, как безумная, отплясывать так я не решилась бы нигде, кроме собственной спальни. Кручу бедрами, мотаю волосами во все стороны, размахиваю над головой руками, взбрыкиваю ногами, вихляю задом. И все время смотрюсь в зеркало. Но там я вижу не себя — я смотрю туда, где за моим отражением со мной танцует Джеймс — по-особому, как это исстари водится у негров, я видела по телевизору: кивая головой, оттопырив зад.

Я кружусь, вихляюсь, топаю, такое чувство, будто руки сейчас оторвутся и полетят по комнате. И Джеймс тоже здесь. Я закрываю глаза; и лечу, парю — прямиком через шесть песен.

Но вот эта сторона пластинки кончается, я открываю глаза; воображаемый Джеймс в зеркале исчез. Там только я, тяжело дышащая, со вздыбленными волосами.

Жалкое зрелище, говорю я громко, с трудом переводя дух. Раздается щелчок, и звукосниматель, подняв иглу, плавно возвращается на место.

Я сбрасываю туфли и сажусь на кровать. Смотрю на швейную машинку в углу, на сваленный кучей на полу бархат. Заставляю себя снова встать, иду в угол и поднимаю один из кусков причудливой формы. Бархат не слишком тяжелый, цвета розовой герани, из него выйдет прелестное зимнее платье, говорила нам с мамой продавщица. Очень женственное, добавила она, взглянув на меня. Я провожу ладонью по мягкой ткани взад и вперед, так что ворс то темнеет, то светлеет. Перед моими глазами появляется пожелтевший список телефонов, пришпиленный к стене сторожки, над столом. Он прикреплен синей кнопкой, и на нем заглавными буквами аккуратно написано: ГАНТЕР (ДОМАШНИЙ). И номер, по которому я ни разу не звонила. Я роняю ткань и иду к телефону.

Когда начинаются гудки, сердце у меня снова гулко колотится, даже сильнее, чем раньше. Я плотно стискиваю ноги.

Алло, Гантер у телефона.

Привет, говорю я едва слышно, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Гантер, это Гвен Моррис.

Здравствуй, Гвен. До меня доносится звук то ли радио, то ли телевизора, громкий, назойливый голос. Внутри у меня все обрывается. Я пытаюсь глубоко вдохнуть. Я просто хотела узнать, как у тебя дела.

А. Нормально вроде бы. А ты как? Голос у него глухой, по нему ничего не поймешь.

Прекрасно. Я закусываю губу и закрываю глаза. Позвонила я вот почему. Мне правда очень жаль. И я подумала, может, ты захочешь как-нибудь пообедать вместе или еще что. В кино сходить.

В эту минуту я больше всего на свете хочу повесить трубку, прежде чем услышу его ответ. Я проклинаю себя. Какая же я дрянь.

По-моему, не стóит, говорит он уже громче, запинаясь от неловкости. В его голосе теперь слышится раздражение. Я тебя, конечно, не виню, но...

Можешь винить, говорю я, прерывая его. Чего уж там. Извини, пожалуйста. Я вешаю трубку.

Я заворачиваюсь в клетчатое шерстяное одеяло, его мне связала мама,

под цвет простыней. Лежа на кровати ничком, с головой закутанная в одеяло, я шепчу имя Джеймс. Джеймс, Джеймс, там, в форте, ты когда-нибудь испытывал такое одиночество?

Вскочив в половине седьмого утра, голая — ночью я все-таки сбросила свой наряд в стиле «диско»,— я сразу же начинаю думать о нем. Наскоро принимаю душ, стягиваю волосы на затылке в «конский хвост», надеваю чистую форму, завязываю шнурки на башмаках.

Утреннее солнце пригревает, но неуверенно, свежий ветер раздувает рубаху. Я отпираю дверцу машины и юркаю за руль, сама не своя от волнения. Скользкое сиденье холодит сквозь тонкие габардиновые брюки.

Движение пока еще небольшое, и я проскакиваю город без задержки. Заезжаю в кафе для автомобилистов и, не выходя из машины, беру два кофе и две порции блинов. Когда уже возле нашего забора я вылезаю из-за руля, чтобы отпереть главные ворота, в форте и окрест стоит глубокая тишина, все спит, слышно только, как за восточной стеной форта звякает о пустой флагшток металлический провод. Флаг украли несколько месяцев назад; я все жду, когда из города пришлют новый.

Я взбираюсь по дорожкам, проложенным через поросшие травой луговины, которые в золотистом свете кажутся особенно зелеными, и, несмотря на спешку, заново ужасаюсь: ведь множество людей и не подозревают о важнейшей роли Форта Стивенс для нашей сегодняшней жизни — о том, что армия повстанцев остановилась в полумиле от Вашингтона, едва не захватив его; а тогда — кто знает? — они могли бы и выиграть войну. В 1864 году этот неугомонный генерал Эрли двинул сюда войска аж из Брансуика, штат Мэриленд, и, форсировав Потомак, направился в Роквилл-Пайк, где мы теперь покупаем по дешевке туфли и чиним телевизоры. Генералы северян узнали о приближении Эрли слишком поздно, и пока они спешно собирали войско, конфедераты уже шли по Седьмой-стрит-роуд прямиком к Белому дому.

Их, конечно же, остановили у моего форта. За всю войну то была единственная битва, за которой лично наблюдал Эйб Линкольн. Вместе со многими другими жителями округа Колумбия он, в легонькой коляске, тоже выехал туда. Некоторые историки утверждают, что, когда он стоял на северной стене на виду у неприятеля, в него чуть не попало пушечное ядро, и солдаты стали кричать: Слезай, дурак! Другие историки утверждают, что это чистый вымысел.

Но вот я отпираю ворота форта, распахиваю их, а в голове одно: вдруг он умер. Прекрати, говорю я себе, он спит на скамейке.

В залитом солнцем дворе висит, колыхаясь, пыль, и я вижу, как оранжевое пятно вспыхивает и исчезает за поросшей травой вершиной дальнего редута. Я мчусь туда, держа в руках наши завтраки, сквозь дно сумки сочится кофе. Я взбегаю на насыпь. По противоположному склону опрометью летит вниз Джеймс.

Эй! кричу я. Погоди.

Он с трудом останавливается, оглядывается — рот открыт, грудь вздымается. Ох, говорит он. Взбирается на несколько футов вверх, ко мне. А я подумал, вдруг это мусорщик, или заведующий, или еще кто-нибудь. В голову не пришло, что ты так рано приедешь.

Я немножко беспокоилась.

Небось думала, я тут все разнес. Он кивает. А я вымыл уборную. Ты будешь довольна.

Я привезла тебе завтрак, говорю я, подняв вверх промокшую сумку, чтобы он видел.

Не надо. Мне пора уходить отсюда.

У меня падает сердце. Он уходит. А я думала, мы хоть позавтракаем вместе.

Куда ты пойдешь?

Поеду к приятелям, в Ричмонд.

А, в столицу Конфедерации, говорю я, пытаясь завести разговор, чтобы — пусть и по-глупому, но уж как умею — удержать Джеймса.

Да, я знаю, говорит он, и, вырвав пучок травы, начинает ее покусывать.

Тоскливый городок. Нет у тебя сладкой булочки или чего другого, что ты могла бы мне сюда кинуть?

Блины, говорю я, пожимая плечами.

Н-да, с ними только перепачкаешься, говорит он. И оглядывается. Мне, говорит, пора на автовокзал.

Я могу тебя подвезти.

Да? Он скребет в голове, прищурившись, смотрит на меня снизу вверх. В солнечном свете на его левой щеке и в волосах серебрятся полоски пыли.

Тут позади меня слышится басовитое тарахтенье, и мы оба переводим глаза на восточную луговину. На Двадцать пятой улице появляется потрепанный желтый автомобиль. Джеймс вновь смотрит на меня. Подкинешь, значит? говорит он. Господи, здóрово, выходит, мне повезло, что я тебя встретил.

Ага, я ведь спасатель, говорю я и ощущаю, как яркие лучи не просто греют мне спину и плечи, но пронизывают все мое тело и льются расплавленной струей мне прямо в сердце. Чего ж не подкинуть, пожимаю я плечами.

Тут я замечаю, что желтый автомобиль остановился, из него выпрыгнул здоровенный негр в отороченной мехом куртке с надписью «Редскин» [1] и, неловко держа руку за пазухой, бежит по широкой луговине к Джеймсу. У меня глаза лезут на лоб, рот сам собой открывается — Джеймс мгновенно оглядывается через плечо. И вот он уже несется, размахивая руками, вниз по холму, добегает наконец до тротуара, и звук его шагов разносится в утренней тишине.

Тот, другой, останавливается посреди луговины, вытаскивает руку из-за пазухи и направляет маленький пистолет в оранжево пламенеющую спину Джеймса. Резкий хлопок бьет в мои барабанные перепонки. Я падаю за насыпью на землю, сердце громко колотится, но я слышу, как Джеймс мчится со всех ног по гравию переулка. Я опять подымаю голову, тот, с пистолетом, продолжает преследование. Со спины он кажется толстым, особенно зад в белых брюках. Отороченный мехом капюшон мотается по плечам. Джеймс сворачивает за угол Джей-стрит и скрывается за облупленным фасадом магазина швейных машин.

Желтым автомобилем правит женщина, очень маленькая, ее чуть видно из-за руля. Она подкатывает к толстяку сзади, и тот не спеша устраивается на пассажирском сиденье. Прочихавшись, автомобиль срывается с места и тоже исчезает за углом.

Я сползаю по земляной насыпи вниз и на подгибающихся ногах иду через двор в сторожку. Я слышу запах собственного пота. Опускаюсь на стул и на миг закрываю глаза, потом звоню в полицию и сообщаю, что вооруженный мужчина с сообщницей едут в желтой «импале» по Джей-стрит на восток, первые три буквы номера П, Л, Е.

Они меня поблагодарили. Потом я съела обе пропитанные кофе порции блинов. Потом сдернула со стены пришпиленную синей кнопкой бумажку с номером Гантерова телефона и порвала ее надвое. Подошла к мусорному ящику и, протянув руку поверх его засаленного края, бросила туда оба обрывка. К тому времени дети уже отправились в школу, прошла стайка маленьких мальчишек, пытавшихся поджечь друг другу штаны подобранной где-то зажигалкой. Когда я ее у них отняла, они осыпали меня бранью.

Но сейчас уже идут уроки, и все стихло, только шелестят деревья и по-сентябрьски припекает солнце. А я сижу здесь, на самой вершине укреплений, откуда часовой первым заметил вдали за полем тучу пыли и отблески штыков наступавшей армии. Я гляжу сверху на латаные гудроновые крыши, на грязные улицы и надеюсь, что никто в этот миг не истекает кровью на какой-нибудь закапанной машинным маслом стоянке, надеюсь, что он уже едет на юг. Может, как раз сейчас он сидит себе в автобусе и катит по Виргинии. Может, он снова думает, как здóрово, что он встретил меня.

---

[1] Футбольная команда г. Вашингтона.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

ИНДИЯ: СВЯЗЬ ВРЕМЕН И МИРОВ

Этот выпуск «Литературного гида»
подготовлен М. САЛГАНИК

Из классической индийской лирики

Попытаемся вместе с переводчиком заглянуть в сокровищницу древней индийской поэзии, ярчайшие образцы которой собраны в своеобразной антологии «Триста стихотворений Бхартрихари» (автор, писавший на санскрите, жил предположительно в V в.). Предлагаем вниманию читателей несколько стихотворений из этой книги.

*

Не всякий человек живет сто лет.
Из них две трети — детство, старость, сон.
А остальную часть проводит он,
Страдая от болезней и от бед,
Любви несчастной, тяжкого труда...
А где же место радости тогда?

*

Нет в мире древа, чей так сладок плод,
Как сладостнейший плод ее любви.
Но горше плод попробуй назови,
Чем древо нелюбви ее дает.

*

В былые дни, ты помнишь ли,
Ты мной была, я был тобой.
Увы, те времена прошли,
И каждый стал самим собой.

*

Хотя есть лампа и очаг,
Есть солнце, звезды и луна,
Но весь мой свет — в ее очах,
Иначе - жизнь темна.

*

Могучий царь, прекраснейший дворец,
Есть у царя достойные раджи,
Светлейшие ученые мужи,
Придворный шут, угодливый певец,
Гарем — угроза для мужских сердец,—
Все это уничтожит без следа
Владыка Время; промелькнут года —
И даже памяти о них придет конец.

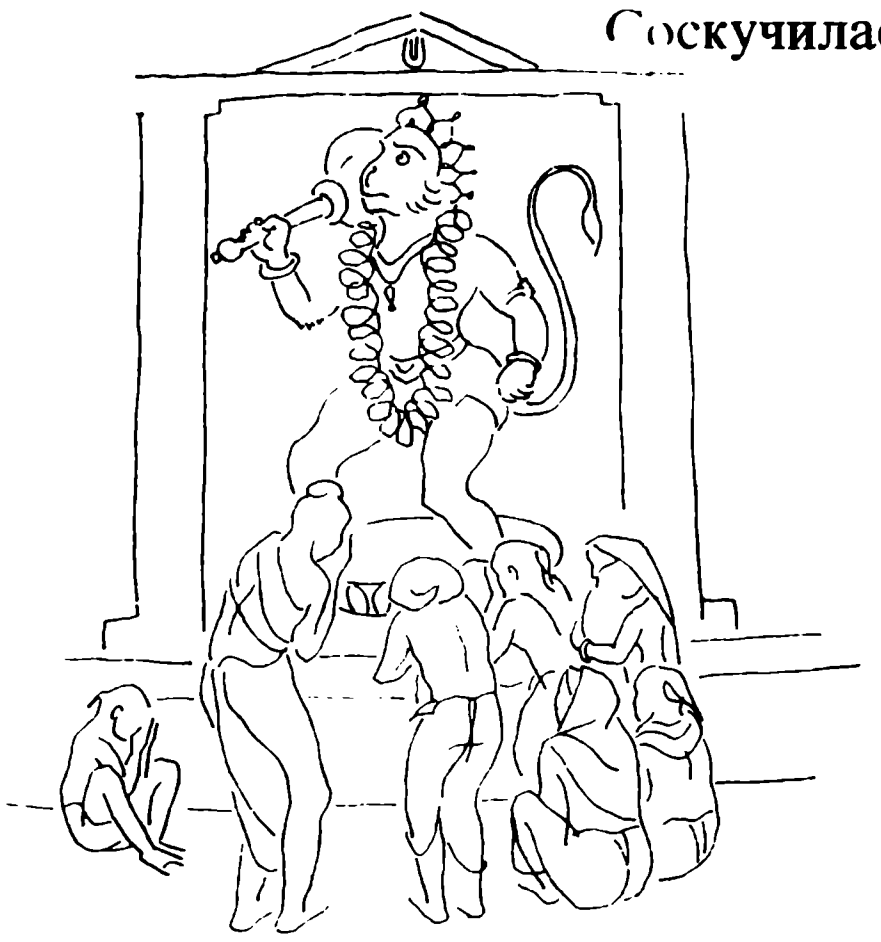
*

И песок можно так сдавить,
Что потечет масло;
Если очень хочется пить —
Увидишь мираж;
Если долго искать — рога
Отыщешь у зайца...
Лишь одного ты не сможешь — дурака
Научить хоть чему-то.

Пусть ты можешь вырвать алмаз
Из зубов крокодила;
Пусть ты в бурю всего за час
Переплываешь море;
Пусть ты можешь носить на руках
Живую кобру,—
Все равно даже ты дурака
Ничему не научишь.

*

О мать моя Земля, о Воздух, мой отец,
Друг мой Огонь, сестра моя Вода,
Брат мой Эфир, проститься нам пора.
Спасибо вам за все, что дали мне
Те годы, что провел я среди вас.
И вот я ухожу. Душа моя
Познала все — и покидает мир.
Соскучилась по Вечности она.



Перевод с английского Г. АГАФОНОВА

Здесь и далее рисунки К. К. Хеббара из книги, посвященной жизни классика индийской поэзии Тулсидаса, автора «Рамаяны».

О творчестве Кришны Хеббара см. «ИЛ» № 11 за 1988 год.

Дж. КРИШНАМУРТИ: ОДИНОКИЙ СТРАННИК

● М. САЛГАНИК

КРИШНАМУРТИ — КТО ОН?

— Но ведь и сам ты учитель! — заявил Раджагопал.
— Я могу только посветить тебе,— ответил Кришнамурти.

Из «Биографии Кришнамурти» П. Джаякар.

А начиналось все с Елены Петровны Блаватской, которая в 1875 году совместно с полковником Генри Олькоттом основала Теософское общество, семью годами позднее расположившееся в замечательном парке Адьяр, на тогдашней окраине Мадраса. Там оно находится и по сей день.

На склоне дней своих Елена Петровна пришла к заключению о неизбежности скорого сошествия на землю Учителя мира, Спасителя, которому предстоит воплотиться в человеческую оболочку, теософам же предстоит подготовить человечество к его приходу.

В 1889 году с трудами и прозрениями Блаватской познакомилась ирландка Анни Безант, пылкая поборница женского равноправия, фабианского социализма и права Индии на свободное существование — будущий президент партии Индийский национальный конгресс, сегодня стоящей у руководства страны. Анни Безант увлеклась теософией, изучила санскрит, а после кончины Олькотта возглавила Теософское общество. Она привлекла к работе в Обществе бывшего англиканского священника Чарльза Лидбитера, пользовавшегося репутацией ясновидящего. В 1909 году он обратил внимание на двух мальчиков, братьев, которые приходили после уроков поиграть на адьярском пляже. Потрясенный аурой старшего из братьев, Кришнамурти, которая простиралась до самого горизонта, Лидбитер стал приглашать его к себе, а поскольку тот не желал расставаться с младшим, с Нитьянандой, то в парк Общества мальчики ходили вдвоем, с робостью и любопытством. Откуда им было знать, что Лидбитер написал Анни Безант о великом свершении — Учитель мира воплотился в красивого маленького брахмина, сына адьярского счетовода.

С неохотного согласия родителей — они потом будут безуспешно добиваться возвращения детей по суду — мальчиков взяли в Теософское общество, и Кришнамурти начали готовить к его великой роли.

Мне бы не хотелось рассказывать здесь о теософском учении, о причинах, по которым оно возникло и вызвало огромный интерес в среде интеллигенции и Запада и Востока — в той же Индии, уж не говоря о России; это отдельная, большая тема, где многое перекликается и с сегодняшними настроениями и исканиями.

Теософы видели свою роль в создании всемирного братства на основе древней мудрости индусов, буддистов и тибетских тантриков, на основе скрытых тайн природы и скрытых сил человека. Общество действовало под непосредственным руководством махатм, которые и подтвердили избранничество Кришнамурти, и дали прямые указания по его воспитанию. Это очень интересно: махатмы в общении с европейцами, обратившимися к восточной традиции в поисках истины, требуют:

«Окружите их любовью, научите их уверенности в себе и аккуратности, приучите к телесной и нравственной чистоте... Цивилизуйте их, научите пользоваться ножом и вилкой, содержать ногти и зубы в чистоте, сидеть на стульях, а не на полу, спать на кровати, а не в углу, как собаки».

Те, чьи манускрипты с трепетом изучали теософы, увы, обходились без ножа и вилки, что же касается физической опрятности, то маленьких брахминов должны были с самого раннего детства приучить к ритуальным омовениям и такой чистоплотности, которая и не снилась их европейским воспитателям.

Ну что делать, мне и самой приходилось сталкиваться с убежденными пропагандистами восточного оккультизма, которые к носителям этой традиции относились с немалой брезгливостью...

Кришнамурти легко вошел в предписанную роль и без труда воспринял теософское учение.

В 1911 году Анни Безант увезла братьев в Англию, и больше десяти лет они в Индии не были. Но еще до этого Кришнамурти прославился прогремевшей на весь мир книгой «У ног учителя», в которой рассказал о своих мистических переживаниях. Был ли он действительно автором или книгу написал Лидбитер, как утверждали многие, остается неизвестным. Чуть не полвека спустя на прямой вопрос об авторстве Кришнамурти ответил: человека, ее написавшего, уже нет...

В Англии Анни Безант прилагала сверхчеловеческие усилия, чтобы поместить Кришнамурти в Оксфорд, Кембридж или хотя бы Лондонский университет, но юноша проваливал вступительные экзамены, и из его формального образования ничего не вышло.

А нужен ли живому богу университетский диплом? Анни Безант и ее сподвижники уже создали Орден Звезды, организацию всемирного типа, располагавшую весьма серьезными средствами, полученными от пожертвований, и, естественно, главой Ордена стал Кришнамурти — телесное воплощение Высшего существа. В 1927 году Анни Безант сделала заявление для американской печати:

«Божественный дух снова снизошел на землю в образе человека по имени Кришнамурти, совершенного человека, что могут засвидетельствовать все, кто знает его. Учитель Мира уже среди нас».

3 августа 1929 года в присутствии Анни Безант и трех тысяч членов Ордена Звезды Кришнамурти объявил, что он не живой бог. Он — Кришнамурти. Орден был расформирован, дары возвращены жертвователям. С тех пор и до самой своей кончины в феврале 1986 года Кришнамурти не переступал порог Теософского общества, он жил как свободный человек и говорил о свободе с теми, кто собирался слушать его.

А в тот знаменательный день Кришнамурти сказал:

«Я утверждаю, что Истина — территория без дорог, поэтому к Истине невозможно приблизиться ни одним из путей, указуемых религиями или культами... Истина беспредельна, безусловна и недосягаема, ни одна организованная религия не приближает к ней... Вера глубоко индивидуальна, ее невозможно и нельзя организовать, ибо она становится мертвой и жесткой, становится сектой, религией, убеждением, навязываемым извне. Не бывает организации, способной повести человека к духовности, а если создать организацию для этой цели, то она превратится в костыли для слабых, она поработит человека, раздавит его индивидуальность, не даст ему расти и утверждаться в своей неповторимости, не позволит ему открыть для себя абсолютную, безусловную истину. Это одна из причин, по которой я как глава Ордена Звезды расформировываю его. Меня никто не побуждал к этому решению.

В моем поступке нет ничего замечательного, потому что я все равно не хочу иметь последователей. Едва начав следовать кому-то, перестаешь следовать Истине... Я хотел бы только одного — освободить человека, выпустить его из клетки, избавить от страха, а не основывать новые религии, новые секты, создавать новые теории и новые философские системы. Нет у меня ни учеников, ни апостолов ни на земле, ни в мире духа... Пусть будет человек свободен от всех страхов — от страха перед религией, от страха за спасение своей души, от страха любить, от страха умереть и от страха жить. Как художник пишет картину от чистой радости творчества, потому что в этом его самовыражение, его величие, его благость, так и я говорю с людьми — ничего ни от кого не желая.

Истина в каждом из нас, она не далеко и не близко, она вечно здесь. Никто

не может вас освободить, ничто — ни организованная религия, ни самоуничтожение во имя правого дела, ни самоотдача в труде... Вам кажется, будто бывают какие-то особые люди, владеющие ключами к Царству счастья,— нет таких людей. Ни у кого нет прав на эти ключи — они у каждого в душе; развитием, очищением и укреплением духа вы откроете себе врата в вечность».

В то время Кришнамурти был фигурой полулегендарной и чрезвычайно спорной — преклонение одних вызывало реакцию отталкивания у других, в особенности из-за оккультного, мистического флера, которым его окутал Орден Звезды. Сбросив с себя мантию мессии, отрекшись от своего избранничества и заговорив собственным голосом, он предстал перед миром в совершенно новом свете.

О том, как он выглядел, лучше всего могут свидетельствовать слова «аутсайдера», человека весьма далекого от мистических исканий, хоть и парадоксально близкого Кришнамурти по беспощадному вскрытию стереотипов,— Генри Миллера.

Генри Миллер писал:

«Не могу припомнить другого человека, который отрекся бы от большего, чем Кришнамурти,— разве что Иисус Христос. В принципе понять, что он говорит, настолько просто, что легко уяснить себе и то смятение, которое произвели его четкие, прямые высказывания и поступки. Люди с неохотой принимают то, что легко понять. Я никогда не встречался с Кришнамурти, хотя едва ли есть человек, знакомство с которым я счел бы для себя большей честью».

Давайте здесь остановимся — что же произошло с Кришнамурти в его «теософские» годы, что привело его к скандальному отречению, которое, кстати, дало ему возможность быть услышанным миром? Простенькая схема — подобрали теософы маленького индуса, долго забивали ему голову мистическими бреднями, возили его по белу свету, а он вырос, понял, что все это чушь, и нашел в себе силы громогласно заявить: это никуда не годится.

Был ли Лидбитер ясновидящим или нет — он не ошибся в выборе. Что касается Анни Безант, которую Кришнамурти звал матерью и нежно любил, она была женщиной необыкновенной, истово служившей только одному богу, Истине, готовой на любые жертвы ради избранного дела, будь то социализм или оккультизм. Ее вера в Кришнамурти тоже оказалась оправданной, хоть и совсем не так, как она предполагала.

Он стал учителем мира — и учил не следовать никаким учениям. «Семидесяти семи принадлежит ухо мира» — Кришнамурти был одним из них. Его популярность то прибывала, то убывала, убывала в периоды социальных и научных революций, торжества массовых движений, и снова прибывала, когда — в очередной раз — они оказывались не тем, что обещали: Кришнамурти ведь жил долго и пережил несколько приливов и отливов надежды.

Многих ли он научил? А многих ли научили величайшие учители человечества? И в каких единицах измерения оценивать восприятие их уроков?

Однако сейчас речь, собственно, о другом — о распознанных теософами особых способностях Кришнамурти, которые за отсутствием другого слова можно бы назвать мистическими, если бы Кришнамурти не относился с такой брезгливостью ко всему, что обыкновенно понимается под мистикой.

Индусы считают, что в каждом из нас скрыты беспредельные возможности — как огонь в кремне — и все дело в том, чтобы суметь высечь искру. Одним это удается самым поразительным образом, другим — совсем плохо.

Кришнамурти был от рождения одарен талантом раскрытия в себе духовных способностей, а теософское воспитание бережно пестовало его талант, оттачивало прирожденную восприимчивость к проявлениям духа. И, конечно, подсказывало формы, образы, в которых дух должен проявляться: если совсем еще маленькому Кришнамурти являлся бог Кришна, то позднее он вступил в общение с бодисаттвами и махатмами теософского пантеона. Это общение носило чрезвычайно конкретный и подробный характер: Кришнамурти получал указания к действию, в истинности которых не сомневался ни он, ни — того менее — его окружение. Безоговорочная вера привела Кришнамурти к страшному срыву — махатмы предсказали выздоровление от тяжелой болезни его

горячо любимого брата Нитьянанды (с удивительными деталями описал свое общение с ними Кришнамурти в письме к Анни Безант), но Нитья скончался. Нельзя сказать, что Кришнамурти утратил веру,— он размышлял о том, чтобы принять *санньяс,* отречься от мирских дел...

Он пережил то, что в Индии называют «пробуждением силы кундалини», или «открытием третьего глаза»,— его сознание открылось для потока космической энергии, космического сознания. Он обрел способность покидать свое тело и возвращаться в него: «Мне очень хотелось увидеть мое тело таким, какое оно есть, и я принялся экспериментировать, вначале без успеха, но примерно через неделю получилось. Я стоял рядом с кроватью, на которой лежало мое тело,— страннейшее ощущение. С того дня меня не покидает чувство отрешенности, различия между властителем и владением; тело с его влечениями, желанием вырваться из-под контроля и жить в свое удовольствие ни в малейшей степени не влияет на истинную Душу».

Кришнамурти мог исцелять наложением рук — хоть и крайне редко делал это; бывали случаи, когда люди в его присутствии испытывали воздействие сильнейшего энергетического поля — Господи, до чего не хочется использовать слова, совершенно обессмысленные и стертые, но я не знаю других!

К нему всю жизнь стекались «божьи люди» Индии, включая самых прославленных,— они чувствовали в нем птицу своего пера, они называли его гуру, сколько он ни противился этому. «Ты гуру для гуру»,— сказала ему знаменитая Анандамаи, покоренная мощью его духа.

Но к нему притягивались и люди совершенно противоположного склада — Бернард Шоу, скупо восторгавшийся людьми и миром, говорил, что Кришнамурти «прекраснейший образец того, чем способен стать человек». Понятно, что по обстоятельствам своей биографии Кришнамурти мог говорить с западной интеллигенцией на ее языке, свободно оперируя близкими ей понятиями, но выступая как интерпретатор индийского подхода к проблемам бытия. Впрочем, настало время, когда Кришнамурти открыл и свой собственный путь, неконцептуального, непосредственного восприятия Истины.

Олдос Хаксли, поддерживавший тесный контакт с Кришнамурти, однажды сказал, что все на свете отдал бы за один миг прямого и непосредственного восприятия Истины. Однако, добавил он, «мой разум до такой степени забит приобретенным знанием, что я на это не способен».

Кришнамурти оказался способен освободить свой разум от груза теософских и прочих доктрин — каким образом? Помогло ему преображение сознания, традиционно связываемое в Индии с пробуждением кундалини? Вряд ли. Он сам никогда не мог ответить на этот вопрос.

«Почему рассеянный и не способный к учению ребенок не пошел потом по пути Теософского общества и его ритуалов? Почему не пошел по западному пути? Почему он начал задавать себе бесконечные вопросы? Не знаю».

Первый и главный вопрос для Кришнамурти: так ли это? Истинно или вымышлено?

Первое движение к свободе — осознание несамостоятельности наших восприятий, их постоянной подсказанности и обусловленности прошлым, нашим собственным или внушенным стереотипами воспитания. Отсюда — требование воспринимать мир как он *есть,* памятуя, что, как он есть сию минуту, таким он уже не будет в следующую. Неизбирательная пробужденность разума может помочь человеку освободиться от течения психологического времени и жить моментальной взаимосвязью с людьми, предметами и явлениями как они *есть.* Это — правильное мышление, способное совершить подлинную революцию в человеческом сознании, а следовательно в мире, единственную революцию, заслуживающую этого имени.

На упреки в том, что он стоит в стороне от политической деятельности, Кришнамурти отвечал, что не верит в возможность подлинных социальных трансформаций без революционного преображения духа.

«Не система преображает человека — человек преображает собой системы»,— утверждал Кришнамурти.

Кришнамурти не был философом, и уж никак не был социальным реформатором, проповедником он тоже не был. Был искателем Истины и — в полном

соответствии с индийской традицией — был готов обсуждать свой путь к Истине со всеми, кому это было интересно. Он не выбирал форму своего общения с людьми, она как бы сама пришла к нему: встречался с желающими послушать его и поговорить с ним, всему предпочитая диалог, старался передать окружающим искусство, которым сам владел в совершенстве,— искусство слушать. Просто слушать — не придумывая в это время собственных контраргументов.

Он говорил:

«Психологически никого из нас невозможно посадить в тюрьму — мы и так живем за решетками».

Кришнамурти искал путь к свободе, искал для себя, потому что вообще отрицал возможность передачи опыта, но был готов рассказать и другим о том, как ищет этот путь.

Он умер в Калифорнии, в доме, когда-то приобретенном для него Анни Безант, в комнате, откуда было видно дерево, под которым шестьдесят четыре года назад он испытал преображение. «Плоть, почти что ставшая духом», освободила дух.

ОЛДОС ХАКСЛИ

О КРИШНАМУРТИ

Перевод с английского М. САЛГАНИК

Человек — существо двойственной натуры, живущее одновременно в двух мирах: в том, что был дан ему изначально, и в том, который он сам сотворил; в мире материи, жизни, сознания, и в мире символов. Человек мыслит в разнообразных символических системах — лингвистической, математической, образной, музыкальной, ритуальной. Без них у нас бы не было искусства, не было бы науки, права, философии, не было бы даже начатков цивилизации. Иными словами, мы бы жили как животные.

Следовательно, символы необходимы. Однако они могут быть и пагубны, чему более чем достаточно доказательств и в наше время, и в минувшие эпохи. Возьмем, к примеру, с одной стороны, науку, а с другой — политику и религию. Мысля символами, к которым нас подталкивает система других символов, мы, пусть в малой степени, но все же научились понимать основные силы природы и контролировать их. Мысля символами, к которым нас подталкивает система других символов, мы используем эти силы как орудия массового уничтожения и коллективного самоубийства. В первом случае поясняющие символы были хорошо выбраны, они тщательно анализировались и видоизменялись по мере надобности, чтобы соответствовать вновь обнаруживающимся фактам физической вселенной. Во втором же случае изначально плохо выбранные символы глубокому анализу никогда не подвергались и не видоизменялись, чтобы отвечать вновь проясннившимся фактам человеческой вселенной. Хуже того, эти неудачные символы повсеместно пользуются незаслуженным уважением, будто неким загадочным образом они наделены большей реальностью, чем знаменуемая ими реальность. В религии и в политике не слова рассматриваются как обозначения — довольно неадекватные — предметов и явлений, а, напротив, предметы и явления выступают как иллюстрации слов.

Реалистическое употребление символов всегда относится к тем областям знания, которые представляются нам не слишком важными. В ситуациях же, затрагивающих наши глубинные импульсы, мы настойчиво толкуем символы не просто нереалистически, мы их боготворим, доводя себя до безумия. В результате мы можем хладнокровно и в течение длительного времени совершать деяния, на которые животные способны только в минуты отчаянной ярости, страсти или ужаса. Использование и обоготворение символов делает людей идеалистами, а идеализм позволяет нам трансформировать вспышки животной жадности в грандиозные империалистические замыслы родсов или морганов; животное подавление слабейшего — в сталинизм или испанскую инквизицию, животный территори-

альный императив — в расчетливую истерию национализма. На счастье, человек способен превратить мимолетную ласковость животного в постоянную заботу о ближнем на манер филантропов вроде Элизабет Фрей или Винсента де Поля, а животную заботу о потомстве — в сознательное и последовательное стремление к сотрудничеству, пока что достаточно сильное, чтобы спасать человечество от плодов другого, пагубного идеализма. Сумеет это стремление и дальше уберегать мир от гибели? На этот вопрос нет ответа. Одно можно сказать: атомная бомба в руках идеалистов от национализма резко снизила шансы на победу идеализма сотрудничества и добра.

Самая лучшая поваренная книга не в силах заменить самый скверный обед — это достаточно очевидный факт. Тем не менее самые проницательные философы, самые ученые и изощренные богословы на протяжении веков снова и снова совершали одну и ту же ошибку, отождествляя свои чисто словесные построения с фактами или, что еще хуже, приписывая символам бóльшую реальность, чем та, которую они обозначают. Нельзя сказать, что обожествление слова не вызывало протестов. «Один лишь Дух дает жизнь,— утверждал Св. Павел,— слово убивает». «К чему,— вопрошал Экхардт,— к чему болтать о Боге? Что ни сказать о нем, все будет неистинно». А на другом конце света автор буддистской сутры заявлял: «Будда никогда не проповедовал истину, зная, что всякий должен прозреть ее в себе».

Подобные высказывания выглядели чрезвычайно вредоносными, и респектабельные люди не обращали на них внимания. Странное идолопоклонство, преувеличение роли слов и эмблем продолжалось. Приходили в упадок религии, но прочная привычка формулировать кредо и навязывать веру в догмы сохранилась и у атеистов.

В последнее время логики и семантики проделали большую работу по анализу символов, которыми пользуется человек в мыслительной деятельности. Лингвистика сделалась наукой, даже появилась дисциплина, которой ныне покойный Бенджамин Уорф дал название металингвистики. Все это весьма полезно, но этого недостаточно. Логика и семантика, лингвистика и металингвистика есть чисто интеллектуальные дисциплины. Они изучают пути — верные и неверные, осмысленные и бессмысленные,— которыми слова соотносятся с предметами, процессами и явлениями. Но они не ведут нас к решению более фундаментальной проблемы взаимосвязей человека как психофизического единства с двумя его мирами — фактов и символов.

Во все времена во всех странах находились отдельные люди, заново отыскивавшие ответ на этот вопрос. Систем эти люди не создавали — даже если публично выступали или писали книги,— ибо знали, что любая система взглядов есть постоянный соблазн преувеличенно серьезного отношения к символам, сосредоточения на слове, а не на реальности за ним. Эти люди никогда не ставили перед собой задачи выдать готовое объяснение и указать панацею — они стремились побудить человека определить природу его бед и избавиться от них, понудить человека двигаться к точке, с которой возможно непосредственное восприятие проблемы и ее решения.

В лекциях Кришнамурти и в его записанных беседах читатель обнаружит ясное современное ви́дение фундаментальной проблемы человека, равно как и приглашение разрешить ее единственно возможным способом — самому и для себя.

Коллективные решения, в которые так отчаянно стремятся поверить многие, никогда не бывают адекватными.

«Чтобы понять боль и смятение внутри себя, а значит и в мире, мы должны, прежде всего, добиться ясности в самих себе, а для этого нужно научиться правильно мыслить. Ясность не может быть организованной, единой для многих, потому что ею нельзя друг с другом обменяться. Организованное групповое мышление — это простое повторение чужих мыслей. Ясность не может быть плодом словесных утверждений, ее дает только напряженное осознание себя и правильное мышление. А правильное мышление — не результат простого развития интеллекта и не результат следования чужому образу мыслей, даже самому достойному и благородному. Познание себя приводит к правильному мышлению. Без понимания себя у вас нет основы для мышления, без понимания себя, что бы вы ни думали,— все будет неистинным».

Эту основополагающую тему Кришнамурти развивает шаг за шагом.

«Надеяться надо на человека, а не на общество, не на системы взглядов или организованные религии, а на нас с вами».

Организованные религии с их посредниками, священными писаниями, догмами, иерархиями и обрядами могут предложить только псевдорешение фундаментальной проблемы человека.

«Цитируя Бхагавадгиту, или Библию, или священное писание китайцев, вы попросту повторяете, разве не так? А что повторено, то уже не есть истина. Это уже ложь, ибо истина неповторима».

Ложь можно повторять, развивать, выносить на обсуждение — но не истину. Истина от повторения перестает быть истиной, а потому священные книги не имеют значения. Через самопознание, а не через символы, созданные другими, приближается человек к вечной реальности, на которой и зиждется его бытие. Вера в совершенное соответствие и сверхценность любой системы символов ведет не к освобождению, а обратно в историю, к повторению все тех же старых бед.

«Вера неизбежно разделяет людей. Веруя, вы ищете укрытия в своей вере, и тем отгораживаетесь от тех, кто ищет укрытия в другой вере. Все организованные системы убеждений, веры основаны на разделении, хотя многие из них проповедуют братство».

Человек, успешно разрешивший проблему своей соотнесенности с двумя мирами — фактов и символов, это человек, свободный от убеждений. Для решения повседневных практических задач он использует набор рабочих гипотез, к которым относится с не бóльшим пиететом, чем к другим орудиям или инструментам, применяемым им в работе. Окружающих и их жизнь он воспринимает непосредственно, что дает ему любовь к ним и понимание. Желая уберечься от убеждений, Кришнамурти не читает никаких священных книг — «ни Бхагавадгиты, ни Упанишад». Что касается всех нас, то мы и не пробовали взяться за священные книги, мы читаем наши любимые газеты, журналы и детективы. А это значит, что и к кризису нашего времени мы подходим не с любовью или прозрением, но с «формулировками и взглядами» — довольно пустенькими притом. Вообще-то человек доброй воли должен быть свободен от формулировок, потому что формулировки ведут к «слепому мышлению». Однако привычка к формулировкам сделалась универсальной потребностью, что немудрено: «Наша система просвещения не ставит перед собой задачу, *как* научить человека думать, но внушает ему, *что* именно он должен думать». Нас воспитывают верующими и преданными членами организации — коммунистами, христианами, мусульманами, индусами, буддистами, фрейдистами, соответственно «на вызов, бросаемый жизнью, на вечно новый вызов мы откликаемся со старых, привычных позиций, поэтому наши реакции лишены новизны и свежести, они не адекватны вызову. Реагируя на новую ситуацию как католики или как коммунисты, вы мыслите запрограммированно, не так ли? В таком случае ваша реакция не имеет смысла — разве не те же самые индусы, мусульмане, буддисты и христиане своей разделенностью создали проблему? Нынешняя религия есть вера в Государство, а все прежние строились на вере в Идею».

Оценивая новые проблемы под углом зрения старых убеждений, в которых вы были воспитаны, сути проблем вы никогда не поймете. А потому: «Желая справиться с новой ситуацией, нужно отбросить прежние убеждения, полностью освободиться от фона и взглянуть на проблему новыми глазами».

Иными словами — символ не дóлжно возвышать до уровня догмата, и любая система взглядов должна рассматриваться как условное допущение, не больше. Вера в формулировки и действия, заданные верой, нашу проблему решить не в состоянии. «Творческий, счастливый мир без идеологий может возникнуть только через творческое осмысление себя».

Мир без идеологий должен стать счастливым миром, потому что в нем не будет места мощным силам, воздействующим на образ мыслей человека и понуждающим его совершать нелепые поступки; в нем не будет места и обожествленным догмам, открывающим возможность оправдывать мерзейшие преступления и ловко изображать рациональными чудовищнейшие глупости.

Образование, которое учит нас не *как мыслить,* а *что думать,* предполагает и существование правящего класса пастырей и наставников. Однако «сама идея наставничества и антисоциальна, и антидуховна по сути».

Назидающему его лидерство дает ощущение власти, назидаемые же получают желанное чувство уверенности и спокойствия. Гуру становится чем-то вроде наркотика для них. Тогда позволительно задать вопрос: а сами-то вы что делаете? Разве вы не выступаете в роли нашего гуру? «Конечно нет,— отвечает Кришнамурти,— какой я вам гуру? Я не удовлетворяю ваши желания. Я вам не разъясняю, что делать каждую минуту и каждый день. Я просто обращаю ваше внимание на некоторые вещи, а слушаете вы меня или нет — это ваше дело, не мое. Я от вас ничего не требую, мне не нужно ваше поклонение, ваша льстивость, ваши оскорбления, ваши боги. Я говорю: вот факт, можете принять, можете отринуть. Большинство, скорей всего, отринет, в силу той очевидной причины, что принятие не даст вам удовлетворения».

Что, собственно, предлагает нам Кришнамурти? Что именно мы можем принять, хотя, скорей всего, отринем? Как мы уже убедились, речь не о системе взглядов, не о каталоге догм, не о наборе готовых представлений и идей. И не о лидерстве, не о посредничестве, не о духовном наставничестве, даже не о личном примере. Не о ритуале, не о секте, не о тайном знании или иной форме духоподъемного пустословия.

В таком случае, самодисциплина? Да нет, поскольку, если говорить без обиняков, самодисциплина отнюдь не способ для решения нашей проблемы. Для ее решения разум должен открыться реальности, принять данность внешнего и внутреннего мира без предубеждений и без ограничений. (Бог дарует нам совершенную свободу, следовательно, совершенная свобода есть служение Богу.) Если разум дисциплинировать, он радикально не изменится, он останется все тем же, даже будучи «взнуздан и покорен».

Нет, самодисциплина входит в перечень того, что Кришнамурти *не* предлагает. Тогда, может быть, речь идет о молитве? Опять же нет.

«Молитва может дать ответ, которого вы ждете, но ответ может поступить из вашего

же подсознания, или из огромного хранилища всех ваших желаний. Такой ответ не будет тихим голосом Бога».

Подумайте сами, продолжает Кришнамурти, над тем, что происходит во время молитвы. «От многократного повторения определенных фраз ваш разум успокаивается, не так ли? Или, по крайней мере, его сознательная часть. Вы стоите на коленях, как делают христиане, или сидите в ритуальной позе, как индусы, и повторяете эти фразы. Ваш разум понемногу затихает. В наступившей тишине вы слышите нечто. Возможно, этот ответ на вашу молитву подсказан вашим подсознанием, возможно, он вернулся из вашей памяти. Но, конечно же, это не голос реальности — к тому бесполезно взывать, он не отвечает на молитвы, он сам начинает звучать в вашем разуме. Вы не заманите его в вашу тесную клетку ни молитвами, ни песнопениями, ни подношениями цветов, ни подавлением себя, ни подражанием чужому примеру. Стоит вам научиться утихомиривать свой разум повторением слов, привыкнуть вслушиваться в тишину, не вникая в то, откуда доносится ответ, как вы окажетесь в опасности и молитва превратится в подмену поиска истины. Вы получите, что просили, но истиной это не будет. Если ваше желание сильно, если вы очень просите, то и получите, но в конце концов за это придется расплачиваться».

Перейдем от молитвы к йоге — и убедимся, что и йога относится к числу вещей, которых не предлагает нам Кришнамурти. Ибо йога это сосредоточение, а сосредоточение всегда идет за счет исключения.

«Сосредоточиваясь на избранной мысли, вы воздвигаете вокруг нее защитную стену, за которую изгоняете все прочие мысли». То, что называется медитацией, есть по сути «тренировка на сопротивление, сосредоточение на избранной идее при исключении всего остального». А как избирается идея? «Что побуждает вас утверждать, будто она хороша, истинна, благородна, а прочие — нет? Ясно же, что выбор подсказан соображениями удовольствия, вознаграждения, достижения. Или подсказан воспитанием и традицией. А зачем вообще выбирать? Почему бы не рассмотреть каждую мысль, всякую идею? Раз вас интересует многое, к чему останавливаться на чем-то одном? Почему же не следовать всем интересам? Вместо возведения защитных стен и оказания сопротивления, не лучше ли следовать каждому вновь возникающему интересу, не замыкаясь на одном интересе, на одной идее? В конце концов, вы же слагаемое множества интересов, у вас есть множество масок, которые вы носите сознательно и неосознанно. Чего же ради выбирать одно, отвергать все другое, расходуя всю энергию на борьбу с собой, на сопротивление, на конфликт, на преодоление трения? Если вы станете углубленно вникать в каждую вновь рождающуюся мысль — в каждую, а не только в избранную вами,— тогда ничего не будет исключено. Но это тяжкий труд — углубленно вникать в каждую мысль. Только начнешь заниматься одной, а тут уже другая приходит на ум. Однако, приведя разум в состояние ясности — без принуждения, без поисков оправданий,— вы убедитесь, что пока вас по-настоящему занимает одна мысль, другие не вторгаются. Они появятся, когда вы начнете осуждать, сопоставлять, сближать».

Не судите и не судимы будете. Библейская мудрость применима к нашим отношениям с собой не меньше, чем к нашим отношениям с ближними. Где суждение, там и сравнение, и осуждение тоже, там кончается открытость разума, там невозможна свобода от тирании символов и систем, там нет спасения от прошлого и от окружающего. Нам не помогает, не может помочь интроспекция с заранее обозначенной целью, самоуглубление в рамках одного из традиционных кодексов, набора обожествленных постулатов. Спонтанность жизни выходит за их пределы, «творческая Реальность», как ее зовет Кришнамурти, раскрывает свою имманентность только разуму в состоянии «алертной пассивности» и «неизбирательной пробужденности». Суждения и сравнения неизбежно обрекают нас на дуализм. Одна лишь неизбирательная пробужденность способна привести нас к недуализму, к примирению противоположностей во всеобъемлющем понимании и всеобъемлющей любви. Ama et fac quod vis. Если любишь, можешь поступать как угодно. Но делая что угодно или делая, что совсем не угодно, из послушания традиционной системе убеждений — все равно какой,— любить не научишься никогда. Процесс освобождения должен начинаться с неизбирательного осознания своих желаний и с реакции на систему символов, указывающую вам, чего вы должны желать, а чего нет. По мере того как неизбирательное пробуждение будет проникать во все более глубинные слои разума, включая и подсознание, в вас будут пробуждаться и любовь, и понимание, но совершенно иного порядка. Неизбирательная пробужденность разума в каждую минуту и в любой ситуации — вот единственная действенная медитация. Все прочие формы йоги с их самодисциплиной могут дать либо «слепое мышление», либо самовнушенный экстаз, своего рода псевдосамадхи. Подлинная свобода — это «внутренняя свобода творческой Реальности». Она «не дар, ее нужно открыть в себе и пережить. Это не приобретение, которым можно украсить себя, это состояние бытия — наподобие молчания, где нет становления, есть только полнота. Этому творческому состоянию необязательно выражать себя — оно не талант, требующий внешних проявлений. Вам нет нужды становиться великим худо-

жником, вам вообще нет нужды в аудитории; если вы будете искать ее, вы рискуете утратить внутреннюю Реальность. Это не дар и не плод таланта; это нетленное сокровище отыщется там, где мысль освобождается от похоти, злобы и невежества, где мысль освобождается от мирского и от стремления к личному самоутверждению. Правильное мышление и медитация открывают этот путь».

Неизбирательное самоосознание ведет нас к творческой Реальности, которая стоит за всеми нашими пагубными выдумками, к спокойной мудрости, которая всегда в нас, при всем нашем невежестве, при всем нашем знании — невежестве в другой форме. Знание — дело символов, очень часто именно оно и есть препятствие на пути к мудрости и поминутному самораскрытию. Разум, который обрел покой мудрости, «познает бытие, познает любовь. Любовь не личностна и не внеличностна. Любовь есть любовь, разумом ее не определить ни как нечто исключительное, ни как что-то всеобъемлющее. Любовь сама есть вечность, она реальна, она неизмерима, она превыше всего».

ДЖ. КРИШНАМУРТИ

БЕСЕДЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Перевод с английского М. САЛГАНИК

ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ СВОБОДА

Общение — дело чрезвычайно трудное, даже когда люди очень хорошо друг друга знают. Я могу произнести слово, в которое вы вкладываете не тот смысл, что я. Понимание возникает, когда мы с вами сходимся на одном уровне в одно и то же время. Это происходит только между людьми по-настоящему близкими, скажем, как муж и жена или близкие друзья. Это подлинное общение. При встрече на одном уровне в одно и то же время возникает мгновенное взаимопонимание.

Очень трудно общаться друг с другом свободно, с пользой и с определенной целью. Я употребляю простые слова, отнюдь не специальные термины, потому что не верю, будто наши сложные проблемы легче решать, описывая их специальным образом, поэтому я не буду прибегать к терминологии, почерпнутой из психологии или точных наук. Я, к счастью, не читал ни книг по психологии, ни религиозной литературы. Я хотел бы вложить глубокий смысл в самые простые слова, в слова из нашей повседневной жизни, но это будет трудно сделать, если вы не умеете слушать.

Умение слышать — это искусство. Действительно слышать можно, только отказавшись или хоть временно выбросив из головы все предубеждения, готовые формулировки и повседневный опыт. Легко понимать, когда разум восприимчив, когда ваше внимание действительно сосредоточено, тогда вы действительно слушаете. К сожалению, большинство из нас слушает как бы через отражающий экран. Мы загораживаемся предубеждениями — религиозными или духовными, психологическими или научными,— а нет, то просто повседневными заботами, желаниями, страхами. И пытаемся слышать из-за этих заграждений. В результате мы слышим не то, что говорится, а собственный фон, звуки, которые сами издаем. Отбросить привычное, наши склонности, наше сопротивление, и рас-

слышать не столько сами слова, сколько их смысл, мгновенно понимая его,— чрезвычайно трудно. Мы с вами столкнемся с этой трудностью.

Если во время нашей беседы будет сказано нечто, противоречащее вашему образу мыслей, вашим убеждениям,— выслушайте, не надо сопротивляться. Возможно, вы правы, а я не прав, но, выслушав меня и вместе обдумав сказанное, мы отыщем истину. Никто не может передать вам истину, сообщить ее. Вам придется открывать истину, а чтобы ее открыть, нужно привести свой разум в такое состояние, когда он станет способен на непосредственное восприятие. Сопротивление, защита, уход исключают непосредственность восприятия. Понимание наступает после осознания того, как все *есть*. Знание того, как именно все *есть,* настоящее, реальное, без истолкований, без осуждения или оправдания, конечно же, начало мудрости. Принимаясь истолковывать, раскладывать по полочкам, соответствующим нашему воспитанию, соответствующим нашим предубеждениям, мы упускаем истину. Тогда все превращается в научное исследование. Исследование требуется, когда мы хотим познать некое явление, узнать, что́ именно оно собой представляет,— его нельзя истолковывать в соответствии с вашим настроением. Совершенно таким же образом если мы умеем видеть, наблюдать, слышать и осознавать, что *есть,* как оно *есть,* то наша проблема решена. Вот это мы и пытаемся сделать нашими беседами. Я собираюсь обращать ваше внимание на то, что *есть,* не истолковывая ничего на собственный вкус, но и вы не должны ничего истолковывать в соответствии с вашим воспитанием и знаниями.

Неужели невозможно воспринимать все, как оно *есть?* Это ведь, безусловно, начало понимания. Признать существование, осознать, увидеть, как *есть,*— это конец борений. Если я знаю, что я лгун, если я признал этот факт, то моя борьба завершена. Признание и осознание того, что́ каждый представляет собой, есть само по себе начало мудрости — и начало того понимания, которое высвобождает вас из времени. Внесение категории времени — времени не в хронологическом смысле, а как посредника, как психологический процесс, процесс, происходящий в разуме,— пагубно; это нас запутывает.

Итак, понять, как все *есть,* можно, если мы просто признаем это — без осуждения, без оправдания, без отождествления. Поняв, что вы находитесь в определенном положении, в определенном состоянии, вы уже начинаете процесс освобождения, человек же, не отдающий себе отчета в том, кто он есть и в чем его борения, пытается стать кем-то другим, что быстро превращается в привычку. Давайте помнить, что мы хотим рассмотреть все, как оно *есть,* увидеть и осознать реальность без всякой тенденциозности, без всяких интерпретаций. Для этого требуется необычайно острый ум, необычайно податливое сердце — чтобы осознать, что *есть,* и следовать за этим, поскольку *есть* находится в постоянном движении, в постоянном преображении, а когда разум скован убеждениями, знаниями, он не поспевает за стремительным движением того, что *есть*. Это *есть* отнюдь не статично, оно в беспрестанном движении, в чем вы убедитесь, если будете пристально за этим наблюдать. Следовать за стремительным движением способен только очень быстрый ум и очень податливое сердце, чего не бывает, когда ум прочно связан убеждениями, предрассудками, отождествлением. А истощенный ум и истощенное сердце не в силах легко и стремительно следовать за движениями реальности как она *есть*.

Я думаю, что и без долгих дискуссий, без словесных нагромождений всякому ясно, что хаос, сумбур и страдание существуют как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Что Индия, что весь мир: в Китае, в Америке, в Англии или в Германии — повсюду хаос и умножение страдания. Это не проблема какой-то одной страны, это не в одном каком-то месте происходит — так живет весь мир, живет в мучительнейшем страдании, которое не только индивидуально, но и коллективно. Следовательно, речь идет о всемирной катастрофе, и глупо привязывать ее к одному географическому ареалу, к одному закрашенному сектору на карте мира — так мы не поймем весь смысл всемирного и личного страдания.

Но вот мы отдали себе отчет в том, что существует хаос,— и что мы делаем сегодня? Какова наша реакция?

Везде страдание, его причиняют политика, общество, религия, наша психика

в смятении, мы утратили веру во всех лидеров, и политических, и религиозных, все книги утратили свой смысл. Обращаетесь ли вы к Бхагавадгите, или к Библии, или к новейшим исследованиям по психологии или политологии — вы не ощущаете в них присутствия истины, они превратились просто в слова. Да и вы сами, повторяющие эти слова, вы тоже сбиты с толку и растеряны, вы повторяете слова, а они ничего не значат. Слова и книги потеряли ценность — то есть если вы цитируете Библию, или Маркса, или Бхагавадгиту, поскольку сами вы сбиты с толку и растеряны, то и цитаты становятся ложью, ибо цитируете вы в пропагандистских целях, а пропаганда не может быть истиной. Цитируя, повторяя, вы утрачиваете представление о собственном состоянии. Вы просто прикрываете свое смятение словами авторитетов. Но мы сейчас стараемся не прикрыть смятение чужими словами, а разобраться в нем — как вы реагируете на собственное смятение? Как вы реагируете на умопомрачительный хаос, на сумбур, на неуверенность в существовании? Постарайтесь отдать себе в этом отчет, пока я рассуждаю, следуйте не за моими словами, а за собственными мыслями, которые пробуждаются в вас. По большей части мы приучены быть зрителями, а не участвовать в игре. Мы читаем книги, но мы их не пишем. Стало традицией, национальной и глобальной, занимать зрительские места, следить за футбольным матчем, слушать выступления политиков и ораторов. А мы, посторонние, просто смотрим, и в результате мы утрачиваем способность к творчеству. Давайте же проникаться и участвовать.

Но если вы станете просто наблюдать, будете не более чем зрителями, вы не уловите смысла этой беседы, потому что это отнюдь не лекция, которую вам предстоит в силу привычки внимательно прослушать. Я не собираюсь передавать вам информацию — для этого существуют энциклопедии. Мы собрались здесь для того, чтобы следовать мыслям друг друга, следовать насколько удастся, проникать в них как можно глубже, с тем чтобы начать улавливать собственные чувства и реакции. Постарайтесь уловить свою собственную реакцию на то, о чем мы говорим, на страдание, не вспоминайте, кто об этом что сказал, а вслушайтесь в себя. Вы выказываете безразличие, если вы выигрываете от страдания, от хаоса, если это вам выгодно — в экономическом, социальном, политическом или психологическом плане. Следовательно, вы не против того, чтобы хаос продолжался. Конечно, чем больше в мире бед, чем больше хаоса, тем сильнее наша потребность в безопасности. Вы же это замечали, правда? Когда мир кипит и бурлит, человек психологически — и не только психологически — ищет себе укрытия: то ли в банковском счете, то ли в идеологии; можно обратиться к молитве, можно начать ходить в храм, и все это, на самом деле, попытка убежать от того, что делается на свете. Возникает все больше и больше религиозных сект, по всему миру объявляются все новые и новые «измы». Потому что чем сложнее жизнь, тем острее ваша потребность в лидере, в ком-то, кто выведет вас из сумятицы,— вот вы и обращаетесь к религиозным книгам, или к новейшим вождям, или вы действуете и реагируете в соответствии с той системой, которая кажется вам способной разрешить проблемы, к системе левых воззрений, правых воззрений и т. д. Именно это и происходит в мире.

Как только вы осознали, что живете в хаосе, увидели все, как оно *есть,* вы начинаете стараться выбраться из этого состояния. Хуже всего тут секты, которые предлагают вам системы — экономические, социальные или религиозные — для выхода из положения, потому что значение приобретает система, а не человек. Это относится ко всем системам: религиозным, правым или левым. Важной становится сама система, важной становится философия, идея — не человек; вы готовы во имя идеи, идеологии принести в жертву все человечество; именно это и происходит сейчас в мире. Это не мое истолкование событий: посмотрите сами, и вы убедитесь, что именно так все и происходит. Важна система, а поскольку важна она, то люди, мы с вами, утрачивают значение. Те, в чьих руках система, обретают власть, обретают силу, а потому вами, отдельным человеком, они всегда готовы пожертвовать. И так происходит.

В чем же все-таки причина смятения и несчастий? Откуда взялись эти несчастья, это страдание, не только душевное, но и физическое, этот страх и постоянное ожидание войны, третьей мировой войны, которая может разразиться в любую минуту? В чем причина?

Без сомнения, речь должна идти о коллапсе всех моральных, духовных ценностей и об упоении ценностями чувственными, ценностями вещными, произведенными руками или разумом. Что происходит, когда мы лишаемся всех ценностей, исключая те, что произведены разумом, или руками человека, или изобретенными им машинами? Чем больше значения мы придаем чувственным ценностям, тем сильнее становится смятение. Опять же это не моя теория. Вам незачем искать цитаты в книгах, чтобы удостовериться, что ваши ценности, ваше достояние, ваше экономическое и социальное благосостояние зиждутся на вещах, произведенных человеческими руками и разумом. Итак, мы живем, действуем и привычно считаемся с чувственными ценностями, производимое руками и машинами приобрело большое значение, а когда значительными становятся вещи, тогда самым важным делается отношение к ним, разве не так? И именно это мы наблюдаем в мире, верно?

Таким образом, придавая все больше и больше значения чувственным ценностям, мы усиливаем смятение; осознав, что мы в смятении, мы всячески стараемся уйти от него, ищем выход в религии, в экономике, в обществе, или в амбициях, или во власти, или в поиске истинной реальности. Но реальное близко, его незачем искать, и человек, который ищет истину, никогда ее не найдет. Истина в том, что *есть*,— и в этом ее красота. Но стоит вам уловить это, стоит вам начать искать истину, как вы вступаете в борьбу, а когда человек борется, он понимать не может. Вот почему мы должны затихнуть, наблюдать и сохранять пассивную восприимчивость. Мы видим, что наша жизнь, наши действия постоянно находятся в поле разрушения, в поле скорби; смятение и хаос волной захлестывают нас. Мы не можем выбраться из-под волны, смятение существования не дает нам передышки.

Кажется, что бы мы сейчас ни делали, все ведет к хаосу, все ведет к горю и бедам. Посмотрите на свою жизнь — вы увидите, что постоянно живете на грани горя. Наши труды, наша общественная деятельность, наша политическая деятельность, собрания народов с целью положить конец войне — все ведет к новым войнам. Разрушение следует по пятам за жизнью, что бы мы ни делали — все ведет к смерти. Так происходит на самом деле.

Можно ли положить конец бедам, жить, не барахтаясь постоянно в волнах смятения и горя? На свете бывали великие учителя, скажем, Будда или Иисус Христос, они умели верить и, возможно, умели освободиться от смятения и горя. Но они не могли сделать так, чтобы горя не стало, они не могли положить конец смятению. И смятение продолжается, и горе не исчезло. Если в ужасе от социальной и экономической неразберихи, от хаоса, от страданий вы решите избрать то, что называется религиозной жизнью, и уйдете из мира, вам, может быть, покажется, будто вы следуете путем этих великих учителей, но мир останется все в том же хаосе, ни страданий, ни разрушения не станет меньше, все так же будут мучиться и богатые, и бедные. Значит, наша проблема, ваша и моя, заключается в том, чтобы понять — можем ли мы сразу освободиться от страдания. Если, живя в мире, вы отказываетесь быть частью мира, вы и другим поможете выбраться из хаоса — не в далеком будущем, не завтра, а прямо сейчас. Наша проблема заключается именно в этом. Вероятно, война будет, еще более разрушительная, еще более чудовищная, чем предыдущие. Конечно, мы не в силах предотвратить ее. Но осознать и воспринять непосредственным образом и смятение, и страдание — это ведь в наших силах, не так ли? Мы должны воспринять их, тогда мы сумеем и в другом человеке пробудить такое же понимание истины. Иными словами: можете вы моментально стать свободными? — ибо это единственный способ избавления от страдания. Восприятие не может не быть сиюминутным; если вы себе скажете: завтра сделаю,— то волна смятения вас захлестнет, и вам уже не удастся никогда выбраться из хаоса.

А возможно ли прийти к такому состоянию, когда вы сами моментально воспримете истину и тем самым положите конец смятению? Я утверждаю, что это возможно и что иного пути просто нет. Я говорю, что это можно и нужно сделать, не основываясь на предположениях или на убеждении. Совершить эту поразительную революцию, не революцию по ниспровержению капиталистов и замены их какой-то другой группой, а совершить поразительное преобразование, которое и есть единственная подлинная революция,— вот в чем проблема.

То, что обыкновенно именуется революцией, это просто модификация — или продолжение — политики правых под углом зрения левых политиков. Левая политика, в конечном счете, есть продолжение правой политики в видоизмененной форме. Если в основе политики правого толка лежат чувственные ценности, то политика левого толка продолжает опираться на те же чувственные ценности, отличаясь только степенью их воплощения. А потому подлинная революция способна совершиться, лишь когда вы, отдельный человек, осознаете характер ваших отношений с другими. Можно ли сомневаться в том, что общество и есть вы — в ваших взаимоотношениях с другими: с вашей женой, с ребенком, с начальством, с соседом. Само по себе общество не существует. Общество есть то, что создали мы с вами в наших взаимоотношениях, оно есть результат, проецирование вовне наших внутренних психологических состояний. Следовательно, если вы, если я, если мы не понимаем самих себя, но пытаемся изменить внешний мир, являющийся проекцией нашего внутреннего мира, то занятие это совершенно бессмысленное: нельзя воздействовать на общество или изменить его, пока я не пойму себя во взаимоотношениях с вами. Запутавшись в собственных отношениях, я творю общество, которое представляет собой слепок моей внутренней сумятицы, внешнее ли выражение того, что делается внутри меня. Это — очевидный факт, который мы можем обсудить. Мы можем задуматься над тем, общество ли, внешнее ли выражение создало меня, или же это я создал общество.

Но разве не очевидно, что общество создает то, что есть я в моих взаимоотношениях с окружающими, и без радикального преображения меня самого существенные функции общества тоже невозможно преобразить? Ища некую систему с целью трансформации общества, мы попросту избегаем основного вопроса, ибо трансформировать человека система не может, история доказывает, что человек трансформирует систему. Пока я, в моих взаимоотношениях с вами, не пойму себя, я буду первопричиной хаоса, страдания, гибели, страха, зверства. Самопонимание — это не вопрос времени; я могу сию же минуту понять себя. Если я себе говорю: начну понимать себя с завтрашнего дня,— то действие мое разрушительно, я создаю хаос и беды. В тот самый миг, как я произношу слово «буду», я привожу в действие фактор времени и меня сразу же накрывает волной смятения и разрушения. Понимание сиюминутно, это не дело завтрашнего дня. Завтрашний день — для ленивого ума, для вялых мыслей, для разума незаинтересованного.

Когда ваш интерес пробужден, вы следуете за ним моментально, вы сразу понимаете, и понимание сразу меняет вас. Если вы не переменитесь сейчас, вы не переменитесь никогда, потому что перемена, отложенная на завтра, это видоизменение, не преображение. Преображение должно быть моментальным, революция свершается сию минуту, не завтра.

А когда она свершилась — у вас больше нет проблем, ваше «я» больше не поглощено собой и вы не барахтаетесь в волне разрушения.

НУЖНЫ ЛИ ДУХОВНЫЕ УЧИТЕЛИ?

Вопрос: *Вы говорите, что нет никакой надобности в гуру, но как я могу найти истину без мудрой помощи и руководства, которые мне только гуру и может дать?*

Ответ: Вы спрашиваете, нужен или нет гуру. Можно ли обрести истину через другого? Одни считают, что это возможно, другие утверждают, что нет. Нас сейчас интересует не мое мнение в противовес мнению кого-то еще, а истинный ответ на этот вопрос. У меня на сей счет *мнения* нет, ни за, ни против. Существенно ли для вас пользоваться наставлениями гуру или несущественно — это не вопрос мнения, сколь бы глубоким, ученым, популярным или универсальным оно ни было. Строго говоря, ответ на ваш вопрос должен быть найден.

Начнем вот с чего — почему нам хочется иметь наставника? Мы говорим, что нам трудно разобраться и гуру может нам в этом помочь, он укажет нам истину, облегчит ее понимание, он знает жизнь куда лучше нас, он нам будет как отец, как учитель жизни, у него огромный опыт, а наш опыт ничтожно мал, он передаст нам свой опыт, и так далее и тому подобное. По сути — вы запутались

и бежите к учителю. Будь вам все ясно, вы и близко бы к нему не подошли. Будь вы вполне счастливы и не имей никаких проблем, вам было бы все понятно и ни к какому гуру бы вы не обратились. Надеюсь, вы понимаете всю важность этого момента. Учитель нужен вам тогда, когда вы в растерянности. Он вам нужен, чтобы научить вас правильно жить, помочь вам разобраться в вашем смятении, и вы рассчитываете получить от него то, что вам требуется. Иными словами, вы себе подбираете гуру, который удовлетворил бы ваши потребности, ваш выбор основывается на том удовлетворении, которое он вам должен дать, и ваш выбор зависит от желаемого удовлетворения.

Вы не выберете гуру, который вам скажет: живи своим умом! Вы будете выбирать того, кто отвечает вашему заранее составленному представлению о том, каким должен быть ваш гуру. Следовательно, раз вы выбираете гуру по своему вкусу, ищете вы не истину, а выход из своей растерянности; способ выйти из растерянности вы ошибочно именуете истиной.

Давайте вначале рассмотрим представление о том, будто гуру способен внести ясность в наши смятенные души. А вообще, может кто-нибудь внести ясность в наше смятение — смятение, которое есть результат наших реакций? Мы же сами создали его. Вы что, думаете, это сделал кто-то другой — создал страдание, борения на всех уровнях нашего существования, как вне нас, так и внутри? Это же результат того, что мы сами не знаем себя. Мы не понимаем себя, свои конфликты, свои реакции, свои беды — вот и отправляемся к гуру в надежде, что он поможет нам освободиться от смятения. Понять себя мы можем только во взаимоотношениях с современностью, именно эти взаимоотношения есть наш гуру — никто иной вне нас. Если я не понимаю характера этих взаимоотношений, то что бы гуру ни сказал мне — все бесполезно, потому что если я сам не понимаю своего отношения к собственности, к людям, к идеям, то кто поможет мне разрешить внутренние конфликты? Чтобы разрешить их, я должен понять себя, то есть осознать себя во взаимосвязях. Гуру не нужен для осознания себя. Если я себя не знаю, что толку мне в гуру? Как политического лидера избирают смятенные, запутавшиеся люди, чей выбор отражает их смятение, так и я выбираю себе гуру. Я выбираю его от растерянности, поэтому и он растерян — как тот политический лидер.

Важно не кто тут прав — я ли прав, или правы те, кто говорит, что гуру необходим; важно понять, почему вы нуждаетесь в гуру. Гуру существуют для того, чтобы их эксплуатировали в различных целях, но дело не в этом. Вы получаете удовлетворение от того, что вам кто-то указывает на достигнутый вами прогресс, но ключ в том, чтобы понять, что заставляет вас обратиться к гуру. Ведь даже если у вас есть гуру, вам же все равно придется самому проделать всю работу — даже если другой и укажет вам направление. Страшась работы, вы взваливаете ответственность на гуру. Если вы обрели хоть крупицу самопознания — гуру вам не нужен. Познать себя вы не можете ни через гуру, ни через книги или священные тексты — вам требуется понять свои взаимоотношения с миром. Быть — это значит находиться во взаимоотношениях, не понимать характера взаимоотношений — значит жить в несчастиях и бедах. Непонимание своего отношения к собственности есть одна из причин смятения. Если вы не понимаете, как правильно относиться к собственности, то неизбежен конфликт, а всякий новый конфликт усиливает конфликтность общества. Если вы сами не понимаете ваших взаимоотношений с женой, с ребенком, каким образом может другой разрешить конфликт, возникающий на этой почве? Это относится и к идеям, к убеждениям и прочему. Запутавшись в своих взаимоотношениях с людьми, с вещами, с идеями, вы отправляетесь на поиски гуру. Если вам встретится настоящий гуру, он вам посоветует понять себя. Вы сами и есть источник всех недоразумений и смятения, а разобраться в них вы способны, только поняв себя во взаимоотношениях с окружающим.

Нельзя найти истину через другого. Как это можно сделать? Истина не есть нечто статичное, у нее нет определенного местопребывания, она не может быть целью, концом пути. Напротив, истина жива, динамична, полнокровна. Как может она быть концом пути? Если истина становится чем-то определенным, то она перестает быть истиной, тогда это просто точка зрения. Истина — это неизвестное, и разум, который ищет истину, не найдет ее никогда, потому что

разум состоит из известного, он результат прошлого, плод времени — в чем вы сами можете убедиться. Разум — инструмент знаемого, а потому не может найти неизвестное, он способен лишь двигаться от одного известного к другому. Когда разум ищет истину, то это истина, вычитанная из книг, и такую «истину» разум формулирует сам, потому что поиск ведется в рамках известного, и разум движется от одного известного к другому, более удовлетворительному. *Ища* истину, разум на самом деле не ее ищет, а наиболее удовлетворительную из собственных формулировок. В конце концов, идеал тоже есть порождение разума, это вымышленность, нереальность. Реально то, что *есть,* а не обратное этому. Но разум в поисках реальности, в поисках Бога, ищет уже известное ему. Когда вы думаете о Боге, то Бог ваш есть проекция ваших собственных мыслей, плод общественных воздействий. Вы способны думать только об известном, о неизвестном вы не можете думать, вы не можете сосредоточиться на истине. Когда вам кажется, будто вы думаете о неизвестном, то это просто проецирование уже известного. Ни о Боге, ни об истине думать невозможно — что вы думаете, не является истиной. Истину невозможно отыскать — она сама к вам приходит. Вам доступно только известное, а истина вам может открыться, лишь когда известное и результаты известного перестают терзать разум. Истина в каждом листике, в каждой слезинке, она познается в каждый отдельный миг. К этому вас никто не в состоянии подвести, а если кто-то подводит, то это не истина, это что-то известное.

Истина может открыться только разуму, освобожденному от известного. Она открывается только в том состоянии, когда известное отсутствует и не воздействует на вас. Разум загроможден известным и остатками известного, он может быть готов к принятию неизвестного, лишь когда осознает себя, свой прошлый опыт, как сознательный, так и бессознательный, свои отклики, реакции и структуру. Полное самопознание есть конец известному — тут разум полностью освобождается от него. И тут истина сама открывается вам.

Истина не принадлежит ни вам, ни мне. Ей нельзя поклоняться. Едва вы ее познали, она становится нереальной. Символ нереален, образ нереален, но с пониманием своего «я» и с прекращением своего «я», наступает вечность.

О НАЦИОНАЛИЗМЕ

Вопрос: *Что наступает после исчезновения национализма?*

Ответ: Знание, конечно. Но я боюсь, что скрытый смысл вопроса был другим. Смысл вопроса был вот в чем — чем можно заменить национализм? Любая замена есть акт, который не дает понимания. Если я верю в одного бога, а потом перехожу в другую веру, если я оставляю одну политическую партию и вступаю в другую, то поиск замен свидетельствует о состоянии непонимания.

Как можно освободиться от национализма? Только пониманием всех его возможных последствий, рассмотрением его, осознанием его значения для наших действий во внешнем и внутреннем мире. Во внешнем мире национализм приводит к разделению народов, к их классификации, к войнам и разрушению, что очевидно для всякого наблюдательного человека. Внутренне, психологически, это отождествление себя с чем-то более великим, со страной, с идеей, что, без сомнения, является одной из форм расширения своего «я». Живу ли я в заброшенной деревеньке или в большом городе — я все равно никто, но отождествляя себя с чем-то более значительным, скажем со страной, называя себя, скажем, индусом, я начинаю льстить своему самолюбию, я получаю ощущение престижности, достойности, даже некоей защищенности. Но отождествление себя с более крупной общностью, которое составляет психологическую потребность для людей, нуждающихся в самоутверждении, также создает конфликты и напряженность между людьми и народами. Таким образом, национализм плодит не только внешние конфликты, но и внутренне приводит к разочарованию и безысходности; когда все это осознается, когда осознается весь механизм националистических убеждений, национализм просто исчезает. Понимание национализма идет через его знание, через внимательное наблюдение и исследование процесса становления национализма, патриотизма. Углубленное рассмотрение дает знание, после чего

уже нет нужды искать какие-то замены национализму. Скажем, если вы решили заменить национализм религией, то религия сразу же делается очередным способом самоутверждения за счет отождествления себя с более крупной общностью — новым источником психологического смятения, новой опорой на убеждения. Это похоже на действия человека, который заменяет курение чуинг-гамом или жеванием бетеля и чем-то еще, в то время как дело в том, чтобы по-настоящему понять проблему курения — привычку, ощущения, психологическую зависимость и все прочее,— после чего вопрос курения отпадает сам по себе. Для понимания необходимо развитие умственных способностей, разум должен работать, а на заменах он не работает. Замены — это своеобразный самоподкуп, чтобы соблазнить вас то не делать, а вот это делать. Национализм с его ядовитостью, приносящий миру беды и войны, перестает действовать лишь там, где действует разум; но разум развивается не оттого, что человек сдает экзамены или читает книги. Умственные способности начинают действовать, когда мы научаемся понимать проблемы по мере их возникновения. Умственные способности начинают действовать, когда понимание проблемы идет на ее различных уровнях существования — не только во внешнем мире, но и внутри человека, в ее воздействии на психологию человека. Там, где есть разум, там нет нужды в замене одной подпорки на другую; там, где есть разум, там нет места национализму или патриотизму, ибо это варианты глупости.

О ЗНАНИИ

Вопрос: *Из беседы с вами я определенно уяснил себе, что познание и знание — это помехи. Помехи чему?*

Ответ: Ясно, что обучение и знание мешают пониманию нового, вневременного, вечного. Совершенствование технических навыков не развивает творческое начало в человеке. Вы можете замечательно писать маслом, обладать всеми техническими приемами, но при этом не быть подлинным художником. Вы можете уметь писать стихи, совершенно безупречные по форме, но при этом не быть поэтом. Быть поэтом значит быть способным воспринимать новое, обладать достаточной восприимчивостью, чтобы откликаться на новое, на свежее. Для большинства из нас знание стало фетишем, и мы думаем, будто *зная,* можно творить. Но разум, загроможденный фактами, знанием, скованный разум — разве он способен воспринимать новое, неожиданное, спонтанное? Если ваш разум заполнен известным, где найдется в нем место для восприятия неизвестного? Знание, конечно же, всегда состоит из известного,. а мы при помощи известного стараемся понять неизвестное, то, чему нет меры.

Возьмем для примера самое простое, знакомое большинству из нас: верующий человек — что бы это сегодня ни означало — пытается представить себе Бога или размышляет над тем, что собой представляет Бог. Люди прочитали бесчисленное множество книг, они читали о религиозном опыте разных святых, читали об Учителях, о махатмах и прочих — и вот они стараются представить себе, стараются прочувствовать чужой опыт, то есть при помощи известного приблизиться к неизвестному. Можете вы это сделать? Вы можете представить себе непознаваемое? Вы же способны думать только об известном. Однако в современном мире наблюдается страннейшее извращение: нам кажется, будто мы все поймем, если у нас будет побольше информации, больше книг, больше фактов, больше печатной продукции.

Для осознания нового, которое не есть простое проецирование уже известного, необходимо вычленить процесс накопления знания, поняв его суть. Почему разум всегда цепляется за уже познанное, за известное? Не потому ли, что разум всегда стремится к уверенности, к равновесности? Он по самой своей природе связан со знаемым, со временем — так способен ли разум, базирующийся на прошлом, на факторе времени, воспринять вневременное? Он способен концептуально представить, сформулировать и нарисовать незнаемое, но все это будет абсурдом. Незнаемое может раскрыться, только когда знаемое понято, усвоено и отложено в сторону. Это чрезвычайно трудно, поскольку любое новое восприятие разум немедленно переводит в понятия уже известного и низводит его

к прошлому. Не знаю, замечали ли вы сами, как быстро новые восприятия переводятся на язык привычного, получают наименование, раскладываются по полочкам и фиксируются. Таким образом, движение известного есть знание, и ясно, что это знание, процесс его приобретения по-настоящему — помеха.

Представьте себе, что вы в жизни не прочли ни одной книги, касающейся религии или психологии, но вам нужно найти смысл жизни, ее значение. Как вы будете действовать? Представьте себе, что нет на свете никаких Учителей, никаких религиозных организаций, не было ни Будды, ни Христа и вам предстоит начать с самого начала. Как вы будете действовать? Прежде всего, вам придется понять процесс собственного мышления, верно? — чтобы не проецировать себя и свои мысли на будущее, творя себе Бога по своему вкусу, что было бы совсем уж по-детски. Значит, сначала нужно понять, как вы мыслите. Это ведь единственный способ открыть нечто новое, не так ли?

Когда мы говорим, что обучение, знание составляют препятствие или помеху, мы не включаем сюда технические сведения — как водить автомобиль, как управляться с техникой — и те навыки, которые эти сведения помогают нам приобрести.

Имеется в виду совсем другое — ощущение счастья творчества, которое не даст никакое образование. Творчество, в подлинном смысле этого слова, означает ежеминутное освобождение от прошлого, ибо прошлое постоянно отбрасывает тень на настоящее. Потребность опереться на информацию, на чужой опыт, на сказанное другими — сколь бы великими они ни были — и приблизить свои поступки к тем идеалам — это все и есть знание, не так ли? Но к открытию нового нужно идти самостоятельно, а выходя в путь, отказаться от всего накопленного, особенно от накопленного знания, потому что очень легко приобретать опыт на основе знаний и убеждений, однако этот опыт есть результат проецирования своего же «я», следовательно, он нереален, фальшив. Если вы хотите узнать, что́ такое новое, то вам незачем нести на себе бремя старого, в особенности знания — знания, добытого другими, пусть даже и великими. Вам нужно их знание для уверенности в собственной безопасности, вам нужна уверенность в том, что вы следуете примеру Будды, Иисуса или Икса. Но не может же быть искателем истины тот, кто постоянно ищет защиты в знании!

К истине не проложены пути. Вам придется плыть по неизведанному морю — что не удручает и авантюрой тоже не отдает. Но когда вы ищете новое, когда вы экспериментируете, ваш разум должен быть спокоен, верно? Если ваш разум загромождён, плотно набит фактами, знаниями, то они не дают ему пробиться к новому. Трудность еще и в том, что в глазах многих из нас разум приобрел такое значение, такую самодовлеющую важность, что мы позволяем ему вмешиваться во все непривычное, во все, существующее одновременно с привычным. Так что знание действительно мешает тому, кто стремится к поиску, тому, кто пытается понять смысл вневременного.

ПРОБЛЕМА СТРАХА

Если вы способны вполне освободиться от страха, то Небеса на вашей стороне.

Надо серьезно относиться к тому, что мы намерены сделать в жизни, полной сложностей, бед, смятения, крови и страдания. Живет лишь тот, кто воспринимает жизнь всерьез, другие же просто растранжиривают срок своего существования. Сегодня утром мы собирались рассмотреть во всей полноте сложную проблему страха. Человеческий разум долгими столетиями сживался со страхом, пытался уйти от него, рационально его проанализировать, выбросить его из памяти или отождествить себя с чем-то свободным от страха — мы перепробовали все. Задаешься вопросом, возможно ли совершенное и полное освобождение от страха — сначала психологически, а затем и физиологически? Вот это давайте и обсудим, чтобы каждый понял для себя, существует ли такая возможность.

Нам надо начать с вопроса об энергии, с ее свойств, существующих типов энергии, и с вопроса о желании — достаточно ли у нас энергии, чтобы желать глубоко исследовать проблему. Нам известны и энергия, и трение мысли — они уже проделали чудеса в области техники. Однако в области психологии нам как

будто недостает этой мощной энергии, напора, интереса для глубинного рассмотрения, скажем, проблемы страха.

Нам предстоит понять, что мысль несет собственный энергетический заряд и эта фрагментарная энергия обнаруживает себя через трение, через конфликт. Это все, что нам известно: у мысли есть энергия, она проявляется через противоречия, через противостояние дуализму, через трение. Мы наблюдаем это в мире реальностей, в мире, с которым мы повседневно соприкасаемся и психологически, и интеллектуально и т. д.

Надеюсь, мы сможем установить общение друг с другом. Общение подразумевает не только понимание на словесном уровне, но и соучастие в сказанном, иначе это не общение. Кроме словесной коммуникации, существует внесловесное общение. Однако установить внесловесное общение можно, только по-настоящему поняв, возможно ли общение на уровне слова, одинаково ли мы понимаем смысл, вкладываемый в слова, близки ли наши интересы и уровни их интенсивности, чтобы шаг за шагом продвигаться вместе. Это требует энергии, соответственно, необходимо понимать энергию мысли и роль трения, ибо они составляют наш мыслительный процесс. Понаблюдав за собой, вы увидите, что знаемое нами, наш опыт, создает трение для мысли в ее устремлении, в ее движении к цели — идет противоборство, борьба, состязание. И все это вовлечено в энергию мысли.

Теперь мы можем спросить себя, существует ли энергия другого рода, не механическая, не традиционная, а не знающая препятствий, следовательно, свободная от трения, через которое энергия проявляет себя. В поиске ответа на вопрос, существует ли энергия другого типа — не вымышленная, не фантастическая, не потусторонняя,— нам придется рассмотреть проблему желания.

Желание есть отсутствие чего-то, верно? Это одна его сторона. Другая сторона — влечение сексуальное, или психологическое, или так называемое социальное влечение, социальные амбиции. С чего же начинается желание? Желание — это отсутствие чего-то, нехватка чего-то, потребность в чем-то, которая порождает влечение, тягу — воображаемую или подлинную: например, голод. Тут мы приближаемся к тому, как возникает желание. Чтобы приблизиться к проблеме страха, необходимо понять природу желания — не отказа от желаний, но самого желания. Ибо желание может быть причиной страха. Религиозные люди отказываются от желаний, они противятся желаниям, они отождествляют свои желания со своими богами, спасителями, Иисусами и так далее. Однако желание все равно остается желанием. А без полного исследования природы желания, без прозрения его сути у разума нет возможности освободиться от страха.

Нам нужна энергия другого рода, не привычная энергия мысли, ибо с ее помощью мы не разрешили ни одной из наших проблем, напротив, мы их еще сильнее запутали, сделав неразрешимыми. Значит, нам требуется другая энергия, не важно, связанная ли с мыслью или независимая от нее, в поисках этой энергии мы и должны обратиться к желанию. Вы хорошо меня поняли? Не к чьему-то желанию, а к вашему собственному. Так как же возникает желание? Процесс можно проследить в себе: сначала восприятие, потом ощущение, контакт — и желание. Увидел нечто прекрасное, контакт — визуальный и физический, сенсорный,— ощущение, а потом чувство отсутствия. И желание. Вот и все, это ясно.

Почему разум и весь сенсорный аппарат испытывают чувство некоей нехватки, отсутствия чего-то? Откуда это чувство, это желание что-то получить? Я надеюсь, вы с достаточным вниманием слушаете, потому что это же касается вашей жизни. Вы не просто выслушиваете слова, идеи или формулировки, на самом деле вы участвуете в процессе исследования, мы с вами вместе движемся в одном направлении, с одной скоростью, с одной интенсивностью, на одном и том же уровне. Иначе нам не сойтись. Это и часть любви тоже. Любовь есть общение на одном уровне, в одно и то же время, с одинаковой интенсивностью.

Так откуда все же возникает чувство, что вам чего-то недостает и вы это желаете? Не знаю, задавались ли вы этим вопросом вообще? Почему человеческий разум, почему люди постоянно живут желанием, к чему-то стремятся — помимо технических знаний или изучения иностранных языков и прочего,—

стремятся восполнить нехватку чего-то, что-то достичь? Это все движения желания, которые есть и движения мысли во времени, измеряемые временем.

Мы спрашиваем: почему мы живем в постоянном желании? Почему не в ощущении постоянной самодостаточности? Откуда это влечение к чему-то, долженствующему заполнить пустоту или компенсировать ее? Не в том ли причина, что многие из нас живут с ощущением пустоты, одиночества, с ощущением вакуума? Человек нуждается в пище, одежде, жилье, и его физиологические потребности должны удовлетворяться. Человек лишается этого в результате политических, религиозных, экономических противоречий, националистических противоречий, проклятия современного мира, изобретенного Западом; на Востоке этот дух национализма не существовал, но в последнее время и там появилась эта отрава. Где люди разделены по национальному, религиозному, догматическому признаку, там человек едва ли может чувствовать себя в безопасности. Диктаторские режимы стараются обеспечить население своих стран хотя бы хлебом насущным, но им это плохо удается. Все это вещи общеизвестные, на которых не стоит останавливаться. Так чего же нам все-таки недостает? Знаний? Знание как сумма опыта — психологического, научного и прочего — соотнесено с прошлым. Знание есть прошлое. Мы этого хотим? Этого нам недостает? Для того ли нас обучают, чтобы мы постарались собрать все возможное знание и умело действовали в технологическом мире? Или, может быть, нам недостает чего-то внутри? Если так, то вы будете стараться заполнить внутреннюю пустоту суммой опыта, накопленным знанием. Значит, вы будете стараться заполнить пустоту, вакуум, беспредельное одиночество творениями человеческой мысли. То есть желание возникает из потребности заполнить пустоту. Даже если вы стремитесь к озарению, к тому, что индусы называют самореализацией,— это тоже своего рода желание. Приобретая большие познания, даже озарения, можно стереть, подавить или заглушить ощущение собственного невежества. Это отнюдь не процесс исследования того, *что есть,* а процесс приобретения, не настоящее рассмотрение того, *что есть,* а приглашение того, что могло бы быть, надежды на больший опыт, большее знание. Итак, *что есть* мы неизменно избегаем. Между тем это порождение мысли. Мое одиночество, пустота, тоска, боль, страдание, тревога, страх — все это *есть.* Но мысль не в состоянии принять то, *что есть,* она шарахается от реальности.

Понимание того, что есть желание — восприятие, видение, контакт, ощущение — и тяга к тому, чего у вас нет, включают в себя фактор времени. У меня нет, но будет. А когда у меня есть, то это соизмеряется с тем, что есть у вас. Итак, желание — это движение мысли во времени как мере. Прошу вас, не спешите соглашаться со мной. Я не заинтересован в пропаганде моих идей. Мне безразлично, здесь вы или нет, слушаете вы меня или нет. Но поскольку это касается вашей жизни, постольку чрезвычайно важно, чтобы мы серьезно относились к этому вопросу,— мир распадается! Вы должны понять проблему желания, энергии и поиска немеханической энергии. А для этого надо понять, что такое страх. Порождают ли желания страх? Давайте вместе рассмотрим этот вопрос — что такое страх? Вы можете возразить: оставим в стороне энергию, желания, лучше помогите мне избавиться от моих страхов. Но это очень глупо — ведь все это взаимосвязано, и попытка анализа вне взаимосвязи ничего не даст.

Итак — что такое страх, как он возникает? Может страх существовать на одном уровне, не затрагивая другой? Страх существует на уровне сознания или подсознания? Или он тотален? Откуда берется страх? Почему вообще он живет в человеке? А ведь люди поколение за поколением терпели страх, они сжились с ним. Страх извращает наши поступки, искажает ясность восприятий, объективное и действенное мышление, которое нам так необходимо,— логичное, нормальное, здоровое мышление. Страх омрачает нашу жизнь. Не знаю, замечали ли вы, что от малейшего страха все наши чувства как бы съеживаются. А большинство из нас живет — и соотносится с окружающим — в этом своеобразном напуганном состоянии.

Вопрос в том, способны ли наш разум и наше естество быть вполне свободными от страха? Образование, общество, правительства, религии поощряют наши страхи, религии просто основываются на страхе. Страх воспитывается и на преклонении перед авторитетами — перед авторитетом книги, перед авторите-

том священнослужителя, перед авторитетом тех, кто причастен к знанию и т. д. В нас старательно взращивается страх. А теперь мы вдруг задались вопросом о том, возможно ли полностью освободиться от него, так что нам придется разобраться в том, что страх собой представляет. Чувство недостаточности — то есть влечение, желание? Неуверенность в завтрашнем дне? Или боль и страдание от дня вчерашнего? Или наша с вами разделенность, отсутствие взаимосвязей? Или центр, который мысль создала в качестве моего «я» — «я» по облику, имени, свойствам,— боится утратить это «я»? Или это опасение боли — физиологической и психологической? Может быть, воспоминание об удовольствиях и счастье прошлого и страх потерять все это? Существует ли некий центр, генерирующий все страхи,— наподобие дерева, многочисленные ветви которого растут из одного ствола и корня, так что от подрезания веток суть не меняется? Искать нужно корень страха, ибо если вы способны вполне освободиться от страха, то Небеса на вашей стороне.

Где же корень страха? Во времени? Пожалуйста, не забывайте, мы с вами занимаемся исследованием, мы задаем вопросы, мы не теоретизируем, не ищем заключения, потому что заключать тут нечего. В тот миг, как увидите корень страха, действительно увидите, собственными глазами, чувствами, сердцем, умом — просто увидите,— вы поймете, как вам быть, но это при условии серьезного отношения к делу. Мы задаем вопрос: во времени ли корень страха? — имея в виду не только хронологическое время, измеряемое часами, делимое на вчера, сегодня, завтра, но и время психологическое, воспоминания о вчерашнем, о вчерашних радостях, о вчерашней боли, горестях, тревоге. Мы спрашиваем: время ли есть корень страха? Время успеть, время стать, время достичь, время познать Бога или как бы вы это ни называли. Психологически что такое время? Существует ли вообще — пожалуйста, слушайте — психологическое время? Или мы его придумали? Психологически завтрашний день существует? Если заявить, что психологически нет такого времени, как завтрашний день, то для вас это будет большим шоком, правда? Потому что вы ведь говорите: завтра я буду счастлив, завтра я чего-то достигну, завтра я стану главой фирмы, завтра у меня наступит прозрение, завтра гуру обещает мне свершение и я его добьюсь. Завтрашний день невероятно важен для нас. А психологически он существует, этот завтрашний день? На основе всего нашего традиционного образования мы признаем — завтрашний день существует. Ну, а если заглянуть в себя, исследовать себя психологически — существует завтрашний день? Или это мысль, будучи сама фрагментарной, спроецировала завтрашний день? Давайте сосредоточимся на этом, это чрезвычайно важно понять.

Человек испытывает сильное физическое страдание, его терзает мучительная боль. Воспоминание о боли фиксируется, мозг запоминает болевой опыт, боль существует в виде воспоминания. Мысль говорит: надеюсь больше никогда такое не испытать — это завтрашний день. Человек вчера испытал огромное удовольствие, половое или любого иного рода, и мысль говорит: завтра это обязательно должно повториться! Человек пережил нечто потрясающее — по крайней мере, так ему кажется,— переживание стало воспоминанием, вы отлично это понимаете, но пытаетесь продлить его на завтра. То есть мысль есть движение во времени. Так время есть корень страха? Время как сравнение с вами: «я» важнее вас, «я» собираюсь чего-то достичь, чем-то стать, от чего-то избавиться. Итак, мысль как время, мысль как становление есть корень страха. Мы уже говорили, время необходимо для изучения иностранного языка, оно необходимо для овладения техническими навыками. Нам кажется, будто подобный процесс происходит и в нашем психологическом существовании. Требуется мне несколько недель на изучение чужого языка — вот и я говорю, что мне требуется время, чтобы понять себя, понять, кто я такой и к чему мне нужно стремиться. Мы с вами ставим под вопрос все это. Мы спрашиваем, существует ли время психологически, действительно или оно есть изобретение мысли и потому порождает страх? Вот в чем наша проблема, и мы сознательно разделили сознание на сознательное и потаенное. Еще одно разделение при помощи мысли. Но мы говорим: я способен отделаться от осознанных страхов, но едва ли возможно избавиться от страхов бессознательных, корни которых уходят глубоко в подсознание. Мы утверждаем, что очень трудно освободиться от глубоко укоренившихся подсознательных

страхов — расовых, фамильных, племенных. Сами разделили сознание на два уровня и теперь спрашиваем — а как может человек погрузиться в свое подсознание? Сами разделили, сами и спрашиваем.

Говорят, это можно сделать через подробный анализ потаенных страхов, через анализ сновидений. Это сейчас модно. Мы не даем себе труда исследовать сам процесс анализа, ни самоанализа, ни профессионального обследования. Анализ предполагает наличие анализирующего и анализируемого. Кто же анализирует? Он отличен от анализируемого или анализирующий и есть анализируемый? В этом случае анализ бесполезен. Вам это ясно? Если анализирующий и есть анализируемый, то речь может идти только о наблюдении, не об анализе. Но анализирующий отличен от анализируемого — а вы все признаете это возможным, все профессионалы, все занимающиеся самосовершенствованием,— все исходят из наличия разделения между анализирующим и анализируемым. Однако анализирующий есть фрагмент мысли, создавшей и предмет анализа. Вы понимаете меня? Следовательно, анализ предполагает разделение, а разделение предполагает время, и вы все будете анализировать до самой смерти.

Итак, в тех случаях, когда анализ ложен — или неверен, нерезультативен,— вам остается только наблюдение. Теперь нам предстоит понять, что это такое — наблюдать. Вы следуете за ходом моей мысли? С самого начала мы хотели выяснить, бывает ли энергия другого типа. Простите, но к этому необходимо вернуться, это должно быть у вас на уме — на уме, не в памяти, иначе вам было бы достаточно прочитать книгу и заучить содержание, но это ничего не дает. Итак, нас занимает вопрос об энергии, и мы вникаем в него. Нам известна энергия мысли, механическая энергия, процесс трения, ибо мысль по своей природе фрагментарна, она не бывает цельной. А мы задались вопросом о возможности существования совершенно иной энергии, и мы исследуем эту возможность. При этом мы рассматриваем и весь процесс движения желания. Желание есть состояние недостаточности и влечения к недостающему. И желание есть движение мысли как времени и меры: у меня уже есть это, теперь должно быть еще больше. Мы уже говорили, что корнем страха может быть время как движение. Мы убедились в том, что это именно так и есть. В таком случае, возможно ли, чтобы разум полностью освободился от страха? Мозг, накопивший в себе опыт, способен эффективно функционировать только в условиях безопасности, однако ощущение безопасности для мозга может исходить и из неврозов, из убеждений, скажем, великонациональных убеждений,— собственно, все убеждения невротичны, поскольку они нереальны. Ощущение безопасности позволяет мозгу функционировать эффективно, здраво, рационально, чувство же страха противоположно этому ощущению. Мы спрашивали себя, нужен ли анализ для освобождения от страха. Мы убедились в том, что анализ не решает проблему страха. Вникнув в процесс анализа, вы перестаете анализировать. В этом случае остается одно — наблюдение, видение. Раз анализ невозможен, что остается делать? Только смотреть. Очень важно научиться смотреть.

Что это значит — смотреть? Что значит смотреть на собственные желания как на движение во времени и мере? Как вы их видите? Как идею, как формулировку, потому что оратор только что говорил о них? Вы обобщили услышанное в идею и теперь рассматриваете идею — отворачиваясь от страха. Уж если вы что-то наблюдаете, то очень важно отдавать себе отчет в том, как вы это делаете.

Вы можете наблюдать за собственными страхами без попыток ускользнуть, подавить, дать рациональное истолкование, наклеить ярлык? Иными словами — вы можете прямо посмотреть на страх, на ваш страх остаться завтра без работы, быть нелюбимым, на десяток прочих страхов, не наклеивая на них ярлыки, вообще обходясь без наблюдателя, ибо наблюдатель есть наблюдаемое? Не знаю, понимаете ли вы меня. Наблюдатель сам *есть* страх, а не просто некто, страх наблюдающий.

Вы можете наблюдать без наблюдателя? Наблюдатель — это прошлое. Где тогда страх? Вы понимаете? Мы обладаем энергией для наблюдения извне. Я смотрю на вас и говорю: вот христианин, индус, буддист — или еще кто-то,— я смотрю на вас и говорю: вы мне не нравитесь или, напротив, вы мне нравитесь.

Если вы разделяете мои убеждения вы мой друг, если мои убеждения расходятся с вашими, вы мой враг. Так можете ли вы посмотреть на другого без этих движений мысли, ни о чем не вспоминая, ни на что не рассчитывая и т. д.— просто смотреть? Смотреть на страх, который есть корень времени. Где тогда страх? Вы понимаете? Вы поймете, только если сами проверите, но всерьез, не просто играя.

Существует и другая форма желания, которая порождает не только страх, но и удовольствие. Желание — одна из форм удовольствия. Удовольствие отличается от радости. Удовольствия можно культивировать, чем и занимается современный мир,— и сексуальные, и прочие, культурного свойства. Удовольствия, всевозможные удовольствия и погоня за удовольствиями. Сама погоня за удовольствиями несет с собой страхи, ибо это две стороны медали. Гоняться за радостью нельзя; если она случается, ее немедленно подхватывает мысль, запоминает и потом старается воскресить прошлогоднюю или вчерашнюю радость — но уже в виде удовольствия. Есть еще наслаждение — зрелище прекрасного заката, красивого дерева, озера в густой тени, но опять-таки, наслаждение регистрируется мозгом в виде воспоминания, а воскрешение этого воспоминания доставляет удовольствие.

Существует страх, есть удовольствие, радость. А возможно ли — и это проблема куда более сложная,— возможно ли наблюдать закат, красоту человека, прелесть старого дерева в уединенном поле, просто наблюдать, без вмешательства мозга, который превратит наслаждение и красоту в воспоминание и попытается сохранить их? Увидеть красоту — и все, и никакого продолжения.

Есть еще один принцип человеческого существования. Кроме страха и удовольствия, есть еще принцип страдания. Можно положить ему конец? Мы желаем избавления от физического страдания, мы для этого принимаем лекарства, проделываем разные фокусы йоги и так далее. Но нам никогда не удается разрешить проблему человеческого страдания — ни отдельного человека, ни всего человечества. Есть ваше личное страдание, страдают миллионы и миллионы людей по всему свету — от войн, от голода, от зверств, от насилия, от бомб. Можно ли положить конец вашему человеческому страданию? Можете вы избавиться от него, потому что ваше сознание — это сознание мира, это сознание всех, кто живет на свете? Конечно, все люди разные, но, по сути, ваше сознание есть сознание всякого другого человека на земле. Страдание, удовольствие, страх, амбиции — все это в вашем сознании. Значит, вы и есть мир. И если вы совершенно свободны от страха, то вы воздействуете на сознание мира. Понимаете ли вы, как чрезвычайно важно фундаментально изменить человека,— это изменит всех людей на свете. Гитлер, Сталин повлияли на сознание мира; достигнутое священнослужителями — во имя неважно кого — тоже повлияло на сознание мира. А потому радикальная трансформация каждого из вас как человека, ваше освобождение от страха естественным образом повлияют на сознание мира.

Освобождение от страдания приводит человека к состраданию, не наоборот. Можно рассуждать о сострадательности, писать книги на эту тему, спорить — но сострадание начинается, когда кончается страдание. Человеческий разум сжился с мыслью о страдании, о его нескончаемости — ваши дети погибают в войнах, но вы готовы к новому страданию, затевая новые войны. Страдания причиняет и система просвещения: современное просвещение нацелено на усвоение человеком суммы технических знаний и больше ничего, а это приводит к великой скорби. Сострадание, которое и есть любовь, дается человеку, когда он полностью осознал всю глубину страдания и возможность его прекращения. Но может ли страдание прекратиться, не чужое страдание, а ваше собственное? Христианство создало пародию на страдание — прошу извинить меня, но это действительно так. Индуизм превратил страдание в интеллектуальное упражнение: за прегрешения в прошлой жизни вы расплачиваетесь в этой, в будущей жизни вас ожидает счастье, если вы сейчас будете хорошо вести себя. Но никто себя хорошо не ведет в этой жизни, и индусы просто держатся за бессмысленное верование. Только человека, всерьез воспринимающего жизнь, занимает вопрос о сострадании и о смысле любви, потому что без любви жизнь превращается в пустыню, даже

если мир был бы застроен великолепнейшими небоскребами, а все его население жило бы в условиях экономического процветания и социальной гармонии.

Итак, чтобы понять смысл сострадательной жизни, необходимо уяснить себе, что такое страдание. Бывает страдание от физической боли, от болезни, от несчастного случая, физическое страдание влияет на разум, оно искажает мысли, а добиться состояния, при котором человек контролирует свою боль и дает ей коснуться разума, возможно лишь при огромном самоосознании. Но страдание бывает не только физическим, но и другим — его причиняет одиночество, неразделенная любовь, неудовлетворенное желание любви — мы ведь ищем в любви удовлетворения и связываем любовь с удовлетворением. И смерть тоже есть причина страдания, и наше фрагментарное существование тоже — мы ведь никогда не живем полностью, нас вечно раздирают противоречия, борьба, смятение, трудности. Мы ищем выхода в церквах и храмах, стараемся найти способ отвлечься — религиозный или светский, хватаемся за наркотики, за групповую терапию, за индивидуальную терапию. Вы и сами знаете все игры, в которые мы играем с собой и с другими — если нам достает ловкости играть с другими. В результате же возникают безмерные страдания, причиняемые человеком человеку. Мы и животных заставляем страдать, мы их убиваем, мы их поедаем, мы уже уничтожили целые виды — и все потому, что любовь наша не всеобъемлюща. Мы любим Бога и убиваем людей.

Может ли быть этому конец? Может страдание вообще прекратиться с тем, чтобы восторжествовало всеобъемлющее сострадание? Сострадание есть любовь — не в христианском смысле, что чересчур примитивно, и не в смысле страсти, а любовь ко всему и ко всем, которую мы можем познать, только полностью освободившись от страдания.

Вы понимаете, насколько сложна эта проблема — не менее сложна, чем проблемы страха и удовольствия, с которыми она переплетается. Может ли человек заглянуть в себя и посмотреть, способен ли его разум, его мозг быть совершенно свободным от психологического страдания, от внутреннего страдания? Не сумев это сделать и не освободившись, мы будем заставлять страдать окружающих, как мы все время это делаем, несмотря на веру в Бога, в Иисуса Христа, в Будду, несмотря на благородные убеждения, которые столетиями не мешали нам убивать ближних своих. Вы знаете, что это именно так, вы знаете, что проделывают политики, в Индии ли или еще где. Почему же человек, считающий себя существом разумным, позволяет себе жить в страдании? Где есть зависть или ревность — там страдание; ревность — это разновидность ненависти. А зависть — часть нашего образа мыслей, нашей натуры; мы всегда сравниваем себя с другими и жить не можем без сравнений. Мы думаем, будто без сравнения себя с другими мы перестанем развиваться, перестанем расти, не сумеем никем стать. А вы пытались когда-нибудь — всерьез, по-настоящему — жить, не сравнивая себя с другими? Вы читали жития святых, они вас привлекают, и с возрастом вам начинает хотеться тоже быть такими, однако в молодости вы плевать хотели на подобные примеры. Вы пробуждаетесь, когда приближаетесь к могиле.

Человек способен страдать по-разному. Способны вы смотреть на страдание, наблюдать его, не пытаясь отпрянуть в сторону,— оставаться наедине со своим страданием? Если моя жена — правда, я не женат — бросила меня или просто засмотрелась на другого, а по закону она принадлежит мне, я ею владею, так вот, если она ушла от меня, я страдаю от ревности: она же моя, а чувство собственности дает мне удовлетворение, я ощущаю себя под защитой, да и ей приятно знать, что она кому-то принадлежит, она тоже испытывает удовлетворение от этого. Так вот, ревность, зависть, ненависть — вы можете смотреть на них без малейшего движения мысли, оставаясь с ними? Вы понимаете, о чем я говорю? Сделайте, и вы увидите что будет.

И совершенно таким же образом, когда вы испытываете психологические страдания — не убегайте и не допускайте движения мысли. Тогда вы увидите, откуда взялось страдание, и появится новое всеобъемлющее чувство, без которого невозможно творчество. Из страдания рождается сострадание. Энергия, которую оно несет, полностью отлична от механической энергии мысли.

РУТ ПРАВЕР ДЖАБВАЛА

Я – в Индии

ЭССЕ

Перевод с английского И. ТОГОЕВОЙ

Большую часть своей взрослой жизни я провела в Индии. Мой муж — индиец, индийцы и мои дети. А я — нет, и чем дальше, тем меньше.

Индия воздействует на людей чрезвычайно сильно. Одни ее ненавидят, другие любят, большая часть людей одновременно и любит, и ненавидит ее. Для тех, кто приезжает в Индию сегодня,— особенно если они стараются придерживаться либеральных взглядов и достаточно образованны, чтобы воспринимать иную культуру и относиться к ней с должным уважением,— возникает некая проблема адаптации. К Индии приспособиться не всегда просто: бывают такие моменты, когда вы просто вынуждены замкнуться, закрыть свою душу — исключительно в целях самозащиты, ибо это действительно слишком сильнодействующее средство, особенно для европейских нервов. Отношение европейцев к Индии — под европейцами я понимаю всех, кто приехал с Запада, в том числе и американцев,— проходит определенный цикл. Первая стадия этого цикла — невообразимый энтузиазм, когда все индийское замечательно; вторая стадия — когда все индийское уже не так замечательно; третья — все индийское отвратительно. Кое для кого этим и кончается, у других же цикл возобновляется, и все начинается сначала. Мне столько раз довелось испытать это на себе, что теперь я порой воображаю, будто привязана к колесу, которое все вращается и вращается, и я вместе с ним — то вверх головой, то вниз. Встретившись с кем-то из европейцев, я обычно уже через несколько минут могу точно сказать, в какой стадии названного цикла этот человек в данный момент находится. Всем очень нравится говорить об Индии, любят ли они ее или проклинают. Это — благодатная тема, с ее помощью можно выразить свое отношение ко множеству вещей и проблем — социальных, экономических, политических, философских: с какой стороны ни посмотри, всегда интересно.

Однако должна признаться, что сама я более Индией не интересуюсь. В настоящий момент мне интересно другое: я — в Индии. Порой, в периоды уныния, эта тема представляется мне иначе: как я выжила в Индии. Лучше сразу сказать: я живу в этой стране главным образом из-за того, что здесь живут самые дорогие мне люди. Если бы я не вышла замуж за индийца, то вряд ли когда-либо вообще приехала бы сюда, ибо меня отнюдь не привлекает — или, точнее, не привлекало — все то, из-за чего люди обычно в Индию стремятся. Я понимаю, что совершенно не гожусь для здешней жизни. Чтобы жить здесь и терпеливо сносить все, нужно иметь какую-то конкретную цель, какую-то серьезную причину, быть выдержанной, жизнерадостной, мужественной, отрешиться от эгоизма. Родом я из Центральной Европы, училась в Англии, к тому же обладаю достойной сожаления привычкой к самоанализу. Я раздражительна, и нервы у меня никуда не годятся.

Прежде всего в Индии бросаются в глаза чрезвычайная бедность и отсталость. Об этой стране можно рассказывать очень много, но

в основе всего будет именно это: бедность и отсталость. Можно восхвалять индийскую демократию, восторгаться индийской музыкой, восхищаться индийскими интеллектуалами — но о чем бы ни зашла речь, ни на мгновение не забываешь, что большая часть индийцев никогда не ест досыта. Точнее, с рождения до самой смерти их постоянно мучает голод, не давая ни дня передышки. Можно ли об этом забыть хотя бы на время? Господь свидетель, я пробовала. Но хотя бы раз увидев то, что приходится видеть здесь каждый день, ты уже не в состоянии продолжать привычную тебе жизнь. Люди, умирающие на улицах от голода; украденные и искалеченные дети, которых потом посылают просить милостыню... Впрочем, не имеет смысла составлять список тех ужасов, среди которых живешь тут, которыми сыт по горло, которые ощущаешь постоянно, точно жизнь твоя проходит на спине немыслимого чудовища — нищеты и отсталости. Разумеется, к этому просто необходимо как-то адаптироваться.

Существует несколько способов такой адаптации. Первый и наилучший — проявить силу духа и погрузиться в эту среду, принося людям посильную пользу в качестве врача или общественного деятеля. Я часто думаю: а может, лишь при этом условии европейцы вообще имеют право на длительное пребывание здесь? Я знаю нескольких таких людей. Обычно они преследуют вполне конкретную цель, очень много работают и всегда дружелюбны. Каждые несколько лет их посылают домой, в отпуск. Однажды, встретившись с их представительницей — врачом,— как раз вернувшейся из своего первого (после двенадцати лет жизни в Индии) отпуска, я спросила ее: что она чувствовала, вернувшись на родину после столь долгого отсутствия? Как ей удалось адаптироваться? Она не поняла вопроса. Проблема, столь важная для меня,— как приспособиться к различиям между Европой и Индией,— для нее просто не имела значения, просто не существовала. И она права: когда видишь и делаешь то, что она видела и делала каждый день, становится не до собственных тонких переживаний.

Второй способ адаптации к индийским условиям — принимать их как данность. Такое мировосприятие, похоже, наиболее характерно для большей части индийцев. Возможно, оно в какой-то степени связано с их представлениями о переселении душ. Если вам в этой жизни не повезло, всегда существует возможность, что в следующей жизни все у вас будет иначе. Видимо, подобные мысли служат утешением как бедным, так и богатым. Богач, объедаясь пловом, делает это с легким сердцем, ибо знает, что заслужил подобную привилегию примерным поведением в течение прошлых жизней; а бедный человек может взирать на него с должным хладнокровием, ибо знает, что при следующем повороте колеса судьбы, вполне возможно, именно он будет пожирать плов, а теперешний богач ляжет спать под открытым небом и с голодным брюхом. Однако подобный способ восприятия действительности недоступен, если вера в реинкарнацию не въелась вам в плоть и кровь. А если вы окажетесь неспособны воспринимать окружающую действительность именно так, что же делать тогда? Порой хочется лишь одного: убежать, отыскать такое место, где у всех вдосталь еды и одежды, у всех есть крыша над головой. Но даже если вы когда-либо и попадете в подобный рай, то сможете ли забыть? Всего лишь раз соприкоснувшись с индийской действительностью и тем, на что обрекла индийцев судьба, вы уже нигде не сумеете отыскать для себя благодатного убежища.

Но я собиралась говорить совсем не об этом. В мои планы входили рассуждения лишь на одну тему: я — в Индии. Но я не могла начать, не обрисовав прежде те условия, что лежат в основе жизни каждого приехавшего сюда. У меня прелестный дом, и я по мере сил стараюсь сделать свою жизнь приятной. Я плотно закрываю все окна, опускаю жалюзи, включаю кондиционер и без конца читаю, читаю великих мастеров романного жанра. Но все время помню: подо мной спина огромного зверя — нищеты и отсталости. Притворяться, что это не так, просто невозможно. Или, скорее, если притворяешься, то непременно следует

кара. Даже если никогда не поднимать жалюзи и никогда не выключать кондиционер, все равно что-нибудь будет не так, как надо. Люди просто не созданы для того, чтобы, запершись в комнате, притворяться, что за ее пределами ничего нет.

Теперь, по-моему, я уже несколько ближе к основному предмету своих рассуждений. Да, что-то в моей жизни явно не так: жалюзи опущены, кондиционер включен, но я не чувствую себя счастливой. Я чувствую себя одинокой. Всеми забытой пленницей. Изгоем. Что ж, сама виновата. Следует чаще выходить, встречаться с людьми, интересоваться тем, что происходит вокруг. Ну хорошо, я не врач, не общественный деятель, не святая и даже просто не очень хороший человек; раз так, остается одно — постараться поменьше обращать внимания на те аспекты индийской действительности, которые мне неприятны, и сосредоточиться на других. Других много. Я живу в столице, где столько всего происходит. Зимой здесь сплошная череда приемов, художественных выставок, спектаклей, концертов музыки и танца, гастролей европейских артистов — вроде бы, для скуки нет ни места, ни времени. И все-таки я непрерывно скучаю. Почему? Я понимаю, что сама виновата в этом. Не пойму толком, отчего это, но все здешние развлечения не по мне. Может, потому что я все время чувствую, как движется подо мной спина того чудовища? Впрочем, я ведь решила не говорить о нем больше. Мне бы хотелось говорить исключительно о современной, европеизированной Индии и о современных, вполне благополучных, просвещенных, европеизированных индийцах.

Позвольте же мне попытаться описать представительницу этой части индийского общества — женщину, с которой я должна, казалось бы, иметь много общего и с удовольствием дружить. Она получила образование в Оксфорде, или в Кембридже, или в каком-нибудь модном американском колледже. У нее безупречный, чистый, современный английский язык с очаровательным, еле заметным намеком на акцент. Она имеет ученую степень по экономике или политическим наукам, а может, по английской литературе. Родом она из хорошей семьи. Отец ее, вероятно, служил в Международной палате судоходства или в каком-либо другом государственном учреждении высокого ранга; он тоже в свое время учился в Оксфорде или Кембридже и вместе с матерью моей героини еще до войны вдоволь попутешествовал по Европе. Стиль жизни у них всегда был европейский, кухня — европейская, и они всегда преклонялись перед европейской культурой. Их дочь теперь, пожалуй, этим даже недовольна. Она чувствует, что в душе все-таки следует быть настоящим индийцем, а потому носит сари ручной работы, традиционные украшения, ярко-красную и неестественно большую «тику» на лбу и интересуется индийской классической музыкой и танцами. Если она достаточно богата — скорее всего, она замужем за представителем одного из крупных индийских предпринимательских кланов,— то, вероятно, станет меценаткой и летними вечерами будет устраивать прелестные приемы на лужайке перед домом. Там обычно собираются ее многочисленные друзья,— и индийцы, и европейцы, все исключительно интересные люди,— а слуги в форменной одежде без конца разносят бокалы с ледяными напитками, слышится умная, интеллигентная беседа, затем следует отлично организованный легкий ужин (тоже приправленный умными речами), а венчает вечер знаменитый индийский музыкант со своим ситаром. Гости располагаются прямо на лужайке, где расстелены ковры и разбросаны подушки. В небе сверкают звезды, жаркий летний воздух напоен ароматом жасмина. Подложив под бочок подушки, устроились юные девицы — здесь много хорошеньких,— однако лица их исполнены печали, ибо дивная музыка тревожит, и они порой вздыхают с надеждой на счастье и посматривают на свои хорошенькие босые ступни — пальчики на ногах украшены тонкими серебряными колечками и кокетливо выглядывают из-под сари. Вот она, индийская жизнь и культура в своем высшем и наилучшем воплощении. Однако не следует думать, что хозяйка вечера забыла о своем европейском образовании.

Отнюдь нет. В ней как бы воплотились лучшие черты Востока и Запада. Ей интересны самые разнообразные темы, она имеет вполне определенную точку зрения по любому вопросу. Ей нравится упражнять свой эмансипированный ум, и каков бы ни был предмет дискуссии — экономика, политика, литература или кинематограф,— она вполне способна четко сформулировать мнение на сей счет и отлично его выразить. Вот здорово, если б я могла дружить с такой женщиной! Как замечательно, как весело нам было бы вместе!

На самом деле я чувствую оскомину, если мне приходится слушать эту даму более пяти минут,— да, несмотря на то, что ее мнение вполне жизненно и соответствует самым прогрессивным взглядам. Стоит ей заговорить, как я, понимая, что все ее слова — истинная правда, все-таки чувствую в них фальшь. Она шевелит губами, слова срываются с ее уст, но ровным счетом ничего для нее не значат, хотя произносит она их с поразительной убежденностью, мастерством и очарованием. То, о чем она говорит, ей глубоко безразлично. Она всего лишь поддерживает разговор — именно так, по ее понятиям, и должны поддерживать разговор образованные женщины. С этим сталкиваешься вечно. Все, что говорят эти женщины, весь их непринужденный разговор за ужином затеян вовсе не потому, что тема их действительно интересует, а потому, что она должна была бы, с их точки зрения, интересовать их. Это касается не только тем, которые подобным дамам изначально чужды: например, когда они говорят — ах, с каким серьезным видом и глубоким пониманием! — о Годаре, Беккете или об экологии. Это происходит и в тех случаях, когда они говорят о себе самих. Они понимают, что современная Индия — тема очень важная, и у них есть что по этому поводу сказать. Однако хотя они сами и есть современная Индия, они на себя и не смотрят — не привыкли оценивать себя иначе, чем глазами иностранных специалистов, которых издавна приучены уважать. И хотя индийские проблемы касаются непосредственно их самих, они прекрасно осведомлены о результатах статистических исследований и дискуссий за и против национализации и социалистического пути развития общества, все равно кажется, будто они рассуждают о какой-то другой стране, словно это всего лишь некая абстрактная тема для научной дискуссии, а не живое чудище, на чьей спине они в данный момент находятся.

Но если мне не по вкусу общество европеизированных индийцев, то какое же мне нужно еще? Прочие индийцы по-настоящему общественной жизнью не интересуются — во всяком случае, в нашем понимании; сама концепция общественной жизни является для Индии целиком импортированной. Верно, индийцы чрезвычайно общительны в том смысле, что не выносят одиночества и предпочитают общество себе подобных; однако группы сидящих тесным кружком близких людей чаще всего представляют собой некое клановое единство — это либо конкретная семья, либо члены предпринимательского клана. И опять же, их концепция удовольствия, получаемого от подобного общения, отлична от нашей. Для них вполне достаточно просто *быть вместе*; при таком общении часто возникают затяжные паузы, когда каждый погружен в собственные мысли и смотрит в пространство. Время от времени разговор оживляется — обычно в связи с общими повседневными заботами и проблемами, вроде роста цен, грядущей свадьбы или несносного соседа. Не предпринимается ни малейшей попытки поработать собственными мозгами или испытать еще чей-то интеллект, сравнить его с умами остальных присутствующих; все удовольствие в данном случае заключается в том, что рядом знакомые люди, и вам так хорошо вместе дышать воздухом и предвкушать скорую трапезу. Следует признать, в подобном способе общения есть нечто удивительно умиротворяющее, успокаивающее, и он, безусловно, куда более привлекателен, чем синтетическая общественная жизнь индийцев западного толка. Кроме того, этот способ общения гораздо больше соответствует самому индийскому климату, который как бы приглашает порой полностью расслабиться, не делать ничего, не думать ни о чем — просто ощущать жизнь, просто *быть*.

Вообще-то, в конце концов, и мне стало нравиться подобное многочасовое сидение кружком. Однако нечто в моей душе вечно начинает противиться длительному бездействию. Не могу я просто *быть*! Я внезапно вскакиваю и бегу прочь, подальше от этой самодостаточной группки людей. Мне хочется сделать что-нибудь ужасно трудное, взобраться на вершину горы или прочитать «Критику чистого разума» Канта. Порой я едва сдерживаюсь, чтобы не удариться головой о стену, так мне хочется проснуться, очнуться. Все что угодно, только бы спастись из этого засасывающего болота пассивного инстинктивного существования. Я чувствую, что не могу, не должна позволять себе жить так.

Разумеется, многие другие европейцы тоже оказались в аналогичном положении. Например, женщины, вышедшие, как и я, замуж за индийцев. Но я не так уж стремлюсь к их обществу. Люди, страдающие одним и тем же недугом,— чаще всего плохая компания друг для друга. Кто первым будет выслушивать жалобы? И кто первым изольет свою душу? Зато с каким энтузиазмом я принимаю иностранных гостей! Мне доставляет удовольствие одно уже их физическое присутствие. Чрезвычайно приятно видеть их свежие лица, яркий румянец, свидетельствующий о холодных ветрах и дождях; я восхищаюсь плотностью тяжелых европейских тканей и промышленным способом их изготовления. Мне нравится слушать их речь. Отчего-то непривычный акцент, иные интонации будят в моей душе мечты о дальних странах, из которых прибыли эти гости, и, в зависимости от громкости их голосов, я слышу то ветер, шумящий ветвями английских деревьев, то нежное журчание ручейка в летнем лесу... Однако помимо чисто чувственных наслаждений существует еще наслаждение слушать их рассказы. Я жадно внемлю им: они говорят о людях, знакомых мне хорошо или лишь слегка известных, о новых спектаклях, о ресторанах, о различных переменах, о модах. Однако ни одна из тем не является неисчерпаемой, как и мой интерес к ним; и вот в конце концов наступает мой черед рассказывать. Ну, что нового в Индии? Теперь им хочется послушать, да только мне не хочется говорить. Я чувствую, что мрачнею. Нечего мне им сказать об Индии. И не поймут они ничего в моих речах. Но все-таки я начинаю рассказывать и через некоторое время говорю увлеченно, страстно. Но явно что-то не то. Я с ужасом прислушиваюсь к себе; они тоже, кажется, потрясены. Я хочу остановиться, сменить тему, но не могу этого сделать. Мне хочется крикнуть: это совсем не то, что я хотела сказать! Сейчас совершенно не к месту говорить об этом! Но как объяснить им, когда будет к месту? Невозможно! Слишком много потребуется времени, да и есть ли смысл в подобных объяснениях? Ведь причины все такие малозначащие, чисто личные... Я умолкаю и отворачиваюсь. Мне больше нечего прибавить. Мне хочется, чтобы они ушли.

И вот я снова одна в своей комнате со спущенными жалюзи и включенным кондиционером. Порой, когда я думаю о собственной жизни, мне кажется, что она сжалась до размеров одной этой комнаты, сконцентрировалась в ней, а вокруг вечная полдневная жара, против которой кондиционер бессилен. Я не в силах описать томительное ощущение таких полудней. Это почти физический гнет — жара давит на меня, на стены, на потолок, от нее застывает время, и кажется, что течение его никогда больше не возобновится. И не только жара и остановившееся время давят на меня, но помимо них, а может, и вместе с ними на меня воздействует нечто большее, что я могу определить только как всю Индию в целом. Это, конечно, гипербола, но гипербола-то мне и нужна, чтобы выразить свое отношение к этим нескончаемым полудням, которые теперь воспринимаются мной как бесчисленные годы, проведенные в стране, для жизни в которой я не была рождена. Индия поглощает меня, и теперь мне уже кажется, что я не у себя в комнате, а на ослепительно белых, раскаленных улицах города под добела раскаленными небесами; люди не могут жить при такой жаре, так что вокруг все будто вымерло — впрочем, нет, не совсем, вон приближается улыбающийся прокаженный в тележке, подталкиваемой другим прокаженным;

вон над обглоданным скелетом собаки кружат стервятники. Река пересохла, и побелевшее, растрескавшееся ее русло в плоских берегах пустынно на многие мили; невозможно определить, где кончается русло реки и где начинаются берега и окрестные поля — и бывшее дно, и берега, и поля одинаково плоские, потрескавшиеся, пересохшие. И этому руслу можно следовать бесконечно долго, пока не попадешь в джунгли, где водятся дикие звери. А в оврагах обитают изгои, душой похожие на диких зверей. Порой они совершают набеги на деревни и грабят, жгут, калечат, убивают для потехи. Вот еще горы, эти уже весьма высоки, здесь совсем не жарко, наоборот — холод ужасный. Мы очутились в царстве снегов и льдов; здесь находится и гора Кайласа, на вершине которой восседает Шива-разрушитель в ожерелье из человеческих черепов. В горных долинах чтят именно его. Мне видны отсюда и люди — они занимаются чем-то странным, интересно, чем? Я придвигаюсь поближе. Теперь видно совсем хорошо. Они убивают мальчика. Разрубают на куски, которые закапывают в землю там, где поднимутся опоры нового моста. Среди этих людей священник, совершенно голый, если не считать покрывающей все его тело сажи; он произносит какой-то священный текст — там, у будущего моста, славословя богов и умоляя их о снисхождении.

Я, разумеется, преувеличиваю, но мне хотелось бы хоть в какой-то степени дать понять, сколь непереносима порой Индия, во что может превратиться представление о ней, ощущение ее. Это та самая точка кипения, когда пора спасаться бегством, и если бежать невозможно физически, то следует отыскать иной способ спасения. По-моему, не только европейцы, но и сами индийцы порой вынуждены бежать от собственной, часто непереносимой действительности. Здесь, видимо, меньше, чем где-либо еще, можно поверить, что этот мир и эта жизнь предназначены именно для нас и больше нам ничего не дано, а потому искушение заменить все это чем-то иным становится нестерпимым. Может быть, именно поэтому религия является в Индии столь значительной силой? Потому, что жизнь там так ужасна? А может, совсем наоборот — не оттого ли жизнь там так ужасна, что глаза души смотрят вовсе не на нее и не возникает никаких побуждений ее улучшить? Как бы то ни было, индийские «глаза души» действительно смотрят куда-то не туда, и действительно присутствие Бога ощущается в Индии сильнее, чем где-либо в ином месте. Каждое утро я просыпаюсь в три часа из-за того, что кто-то громко изливает свою душу в молитве; затем, на заре, в храме звонит колокол; потом, уже в вечерних сумерках, трубят в морские раковины, в воздухе распространяется аромат благовоний и чуть перестоявших цветов, которыми украшены пьедесталы улыбающихся розовощеких идолов. Я читаю в газетах о возрождении Бога Кришны в облике сына деревенской ткачихи где-то в штате Мадхья-Прадеш. На берегах реки вечно торчат силуэты застывших в позе медитации людей; один из них вполне может оказаться кассиром вашего банка, который выдал вам деньги по чеку всего несколько дней назад; теперь же он, погруженный в транс, сидит в позе лотоса, очи возведены горе. Существуют ашрамы, полные маленьких, старых, до полусмерти истощенных вдов, которые прыгают и приплясывают вокруг вас, хихикают и играют в прятки, потому что являются пастýшками Кришны. И над всем этим — купол бескрайних небес, во много раз больший, чем та земля, на которой ты живешь, и небо так невыразимо прекрасно, оно сияет такой поистине неземной голубизной днем и такой россыпью звезд ночью, что трудно поверить, как что-либо удивительное, прекрасное, недоступное человеческому восприятию могло зародиться не там, в небесах.

Я люблю слушать индийские религиозные гимны. Мне они кажутся прозрачными и чистыми, как вода из артезианской скважины; а чувства, отраженные в них, одновременно удивительно красивы и удивительно просты для восприятия, ибо художественные образы в них исключительно человечны. Душу, с мольбой взывающую к Богу, всегда символизирует возлюбленная, самым естественным образом тоскующая о любимом. («Я жду Его. Слышите ли Его шаги? Он уже близко».) Мне сразу

становится легче, когда я слушаю эти песни, и все мои тревоги исчезают. Я осознаю, что все мои волнения — сущая ерунда, а поистине важно лишь это обещание вечного блаженства в объятиях Возлюбленного. Я становлюсь терпеливой, доброй и чувствую, что все вокруг хорошо. Жаль, что подобное спокойствие души слишком недолговечно, и через некоторое время мне снова кажется, что ни вокруг, ни во мне самой ничего хорошего нет. Однажды кто-то сказал мне: «Только посмотри, как светла душа индийца, способного в корове видеть Бога!» Но когда я сама пытаюсь воспринять этот свет душевный, он оборачивается мраком: сколько бы я ни пыталась обмануть себя, под какими бы покрывалами ни прятала свое лицо, стремясь достигнуть покоя в мыслях, мне все равно очень скоро становится ясно, что корова — это, безусловно, просто корова, да к тому же весьма тощая, голодная и больная. А потом мне от всей души хочется, чтобы понимание этого так и осталось при мне, даже если оно причиняет мне боль: я уже не сменяю его ни на какое другое знание, даже если оно и представляется истинным самим индийцам — для меня-то оно никогда по-настоящему истинным не станет.

И вот здесь я, по-моему, подошла наконец к самой сути вопроса. Чтобы жить в Индии и быть в ладу с самим собой и окружающей действительностью, человек должен в весьма значительной степени стать индийцем, воспринять индийское отношение к жизни, индийские привычки, верования, обрести, по мере возможности, конечно, индийский характер. Но разве это возможно? И даже если бы это было действительно возможно — разумеется, без самообмана,— то так ли уж это хорошо? Следует ли человеку пытаться полностью изменить свою сущность? Я не всегда отвечаю на этот вопрос отрицательно. Иногда мне кажется, что, наверно, приятно было бы сказать «да», и сдаться, и носить сари, и стать смиренной, кроткой и покорной, и видеть Бога в корове. В иных случаях мне милей открытое неповиновение, осознание себя европейкой и... ну хорошо, хоть и раздавленной тем, что я вижу вокруг, но все же пытающейся выстоять. Разумеется, это не может продолжаться до бесконечности, и в конце концов я неизбежно проиграю — а может быть, только в тот миг, когда пепел мой опустится в воды Ганга под пение ведических гимнов,— и пусть тогда кто-нибудь скажет, что я не слилась с Индией по-настоящему?

Я все-таки иногда езжу в Европу. Но через некоторое время начинаю скучать там и стремлюсь вернуться домой, в Индию. Да и европейский климат стал для меня тяжеловат. Я уже привыкла к сильной жаре, и, кажется, она мне необходима.

Курс английского

РАССКАЗ

Перевод с английского ИННЫ БЕРНШТЕЙН

Налини выросла в очень интеллигентной семье. У них все много читали, Налини впитала любовь к классической литературе просто с молоком матери. Особенно любили в доме английскую романтическую поэзию и великую русскую прозу. Даже шутили иногда, что они сами — типичные чеховские герои. Жили в достатке, приятно и красиво, в просторном собственном доме в Дели, но всегда их манили великие европейские столицы — Лондон, Париж, Рим,— где процветает культура и люди живут передовые и образованные.

Перевод выполнен в Британском центре литературного перевода при Университете Восточной Англии, и переводчик выражает признательность за предоставленную возможность работы на живой натуре.

Мама с папой, пока времена были полегче, объездили всю Европу (медовый месяц провели в Риме), мальчики тоже один за другим уезжали за границу получать образование. И вот, наконец, настала очередь Налини. Она кончила курс по английской литературе в элитарном Колледже королевы Александры в Дели и теперь собралась припасть к истокам — поучиться в самой Англии. Разослала бумаги сразу по нескольким адресам и в конце концов была принята в новехонький университет, находящийся в одном из Центральных графств. В семье все очень радовались, особенно когда кто-то им объяснил, что новые университеты лучше старых, в них царит передовой, прогрессивный дух.

«Милая мамулечка! Прости, что мои последние письма были не очень бодрые, но ты только не огорчайся, пожалуйста! Ну, конечно, мне здесь безумно нравится, еще бы не нравилось! Просто я ужасно скучаю по вам всем, мои родные, и от этого у меня тон получается грустный. Теперь, когда я лучше познакомилась с миссис Кромптон, я понимаю, что она очень достойная дама и даже принадлежит к хорошему обществу, не сравнить с обычными квартирными хозяйками, мне просто повезло, что я попала в ее дом. А какой огромный список литературы нам дали, в милю длиной! Курс будет очень трудный, но страшно интересный, я жду с нетерпением, когда уж начнутся занятия. Преподаватели все обаятельные, а профессор просто душка! Общественная и культурная жизнь уже бьёт ключом, столько кружков, прямо не знаешь, на чем остановиться. Музыкальных два — один по классической музыке, другой по эстраде. Вам не трудно догадаться, который из двух я выбрала...»

Да, при университете был кружок классической музыки и еще кружок поэзии, и в городе давали симфонические концерты, и была очень хорошая театральная труппа, выступавшая в новехоньком театре, который финансировался Советом искусств. Словом, замечательное место, столько всяких культурных начинаний и интеллигентных людей, и в университете, как заверили Налини и ее родных, действительно царил передовой и прогрессивный дух, всем заправлял еще нестарый, очень деятельный проректор. Письма Налини — а она писала домой три или четыре раза в неделю — были полны подробностями, и ее мать переживала все вместе с дочерью. Сидит, бывало, у себя в делийской гостиной на желтом атласном диване, читает письма Налини, а на глазах слезы — слезы радости, что жизнь так полна и прекрасна и что ее родная дочь, совсем еще девочка, находится в самом ее средоточии.

Однако Налини не была так счастлива, как надо бы. Она делала все, о чем раньше мечтала,— например, гуляла по английским проселочным дорогам или участвовала в длинных спорах за чашкой кофе,— но все равно, чего-то, чего она ожидала, какого-то аромата, веявшего в ее грезах, ей явно не хватало. И вовсе не в погоде тут дело. К слякоти и дождю она была заранее готова, у нее хватало своего внутреннего огня, чтобы подняться выше этого. И к капризам квартирной хозяйки, миссис Кромптон, она тоже научилась подлаживаться — можно ее понять, бедняжку: после пережитого развода естественно, что она бывает порой не в настроении готовить горячую пищу. Конечно, Налини скучала по родителям, и по братьям, и по дому, и по всем домашним, и по всему домашнему — скучала ужасно! — но ведь эту цену она с самого начала была согласна заплатить за счастье очутиться в Англии. И потом, зато можно было писать письма и получать ответы, и не только от своих, но и вообще ото всех — она переписывалась и с дальней родней, и с бывшими одноклассницами. Когда ни появится почтальон, обязательно будет хоть одно письмо для Налини, так что миссис Кромптон,— которая, конечно, ничего и не ждала, но все-таки расстраивалась, ничего не получая,— даже начинала на нее сердиться.

И на одиночество в Англии Налини пожаловаться не могла. Она быстро перезнакомилась со всеми на факультете, а кое с кем и близко сдружилась. С девушками, правда. С молодыми людьми у них отношения были приятельские, все часто виделись на занятиях и в кружках, но

дружили обычно девушки с девушками. Вдвоем или целой стайкой они бродили по университетской территории, сидели в студенческой столовой, ходили на концерты или на дальние прогулки, и всегда очень весело и дружно. Но чего-то все-таки Налини не хватало. В письмах домой она об этом не заикалась, и там все считали, что ей и вправду, как она пишет, живется замечательно. На самом же деле было не так. На самом деле, несмотря на все, хотя целая Англия была в ее распоряжении, она все же оставалась неудовлетворена.

Однажды Налини гуляла за городом со своей подружкой Мейв. Вышли за городскую черту и пошли бродить по деревенским дорогам. Дороги были то узкие-узкие, с обеих сторон зажатые кустами ежевики в капельках недавнего дождя; то вдруг расширялись, и открывался вид на бледно-желтые поля и бледно-зеленые луга или на пологий холмик с пестрыми коровами и церквушкой, к которой ведет обложенная камешками тропка. И такой чистый, влажный воздух! Настоящая деревенская Англия, воспетая английскими поэтами, включая Шекспира, о которой так часто рассказывала Налини милая мамочка. А Мейв говорила об англо-саксонском сдвиге гласных, там просто немыслимо все запомнить, и это ужасно, потому что скоро зачет, и она прямо не знает, как его сдать. Налини тоже опасалась, что провалит этот зачет, но мысли ее были заняты другим. Хотя Мейв ей нравилась — крепкая, рослая девушка, похожая на большую малиновку: такие же красные щеки, коричневый жакет и коричневые вязаные чулки,— а все-таки ее присутствие мешало. Налини хотелось быть одной, чтобы дать выход грустным мыслям, от которых сжимается сердце. Окажись она сейчас в одиночестве, она бы, наверно, побежала по лугу, подставляя лицо ветру; или, может быть, прижалась бы головой к стволу дерева, в ветвях которого поет дрозд, слушала бы и вздыхала, и слезы катились бы у нее по щекам.

Студенты, ее соученики, были все очень милые мальчики, внимательные и добрые и довольно воспитанные, несмотря на эту моду носить длинные волосы и бороду и одеваться в грубые рубахи. С ними вполне можно было поддерживать приятные братские отношения, да они и сами, похоже, на большее и не претендовали, даже если особо отличали которую-нибудь из девушек своим вниманием. Но Налини этого было недостаточно. Братьев у нее и дома хватало. А чего она ждала от Англии, ради чего сюда приехала (пусть и сама не сознавая), что сулила ей каждая прочитанная книга,— это была любовь.

Девушке в таком настроении, как правило, долго ждать не приходится. Одним из преподавателей у них был Норман Гривз. Он занимался с ними Чосером и его эпохой и кроме того еще литературой XVIII века. И хотя это были не самые любимые ее периоды, она посещала его занятия с особым увлечением, потому что доктор Гривз стал ее любимым учителем. Сначала ей больше нравился профессор — красивый элегантный мужчина, часто ездивший в Лондон принимать участие в телевизионных передачах,— но после того, как она подала доктору Гривзу первый реферат по его курсу, ей стало ясно, что лучше всех, конечно же, он.

Он тогда пригласил Налини к себе в кабинет и, похлопав по ее тетрадке, сказал:

— Это никуда не годится, знаете ли.

Налини было не привыкать к таким заключениям преподавателей после первого знакомства с ее работой. У нее, в отличие от других студентов английского факультета, никак не получалось выстраивать реферат логически, по пунктам — сначала изложение, потом развитие мысли; она все выплескивала сразу, даже и не мысли, а эмоции, и писать она умела только своими словами, теми же, какими писала письма домой. И все учителя говорили, что это ну никуда не годится, и Налини низко опускала голову, не зная, что ответить. А некоторые просто со вздохом возвращали ей тетрадку, ни слова не говоря. Один только доктор Гривз, вздохнув, еще и произнес: «Просто не знаю, что с вами делать...» Он болел за нее душой.

— Я буду больше стараться, сэр,— пообещала Налини.

— Да, конечно, это правильно,— растерянно пробормотал доктор Гривз, но, похоже, остался неуверен, что из ее стараний может выйти какой-то толк. Налини смотрела на него с беспокойством, прикусив губу и округлив глаза: а вдруг он сейчас скажет, что его курс ей не по силам?

— Вот вы пишете: «В «Троиле и Кресиде»,— прочел он,— Чосер показывает, как хорошо он понимает женское сердце». Допустим, но нельзя ли поконкретнее? Какие именно строки вы имеете в виду?

Налини все так же молча смотрела на него и кусала губу.

— Или вы ничего конкретного в виду не имели?

— Не знаю,— горестно пролепетала она. И добавила, по своим понятиям, вполне к месту: — Наверно, у меня очень эмоциональная натура.

Он, больше ни слова не сказав, возвратил ей реферат. Однако у Налини после беседы с ним осталось такое ощущение, что плохой реферат — это, конечно, прискорбно, но еще не конец света. С другими преподавателями ничего подобного не бывало. Доктор Гривз на голову выше их всех. Он не красавец, не то что профессор, но Налини находила в нем большое обаяние. Роста небольшого — но для Налини в самый раз, она и сама миниатюрная — и ужасно худой и бледный, и волосы тонкие и прямые, тоже как бы бледные, не то белесые, не то с проседью. Не юноша уже — наверное, за тридцать, может, даже ближе к сорока, если не сорок.

Жизнь наполнилась трепетом и обрела краски. Налини просыпалась рано поутру и лежала в постели, радостно гадая, сколько раз ей предстоит сегодня увидеть его? За вторники, четверги и пятницы можно было не волноваться, в эти дни у него занятия; а в оставшиеся два дня приходилось довольствоваться мимолетными встречами в коридорах. В этом заключалась своя нечаянная прелесть — никогда не знаешь заранее, что подарит следующий миг и что откроется за следующим поворотом. Но само собой, дни занятий были лучше всего. Можно было по целому часу сидеть и смотреть на него с восторгом и упоением. Рассказывая, он ходил перед кафедрой взад-вперед, непрестанно теребя белыми пальцами края мантии и чуть склонив голову к плечу от старания донести свою мысль до слушателей; он стремился все выражать четко и честно. Мантия на нем была старенькая и вся в мелу, и всегда один и тот же поношенный твидовый пиджак, фланелевые брюки и полосатый университетский галстук. Не слишком преуспевающий ученый, не сравнить с профессором и некоторыми другими преподавателями.

А вот по выходным было бы совсем пусто и скучно, не заведи Налини привычку гулять поблизости от его дома. Он жил на окраине в домишке постройки конца прошлого века, окруженном запущенным садом. Этих старых домиков было там раньше несколько порядков, но почти все уже снесли и построили на их месте двухквартирные коттеджи, которые в рассрочку на выгодных условиях продавали молодоженам. Доктор Гривз молодоженом не был, его многочисленные дети носились вокруг дома, и по зеленым улочкам, и на соседнем лугу. Были они не очень-то чисто умытые, и видно, что одежду донашивали друг за дружкой. То ли дело малыши из новых коттеджей — все в голубеньком или розовом нейлоне, с оборочками. Молодые соседи разъезжали в новеньких лакированных автомобилях. А у доктора Гривза был только велосипед.

В одну прекрасную субботу Налини встретила его, когда он выкатывал из калитки велосипед. Он очень удивился и спросил, что она тут делает, и хотя признаться прямо, что поджидает его, она все же не отважилась, но и врать ничего не стала. Они пошли бок о бок, а велосипед он катил, держа за руль. Когда из-за угла сломя голову выбежал сорванец-мальчишка,— по-видимому, сын, такой же неухоженный,— доктор Гривз позвал: «Мервин!» — но тот даже внимания не обратил, и отец кротко побрел дальше, будто так и надо.

Сияло солнце. Доктор Гривз направлялся в город за покупками,

и Налини пошла с ним вместе. Они зашли в супермаркет, доктор взял проволочную корзинку и стал накладывать в нее мыло, уксус, нарезанную буханку хлеба и всякие другие вещи по списку, который ему дала жена. Налини помогала находить на полках что нужно, иногда путаясь,— например, положила к нему в корзинку собачьи галеты вместо детских сухариков, то-то смеху было! Словом, получилось все очень весело, они оба плохо разбирались в товарах, застревали в проходах и мешали другим, на них сердились, доктор Гривз от души извинялся, Налини же только прыскала со смеху. И у кассы, когда он рассыпал мелочь и пришлось ползать подбирать, а люди ждали и кассирша смотрела укоризненно, Налини тоже было смешно. А доктор Гривз весь покраснел и говорил кассирше и покупателям в очереди: «Извините, Бога ради, прошу великодушно простить». Наконец, вышли из магазина. Он обернулся к ней с улыбкой, щурясь от все так же сиявшего солнца, и поблагодарил за помощь. А потом сел на велосипед и медленно поехал прочь, везя с обеих сторон на руле тяжелые сумки.

В следующую субботу шел дождь, но Налини опять ждала его возле дома. Сначала он как будто бы даже и не обрадовался, только когда отошли подальше от дома, он усадил ее на раму велосипеда. И они поехали вдвоем под пологом дождя. Это было как сказка — его руки обнимали ее с обеих сторон, она чувствовала на лице его дыхание, а вокруг все: деревья, небо, крыши — расплывалось и таяло в измороси и тумане. Приехали в тот же магазин, где накупили почти в точности то же, что и на прошлой неделе, но теперь, когда вышли и на его губах уже рождалась улыбка прощания, Налини, торопясь, сказала: «Нельзя ли тут поблизости выпить кофе?» Они пришли в лавку, где продавались пряники собственной выпечки и стояли в качестве украшения бронзовые вазы. Внутри было полно — набились окрестные домашние хозяйки на свой «кофейный» перерыв, единственный незанятый столик оказался у самой вешалки — не очень-то уютно, когда на тебя с зонтов и пальто капает вода.

Налини-то было все равно, но доктор Гривз сидел нахохлившись, с несчастным видом. Жидкие его волосы все промокли и прилипли к голове, по лицу то и дело скатывались капли. Налини посмотрела на него и спросила с нежной заботливостью:

— Зябко?

— Не представляю, как вы здесь живете,— сказал он.— В этом невыносимом климате.

В голосе его звучало даже какое-то раздражение, а пальцы нервно теребили фарфоровую пепельницу.

— А мне ничего,— ответила Налини.— У меня в жизни было так много солнца, что даже приятно: разнообразие.

Она улыбалась ему и действительно излучала при этом столько тепла и солнца, что он, подняв было на нее глаза, поспешно понурился: не стерпел такой яркости.

— И потом,— продолжала она, минутку помолчав,— важно ведь не то, какая погода снаружи, а что чувствуешь вот здесь, внутри.

Она прижала ладонь к ложбинке между прелестными молодыми грудями. И заглянула ему в лицо.

— Надеюсь,— вдруг осипнув, неловко пробормотал он,— что учение вам нравится?

— Конечно!

— Это хорошо. По-моему, в вашем последнем сочинении уже намечаются кое-какие перемены к лучшему. Разумеется, до благополучия еще далеко.

— Я буду стараться, обещаю! — горячо сказала Налини.— Только, понимаете, я такая дурочка — ну не могу ничего запомнить и все, не голова, а чурбан, пока не найдется кто-нибудь, кто меня вдохновит. Но теперь, слава Богу,— она потупилась, теребя ту же пепельницу с другого бока, а затем снова подняла глаза на него и улыбнулась,— такой человек нашелся.

Она сидела и смотрела на него с улыбкой.

— То есть вы меня имеете в виду? — в лоб спросил он.

Она растерялась. Перестала улыбаться. Уж очень это прозвучало неделикатно.

— Я, моя милая, не гожусь во вдохновители. Я всего лишь заезженная рабочая лошадь. Не более того. Вы на меня не рассчитывайте. О Господи,— простонал он, сжимая ладонями виски, как от головной боли,— да не смотрите вы на меня этими вашими глазами!

— Разве они такие ужасно некрасивые?

— Оставьте меня в покое,— умоляюще сказал он.— Не трогайте меня. У меня все в порядке. Я ведь не жалуюсь, верно? Живу счастливо и своей жизнью доволен.

— Неправда,— покачала головой Налини.— Я уже давно по вашему лицу поняла, что вы несчастливы. Иначе откуда взялись эти морщинки?

И протянув палец, она провела кончиком по его лицу от углов рта к подбородку, вдоль страдальческих складок, которые изучала в течение долгих лекционных часов.

— Это потому что я старею. Мне в мае будет сорок. Сорок лет, понимаете?

— Иногда вы похожи на маленького мальчика, который потерялся и которого ужасно хочется утешить.

— Позвольте, я теперь уйду. Мне еще надо купить жареной рыбы с картошкой — сегодня суббота, меня будут ждать к обеду.

— Хорошо, но только если вы обещаете встретиться со мной завтра. Условились? Норман?

Она чуть коснулась его руки и заглянула в глаза дразнящим, победным взглядом: пусть, пусть попробует не согласиться, если сможет!

Дома оказалось, что квартирная хозяйка миссис Кромптон плохо себя чувствует. Она ничего не приготовила и лежала в постели, зашторив окна и страдая. Налини включила свет и отопление, спустилась в кухню и приготовила яичницу на жареном хлебе. Поднялась с подносом в спальню миссис Кромптон, села к ней на край кровати и со словами «Ах вы, моя бедненькая!» погладила алое атласное одеяло. Миссис Кромптон в ночной кофте села на постели и съела тостик с яичницей. Она была женщина уже в летах, с крупным английским лицом, долгоносым и узкогубым, и с низким лбом. Да еще морщины досады и тоски как бы оттягивали книзу щеки. Сидит, жует и время от времени тяжело вздыхает. А спальня такая нарядная, занавески и покрывало все с оборочками, на полу — белый ковер. Нарядная, но печальная, потому что рядом бок о бок с ее кроватью стоит вторая, которая раньше была мистера Кромптона, а теперь пустует, навеки выразительно затянутая оборчатым шелковым покрывалом.

Налини искренне жалела миссис Кромптон и старалась ее приободрить. Взяла ее большую, холодную руку, подержала в своих смуглых горячих ладошках, гладила, похлопывала, рассказывала разные забавные слу́чаи, какие только могла припомнить: например, как она забыла снять с веревки свое выстиранное сари, и дождь вымочил его опять — все шесть ярдов, представляете? Но миссис Кромптон не веселела, а оставалась все такой же мрачной и унылой, и один раз по ее длинному носу даже скатилась медленная слеза. Налини смотрела, как она ползет, и вдруг в порыве сострадания к чужому горю потянулась и поцеловала миссис Кромптон, ощутив под губами сухую, пористую кожу (это было так странно! — вспомнилось, какая кожа у мамы: гладкая, бархатистая, благоухающая миндалем!). Налини прошептала: «Не надо огорчаться!» — и положила голову рядом на подушку, отвернув лицо. Так было даже лучше, потому что оно, при всем ее искреннем сострадании, ничего такого не выражало, а только сияло от счастья.

«Дорогая мамулечка! Прости, прости, прости! Ты, конечно, совершенно права, я ужасно редко пишу, но если бы ты знала, сколько на нас наваливают работы. Я тружусь, как раб, но это очень интересно! Мой любимый предмет теперь — поэты XVIII века. Да, дорогая, понимаю, как

ты удивлена, они и вправду, как мы всегда говорили, кажутся холодными — на первый взгляд, но на самом деле внутри у них кипят страсти. Я довольно часто хожу гулять по окрестностям, здесь такая тишина и красота! Иногда бывает ветрено и холод, но очень смешно: мне всегда жарко, ты же знаешь, и все страшно удивляются».

Норман обычно носил под пиджаком еще свитер, а Налини в крайнем случае накинет вышитую шаль поверх шелкового сари, и все. Встречаясь, они всегда отправлялись за город. У них было там место для свиданий — немного проехать на автобусе, потом пешком около полумили через луга по дороге, которая вилась, спускаясь в лощину, и там отдельно один от другого стояли, прячась между деревьями, четыре загородных домика. Их участки задами выходили в небольшой лесочек. Владельцами четвертого, последнего, домика были когда-то старики, любящие муж и жена, знакомые Нормана, он их иногда навещал там, но они уже год как умерли, и домик был поставлен на продажу. В дальнем конце их участка, где уже начинался лесок, стояла почти игрушечная избушка, которую покойные старики любовно построили, досочка к досочке, собственными руками для приезжающих в гости внуков. Теперь она служила потайным укрытием для Нормана и Налини. Больше туда никто никогда не заглядывал, разве что кошка или белка прошуршит в опавшей листве, а из звуков самым громким был стук дятла, да изредка мирно гудел в вышине самолет. Налини, девушка заботливая и практичная, привозила с собой все необходимое: паласы, надувные подушечки, пачки печенья, булочки с сосиской. В холодные и дождливые дни они завешивали избушку паласами и оставались внутри; в погожие — выходили в лесок и, прислонившись спиной к стволу какого-нибудь дерева, сидели и смотрели на белок.

Налини любила завтраки на лоне природы. Она рассказывала Норману, какие замечательные пикники устраивали у нее дома, как слуги набивали провизией корзинки и составляли на заднем сидении автомобиля, и как ехали в какое-нибудь живописное место — заброшенный дворец, или амфитеатр, или водоем, непременно какие-нибудь романтические развалины, заросшие лианами и цветами,— и там для них расстилали ковер, и все лежали и смотрели в небо, переговаривались о том о сем, читали стихи, шутили; а потом открывали корзины, и там оказывались жареные цыплята, виноград и шоколадный торт.

— Да,— говорила Налини,— чудесно было. Но это,— она откусывала сухое печенье «Мария»,— это в миллион миллиардов раз лучше.

Она говорила искренне. Норман лежал рядом на подстилке под деревом, так как день был солнечный. Сухие листья шуршали под подстилкой при каждом движении; на ветках их уже осталось совсем немного, некоторые винно-красные и висят по отдельности на своих черенках, вот-вот сорвутся.

Норман тоже вздыхал, довольный. «Расскажи еще»,— просил он. Ему никогда не надоедало слушать о том, как живет ее семья в большом городском доме в Дели или летом в прохладной Симле.

— Но ты это все уже сто раз слышал! Лучше теперь ты о себе расскажи. Ты мне ничего не рассказываешь.

— Да что обо мне? — Норман пожал плечами.— Моя жизнь до последнего времени была довольно жалкой.

— А теперь?

Он простонал от избытка чувств, сжал ее в объятиях, поцеловал в плечо, шею, висок. Уткнувшись ей в волосы, он глухо проговорил:

— Ты пахнешь медом.

— Ты думаешь обо мне, когда меня нет?

— Постоянно.

— И когда ведешь занятия?

— Да.

— И когда бываешь со своей женой?

Он отпустил ее, снова лег и закрыл глаза. Она низко наклонилась над ним и одной выбившейся прядью волос пощекотала ему лицо.

— Расскажи, какой я тебе представляюсь,— попросила она.

— Ослепительным видением,— отозвался он, не открывая глаз.

Она с упоением рассматривала его лицо. Какое оно прекрасное, кожа прозрачная и бледная, как бумага, лоб исчерчен тонкими морщинками, и две глубокие бороздки тянутся от носа к уголкам губ. Такое лицо предназначено выражать только самые возвышенные чувства, доступные человеку.

— Каким видением? — не отступалась Налини. Он не ответил, но она настаивала: — Я хочу услышать, хочу, чтобы ты сказал красивыми словами.

Он улыбнулся ее просьбе, приподнялся и еще раз поцеловал ее.

— Нет таких красивых слов,— сказал он.

— Нет есть, есть! Вспомни Чосера и Поупа! Скажи, ты сам не пишешь стихов, Норман? Можешь не отвечать: знаю, что пишешь. Ты на самом деле поэт, верно? В глубине души.

— Я уже много лет ничего не писал.

— А теперь снова начнешь, я знаю.

Он усмехнулся и ответил:

— Мне уже поздно затевать что-то заново.

Ну, таких разговоров она не могла допустить. Когда он ссылался на свои сорок лет, на семью, ограниченные средства, она только отмахивалась и говорила, что теперь все будет иначе. Как именно иначе, она не уточняла да, по правде сказать, особенно и не задумывалась, знала только, что отныне перед ними открываются совершенно новые, широкие горизонты. Мыслимо ли, чтобы при таких чувствах хоть что-то в жизни осталось по-прежнему. Но пока что она согласна потерпеть. Ей еще два года тут учиться до окончания курса, и хотя, конечно, было бы замечательно жить вместе, под одной крышей, но раз это невозможно, она останется с миссис Кромптон, а он — со своей семьей. Пройдут два года, там видно будет. Пока же у них есть их избушка и есть любовь — что еще нужно? Налини была полностью счастлива и всем довольна.

Нервничал и беспокоился он. На занятиях, она замечала, его тонкие пальцы лихорадочнее прежнего теребили края мантии, лицо осунулось, и часто видны были следы порезов при бритье, от капелек засохшей крови еще бледнее казались щеки. Как-то раз встревоженная Налини, не выдержав, подошла к нему после урока — якобы уточнить что-то по курсу, а сама шепнула: «Что случилось? Ты нездоров?» А он посмотрел на нее так испуганно!

Позже, когда они снова были одни в своем уголке, он сказал, что просит ее ни в коем случае больше не говорить с ним так в аудитории. Она рассмеялась.

— А что такого? Никто же не заметил.

— Неважно, заметили или нет. Я этого не хочу. Я от страха чуть не умер.

— До чего же ты робкий,— поддразнила она его.— Как мышка.

— Верно. И всегда такой был. Всю жизнь боялся разоблачения.

Налини в ответ только вздернула подбородок. Уж она-то никаких страхов не испытывала и впредь тоже не собиралась испытывать.

А он, помолчав, сказал:

— Меня, кстати, кажется, уже разоблачили. Эстелла.

— Ты ей рассказал?

— Когда так долго живешь с человеком, нет нужды ничего рассказывать.

Налини подумала и заявила:

— Вот и хорошо. Не надо будет больше скрываться.

Раз так, считала она, требуется предпринять кое-какие практические шаги, но какие именно, ей было не совсем ясно. Советоваться с Норманом не имело смысла, он расстроен и не в состоянии рассуждать здраво; да и вообще, она же хотела по возможности оградить его от забот. В прежней ее жизни, если надо было принять ответственное решение, всегда рядом была мама, и как же они, бывало, все обсуждали вдвоем

и взвешивали, сидя в большой и прохладной маминой спальне с включенным кондиционером! Но теперь мамы рядом не было, а если бы и была, в таких делах она не советчик. Бедная мамулечка, с любовью думала Налини, в сущности, прожила очень ограниченную жизнь, все у нее шло своим установленным чередом, по накатанной колее: замужество, дети, старость. А настоящая жизнь ей только и знакома что из книг да по воображению.

Университетские подружки-англичанки тоже не годились в наперсницы в таком важном деле. Налини их всех любила, и Мейв, и остальных, но относиться к ним всерьез теперь уже не могла. Потому что они были какие-то несерьезные. И заботы у них были пустяковые; даже когда они заводили романы с однокашниками, их чувства оказывались незначительными, во всяком случае далеко не такими глубокими и всепоглощающими, как чувства Налини. Один раз у нее с Мейв был долгий разговор по душам. Собственно, говорила в основном как раз Мейв. И происходило это у нее в комнате, где было очень уютно, стоял диван и торшер с оранжевым абажуром и горел настоящий огонь в камине. Девушки сидели на полу перед камином и пили кофе из глиняных кружек. Мейв рассуждала о будущем — она надеется получить стипендию для продолжения занятий и написать дипломную работу на тему «Политические памфлеты первой четверти XVIII века», а для этого надо будет ездить в Лондон и работать в читальном зале библиотеки Британского музея. И обо всем этом она рассуждала так размеренно, вдумчиво, вытянув перед собой длинные ноги в коричневых вязаных чулках, прислонившись затылком к креслу и задумчиво пуская вверх дым сигареты. А Налини сидела, поджав ноги под себя, ей так было привычнее, и голубое сари клубилось вокруг нее, словно бледное облако; иногда она поднимала руку — поправить прядь волос или складки сари,— и золотые браслеты брякали на локте. Она была словно какое-то нездешнее, неземное существо в этой комнате с книгами на полках, с кипой конспектов на столе и с приколотым к стене рисунком Генри Мура. Хотя на самом деле неземной тут была как раз не Налини, а рослая, основательная Мейв. Ну, можно ли, недоумевала Налини, стараясь сочувственно слушать рассуждения подруги, можно ли так серьезно относиться к такому несерьезному будущему? И вообще, разве это будущее — сидеть целыми днями в библиотеке Британского музея? Бедняжка Мейв, такая цветущая, крепкая девушка, яркий румянец, красивые каштановые волосы, а даже отдаленно не представляет себе, какие сокровища, какие сказочные возможности таит в себе настоящая жизнь!

Скорее понимания можно было ждать от миссис Кромптон. Она, по крайней мере, страдала из-за своей потери, а раз страдала, значит, сознавала цену утраченному; она испытала женское горе и, значит, заключала Налини, должна иметь представление и о женском счастье. Ладить с миссис Кромптон было не так-то просто. Та была женщина властная, строгая, в доме у нее царила железная дисциплина — каждая вещь, любая мелочь имела свое место, для каждого дела отведено свое время суток. От десяти до пяти нельзя даже чайник вскипятить, раньше двенадцати дня не разрешалось включать радио. И телефонные звонки не поощрялись. Налини, привыкшая дома к жизни непринужденной и свободной, была сначала ошарашена такими строгостями, но потом без особого труда приспособилась и изо всех сил старалась ублажить суровую хозяйку. В результате миссис Кромптон ей доверяла, даже, возможно, симпатизировала — насколько она вообще была способна к добрым чувствам (то есть не очень — сердечностью она не отличалась). Вечерами они часто сидели вместе, что устраивало обеих, так как Налини со своей стороны стала тоже предпочитать общество миссис Кромптон университетским компаниям.

А миссис Кромптон по вечерам преображалась. Когда кончался день забот и обязанностей, когда шторы на окнах задернуты, кресла придвинуты к огню — в этот уютный мирный час ее дневная строгость

не то чтобы пропадала, но все-таки слегка смягчалась и просыпались воспоминания о мистере Кромптоне — не столько, правда, о совместной жизни с ним, сколько о том, как они в конце концов расстались. Это событие в ее жизни значило для нее, по-видимому, больше, чем все остальное, что было раньше или потом. Оно задело тогда — и задевало при каждом воспоминании — все струны ее души, и они снова и снова принимались дрожать от мощного избытка чувств. У Налини ее чувства вызывали восхищение: ведь это жизнь, это страсть, это настоящая жизнь женщины. Налини готова была без конца слушать рассказы миссис Кромптон и с неизменным сочувствием воспринимала слезы, которые исторгало воспоминание у этой твердокаменной женщины. Налини наслушалась от нее не только о мистере Кромптоне, но и о той, другой женщине, разлучнице. Был один эпизод, который миссис Кромптон рассказывала с особым упоением, а Налини слушала с захватывающим интересом. Как та женщина однажды пришла к миссис Кромптон (вдруг без предупреждения явилась утром, когда она убирала пылесосом спальню) и стала просить: отдайте, мол, мистера Кромптона мне. Конечно, разлучница была в выгодном положении: миссис Кромптон в халате, на голове косынка, а у той свежая прическа, модный костюм красного цвета, туфли и сумочка в тон; но все-таки миссис Кромптон сумела сохранить достоинство — сдержала гнев, ни разу не повысила голос, а просто твердо и отчетливо высказала свои неколебимые убеждения — и довела ту женщину до слез, пришлось ей пойти в ванную, подвести глаза перед уходом.

Налини, отправляясь к Эстелле Гривз, позаботилась надеть самое плохонькое сари — не хотела выставлять жену Нормана совсем уж в невыгодном свете, и без того куда ей с ней тягаться. Но что она, оказывается, такая непривлекательная с виду, этого Налини даже не ожидала. Она была просто поражена и потом все добивалась у Нормана: «Как же ты мог на ней жениться?»

Норман, запустив пальцы в волосы, молчал. У него были темные круги под глазами.

— Она и хорошенькой-то никогда не была, это же видно. Ну, может, разнесло ее потом, но все остальное... И она ведь старше тебя.

— Мы одного возраста.

— А выглядит гораздо старше.

— Бога ради, замолчи,— сказал вдруг Норман.

Налини удивилась, но решила, что лучше ему не перечить. День стоял такой чудесный, лучше всего просто молчать и любоваться природой. В неподвижном воздухе уже ощущалась близость зимы. Прозрачно-хрустальная ясность льдисто сквозила, и пышные краски минувшей осени, еще оставшиеся отдельными пятнами в лугах, на деревьях, на живых изгородях, казались экзотической роскошью.

— Давай погуляем немножко,— сказала Налини и взяла его под руку.

Он высвободил локоть.

— Зачем ты это сделала? — спросил он со страдальческим недоумением.— Какой черт тебя дернул?

— Хотела очистить атмосферу,— выспренно ответила она. И добавила еще выспреннее: — Я не выношу лжи.

Его всего передернуло. Он спросил:

— Ты с ней таким же языком объяснялась?

— С ней? — Налини пожала плечиком и обиженно надула губы.— С ней вообще невозможно разговаривать. Только заговоришь о чем-то серьезном, как она вскакивает и бежит на кухню — запеканка у нее подгорает. Ах, Норман, Норман, как ты это терпишь? Как ты можешь жить с этой женщиной, и в такой обстановке? У тебя дом такой... я не знаю... такой запущенный. Не убрано, все переломано. Не могу представить себе тебя среди всего этого, при твоей любви к литературе, к прекрасному...

Он поморщился и отошел от нее. Вместо того чтобы углубиться в лес, он зашагал по опушке в направлении соседнего дома, хотя обычно они в ту сторону не ходили, чтобы не встречаться с живущими там стариками. Но сегодня, в расстройстве, ему было все равно.

— Почему ты на меня сердишься, Норман? — догнала его Налини.— Я правильно все сделала.

— Нет,— он остановился и обернулся с тоской и мукой во взгляде.— Ты очень, очень неправильно сделала.

Налини просительно коснулась его бледной щеки. Ручка у нее была нежная, маленькая, запястье, на котором она носила три золотых браслета, гибкое и узкое. Вдруг он схватил ее руку, повернул вверх ладонью и покрыл поцелуями. Они возвратились в свою избушку, заложили палкой дверь, и он сжал ее в объятиях с той же лихорадочностью отчаяния, с какой только что осыпал поцелуями ее ладонь. Она пришла в хорошее настроение, а он остался еще более виноватым и подавленным, чем раньше. Заправляя рубаху и застегиваясь, он сказал:

— Знаешь, я на самом деле не должен больше с тобой видеться.

Она засмеялась.

— Ах ты мой глупенький,— ответила она нежно и радостно, со своим мягким индийским акцентом.

Но с этого времени он стал часто повторять, что им пора расстаться. Он корил себя за то, что опять пришел на свидание, и говорил, что будь у него хоть немного характера, она бы его больше не увидела. Налини эти угрозы не тревожили, она знала, что все равно он их не выполнит, но иногда она начинала сердиться.

— Это все твоя жена тебя подговаривает.

Он смотрел на нее как на сумасшедшую. Но она не отступала:

— Она меня ненавидит.

— Этого она не говорила. Но конечно, не ждешь же ты от нее, чтобы...

— А мне-то что. Я тоже ее ненавижу,— объявила Налини.— Она дура.

— Никто не считает Эстеллу дурой.

— Я с ней виделась и сама знаю. Ей просто нечего сказать, а что ей говорят, она не понимает. С ней невозможно интеллигентно разговаривать.

— О чем же она, по-твоему, должна была с тобой интеллигентно разговаривать?

— Как о чем? О тебе. О нас. Мало ли.

Он молчал, так что, по ее понятиям, спор был решен в ее пользу. Она принялась приводить в порядок волосы. Вынула все шпильки и дала ему подержать. Но он, оказывается, еще не все сказал.

— Очень нехорошо было с твоей стороны — вот так взять и явиться в наш дом. Тебе что, нужна была бурная сцена страсти и отречения, какие так обожают в Индии?

— Не смей плохо говорить о моей стране!

— А я ничего плохого о твоей стране и не говорю!

— Нет говоришь. Это твоя жена тебя научила. Я с первого взгляда заметила у нее антииндийские настроения.

— Давай прекратим разговор о моей жене, ладно?

— Нет не ладно. Я буду говорить о ней сколько захочу. По-твоему, я что, падшая женщина, не достойная произносить имя твоей жены? Дай сюда шпильки.— Она выхватила их у него из руки и сердито вонзила одну за другой в свои заложенные волосы.— И вот что еще я тебе скажу. Теперь все переменится. Мне эти тайные отношения надоели. Ты должен развестись.

— Отличная мысль. А ты не забыла, что у меня четверо детей?

— Хоть бы десять, мне все равно. Ты должен оставить эту женщину. Она или я — выбирай!

Норман встал и вылез из избушки. За порогом обернулся и тихо сказал:

— Ты знаешь, в таких сценах я не силен.

И зашагал через сад к автобусной остановке на шоссе. Такой худенький и легкий с высоко вскинутой головой. Гордо ретировался. Так и ушел, прямо держа голову, не обернулся даже, когда Налини крикнула вдогонку:

— Боишься? Трус! Тебе бы и пирожок испечь и муку сберечь!

Дня через два они помирились. Но остались каждый при своем мнении: он — что им надо расстаться, она — что он должен развестись. Теперь они часто ссорились. Ей нравились эти стычки и сами по себе, и потому, что так упоительно было потом мириться. А он находил их безобразными и обзывал ее сварливой бабой и базарной торговкой — надо же было такое выдумать, разве она походила на сварливую бабу или базарную торговку, эта нежная красавица в шелку и золоте, вся такая ласковая, мягкая, грациозная?

Однажды он ее спросил:

— Ну хорошо, допустим, я разведусь, а дальше что? Что ты предлагаешь? Останемся жить здесь, я буду по-прежнему преподавать в университете и содержать две семьи на мое царское жалованье? Так, что ли?

— Нет, не так,— поспешила с ответом Налини.— Я увезу тебя в Индию.

Эта мысль его очень позабавила. Он представил себя в роли белого мальчика-раба, которого ласкают и балуют и учат играть на флейте. Он поинтересовался, какая же у них будет жизнь в Индии, и Налини принялась рассказывать, как оденет его в шелковую пижаму, напомадит ему волосы и будет накручивать себе на палец, а дважды в сутки, утром и вечером, будет устраивать ему молочную ванну.

С этих пор они стали играть в такую игру: воображали себя в Индии, он возлежал на ковре, разостланном на полу, а она клала его голову себе на колени, расчесывала ему волосы, гладила, ласкала и массировала ему щеки — приятно, конечно, но совершенно ясно — так дела с места не сдвинешь.

> «Миленькая мамулечка! Как мне сейчас не хватает наших задушевных разговоров у тебя в спальне! Мне столько надо тебе рассказать. Дорогая мамулечка, я встретила человека, с которым хочу связать свою жизнь, и ты тоже, я знаю, его, конечно, полюбишь. Он в точности такой, о каком мы всегда мечтали,— чувствительный и тонкий, как английские поэты».

Но это письмо осталось неотправленным. Мама издалека, возможно, не все сможет понять. И потом, она пока не в состоянии им ничем практически помочь. Сейчас, например, перед ними возникла новая трудность: наступила зима, и стало так холодно, что совершенно невозможно пользоваться избушкой. Порывы ледяного ветра проникали в щели между досками, и у Нормана все время зуб на зуб не попадал. А куда деваться? Норман говорил, что некуда, что просто им надо перестать видеться, это ясно, естественная смена времен года диктует то, что давно уже подсказывали соображения морали. Такие пораженческие речи Налини научилась пропускать мимо ушей.

Примерно в это время она поделилась своей заботой с миссис Кромптон. Это получилось как бы само собой однажды вечером, когда они сидели вдвоем у камина — миссис Кромптон праздно сложив на коленях крупные руки, а Налини вышивая себе тамбуром розовую ночную кофточку. По временам она опускала работу и сидела, глядя перед собой трагически расширенными глазами. В комнате стояла тишина, только тихо гудел электрический камин. Налини вздохнет. Потом миссис Кромптон вздохнет. Потом снова Налини. Слова назрели и сами просились с языка. И вскоре они были сказаны. Налини поведала ей все. Про Нормана, и про Эстеллу, и про детей, и про избушку, и про холод. И что Норман собирается развестись и уехать с ней в Индию. Миссис Кромптон слушала молча, но как будто бы сочувственно. А позже, когда

они попрощались и Налини поднялась в свою комнату и уже переоделась в нейлоновую ночную рубашку с начесом, миссис Кромптон явилась и сказала, что разрешает Налини приводить Нормана в дом. Налини издала радостный возглас и повисла у миссис Кромптон на шее, как бывало дома у мамы, когда мама делала ей что-то милое и приятное, и, задыхаясь от переполнившего ее чувства признательности, только произнесла: «Ах, вы моя хорошая, добрая, замечательная!»

Норману приходить к ней домой было очень не по душе. Он все время повторял, что миссис Кромптон наверняка подслушивает за дверью. Один раз Налини неожиданно распахнула дверь, чтобы он убедился, что там никого нет, но он только покачал головой и сказал, что ей все слышно снизу через потолок. Что правда, то правда — присутствие миссис Кромптон в доме они ощущали постоянно, даже Налини. То слышали ее шаги, и им делалось не по себе; то, наоборот, не слышно было ни звука, и от этого было еще неуютнее. Когда Норману пора было уходить и они спускались вниз, миссис Кромптон всегда поджидала в прихожей.

— Выпили бы чашечку чаю перед уходом,— приглашала она, но он отказывался под каким-нибудь предлогом и быстро уходил вон. А она расстраивалась, даже немного обижалась, и от Налини требовалось немало усилий, чтобы опять ее умиротворить.

Налини у себя в комнате навела такую красоту — всюду фотографии родных, и вышитые подушечки, и по стенам индийские паласы,— но Норман все время чувствовал себя стесненным. Иногда даже вообще пропускал свидание, ссылаясь на какие-нибудь дела, присылал записку, что у него лекция в вечерней школе или что зубы разболелись, надо к врачу. Тогда и миссис Кромптон, и Налини обе разочарованно выключали свет и отопление и рано ложились спать.

Как-то Налини бесстрашно подошла к нему после занятий и сказала:

— Ты не был целую неделю.

Он поднял глаза, такие светлые, почти прозрачно-голубые и удивительно ясные в окружении теней, наложенных заботами и бессонными ночами, и посмотрел не на нее, а куда-то выше ее головы. Но вечером пришел. И сказал:

— Я же просил тебя этого не делать.

— У меня не было выхода, ты так долго не появлялся.

Он вздохнул и провел ладонью сверху вниз по лицу.

— Ты устал,— посочувствовала Налини.— Бедненький ты мой, ты слишком много работаешь.

Она быстрыми грациозными движениями под нежный перезвон золотых браслетов взбила подушки на кровати и разгладила атласное покрывало. Но он не лег. Он даже не снял пальто.

— Я прошу, отпусти меня, Налини,— сказал он тихо и хмуро.

— Отпустить? Куда, мой любимый?

— Я хочу, чтобы мы с тобой больше не встречались.

— Опять за свое?

— Нет, на этот раз совершенно серьезно. Прошу тебя.

Он обессиленно откинулся на спинку кресла.

— Ты опять говорил со своей женой! — укоризненно произнесла Налини.

— С кем же мне говорить, если не с женой. Она ведь моя жена, Налини. Мы прожили вместе долгие годы, всякое у нас бывало. Это немалого стоит. Я человек недопустимо слабохарактерный, и ты должна меня простить.

— Ты не слабохарактерный, а чувствительный. Художественная натура.

Он безнадежно, беспомощно отмахнулся. А потом встал с кресла и торопливо сбежал вниз. Миссис Кромптон ждала наготове у лестницы. Она произнесла:

— Выпили бы чашечку чаю перед уходом.

Норман даже не ответил, а выскочил на улицу — воротник поднят, вид какой-то виноватый, подозрительный. Миссис Кромптон, прищурив глаза, смотрела ему вслед.

Миссис Кромптон все рассказала своей квартирантке о мужчинах: какие они эгоисты, как стремятся получить свое, а потом — ищи ветра в поле. И приводила в пример мистера Кромптона. Но Налини не верила, что Норман такой же, как мистер Кромптон. Норман страдалец. Она не могла смотреть на него во время занятий, ей слишком ясно было видно, как он страдает. Ужасное настало время. Зима подходила к концу, снег — сколько его еще лежало! — весь размок и был такого же серого цвета, как и небо, безрадостно повисшее над самыми крышами. Налини тут только ощутила холод. Она надевала толстый свитер и пальто поверх своего сари, ноги обувала в теплые сапожки. Ходить такой закутанной ей было очень неприятно, ей казалось, что вся эта одежда ее душит. Она не находила себе места — к девочкам из колледжа ее совсем не тянуло, и общество миссис Кромптон тоже перестало привлекать. Она почти не занималась теперь и получала по всем предметам очень низкие оценки. Один раз ее вызвал профессор и сказал, что ей надо либо подтянуться, либо бросить университет. Она расплакалась; он думал, из-за того, что́ он ей сказал, а на самом деле совсем не поэтому, она теперь часто плакала, слезы вдруг брызгали из глаз в самые неожиданные моменты. Она подолгу лежала в кровати, обливаясь слезами. Металась, ворочалась с боку на бок и все думала, ломала голову. Ей было совершенно непонятно, как могло у нее все вдруг кончиться ничем? Они были так счастливы, и все шло так замечательно, так чудесно, и после всего как же он мог вернуться в тот дом с подтекающими кранами, к той совсем неинтересной женщине и ко всем этим своим детям?

Но дни становились теплее. В том году весна пришла дружная, крокусы расцвели даже в палисаднике у миссис Кромптон. Налини почувствовала себя лучше. Не то чтобы хорошо, но лучше. Она снова стала выходить на прогулки с подружками. Иногда они собирались и пили вместе чай или ходили на концерты в Музыкальное общество. Совсем как в прежние времена. Однажды в воскресенье они с Мейв отправились на прогулку за город. На лугах паслись коровы и остриженные овцы, а на живых изгородях набухли бессчетные почки, вот-вот лопнут. Налини вспомнила, как они гуляли с Мейв в прошлом году. Мейв была тогда в коричневых чулках и раздражала ее своими разговорами об англо-саксонском сдвиге гласных. Теперь чулки у Мейв были ажурные, и она говорила о своих шансах на получение стипендии — есть и другие претендентки, довольно сильные, например, Дороти Хорн, которая занимается поэтами-метафизиками. А Налини слушала с доброжелательным интересом. Воздух наполняли головокружительные ароматы весны, по небу гуляли белые облачка, похожие на ягнят. Налини было жалко подругу, жалко их всех — и Дороти Хорн, и всех остальных девушек, и миссис Кромптон, и Нормана...

«Милая мамулечка! Какая ты у меня замечательная умничка! Да, ты права, мне и вправду последнее время живется невесело... Ты так хорошо меня знаешь, наши сердца открыты друг другу даже на таком расстоянии. А здесь люди живут не так. Просто не верится, что Шекспир, или Китс, или Шелли, и другие были англичанами! Я думаю, они были индийцами, по крайней мере, в прошлой жизни!! Голубчик мамочка, поговори с папой, пусть он позволит мне приехать на большие каникулы. Я соскучилась и мечтаю поскорее опять оказаться вместе с вами. Здесь преподавание, по-моему, поставлено не так-то уж и хорошо, нет никого, кто мог бы сравниться с мисс Субраманьям из нашей старой «Александровки» — вот кто действительно любит литературу и умеет внушать это чувство своим ученикам.

Целую тысячу миллионов раз, ангел мой мамулечка».

Камала Дас

Перевод с английского А. ШАРАПОВОЙ

«Буржуазная постель — крест, на котором распята женщина... Мужчины не влюбляются, они загораются похотью, а женщина погибает от истинной самоубийственной любви...»

Так говорит Камала Дас, которой нужна не эмансипация или равноправие, а свобода. Свобода выражать свое женское естество в жизни, в стихах и в прозе. Она умеет это делать — не зря же она награждена премией за «бесстрашный журнализм», а о том, чего ей это стоит, она с достаточной откровенностью рассказывает в своих произведениях.

Камала Дас двуязычна, она пишет на английском — стихи и на своем родном малаялам — прозу. Впрочем, кто может сказать, что английский не родной ее язык? Камала Дас награждена и множеством литературных премий, как индийских, так и международных, в том числе премией Азиатского ПЕН-клуба.

«Моя история» — так она назвала свою автобиографическую книгу, выдержавшую уже несколько изданий. Там есть такие строки:

«Куда бы ни отправился писатель, ему предшествует дурная слава. Неписатели писателю не доверяют. И это естественно — ведь писатели не похожи на прочих людей, разве что внешне есть сходство. Разум, субстанция невидимая, во внимание не принимается. Даже птицы летают каждая на своей высоте. Те, которые не рискуют взлететь высоко в одинокое небо, постоянно недоумевают, отчего там летают орлы, зачем они кружатся и кружатся, как балерины.

Загадочная суть писательства ускользает от неписателя. Тот видит нелепую писательскую одежду и эмоциональные крайности. Когда же читательский разум наберет достаточно сил, чтобы прочесть потаенные мысли, писатель отпрядывает от читательской скрытой враждебности и льнет к подобным себе — к мечтателям, рожденным с обломком крыла на лопатке.

...Я удалилась в самодельную пещеру и стала жить в безопасности и анонимности. Там я писала разные истории и стихи. Вокруг меня были книги, но не было ни подруги, которая донимала бы меня добрыми советами, ни родни, которая бы мне указывала на публичный позор моего странного образа жизни: подумала бы хоть о семье...»

М. С.

* * *

Они приводили ее к этому постепенно:
сначала знакомый — себялюбец и трус,
перепугавшийся ее чувства; дальше —
муж, который вовсе ее не любил,
а лишь хранил неусыпный над нею надзор;
наконец, орава молодых шалопаев —
она прятала лицо на широкой груди в крыльях гигантского махаона,
вдыхала запах разгоряченного тела
с одной лишь надеждой: забыться, забыть,
навсегда забыть, и каждый из них потом
говорил: «Не люблю, не дано, не в моей, как видно, натуре,
но тебе ведь неплохо со мной...» И куда ей было деться
от этих благоразумных — только расплакаться.
Ей стало казаться, что и постель существует
не для сна, а для слез. «Я замкнусь в четырех стенах,—
говорила она,— я воздвигну стены из слез».
Муж запирал ее, уходя по своим делам, в комнате с книгами,
солнечное пятно лежало возле двери, как желтая кошка,—
все-таки друг. Но лето окончилось, и однажды,
в урочный час запирая дверь, он, ее муж,
увидел уже не пятно, а только луч,
который становился все тоньше, и как-то вечером
он обнаружил в доме холодную, мертвую женщину,
для которой уже не существовало в мире мужчин.

Костер у Кэдл-Роуд

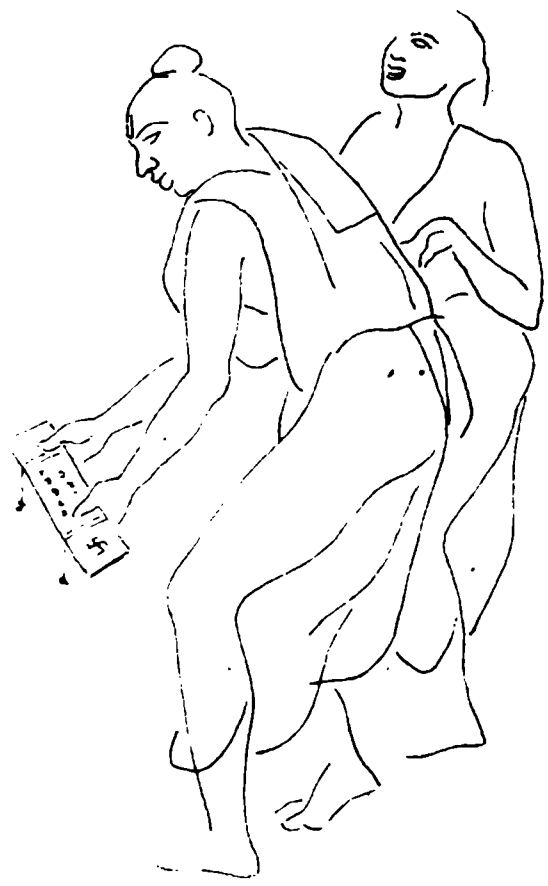
У моря, недалеко от Кэдл-Роуд,
Предавали огню,
Словно курительные палочки,
Тела бедняков,
Смуглые, худые тела,
Оплетенные гирляндами
Календулы и туберозы.
Помнится, в прошлое воскресенье,
Как только мы закончили чаепитие,
Принесли первого,
Умащенного так,
Как душатся потаскушки,
И три старухи брели поодаль,
Оплакивая умершего
Плачем отчаявшихся и нищих.
Огонь подкрался к телам
И рванулся ввысь,
Словно зверь из засады.
Потом сборщики трупов
Побросали гирлянды в море, и над волнами
Взвилась стая чаек.
«Пива бы выпить,— сказал мне муж,—
Такая жара...
На редкость знойный сегодня день».
А я подумала, что должна
Сесть за баранку и мчаться в город —
Хотя бы час провести с любимым.
Мне так не хватало покоя.

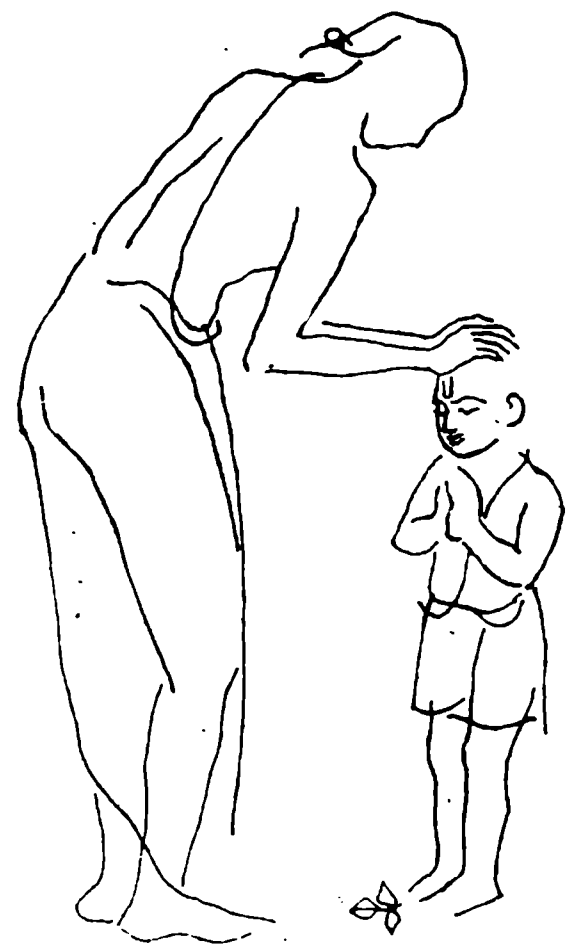
Дом бабушки

В этом доме, ставшем таким далеким,
Мне подарили любовь... Потом бабушка умерла,
И дом утонул в безмолвии. А я была еще маленькой,
И не умела читать, и мне чудилось,
Что в книгах водятся змеи,
И кровь у меня застывала, как в небе луна.
Сколько раз я мечтала туда пойти,
Заглянуть в слепые глазницы окон
Или просто послушать застывший воздух
И зачерпнуть в отчаянии
Пригоршню тамошней тьмы
И принести ее в дом, чтоб лежала в дверях
И стерегла, как собака, мой сон...
Ты не поверишь, мой милый,
Что я жила в таком доме,
Желанная, гордая... А теперь я
Топчусь у чужих дверей,
Прося посторонних принять от меня
Хотя бы крупицу любви.

Жаркий полдень в Малабаре

Вот полдень в Малабаре — полдень нищих,
С их подвываньями, и ходоков,
Спускающихся в это время с гор
И приносящих попугаев в клетках
И ящички с билетиками счастья;
Худых и черных девушек Куравы
С глазами древних статуй, нараспев
Читающих по линиям ладоней;
И продавца браслетов — он продаст вам
Зеленый, синий, голубой и красный
Браслет, припорошенный легкой пылью;
И чужаков, прибредших издалёка:
Их пятки так потрескались, что в дом
Доносится их скрежет о ступени;
Бродяг, заглядывающих мимоходом
В дома: глаза их, залитые солнцем,
Не различают в полумраке комнат
Предметов... А потом с такой же грустью
Они в колодцы обращают взоры;
И странников, что смотрят исподлобья,—
Они загадочны и молчаливы,
А если иногда заговорят,
Их голос прозвучит как голос джунглей...
Горячий полдень для лихих людей,
Для вольных мыслей, для шальных объятий —
На родине моей, там, в Малабаре...
А я от этого так далека теперь.





ВИКРАМ СЕТ

Золотые ворота

РОМАН В СТИХАХ. ФРАГМЕНТЫ

Перевод с английского Г. АГАФОНОВА

Роман в стихах «Золотые ворота» [1], вышедший в США в 1986 году, принес автору, индийскому писателю Викраму Сету, и славу, и популярность. Отчасти потому, что Викрам Сет нашел для остросюжетного романа о «лишних людях», чья молодость совпала с тихими восьмидесятыми, необычную для нашего современника форму, написав его «онегинской строфой». Критики отмечали: «Золотые ворота» — это и поэтическое произведение, и настоящий, добротный роман. «Выдержанный в реалистической манере, с последовательно развивающимся сюжетом, с характерами, он повествует о хитросплетениях людских судеб... И мы уже не поражаемся мастерству стихотворца, но радуемся и печалимся вместе с его героями» («Лос-Анджелес таймс»). Роман этот невозможно читать без улыбки — в нем присутствует не только ирония, но и самоирония, в чем нетрудно убедиться, прочитав выбранные переводчиком фрагменты. Это так называемые «лирические отступления» и — жанровая сценка: «зажигательная» речь пастора на антивоенном митинге.

5.1

Закончил я неделей раньше
Писать четвертую главу,
Уже мечтал, что будет дальше,
Каким маршрутом поплыву...
Тут в честь меня устроил вечер
(вино-закуска, тосты-речи)
Сам Томас Кук (!), ведь вышли в свет
Мои заметки про Тибет.
Редактор руку жмет влюбленно:
«Что пишете?» — «Роман».— «Ого!
Надеюсь, мистер Сет, его...» —
«В стихах». Редактор стал зеленым:
«Да, мысль свежа и хороша...» —
И как зарезал без ножа.

© 1986 by Vicram Seth

[1] Название моста в Сан-Франциско.

5.2

Профессор, критик и издатель —
Все недовольны. Я готов
Признать: убог любой писатель
На фоне этих трех китов.
Что за слюнтяйство — быть поэтом!
Жизнь прозаична — знай об этом.
Процесс стихосложенья прост;
Продать стихи — вот в чем вопрос!
И я, подавленный, не скрою,
Побрел домой. На сердце грусть.
Умолкла лира. Ну и пусть.
Я для поднятия настроя
Товарищей к себе позвал
И все как есть им рассказал.

5.3

Чем эти строфы обосную?
И чем — морщины женских рифм?
Экстравагантность наносную?
Могу ли я прибегнуть к ним,
К онегинским забытым формам,
И печь свой хлеб по старым нормам
В пекарне Рейгана? Едва ль.
Сгорит мой хлеб. Но очень жаль,
Что вот умру и лягу в гроб я
И ничего не докажу...
Мне нравится, что́ я пишу.
Пусть критики ломают копья.
Получится — прекрасно; нет —
Теория найдет ответ.

5.4

А почему четырехстопным?
Поверь, мой друг, он был велик,
Но перед наглым пятистопным,
Тиранящим родной язык,
Померк. Четырехстопным ямбом
Решил писать я с тем хотя бы,
Чтоб уважение чуть-чуть
К размеру гордому вернуть.
Неужто это так серьезно?
Да. Опоздавшего не ждут;
Слова и рифмы — те придут,
Улягутся, но будет поздно;
Придут слова, да вот беда —
Меня не будет. Что тогда?

5.5

Прости, читатель, я кончаю
Свой монолог. И лишь теперь
Строфу одну я посвящаю,
Последнюю, уж ты поверь,
Великолепному творенью,
Ключу живого вдохновенья,
«Онегину». Не поленись,
Прочти: у Пушкина все ввысь
Летит, блестит, кипит и бродит,
Дурманит... Мне не передать,
Какая это благодать —
Пить в джонстоновском переводе
Шампанское прекрасных слов,
Вскруживших множество голов.

7.16

Кто за, кто против — все умолкли.
Священник говорит: «Друзья!
Родные, братья! Век недолгий
Отпущен нам... Да, кстати, я
Не слишком тихо? Задним слышно?
Ну, хорошо. Так, значит, вышло,
Что у людей короткий век
И тратит время человек
На славу, власть или карьеру,
Но всё погибнет вместе с ним.
Так, об одном мы говорим:
Покойный вожделел не в меру
И ради денег жизнь отдал;
Другой от женщин пострадал;

7.17

Тот вникнул в тайны термояда,
А этот бегал и скакал
Быстрее всех; а кто-то рядом
Работой в гроб себя вогнал;
Другой же... Только кто ответит
О них, о нас ли,— кто на свете
Рассудит, прав ты или нет?
Однако есть один секрет,
Как различить добро и зло нам,
Ум и тщеславье, тьму и свет:
На пользу жизни? Иль во вред?
Ответ не будет безусловным,
И все же лишь такой подход
Поможет сделать выбор — тот,

7.18

Который нынче перед нами:
Чего от жизни нам желать?
Нестись, как лемминги, стадами
На смерть? Или, сплотясь, восстать
Против убийственной машины
Бездушия, взамен бензина
Сосущей деньги из казны
Для разжигания войны?
Я вижу, среди нас есть дети;
Я рад, что взяли вы детей
На праздник жизни. Веселей!
Нас скоро схватят и вот в эти
Машины школьные впихнут.
Как дети будем мы. И тут,

7.19

Пока мы все не под арестом,
Нам выбор сделать предстоит:
Наш дом горит. Где наше место?
Среди пожарных? Или стыд
Оставил нас — пусть хоть весь город
Горит огнем, а мы с позором
Умоем руки. Не беда —
Пусть погибают города...
Нет! Всё не так. Наш выбор сделан.
Мы поднимаем голос свой,
Печальный, но такой живой,
Все вместе против беспредела,
Убийств, насилия... Пусть мрак
Рассеется! Да будет так!

Автор сам о себе

Писатель Викрам Сет по просьбе
Редактора Энн Фридгуд сам
(Иначе ей писать пришлось бы)
Здесь о себе расскажет вам:
Он в пятьдесят втором в Калькутте
Родился. Рифмы («тутти» — «фрутти»)
Освоил к трем годам. Потом
Учился, получил диплом
Демографа, экономиста,
Прошел Тибет и написал —
«У озера на небесах» —
Об этом книгу. Вот и пристань.
К калифорнийским берегам
Причалил он и пишет там.

М. САЛГАНИК

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ПРОШЛОГО

Индия — страна чудес, их просто и не перечислить, «далекой Индии чудес»: что может быть банальней?

Однако со времен поистине незапамятных Индию именно так описывали путешественники — и алмазов там не счесть, все верно, и звери там невиданные, включая единорога и огненную птицу, и реки там текут молоком и медом, а также светлым вином и оливковым маслом, и еще многое.

Но, похоже, чужеземцев наводило на мысль о чудесах нечто иное — боги Индии, ее многорукие и многоглавые боги, которым жители этой страны поклонялись страннейшим образом, утверждая к тому же, будто боги могут каждого человека наделить сверхъестественными свойствами.

Для этого одни удаляются от мира, проводят жизнь в постах и молитвах, по словам греческого автора, «стойко переносят добровольно принятые на себя удивительные тяготы для тела». Отшельники обретают неслыханную мудрость, как, например, Дандамий, мудрец, к которому приходил Александр Македонский во время индийского похода.

Античные авторы почтительно именовали индийских мудрецов «гимнософистами», что в древней Руси было удачно переведено словом «нагомудрецы», но истолковано, конечно же, на христианский лад.

Христианские авторы попросту обошли молчанием то, что больше всего поражало других путешественников,— поклонение Индии богам, изображенным в непристойных позах в их великолепных храмах, и уверенность верующих, будто божественную мудрость можно постичь погружением в плотские радости совершенно так же, как и отказом от них.

Непостижимо! Как и то, что в быту индусы отличались строгостью нравов и, как тоже отмечали путешественники, «женщины их совсем не поддаются соблазну».

Мусульманские завоеватели, ведомые в битву своим незримым Богом, испытывали равное отвращение ко всем идолам, в любом их виде, так что поначалу они громили языческие капища. Правда, обломки использовались для возведения мечетей, так что во многих из них из-за коранических надписей выглядывают обворожительные *апсары,* небесные танцовщицы. Впрочем, прошло время, и мусульмане утратили охоту сражаться с чужими богами...

Эстафету приняли христианские завоеватели. Говорят, португальские солдаты били из пушек по скальному храму в Элефанте — только чугунные ядра могли выразить силу омерзения доброго католика, вызываемого видом гнусных статуй! Кровавые колониальные захваты получали благороднейшее оправдание: люди, возносящие молитвы тому, что солдату и в эротическом сне не приснится, откуда?! — могут быть только порождением сатаны.

Как было знать европейцам, сгибавшимся под бременем белого человека, что для индусов не существует сатаны, не существует средоточия абсолютного Зла, как не существует и абсолютного Добра? Все сущее, и в том числе разнообразнейшие боги, количество которых иногда кажется превышающим народонаселение Индии, все есть проявление Абсолюта, ни свойств, ни качеств, ни атрибутов не имеющего Единого — ибо в Нем все. В Нем и мужское начало и женское начало — они двуедины, но мужское начало, Пуруша, отождествляется со смыслом мироздания, а женское, Шакти, с энергией, потребной для его сотворения.

Абсолют — единственная реальность, и в «Вишну-пуране» сказано:

«Он вне природы, материи и творения, Он вне формы, цвета, имени, причины или следствия, Он не знает угасания, Он неразрушим и неизменен. О Нем можно лишь сказать — Он есть, и вселенная есть Его воплощение».

Вселенная как воплощенный Абсолют есть материализованное сознание, в различной степени проявляющееся в разных формах жизни: в человеке больше, чем, скажем, в горе или дереве, а принципиального отличия между ними нет. Конечно, человеку еще дана возможность осознанного действия, которой лишены другие формы жизни, человек может — и должен — развивать в себе способность осознавать Высшее начало, Абсолют; прорвав завесу непонимания, *майю,* он освободится от ограниченности и конечности материального мира. Для этого он должен идти предписанным путем, название которому *дхарма,* что весьма условно переводится как религия. Строго говоря, *дхарма* не религия в смысле, привычно вкладываемом в это понятие, а образ жизни, нацеленный на постоянное продвижение и приближение к реализации личности в Абсолюте. Именно поэтому так подробно регламентирована жизнь индуса: практически каждый его поступок, помысел или слово носит сакральный характер, ибо направлен на достижение все той же высшей цели. Поскольку время в Индии движется по кругу, делая относительным и прошлое, и будущее, то особым значением наполняется сиюминутность, миг Вечности, проживаемый нами, знаменитое «здесь и сейчас».

«Воскресная религия» немыслима для индуса, но зато — или потому — он исполняет свою *дхарму,* опираясь на две доброде-

тели: на *артху,* которая есть «приобретение и умножение практического знания, земли, золота, скота, утвари, друзей»; и на *каму,* то есть на чувственные наслаждения, на плотскую любовь. Гармонически сочетая работу духа, радости тела и заботу об экономическом благосостоянии, индус придет к *мокше* — к высвобождению души из пелен невежества, удерживающих ее в телесной оболочке. Вернее, вынуждающих душу переходить из одной телесной оболочки в другую, ибо смерти как таковой Индия тоже не знает.

«Веди меня от кажущегося к истинному, от тьмы к свету и от смерти к бессмертию»,— сказано в «Брихадараньяка-упанишаде».

В этом — смысл земного существования. И жизнь индуса разделена на четыре *ашрамы,* в идеале по двадцать лет каждая. Первые двадцать лет он *брахмачари* — сохраняя целомудрие, он изучает науку жизни; в следующие двадцать лет он *грихастха* — строит семью и дом, приумножает свое благосостояние; преуспев в мирских делах, он становится *ванапрастха,* он занимается благочестивыми делами и осмысливает пройденный путь, а после этого — если у него есть «после»,— отказавшись от семьи и от имени, он принимает *санньяс,* уходит в отшельники.

Так может поступить мужчина, так может поступить и женщина.

Испытывающий особое влечение к трудам духовным может и в молодости принять *санньяс* и «умереть для мира», дабы целиком отдаться поискам Истины. Индия высоко чтит таких людей, на каких путях ни искали бы они Истину, но едва ли меньшее почтение внушает к себе *грихастха*-семьянин, когда он строго следует *дхарме*-мать, благословенная детьми,— у каждого свой путь. Едина только цель. Известный философ С. Радхакришнан, который был и президентом Индии, писал:

«Широкое распространение получило представление о том, будто индуизм не снисходит до реальностей жизни, пренебрегает житейскими заботами и радостями, не предлагает мотивации, побуждающей к действию. Если бы духовность и повседневность не были соединены между собой, то духовная свобода превратилась бы в недосягаемый идеал, в предмет влечения редких визионеров. Между тем в индусской мысли едва ли можно найти обоснование концепции достижения духовной свободы ценой решительного разрыва с повседневностью. Напротив, индуизм предписывает человеку осознанно проживать свою жизнь, отрабатывая ее ценности и принимая ее удовольствия. Духовная жизнь должна интегрировать всю сущность человека, в глубину и в ширину, как его способность к погружению в глубокую медитацию, так и его способность к самозабвенному погружению в наслаждение. *Кама* касается эмоциональной сущности человека, его чувств и желаний. Человек, лишаясь своей эмоциональности, становится жертвой репрессивной интроспекции и начинает жить под непрекращающейся моральной пыткой. Реакцией на эти лишения может стать разнузданность, пагубная для разума и здоровья».

Признав права человеческого естества, более того, возведя плотскую любовь в ранг добродетели, Индия не могла не создать и науку о совершенствовании в этой добродетели. Так появилась, наряду с «Дхармашастрой» и с «Артхашастрой», и «Камашастра» — наука о взаимоотношениях мужчины и женщины.

Всемирно известная «Камасутра» — к сожалению, большинству читателей знакомая по сквернейшим переводам, изувечившим великий трактат,— это только одно из значительного корпуса произведений, составляющих науку о любви.

Ее автор, Ватсайяна Маллинаге, жил в период между I и IV вв. н. э., но судя по тому, скольких своих предшественников он называет, полемизируя со многими, к его времени наука о любви уже была достаточно подробно разработана. Причем наука эта носит отнюдь не светский, но сугубо сакральный характер — и в этом качестве не имеет себе параллелей среди священных текстов других мировых религий.

«Чувственные наслаждения,— пишет Ватсайяна,— подобны пище, ибо от них зависит физическое состояние. Они также являются наградой за соблюдение *дхармы* и *артхи.* А о связанных с ними недостатках следует думать так же, как и в других случаях: никто ведь не отказывается от приготовления пищи из страха, что ее могут отнять голодные, или от посева ячменя из-за того, что поле могут потравить животные».

Педантично и дотошно перечислив физиологические особенности различных типов мужчин и женщин, способы любви, наиболее соответствующие каждому типу, формы общения с юной девушкой и с многоопытной куртизанкой, настойчиво подчеркнув, что следует и чего не следует делать идеальным любовникам, Ватсайяна неожиданно заявляет:

«Правила науки любви должно изучить, но когда любовь вступает в свои права, то нет больше нужды ни в науке, ни в ее правилах!»

И Ватсайяна, и его последователи, скажем, Калияна Малла, автор совсем у нас неизвестной «Ананга-Ранги», предназначают свои наставления мирянам, людям, занятым не столько поиском высшей истины, сколько соблюдением праведного образа жизни, соответственно их наставления носят практический характер. Например, Ватсайяна советует женщине, колеблющейся в выборе между мужчиной влюбленным и мужчиной щедрым, выбрать влюбленного, поскольку от влюбленного, даже если он скуповат, можно добиться щедрости. А Калияна Малла прямо говорит, что цель его трудов — научить супругов избегать пресыщенности от однообразия любовных ласк.

Смешно было бы предполагать, будто Индия буквально следует науке о любви — или будто каждой супружеской паре досконально известны шестьдесят четыре способа любить, но вот мысль о греховности или постыдности отношений между мужчиной и женщиной индусу глубоко чужда и непонятна. Фрейду в Индии делать нечего.

Добродетельный путь *камы* — мирской вариант постижения иной, подлинной Реальности через единение с Шакти, женским началом вселенной. С точки зрения индуса оргиастическое постижение ничем не хуже — и ничем не лучше — аскетического;

просто существуют два разных способа высвобождения из пут незнания, прорыва через завесу, не дающую земному человеку увидеть Истину.

Вернемся к эротической храмовой скульптуре, так сильно оскорблявшей моральные чувства европейцев, пока они еще не пережили сексуальную революцию.

Эротические позы, соитие гетеросексуальное и гомосексуальное, сцены с участием животных, женщина с несколькими мужчинами или, напротив, мужчина с несколькими женщинами — вся эта *майтхуна* размещена на внешних стенах храмов. Внутри остается только *митхуна* — парные изображения богов с богинями, страсть сменяется нежностью; что же до святая святых — то там эротические мотивы начисто отсутствуют.

Переход пластически выражает важнейшую философскую концепцию Индии — явления выстраиваются в пары противоположностей во вселенной материальных форм, на уровне же подлинной реальности, где форм вообще больше нет, пары противоположностей являют свою единую суть. Мужчина и женщина, взаимодополняющие полы, есть земное проявление мужского и женского начал, начал двуединых, которые в Реальности составляют единство.

«Только в единении с Шакти способен Шива созидать» — значит, акт совокупления может быть отождествлен с актом сотворения, а ищущий Истину может в равной мере отождествлять себя с мужским началом, с Шивой, или с началом женским, с Шакти.

Шакти есть энергия, без возбуждения которой вообще невозможен никакой акт творчества.

Шесть *чакр,* энергетических центров, располагаются вдоль человеческого тела; коренной, нижний — *муладхара,* находится в основании позвоночника, верхний — над нашей макушкой. В *муладхаре* покоится свернутая в тугие кольца змея Кундалини. Приведенная в движение Кундалини начинает подниматься по каналу внутри позвоночника — *сушумне,* пронизывая на своем пути одну *чакру* за другой, возбуждая их энергию, возводя человека на все более высокий уровень сознания. Его сознание полностью преображается, если Кундалини, вытянувшись в вертикаль, коснется наивысшей точки — *сахасрары.*

Пробуждение Кундалини есть необходимое условие для непосредственного восприятия Реальности — а подлинным может быть только непосредственное восприятие,— но пробуждение возможно как через строжайшую йогическую дисциплину аскета, так и через оргиастическое слияние с Шакти, воплотившейся в женщину.

Это путь тантры, путь мистический, ритуальный и окутанный флером тайны.

Тантра открыта только посвященным — пробуждение Кундалини в любом случае сопряжено со страшной опасностью: человек, недостаточно очистивший свою душу от земных помыслов, может не справиться с мощью высвобождающейся энергии; ее пробуждение сексуальным путем опасно вдвойне и втройне — акт должен быть незамутненно чистым.

Как правило, мужчину посвящает женщина, сама уже приобщившаяся тайн и знакомая с метафизическим смыслом ритуалов, как правило, пару составляет гуру, или, если речь идет об оргиастическом ритуале, например, о *йонипудже,* гуру определяет состав ее участников.

Ритуальное совокупление посвященных рассматривается как жертвоприношение, причем не простое, а героическое жертвоприношение, ибо на всем его протяжении и мужчина, и женщина должны оставаться в состоянии *самадхи* — глубочайшей медитации, или качественно иного сознания, чем то, которое известно нам.

Во время оргиастических жертвоприношений посвященные пьют вино и вкушают запретное для индусов мясо, используют всевозможные средства усиления половой потенции — весьма благотворным считается фиолетовое освещение,— но до начала *пуджи* они должны отринуть самую память об удовольствии от соития и ни в коем случае не думать о нем как о способе продолжения рода человеческого.

Собственно вкушение запретной пищи и вина, как и прилюдное совокупление, предназначены для освобождения тантрика от ортодоксальных табу — он испытывает радости жизни, не становясь их рабом, более того, он использует их как средство для достижения наивысшей цели.

Лилиан Силберн, автор превосходной книги «Кундалини, энергия глубин», пишет: «Кто имел возможность наблюдать бесчисленные религиозные, обрядовые и социальные ограничения индийской жизни, наследие ведической ортодоксальности, тому легче понять, сколько сил требуется мистику для преодоления условностей и табу, в особенности строгих для ищущих Истину. Он должен быть бесстрашен...»

Однако есть причина, в силу которой тантрики с их ритуалами и заклятиями внушают страх непосвященным.

Далеко не всякому посвященному, как далеко не всякому аскету, удается собрать горизонтально разметанную энергию своего тела и духа и направить ее всю в вертикаль Кундалини так, чтобы змея поднялась до наивысшей *чакры.* Это удел избранных, хотя потенциальной возможностью, в принципе, обладает каждый человек.

Но вот Кундалини, поднимаясь от *чакры* к *чакре,* поочередно возбуждает их и приводит их энергетические колебания в соответствие с колебаниями космическими — человек приобретает *сиддхи,* свойства сверхъестественного порядка: ясновидение, телепатию, способность варьировать размеры своего тела и т. д.

Тантрические ритуалы густо замешаны на магии, но считается, что черной магией занимается преимущественно тантра «левой руки», посвященные в которую чтят Шакти в ее грозном, разрушительном аспекте, совершая в ее честь тайные, зловещие обряды. Эти обряды — о них ходят самые дикие россказни — и принесли тантре «левой руки» дурную славу, обоснованно или нет.

Индия оберегает свое эзотерическое знание от непосвященных, от тех, кто по невежеству мог бы использовать его неподобающим образом. Книжной учености нет доверия, истинное знание передается от гуру к его ученикам — по мере того, как гуру

убеждается в том, что ученики созрели для его восприятия.

Эзотерическое знание тантры, метафизика, восходящая еще к «Атхарва-веде», сохраняется в особой тайне. По самой своей природе тантрические обряды требуют участия как минимум двоих, а чаще целой группы, поэтому тантрикам требуется нечто наподобие организации. Они и образуют тайное братство, посвященные в которое опознают друг друга по особым знакам и жестам.

Кстати, привычный нам обыкновеннейший кукиш — это тантрический знак, обозначающий приглашение к соитию.

Понятно, что тантра возводит женщину на высоту поистине недосягаемую, видя в каждой женщине проявление Шакти.

Понятно, что в такой стране, как Индия, женщина, избравшая себе судьбу искательницы Истины, будет окружена не меньшим почтением, чем мужчина,— каким бы из путей ни шла она к Истине.

Но неизбежно возникает вопрос о том, какое место в индийской жизни занимает просто женщина — не *йогини,* не отшельница, не *девадаси,* храмовая танцовщица, баядерка, как звали ее европейцы,— обыкновенная женщина.

В Индии ничто не уходит в прошлое — само прошлое относительно, все сосуществует в одном и том же времени, в наши дни, так как же высокая метафизика сопрягается с повседневностью? Секрет стабильности индийского образа жизни как раз и заключен в практической духовности Индии, в нерушимом сопряжении вечного с сиюминутным, возвышенного с повседневным.

Возможно; развивает вневременную традицию мужчина, но хранит и передает ее женщина. Хранит, передает и соединяет собой космическое с земным.

В Индии мужское начало обозначается нечетным числом, а женское — четным.

Роль женщины в Индии неизменно двойственна.

О ней говорят: «где женщина не почитаема, там боги не живут».

О ней же говорят: «женщине позволительно не посещать храм, ибо ее бог — это ее муж».

Ну конечно же, она Шакти, но ее сила благотворна, пока она чиста; утратив чистоту, она становится губительной. А чистоту женщины оберегает мужчина. Войдя в семью, она превращается в рабыню, она во всем угождает мужу и его семье, она должна стать такой, какой ее желают видеть. Если нет у нее детей, она должна не то что позволить — она должна убедить мужа взять себе другую жену. Но родив и вырастив детей, она со временем займет в семье место наивысшего почета.

Своего мужа она впервые увидит после свадьбы, как и он ее,— *пурохит* обведет их вокруг священного огня, и с этого начнется любовь. Если начнется. Она никогда не встанет рядом с мужем, всегда будет следовать в трех шагах позади него, будет улыбаться, когда он весел, и помалкивать, когда он раздражен. После рождения ребенка она навеки утратит собственное имя — ее все будут звать по имени перворожденного: мать такого-то.

Но ей, пока она на своем месте, пока она дочь, сестра, мать, не нужно ни о чем тревожиться, не нужно искать ответа на вопрос — кто я? Или зачем я? Она — звено в бесконечной цепи, она идет путем своей женской *дхармы,* на каждом шагу оберегаемая и поддерживаемая вневременной традицией, абсорбирующей любые поправки времени.

Она может быть неграмотной и жить в окружении неграмотных, на чьем уровне великая духовная культура Индии принимает облик обычаев и обрядов,— оставаясь при этом собой. Веды, пураны, упанишады существуют на этом уровне в виде пословиц, афоризмов. Кто знает, древо ли жизни несет в себе семена будущих деревьев или семя заключает в себе все древо жизни?

Она будет знать истории великих *сати* — женщин праведной жизни: Савитри, отвоевавшей мужа у самого бога смерти; Ситы, принявшей несправедливость, потому что исходила она от ее мужа, Рамы; легенды о других праведницах.

Она наверняка будет повторять пословицу: кто канаву копает, кто стрелу выпускает, кто из глины лепит, а мудрый лепит себя. И будет лепить себя по образу и подобию тех, кто жил до нее, используя все для этой лепки,— уличные демонстрации с политическими лозунгами, бомбейские фильмы с драками и танцами. И она же их переосмыслит на собственный лад, она найдет им место в системе привычных понятий.

Она будет лепить и своих детей — их воспитывает не муж, а она. Ее дочери будут помнить, что они и богини, и рабыни, и никаким университетским дипломам не стереть эту расовую память — слава Богу! По обычаю, каждое утро в ее доме будет начинаться с того, что мужчины семьи — от главы до младшего из карапузов — до земли поклонятся старшей женщине-матери. Кем бы ни выросли ее сыновья, они всю жизнь будут помнить об этом.

Если она будет счастлива — будет благодарить богов, если ее жизнь будет полна напастей — винить себя за плохую *карму,* которую заработала дурными поступками в прошлых жизнях. Она никогда не будет чувствовать себя жертвой обстоятельств и не бросится в негодующую битву — в одиночку против всего мира. У нее есть свое место в жизни.

Индира Ганди написала о ней: «Женщина — хранительница традиции, но она же и рессора, смягчающая удар будущего. Она не может позволить себе отринуть традицию, но не может позволить себе жить, скованной ею. Она должна обеспечить преемственность, прочность корней, но в то же время дать древу расти, меняться, развиваться. Не в том ее проблема, чтобы добиться равноправия — или отказаться от него,— не в том ее выбор, чтобы либо спрятаться в семье, либо убежать из нее. Ей нужно уметь позитивно подходить к жизни, ей нужно стать «тотальной» личностью — она живет в постоянном контакте с повседневностью, она обладает силой характера и умеет справляться с новым, ей нужно раскрыть скрытое в ней».

К нашим иллюстрациям

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ ТАНТРИЗМА

(Бог и богиня)

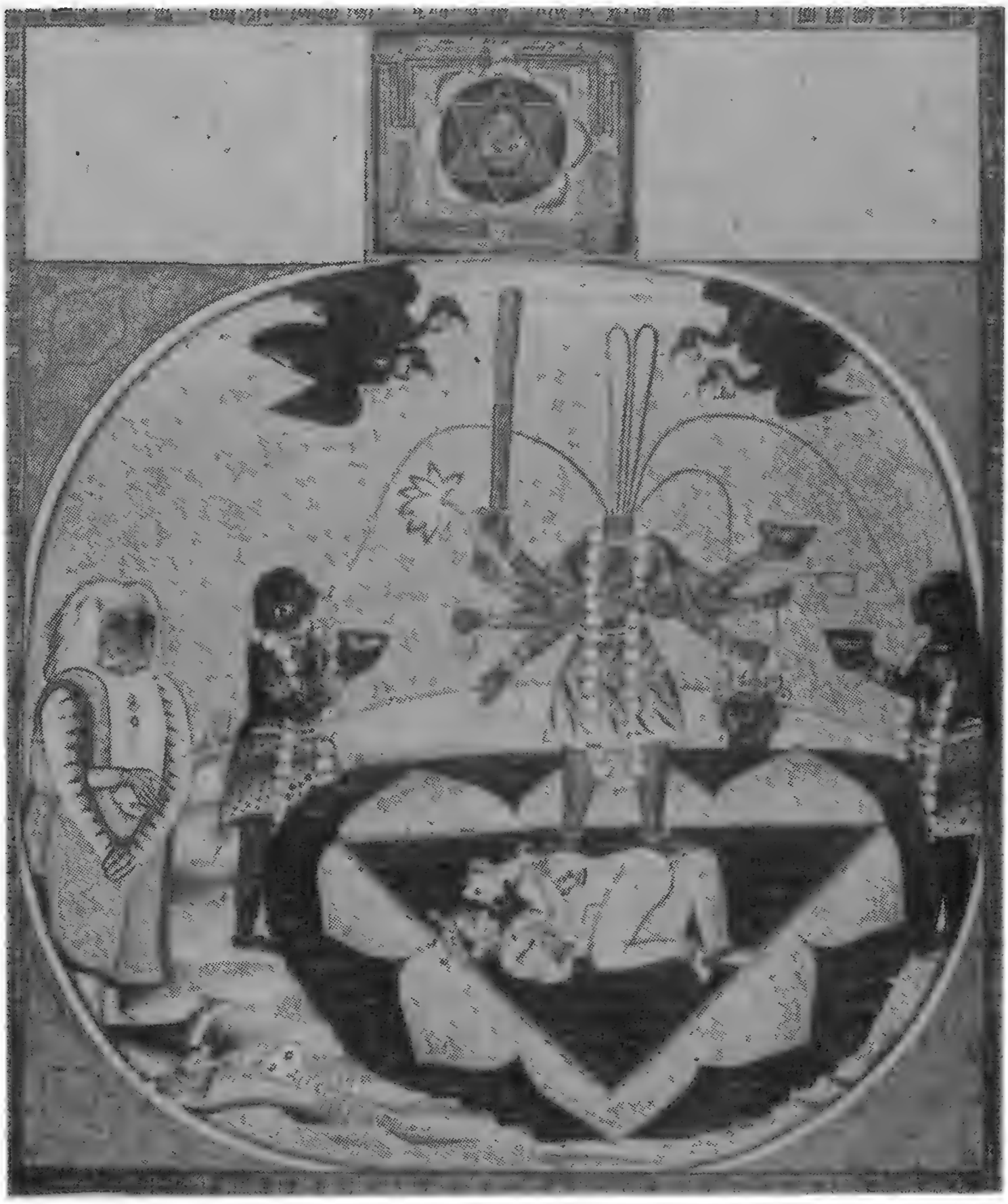
Для европейца природные энергии были всегда началами внешними, в сущности, чуждыми и опасными, а их освоение — делом науки и техники, требующим соответствующих приспособлений.

Для приверженцев тантризма — мистического индийского учения, истоки которого теряются в глубине тысячелетий, освоение мировых энергий — таинство, ритуал и искусство. Энергию заключали в священные сочетания звуков — мантры, накапливали в собственном теле путем выполнения особых поз и жестов — мудр, ее улавливали в яркие диаграммы — янтры, схемы космических начал, образцы которых представлены на иллюстрациях номера. Янтры рисовали на бумаге, на земле, на стенах зданий, вышивали на ткани, гравировали на металле. Триединство мантры, мудры и янтры — суть тантрического ритуального действа (на одной из иллюстраций обложки видны написанные шрифтом деванагари мантры, соответствующие данной янтре). У каждой силы мира, каждого божества были свои мантра, мудра и янтра.

Правильно изображенный символ того или иного мирового начала делал человека единым с ним и наделял всеми его атрибутами. После медитации над избранным образом тантрик — последователь учения с помощью мудр и мантр помещал его в янтру, и она переставала быть простым рисунком, превращаясь в мощное энергетическое поле, аккумулировавшее все свойства той или иной космической силы. Углубленно созерцая янтру, тантрик вбирал в себя ее энергию, а точнее сказать — открывал эту энергию в самом себе, ибо, как гласит древнеиндийское изречение, «то, что есть здесь (в человеке как микрокосме — *А. Т.*), есть и там (в космосе — *А. Т.)*; того, чего нет здесь, нет и там». В теле человека представлены все силы мира, сконцентрированные в особых центрах, расположенных вдоль позвоночника и имеющих форму лотоса. На одной из иллюстраций — янтры всех этих центров: от низшего, находящегося примерно в районе половых органов четырехлепесткового лотоса, соответствующего самой грубой из стихий — земле (янтра — четырехугольник, означающий завершенность творения, разворачивающегося от тонких элементов к грубым), до сияющего тысячелепесткового лотоса в области темени, соответствующего чистому духу (символ — точка, из которой рождаются все фигуры).

Самым главным божеством для тантрика была Шакти, богиня-Мать, грозная и любящая, прекрасная и ужасная, непрерывно творящая, питающая и разрушающая мир энергии. У нее множество обликов. Все индуистские богини для тантрика — разнообразные воплощения одной великой Шакти, несущей космос в своем лоне.

Шакти творит мир не единолично, а вполне «нормально», в обществе своего супруга Шивы. Их не прекращающийся ни на мгновение любовный союз — источник бытия космоса. Единение мужского и женского начал — ключ к мировоззрению и ритуалу тантризма. В янтрах идея единения бога и богини графически выражена наложением двух равносторонних треугольников, образующих шестиконечную звезду. Тот, что обращен острием вверх, символизирует мужское начало, повернутый острием вниз — женское. Гексаграмма передает равновесие противоположностей в Универсуме. Но... все же главенствующая, активная роль отводится Шакти, ибо именно она созидающее начало, а ее супруг — чистый, пассивный и самодостаточный дух. Тантрические рисунки, изображающие соитие бога и богини, иллюстрируют эту идею, помещая



богиню в эротической позе сверху. В янтрах та же мысль выражена в Шри Янтре, состоящей из 9 взаимопроникающих треугольников — 4 мужских и 5 женских. Некомпенсированный женский треугольник в центре означает доминанту женского творящего начала.

При всем разнообразии янтр в них неизменно присутствуют некоторые общие элементы. Во-первых, все они симметричны, так как симметрия — это символ упорядоченности космоса. Симметрии требовало и использование янтр в качестве объектов медитации. Несбалансированные конфигурации создают у человека чувство дискомфорта, неуравновешенности собственного тела, особенно усиливающееся при сосредоточенном созерцании, в то время как симметрия, напротив, порождает ощущение покоя.

Основные компоненты янтр — треугольник, четырехугольник, шестиугольник, круг, лотос и точка. О значении трех первых фигур уже было сказано. Точка, присутствующая в центре многих янтр,— это абсолютный покой в центре энергетического вихря тантрической вселенной (наподобие «черных дыр» физического космоса), великое Ничто и одновременно Все. Это надкосмический дух — Брахман, которому тождественна душа каждого человека (Атман), также способная к тому, чтобы стать вместилищем мира, это пустота (шунья) и семя (бинду), из которого рождается космос.

Круг, заключающий в себя центральную фигуру янтры,— образ полноты и циклической бесконечности времен, в котором рождение следует за смертью, круг индивидуального бытия и круг сменяющих друг друга космических эпох, когда мир то сжимается до точки в центре янтры, то расширяется, порождая все новые пространственно-энергетические конфигурации.

Лотос — символ энергии как таковой, излучения, вибрации, исходящей из центра янтры. Радиально расходящиеся линии лепестков создают соответствующий психоделический эффект (квадрат или круг ничего не «излучает», в чем можно легко убедиться, сосредоточенно созерцая их

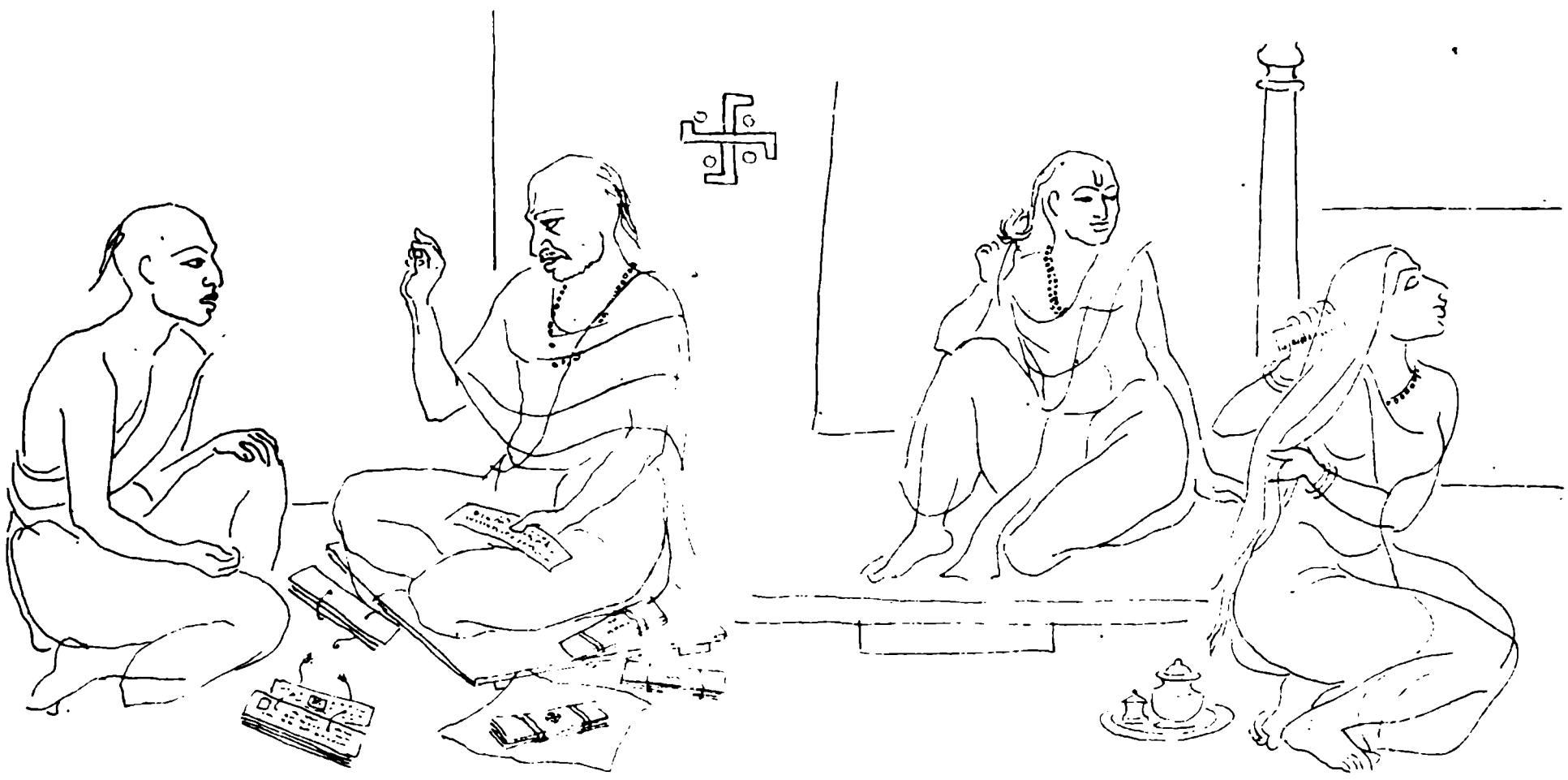
изображения). Количество лепестков лотоса соотносится с различными элементами тантрической картины мира: оно может означать число ипостасей божества данной янтры, категории бытия, возникающие в процессе космического творения, энергетические каналы, отходящие от данного центра в тонком теле человека и т. п.

Еще одним важным элементом-излучателем энергии в сакральной геометрии тантризма является равносторонний крест — свастика, впоследствии присвоенная символикой фашизма. Свастика — символ благой солярной энергии. На основании накладывающихся и переходящих друг в друга крестов создавались разнообразные варианты сарватобхадра (всеблагой) янтры, считающейся одной из самых древних и мощных янтр. Сарватобхадра — образ энергии девственной богини и восходящего солнца. От восьмилепесткового лотоса, ассоциирующегося одновременно и с «юным» солнцем, и с юной богиней, отходят по восьми сторонам света образуемые крестами энергетические каналы, излучения которых изгоняют тьму невежества и нечистоты.

В большинстве янтр имеются ориентированные по 4 сторонам света ворота — входы в энергетическое поле янтры, открывающиеся лишь посвященным, знающим соответствующие янтре мудры и мантры.

Янтры — отнюдь не прошлое для индийской культуры. На базе янтрической традиции работает такой самобытный художник современной Индии, как Ом Пракаш, работы которого выставлены в крупнейших галереях страны. Янтры привлекают внимание философов. Так, выдающийся мыслитель и мистик Ауробиндо Гхош (1872—1950) интерпретировал гексаграмму как стремление друг к другу двух начал: нисходящего в материю Абсолютного Духа и одушевленной материи, восходящей в процессе эволюции к Духу. Архетипические конфигурации янтр — это мостики, по которым человек переходит от суетливого коловращения обыденного разума в глубинные пласты сознания, в область покоя и гармонии с бытием.

АННА ТКАЧЕВА



Критика

Западная литература: взгляд изнутри

Представляем читателям новую рубрику отдела критики, которую из номера в номер будет вести постоянный автор — Лев Андреевич Наврозов, пожалуй, единственный выходец из России, который рецензирует (вот уже двадцать лет) западную литературу в американских литературных журналах, а потому воспринимает ее не как «инородную». Для Наврозова — англоязычного критика и рецензента западная литература не менее родная, чем русская, он видит ее именно изнутри. Цель этой рубрики — выявление той части западной культуры, которая пока неведома или недостаточно известна российской аудитории. По жанру колонка Льва Наврозова будет не критической статьей и не литературоведческим обзором, а эссе в точном смысле этого слова, введенного в обиход Монтенем, то есть литературно-интеллектуальным приключением, нередко ставящим под сомнение то, что считается общепринятой истиной.

Лев Наврозов уехал из России в 1972 году, опубликовал несколько книг и более 1000 статей по культуре, политике, социологии. С 1981 года по 1991 год вел колонку в газете «Нью-Йорк сити трибюн», а с 1991 года ведет ее в «Нью-Йорк гардиан».

ЛЕВ НАВРОЗОВ

В ПОИСКАХ АМЕРИКАНСКОГО АНДРЕЯ БИТОВА

Некоторые западные литературоведы говорят, что великая проза умерла сначала на Западе, а затем и в России к началу XX века, а проза XX века — это прозопоэзия. Некогда абзац великого писателя часто можно было принять за абзац другого великого писателя, причем даже другой страны (в переводе, разумеется). Великий писатель стремился создать мир подобно Богу, а Он — Един, и мой друг, интеллектуал-магнат Уолл-стрита (такие тоже бывают), говорит мне, когда я привожу «точки зрения»: «Точки зрения... Но ведь реальность одна, как заметил еще Авраам». В XX веке прозаик должен создать *свою* прозу, писать так, как может писать только он, быть узнаваемым в каждом абзаце. А иначе не выходит. Надмирную прозу, прозу Бога, мы воспринимаем как «подражание классикам». Это вошло в плоть и кровь литературной критики. Роберт Масси, автор двух исторических исследований — «Николай и Александра» и «Петр I», писал в своей рецензии на мою книгу: «Наврозов создал свой мир». Видите? Свой мир. Это — похвала.

Я помню, как я открыл «Жизнь в ветреную погоду» Андрея Битова в Москве в 1967 году. Да, Битов создал *свою* прозу. Он нашел свой родник-ключ, пению которого он внимал. Битов приехал ко мне на дачу, я стал переводить его на английский язык, но после отъезда на Запад я прекратил общение со всеми в России, ибо даже в 1989 году «Правда» назвала меня «самым экстремистским американским журналистом».

А приземлившись в Нью-Йорке, я пустился в поиски американского Андрея Битова. Это покажется многим жителям России и Запада верхом нелепости. В России 60-х годов Битов был чуть ли не единственным прозаиком, да и он не стал Львом Толстым, якобы по причине советской несвободы. А так как на Западе свобода, то литературные леонардо да винчи XXI века цветут повсеместно на Западе пышным цветом, в то время как Россия все еще коснеет в советской пошлости, а в советской пустыне 60-х годов и Битов был чудом-оазисом. Противоположное российское мнение состоит в том, что Запад бездуховен: это пустыня, где чудес-оазисов не бывает, а вот Россия — это бездонный кладезь духа.

Те, кто в России вспоминают с отвращени-

ем былую советскую пошлость, часто забывают, что пошлость во времена Чехова не насаждалась правительством-государством. Но разве засилье пошлости в то время было лишь чеховским преувеличением? Достаточно открыть литературные журналы времен Чехова. Сахára пошлости. Дело в том, что те, кто изнемогают от окружающей их пошлости, часто полагают, что она — всемирна, универсальна. Что может быть пошлее для поколений, выросших в советской России, чем выражение: «созидательный труд на благо общества»? Но это выражение представлялось в России до 1917 года и на Западе после 1917 года важной, глубокой и поэтической мыслью, откровением, кульминацией «Фауста» Гёте. Список всемирно известных западных деятелей культуры, для которых это выражение отнюдь не было пошлостью хотя бы какое-то время, открывается Арагоном, кончается (по западному алфавиту) Арнольдом Цвейгом и включает (по западному алфавиту) Брехта, Камю, Корбюзье, Дос Пассоса, Фейхтвангера, Хемингуэя, Леже, Андре Мальро, Томаса и Генриха Маннов, Шона О'Кейси, Пикассо, Ромена Роллана, Сартра, Бернарда Шоу и Стивена Спендера. И наоборот, то, что на Западе — невыносимая пошлость, может восприниматься даже утонченными российскими деятелями культуры так, как советское выражение «созидательный труд на благо общества» воспринималось упомянутыми выше лицами, которым никак нельзя отказать в культурной изощренности.

Да, Битов вырвался из силков пошлости, как пошлость представляли себе мы, жившие в России 60-х годов: открыл новый источник-родник-ключ прозопоэзии. Это — редкость в любом обществе, ибо засилье пошлости — состояние любого общества, но только у каждого общества *своя* пошлость.

Итак, я на Западе, у которого своя «пошлость жизни без конца». Где же американский Андрей Битов — новый источник-родник-ключ прозопоэзии? Мне повезло. Окончив Йейльский университет в 1978 году, мой сын Андрей стал издателем-редактором «Йейльского литературного журнала», которому 160 лет. Целью Андрея была публикация западных писателей, «подающих признаки гениальности» (выражение Шкловского), и он опубликовал некое повествование под названием «Экспедиция на полюс» молодой американки по имени Энни Диллард (Annie Dillard) из американской глубинки. В 70-х годах она заняла в американском литературном истеблишменте положение, которое занимал Битов в российском культурном истеблишменте к концу 60-х годов. Не на его вершине, а где-то в середине и сбоку. В прошлом году о Диллард появилась первая (и скучнейшая) литературоведческая монография. А как известно, когда писателем начинают заниматься университетские литературоведы, то это значит, что он на пути к признанию: они приходят последними, открывая то, что открыто лет двадцать назад.

Пусть те, кто говорит в России, что Запад бездуховен, удивятся, что в известном смысле Диллард — это дух в большей степени, чем любой прозаик России. На вид Диллард произвела на меня впечатление довольно обыкновенной молодой привлекательной американки. Никакой косметики. Прекрасные волосы, льющиеся свободно, без всякой модной прически. Я подумал, что она наверняка замужем, есть дети, счастливая семья (я заметил на пальце обручальное кольцо). Но хотя все опубликованное ею в 70-х и 80-х годах написано от первого лица, нет нигде и следов дома, утвари, семьи, быта, а уж какие-либо внебрачные отношения были бы более нелепы в этих повествованиях, чем в «Отче наш», где все же говорится об искушении. Диллард не избегает пола — просто в том виде, в котором он «бытует» (от слова «быт») в «западной культуре», он ее не интересует. В повествованиях Диллард нет быта: есть лишь бытиé-житиé и благая весть. В ней возгонка того, за что на Западе корили русскую литературу. В повествовании «Тузы и восьмерки» — дочь Диллард девяти лет, но она нигде не называется дочерью. Диллард называет ее «дитя», и сначала даже неясно, девочка это или мальчик. Они одни в маленьком домике у подножья Аппалачских гор: «дитя, и потом я, и еще собака». Впрочем, кто взрослый, а кто дитя — тоже неясно. В «На горе далеко, далеко» мальчик восьми лет объясняет ей, почему он не играет на берегу их Речушки. Он боится уходить из дому. «Уйдешь, а придет отец, выпустит нечаянно лошадей из конюшни, и они его затопчут». «А я,— сообщает восьмилетнему опекуну своего отца Диллард,— всегда выхожу играть на берег Речушки. Жуть сколько я там играю. Приходи».

Впрочем, убийственная самоирония никогда не оставляет Диллард. «Как это, интересно, я играю? Да разве я умею? Давно разучилась».

Но обычно Диллард вообще одна. Свою книгу «Земных недр твердь» («Holy the Firm») она начинает таким образом: «Каждый день — бог, любой день — бог, божья благодать простирается во времени в вечность. Я молюсь каждому богу, хвалю каждый день, и каждый день вылущивается как орешек из радужной скорлупы рассвета в лощине между гор».

Да, Диллард открыла свой источник-род-

ник-ключ. Это как Хемингуэй, который в 1923 году открыл свою прозопоэзию: «Мы ехали по Шампани, и мы были мертвецки пьяны. Вся батарея была мертвецки пьяна и качалась в седлах. И наш капитан качался в седле и говорил своей лошади: «О mon cheval, я так пьян, я мертвецки пьян».

Но Диллард желает, чтобы ее прозопоэзия была прозой Бога или, во всяком случае, бога (как проза Ричардсона, Стендаля или Толстого), Его/его родник, Его/его мир — реальность, которая одна. Так или иначе, она разорвала силки пошлости своего общества. Что такое пошлость на Западе? Всеобщая публично обсуждаемая забота о здоровье, которая становится всеобщей публично обсуждаемой физиологией, деньги как всеобщий психоз, правительственные и университетские чины и звания в культуре, всеобщая публично обсуждаемая половая жизнь, мещанство-буржуазность, семья, дети, внебрачные связи, дом, имущество, автомобили, самолеты, еда в дорогих ресторанах, модная одежда, модные прически, модная косметика, модное искусство как модное украшение модной жизни. Все это «бытует» (от слова «быт») в тысячах западных романов, кинофильмов и телевизионных программ, поглощаемых во всех странах мира, кроме разве что мусульмано-фундаменталистских, Кубы и Северной Кореи. Ничего этого в повествованиях Диллард нет и следа. В них нет Запада, нет Америки, как их часто видят извне. Не то что она забирается в глушь. «На одном конце озера скоростная автострада, а на другом гнезда диких уток,— пишет она в «Жить как живут ласки».— Под каждым кустом нора ондатры или консервная банка». Все это без горечи. Консервные банки — часть мироздания. Цивилизация не более интересна, чем консервная банка. А вот что является вселенским событием: Диллард и ласка смотрели друг другу в глаза шестьдесят секунд. Боже мой, что это было. Светопреставление на шестьдесят секунд. Сверхполовое соитие существа, называемого в издательском мире Энни Диллард, и мироздания.

Помимо скоростных автострад или консервных банок, Запад, Америка, цивилизация появляются в повествованиях Диллард лишь в виде церкви, церковной службы — тема «Экспедиции на полюс», с которой началось мое открытие Диллард в «Йейльском литературном журнале».

Христианство? Но что же тут необычного для США? Ничего необычного для 40% населения США — так называемого простого народа провинциальной Америки. А для 60% населения? В Нью-Йорке протестантский священник сказал мне, что он и все священники всех деноминаций — это отсевки, которые стали священниками, ибо ни на что другое они не способны. К 1984 году число американцев старше 18 лет, посещающих церковную службу, составляло лишь 40%, причем молодежи до 29 лет — 30%. А что значит «церковная служба», объясняет Диллард.

Сначала она, протестантка, ходила в протестантскую церковь. Прихожанка Диллард — не темная конформистка, а женщина необыкновенной начитанности и главное — необыкновенного ума. Сарказм ее режет пошлость — нет, не как бритва, а как лазер, самой пошлости как бы даже не касаясь: «Я садилась — иногда рядом с моей соседкой по улице. О эта милая жалкая ризница, с линолеумом на полу: никакие цветы тут не помогают. Как ужасно они поют, и все равно, как мне хорошо. С какой смертельной усталостью читают они Библию. Как пуста литургия. А проповедь? Да ведь это и вовсе ничто. И все окутывает непроглядный туман бессмысленности».

Но вот в протестантской церкви появились рок, гитары, масскультура. Выдержать «протестантские гитары» Диллард не в силах. Она — в католической церкви: «Как часто, как скандально часто я сдерживаюсь изо всех сил, чтобы не расхохотаться на всю церковь. И уж конечно, я могу вволю посмеяться по дороге домой». Как и вся цивилизация, церковь — пошлость. «Пьеса в средней школе идет лучше, чем эта служба, которую мы репетируем вот уже почти две тысячи лет». А бог? «Должно быть, Бог и вправду всемогущ, если Он, глядя на нашу службу, может не расхохотаться. Неделю за неделей мы видим чудо: Бог, по неисповедимой своей милости, не сдувает наш балаган, как пылинку, нарушающую совершенство мира. Неделю за неделей Христос моет наши грязные ноги, перебирая наши пальчики и приговаривая, что ничего, ничего страшного, вы же только люди».

Но к ее вящему ужасу, масскультура пришла и в католическую церковь. «Они называют себя «Дикие цветы». Ведущий — высокий, с квадратной челюстью, очень собой довольный. У него гитара...» Она описывает участников ансамбля, включая китайца с тамбурином, как бродячую труппу монстров из кунсткамеры. «О чем думает Папа?» Католическая молитва «Санктус» исполняется монстрами как рок. Как это вынести? «Ведущий бренчит тыльной стороной руки. Китаец вдруг ударяет по тамбурину с такой силой, что сам испуганно смотрит на свои руки». «Санктус» исполняется бродячими монстрами как рок:

Небо и земля,
Земля-ля-ля-ля-ля
Твоей славы
Пол-ны-ны-ны-ны

И это-то вместо Баха. Боже мой, за что? К чему это все? Какой смысл? И Диллард вспоминает экспедиции, чтобы достичь северного и южного полюса. Зачем все это было надо? Какой в этом был смысл? Ведь физически никакого полюса нет. Полюс — это отвлеченность. Это даже не постоянная точка. Но какие страдания, какое безумное упорство. Ради чего? Ради того, чтобы достичь абсолюта. Полюс — это прообраз абсолюта. Вот почему они в церкви. Это — экспедиция на полюс. Препятствия кажутся неодолимыми, а цель — далекой, неосуществимой, бессмысленной. Отныне впечатления Диллард от церкви мешаются с ее воспоминаниями об экспедициях на северный и южный полюс. Пошлость церкви — это нечто вроде арктического или антарктического холода, заносов, отсутствия запасов провианта. Здесь Диллард оказывается истинной англосаксонкой, для которой столь важны воля, торжество над препятствиями, достижение цели.

И «Экспедиция на полюс» кончается тем, что Диллард хватает тот самый тамбурин, который так ужасал ее. «Вплоть до изломанного льдами горизонта снег, лед, черные полыньи. Я бью в тамбурин и пою под бренчанье расстроенного пианино. Я бью в тамбурин с такой силой и пою так громко, что соседи от меня в испуге отодвигаются. Полюс! Полюс! Мы приближаемся к полюсу!».

Возможно, все, что Битову суждено было написать, он уже написал в 60-х годах. В 1992 году он мог опубликовать все, что былое «советское самодержавие» опубликовать ему не разрешало. Но оказалось, что опубликовать ему нечего. Возможно, все, что Диллард суждено было написать, она уже написала в 70-х годах. В 1987 году она опубликовала «Американское детство». Увы, это не «Кащеева цепь» Пришвина, с которым у Диллард есть много общего, хотя о Пришвине она, вероятно, никогда не слыхала. Это просто хорошо написанная автобиография. В прошлом году у нее вышел роман. Настоящий роман. Добротный. Вроде «Пушкинского дома» Битова. Мне становится скучно даже писать о ее романе, и оттого, что мне становится скучно, я набираю номер ее телефона. Интервью с ней по телефону. Это очень оживит мое эссе. Устраивать с ней ленч хлопотно, и неизвестно, когда она приедет в Нью-Йорк. А по телефону это отнимет полчаса. Можно даже назвать это мое эссе: «Разговор по телефону с Энни Диллард». А Битова вообще выбросить. У нас тут Запад. Как говорил мне мой покойный друг Евгений Винокуров: «Я был на Западе. Я говорил с Эзрой Паундом. Я обедал с Сартром». А я не был — я есть на Западе, «Энни, не знаю, звенит ли у вас в голове какой-нибудь колокол при упоминании моей фамилии (скромность — *Л. Н.*), но я отец редактора того журнала, который напечатал «Экспедицию на полюс», помните?»

Ведь я представляю Энни Диллард стране великой литературы, где она неизвестна: России. Вероятно, более 99% западных писателей ухватились бы за эту возможность. Но Энни Диллард не входит в это число — «более 99% западных писателей». Энни Диллард есть Энни Диллард. Ко мне на дачу Битов приехал с неизвестным мне ленинградским прозаиком, ночью, перебудил всех, и это в доме, где он никогда не был. Андрей Битов есть (или был) Андрей Битов. Не набрав номер телефона Энни Диллард, я положил трубку. А что, если она меня — своим лазером?

«Значит, и вы пошляк тоже. Интервью. Сможете пристроить его и в американский журнал. Пара тысчонок не помешает, а? Что ж вы хотите? Чтоб я сказала вам, что мой источник-родник-ключ иссяк пока что на время или навсегда и поэтому я и написала этот увесистый исторический роман? Когда у американца нет таланта — никогда его не было или родник иссяк, — он пишет увесистый роман, чтобы рецензенты написали, что это «Война и мир». Но только какой же западный писатель скажет вам такое в интервью? Ведь цель интервью — продажа его книг. Что же он сам ее будет подрывать? Да вы просто дурак. А еще русский. Первый день, что ли, на Западе? Конечно, он вам скажет... Впрочем, разве вы сами этого не можете выдумать? Или прочтите монографию обо мне, изданную в прошлом году. Там есть все, что полагается мне сказать в таких случаях».

Я взглянул с облегчением на покоящуюся на рычаге телефонную трубку. Какого дурака я чуть было не свалял. Но теперь все в порядке. Энни, вы ведь слышите меня без всякого пошлого телефона. Полюс! Полюс! Мы приближаемся к полюсу!

Авторы этого номера

АДАМ БОДОР (BODOR ÁDÁM; род. в 1936 г.) — венгерский прозаик. До 1980 г. жил в Трансильвании, где вышли книги его рассказов «Свидетель» («Tanú», 1969), «Плюс-минус один день» («Plusz-minusz egy nap», 1974), «Прибытие на север» («Megérkezés északa», 1978); после переезда в Будапешт изданы книги «Евфрат у Вавилона» («Az Evfrátesz Babilonnál», 1985) и «Округ Синистра» («Sinistra-Körzet», 1992).
Публикуемый рассказ «Музей природных редкостей, округ Синистра» («Természetrajzi Gyüjtemény Sinistra Körzetben») взят из венгерского журнала «Холми» (1991, № 9).

ЮЛИЯ ХАРТВИГ (JULIA HARTWIG; род. в 1921 г.) — польская поэтесса, эссеист. Автор семи книг стихов, монографий об Аполлинере (1962) и Жераре де Нервале (1972). На русском языке издана ее книга «Аполлинер» (М., 1971).
Публикуемые стихи взяты из ее книг «Свободные руки» («Wolne rece», 1969), «Двойственность» («Dwoistość», 1971), «Бодрствование» («Czuwanie», 1978), «Общение» («Obcowanie», 1987), «Нежность» («Czułość», 1992).

ДЕБРА ИММЕРГУТ (DEBRA IMMERGUT) — молодая американская писательница. Первый сборник ее рассказов «Частная собственность» вышел в 1992 году («Private Property». New York, Random House, 1992). Публикуемый рассказ взят из этого сборника.

РУТ ПРАВЕР ДЖАБВАЛА (RUTH PRAWER JHABVALA) родилась в Германии в 1927 г. в семье польских евреев, которая в 1939 году была вынуждена переселиться в Англию. Окончив Лондонский университет и выйдя замуж за индийца-архитектора, Р. П. Джабвала уехала с ним в Индию. Этой стране, в основном, и посвящены ее произведения. Р. Джабвала — автор восьми романов, в том числе «С кем она будет» («To Whom She Will»), «Природа страсти» («The Nature of Passion»), «Эсмонд в Индии» («Esmond in India»), «Домашняя хозяйка» («The Householder»), «Жара и пыль» («Heat and Dust»), нескольких сборников рассказов.
Писательница удостоена Национальной премии Индии, английской премии «Букер» и других премий. Ею написаны также несколько пьес для телевидения и сценариев художественных фильмов, принесших ей в 1993 году одну из самых значительных кинематографических наград — «Оскар».
Публикуемые эссе «Я — в Индии» («Myself in India») и рассказ «Курс английского» («A Course of English Studies») взяты из ее книги «Как я стала святой матерью» («How I Became A Holy Mother and Other Stories». Harmondsworth, Middlesex, Penguin Books, 1981).

ВИКРАМ СЕТ (VIKRAM SETH; род. в 1952 г.) — индийский поэт, прозаик. В настоящее время живет в США.
Перевод фрагментов романа в стихах «Золотые Ворота» выполнен по изданию «The Golden Gate. A Novel in Verse by Vikram Seth». New York, Vintage Books, 1987.

САЛГАНИК МАРИАМ ЛЬВОВНА — литературный критик-индолог, переводчик. Автор многих статей по проблемам литератур стран Азии и Африки. Переводила прозу и поэзию современных писателей Индии, Пакистана, Бангладеш, в том числе повести Ананты Мурти «Самскара» («ИЛ», 1984, № 12), Бапси Сиддхва «Огнепоклонники» (Библиотека «ИЛ», 1988), роман В. С. Кхандекара «Король Яяти» («ИЛ», 1988, № 5—7). В «ИЛ» печатались также ее статьи «Алогизм повседневности» (1983, № 9), «Гармония ислама. Заметки на полях одной книги» (1992, № 5-6) и др. Лауреат премии «ИЛ» (1989).

ОЛДОС ХАКСЛИ (ALDOUS HUXLEY; 1894—1963) — английский писатель. На русский язык переведены многие его романы: «Шутовской хоровод» («Antic Hay», 1923; пер. 1936), «Контрапункт» («Point Counter Point», 1928; пер. 1936), «Желтый Кром» («Crome Yellow», 1921; пер. 1986), в «ИЛ» напечатаны романы «О дивный новый мир» (1988, № 4), «Через много лет» (1993, № 4), повесть «Гений и богиня» (1991, № 5).

ПЕРЕВОДЧИКИ:

СЕРЕДА ВЯЧЕСЛАВ ТИМОФЕЕВИЧ (род. в 1951 г.) — литературовед и переводчик. Автор статей о современной венгерской литературе. В его переводах издавались повести венгерских писателей П. Надаша, Ш. Раффаи, М. Мункачи, пьесы Д. Шпиро. В «ИЛ» печатались переводы новелл Петера Эстерхази (1992, № 4).

АСТАФЬЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА — поэт и переводчик польской поэзии. Автор шести книг стихов, последняя из них — «Заветы» (1989). В «ИЛ» публиковались переводы Н. Астафьевой из К. Иллакович, М. Павликовской, Я. Ивашкевича, А. Свирщиньской, Т. Новака, Х. Посвятовской, Е. Липской и др. Ее переводческая работа отмечена польской премией ЗАиКС и премией «ИЛ» (1986 и 1989).

АГАФОНОВ ГРИГОРИЙ ИГОРЕВИЧ (род. в 1963 г.) — поэт и переводчик с английского. Его стихи и переводы публиковались в периодических изданиях, в альманахе «Поэзия» и поэтических сборниках. В «ИЛ» (1993, № 5) напечатаны его переводы песен группы «Роллинг стоунз».

В следующем номере «ИЛ»

В рамках нашего замысла подготовки специальных тематических выпусков («Литературный гид») октябрьская книжка журнала посвящена французской литературе XX века. В номере будут представлены произведения таких известных во всем мире и у нас в стране писателей, как ЖОРЖ БЕРНАНОС, ГАБРИЕЛЬ КОЛЕТТ, МИШЕЛЬ ТУРНЬЕ, ЭЖЕН ИОНЕСКО и др.

Читатели познакомятся также с новыми литературными именами. В рубрике «ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕССА МИРА» вас ждет знакомство с журналом **«Магазин литтерер».** В разделах «Курьер «ИЛ» и «У книжной витрины» дана панорама культурной жизни Франции.

На обложке воспроизведены работы индийских художников — представителей тантрической живописи.

По всем вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**

Технический редактор **Г. И. Голосовская**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47

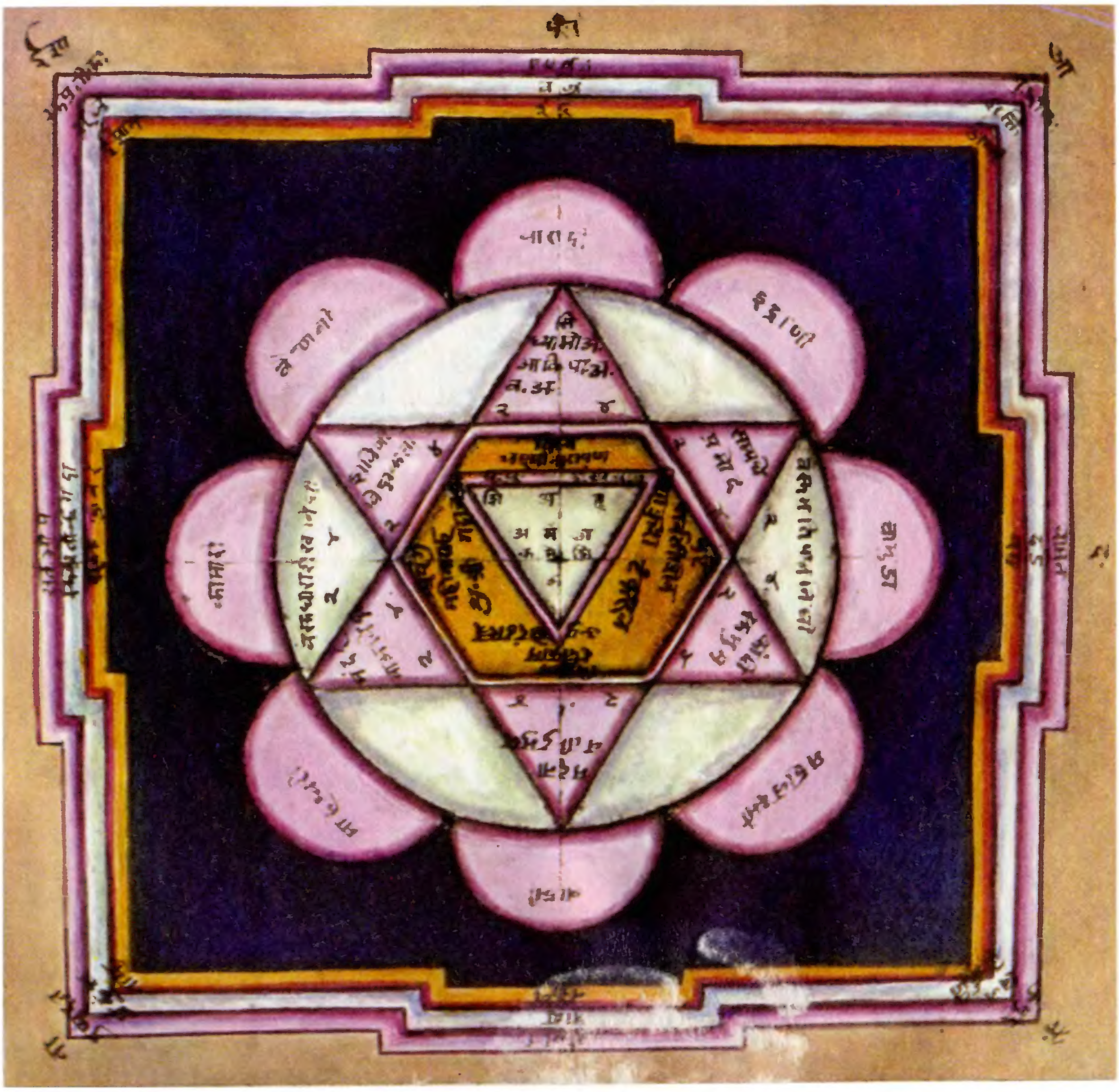
Журнал выходит один раз в месяц.

При участии издательства «Известия», Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 07.06.93. Подписано в печать 11.08.93. Формат 70x108 $^{1}/_{16}$. Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 26,45. Заказ № 3809.

Тираж 56 000 экз. Цена по подписке 95 р.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика». Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



ИНДЕКС 70394

ISSN 0130—6545 «Иностранная литература» № 9, 1—256